КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (19)

МАРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Гиз № 7109. Главлит. № 18608. Москва. Напеч. 10.000. экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография, Москва, Пятницкая, 71.

Заметки из дневника. Воспоминания.

М. Горький.

Пожары.

Темной ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь—вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный, лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок,— они падали на землю нехотя, медленно.

Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой, сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости.

Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: надо стучать в окна домов, будить людей, кричать: пожар! Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке крыши уже мелькали петушиные перья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели и на площади стало светлее.

— Надо будить людей,— внушал я сам себе и — молча смотрел до поры, пока не заметил фигуру человека посреди площади; человек прижался к нелепой чугунной колонне фонтана и, зрительно, был почти не отделим от нее. Я подошел к нему. Это — Лукич, ночной сторож, кроткий старик.

— Ты что же? Свисти, буди людей!

Не отрывая глаз от огня, он сонным или пьяным голосом ответил:

— Сейчас...

Я знал, что он не пьет, но видел в глазах его пьяную улыбку удовольствия, и меня не удивило, когда он, вполголоса, захлебываясь словами, начал бормотать:

— Ты гляди, как хитрит, а? Ведь что делает, гляди-ко ты! Так и жрет, так и жрет, ну — сила! А, малое время спустя назад, маленький огонечек высунулся около трубы, с долото, не больше, и начал долбить, и пошел козырять. До чего это интересно, пожар, ах, господи...

Он сунул в рот себе свисток и, качаясь на ногах, огласил пустынную площадь режущим уши свистом, замахал кистью руки, — торопливо затрещала трещотка. Но глаза его неотрывно смотрели вверх, — там, над крышей, кружились красные и белые снежинки, скоплялся шапкой черный, тяжелый дым.

Лукич ворчал, усмехаясь в бороду:

— Ишь ты, разбойник... Ну, давай будить людей... Давай, что ли...

Мы бегали по площади, стучали в окна и двери, завывая:

— Пожа-ар!

Я чувствовал, что действую энергично, однако — не искренно, а Лукич, постучав в окно, отбегал на средину площади и, задрав голову вверх, кричал с явной радостью:

— Пожа-ар, э-ей!

...Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал, как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы, и сам не свободен от влиянья ее. Разжечь костер — для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку.

Пожар на Суетинском съезде в Нижнем; горят дома над узкой щелью оврага; овраг, разрезав глинистую гору, круто спускается из верхней части города в нижнюю, к Волге. Пожарная команда не могла, по условиям местности, подъехать близко к пожару; машины и бочки воды стоят на съезде, внизу; шланги протянуты вверх по срезу оврага, а сверху падают вниз головни, катятся огненные бревна. Густая толпа зрителей стоит на другой стороне съезда, оттуда пожар прекрасно виден, но несколько десятков людей спустились вниз, где их сердито ругают пожарные и где падающие по откосу бревна легко могут переломать им ноги.

Чтоб видеть, как огонь пожирает старое дерево ветхих домов, люди должны неудобно задирать головы вверх, на лица им сыплется пепел, кожу кусают и жалят искры. Это не смущает людей, они ухают, хохочут, орут, отбегая от бревна, которое катится под ноги им, ползут на четвереньках по крутому срезу противоположной пожару стороны оврага и снова, черными комьями, прыгают вниз. Эта игра особенно увлекает солидного человека в щегольском пальто, в панаме на голове и в ярко начищенных ботинках. У него — круглое, холеное лицо, большие усы, в руке палка с золотым набалдашником, он держит ее за нижний конец, размахивает ею, как булавой, и, отбегая от бревна, падающего сверху, орет басом:

— Ур-ра-а!

Зрители подзадоривают его криками, над его головою кружится, сверкая, золотой шарик палки, на полях панамы черные пятна погасших угольков, черной змеею развевается под его подбородком раз-

вязавшийся галстук. Но человек этот ничего не видит и, кажется, не слышит, у него цель храбреца-мальчишки: подождать, пока горящее бревно подкатится вплоть к ногам людей, и отпрыгнуть от него последним. Это неизменно удается ему, он очень легок, несмотря на высокий рост и плотное тело. Вот-вот бревно ударит его, но — ловкий прыжок назад, и опасность миновала:

— Ур-ра-а!

Он даже несколько раз прыгал вперед, через бревно, и за это какие-то дамы, в толпе зрителей наверху, рукоплескали ему. Их много наверху, пестро одетых женщин; некоторые стоят, раскрыв зонты, защищаясь от красного дождя искр.

Я подумал: наверное, этот человек влюблен и показывает даме своей ловкость и бесстрашие, — достоинства мужчины.

— Ур-рра-а, — кричит он. Панама его съехала на затылок, лицо побагровело, а вокруг шеи все развевается черная лента галстука.

Потрясающе ухнув, заглушив криком жадный треск огня, пожарные вырвали баграми несколько бревен сразу, и бревна, дымясь, сверкая золотом углей, неуклюже подпрыгивая, покатились по откосу оврага. Чем ниже, тем быстрее становилось их тяжелое движение; вот, взмахивая концами, переваливаясь одно через другое, они бьют по булыжнику мостовой:

— Ур-ра-а, — дико кричит человек в панаме и, взмахнув палкой, перепрыгивает через бревно, а конец другого лениво бьет его по ногам, — человек, подняв руки, ныряет в землю, и тотчас же пылающий конец третьей, огромной головни тычется в бок ему, как голова огненной змеи.

Толпа зрителей гулко ахнула, трое пожарных быстро отдернули игривого человека за ноги, подняли и понесли его куда-то, а среди горящих бревен, на булыжнике мостовой осталась панама, пошевелилась, поежилась и вдруг весело вспыхнула оранжевым огнем, вся сразу...

В 96 г. в Нижнем-Новгороде горел „Дом трудолюбия"; в нижнем этаже его вспыхнула пакля, огонь быстро накалил железную лестницу во второй этаж и застиг там старух работниц. Все они, кажется более двадцати, были задушены смолистым дымом и сгорели.

Я застал уже конец пожара; провалилась крыша, в огромном кирпичном ящике, с железными решетками на окнах, буйно кипел и фыркал огонь, извергая густейший, жирный дым. Сквозь раскаленное железо решеток на окнах дым вырывался какими-то особенно тяжелыми, черными клубками и, невысоко вздымаясь над пожарищем, садился на крыши, угарным туманом опускался в улицы.

Со мною рядом стоял человек дурной славы, домовладелец Капитон Сысоев, крепкий здоровяк, несмотря на его пятьдесят лет и распутную, пьяную жизнь.

На бритом, скуластом лице его глубоко в костлявых ямах спрятаны узкие, беспокойные глазки. Одет он неловко, небрежно, все на нем как бы с чужих плеч, весь остро неприятен и, видимо, знает об этом — он смотрит на людей вызывающе, с подчеркнутой наглостью.

А на пожар смотрел взглядом человека, для которого вся жизнь и все в ней—только зрелище. Говорил цинично о „зажаренных" старушках и о том, что хорошо бы всех старушек сжечь. Но что-то беспокоило его, он поминутно совал руку в карман пальто, выдергивал ее оттуда, странно взмахивал ею и снова прятал, искоса поглядывая на людей. Потом в пальцах его явился маленький сверток бумаги, аккуратно перевязанный черной ниткой, он несколько раз подбросил его на ладони и вдруг ловко метнул в огонь, через улицу.

— Что это бросили вы?

— Примета у меня есть одна,—ответил он, подмигнув мне, очень довольный, широко ухмыляясь.

— Какая?

— Ну, нет, не скажу!

Недели через две я встретил его у адвоката Венского, кутилы, циника, но очень образованного человека; хозяин хорошо выпил и заснул на диване, а я, вспомнив о пожаре, уговорил Сысоева рассказать мне об его „примете". Прихлебывая бенедиктин, разбавленный коньяком,—пойло, от которого уши Сысоева вспухли и окрасились в лиловый цвет,—он стал рассказывать в шутливом тоне, но скоро я заметил, что тон этот не очень удается ему.

„Я бросил в огонь ногти мои, остриженные ногти,—смешно? Я с девятнадцати лет сохраняю остриженные ногти мои, коплю их до пожара, а на пожаре бросаю в огонь. Заверну в бумажку вместе с ними три, четыре медных пятака и брошу. Зачем? Отсюда и начинается чепуха...

„Когда мне было девятнадцать лет, был я забит неудачами, влюблен в недосягаемую женщину, сапоги у меня лопнули, денег—не было, заплатить университету за право учения—нечем, а посему увяз я в пессимизме и решил отравиться. Достал циан-кали, пошел на Страстной бульвар, у меня там, за монастырем, любимая скамейка была, сижу и думаю: прощай Москва, прощай жизнь, чорт бы вас взял! И вдруг вижу: сидит рядом со мною эдакая толстая старуха, черная, со сросшимися бровями, ужасающая рожа! Вытаращила на меня глаза и— молчит, давит.

„— Что вам угодно?

„— Дай-ко мне левую руку, студент,—так, знаете, повелительно требует, грубо"...

Рассказчик посмотрел на храпевшего хозяина, оглянул комнату,— особенно внимательно ее темные углы—и продолжал тише, не делая усилий сохранить искусственно веселый тон.

„Протянул я ей руку и—честное слово—почувствовал на коже тяжесть взгляда ее выпуклых глаз. Долго она смотрела на ладонь мою и, наконец, говорит:

„— Осужден ты жить,—так и сказала: осужден! — Осужден ты жить долго и легко, хорошо.

„Я говорю ей: не верю в эти штучки,—предсказания, колдовство... А она:

„— Потому,—говорит,—и уныло живешь, потому и плохо тебе. А ты попробуй, поверь...

„Спрашиваю, посмеиваясь:

„— Как же это можно—попробовать верить?

„— А вот,—говорит,—остриги себе ногти и брось их в чужой огонь, но—смотри—в чужой!

„— Что значит—чужой огонь?

„— Ну,—говорит,—как это не понять? Костер горит на улице в морозный день, пожар или сидишь в гостях, а там печь топится...

„Потому ли, что умирать мне, в сущности, не хотелось,—ведь все мы умираем по нужде даже и тогда, когда нам кажется, что это решено нами свободно, или же потому, что баба эта внушила мне какую-то смутную надежду, но самоубийство я отложил, до времени. Пришел домой, остриг ногти, завернул в бумажку, ну-ко, попробую колдовство?

„Не прошло недели, как утром вспыхнул пожар на Бронной против дома, где я жил. Привязал я к ногтям моим старый гвоздь и швырнул их в огонь. Ну, думаю, готово: жертва принесена,—чем ответят мне боги? Был у меня знакомый математик, он знаменито играл на биллиарде и бил меня, как слепого. Предлагаю ему, чтоб испробовать силу колдовства: — Сыграем? — Пренебрежительно спрашивает: „Сколько очков дать вперед?"—Ничего, ни нуля.—Можете себе представить, что со мной было, когда я обыграл его! Помню—ноги дрожали от радости и точно меня живою водой спрыснуло. Стой, думаю, в чем дело? Совпадение?

„Иду к моей недосягаемой даме,—а вдруг и у нее выиграю? Выиграл, и с такой необыкновенной легкостью, что это испугало меня, да так, что я даже сна лишился. Еще одно совпадение? Живу между двух огней: между любовью первой, жадной и—страхом. По ночам вижу эту бабу: стоит где-нибудь в углу и требовательно смотрит на меня тяжелым взглядом, молча двигает бровями. Сказал возлюбленной моей, а она была, как все актрисы,—а плохие особенно,—суеверна, разволновалась страшно, ахает и убеждает: стриги ногти, следи за пожарами! Я—стригу и обрезки храню, ни на минуту не забывая, что все это глупо и что, может быть, вся штука в том, что, когда человек потерял веру в себя, ему необходимо запастись верой в какую-нибудь темную ерундищу. Но соображение это не гасит тревоги моей. Накопил я обрезков ногтей порядочно, бросил в огонь и—снова чер-

товщина: является ко мне лысенький человечек с портфелем. „У вас— говорит—в Нижнем-Новгороде померла двоюродная тетка, девица и вы единственный наследник ее". Никогда, ничего не слышал я о тетке и вообще родственниками был беден, так же, как они деньгами. Да и было их всего двое: дед со стороны матери, в богадельне, да какой-то многодетный дядя, тюремный инспектор, которого я никогда не видал. Спрашиваю лысенького: „Вы не Дьявол будете?"—Обиделся:— нет,—говорит,—я частный поверенный и тети вашей старый друг.—„А, может,—говорю,— вас старуха прислала?" —Ну, да,—говорит,—конечно, старуха, ей пятьдесят семь лет было.—Смотрю на него почти с ненавистью и предупреждаю:—платить мне за труды ваши—нечем.„—Заплатите, когда я введу вас во владение имуществом". Чрезвычайно гнусный старичок, навязчивый такой, надутый и явно презирал меня. Привез он меня сюда, и очутился я домовладельцем. Почему-то мне казалось, что получу я деревянный домик в три окна, пятьсот рублей деньгами и корову, но оказалось: два дома, магазины, склады, квартиранты и прочее. Богато. Но чувствую я себя неладно, управляет жизнью моей какая-то чужая, таинственная воля и растет у меня эдакое особенное отношение к Его Сиятельству, огню: отношение дикаря к существу, обладающему силою обрадовать и уничтожить. Нет, думаю, чорт меня возьми, этого я не хочу, нет! И начал превращать богатства мои в дым и пепел: завертелся, как пес на цепи, закутил. А ноготки стригу, храню и, на пожарах, бросаю в „чужой огонь". Не могу точно сказать вам, зачем делал это и верил ли я в колдовство, но бабищу забыть не мог и не забыл до сего дня, хотя, надеюсь, она давно уже скончалась. Одолело меня эдакое жуткое любопытство—в чем дело? Университет бросил, живу скандально, чувствую в себе эдакую беспокойную дерзость, всячески испытываю терпение полиции, силу здоровья, благосклонность судьбы. И все сходит мне с рук благополучно. Но вместе с этим кажется мне: вот кто-то придет и скажет: пожалуйте! Кто придет, куда поведет—не знаю, но—жду. Начал читать Сведенборга, Якова Беме, Дю-Преля—ерунда! Явная ерундища, даже обидно. А ночью проснусь и—жду. Чего? Вообще. Ведь если одна чертовщина возможна, почему же не быть другой, еще хуже или еще лучше? Решительно ничего не делаю в поощрение удач и удивляюсь: почему я не схожу с ума? Богатый холостяга, женщины любят, в карты играю до отвращения удачно. И даже среди друзей—ни одного негодяя, ни одного жулика, все пьяницы, но — порядочные люди. Так жил я до сорока лет, а в эти годы каждый мужчина должен пережить некий кризис,—будто бы это обязательная повинность. Жду кризиса.

„В Киеве, на контрактах, повздорил я с каким-то гонористым поляком, он меня вызвал на дуэль. Ага, вот он, кризис! Накануне дуэли пожар на Подоле, загорелись какие-то еврейские лачуги. Поехал я на пожар, бросил ногти в огонь и, мысленно, требую: чтобы завтра

убили меня или тяжело ранили, по крайней мере. Но вечером в тот же день мой поляк ехал верхом, а лошадь испугалась чего-то, сбросила поляка, он переломил себе правую руку и разбил голову. Извещает меня об этом секундант его, я спрашиваю:—как это случилось?— „Старуха какая-то бросилась под лошадь".—Старуха? Старуха, чорт вас возьми? Совпадение, дьяволы?

„Тут, первый и единственный раз в жизни, я испытал припадок какой-то бешеной истерии, и меня отправили в Саксонию, в горы, в санаторию. Там я рассказал все это профессору. „О,—говорит немец,— это интереснейший случай". И определил случай, как насекомое, полатыни. Потом он поливал меня водой, гонял по горам месяца два, толка из этих прогулок не вышло. Чувствую я себя скверно и скучаю о пожарах. Понимаете? Скучаю. О „чужом огне". И—коплю остриженные ногти. Сам внутренно усмехаюсь: ведь—ерунда же все это, дрянь и пакость. А дома я уже заложил, деньги у меня на исходе. Ну-ко, что теперь будет, думаю? Путешествую. Нюренберг, Аугсбург—скучно. Сидя в вестибюле гостиницы, бросил ногти в камин. Через день, лежу в постели, ночью, стучат в дверь: телеграмма: один из трех моих билетов внутреннего займа выиграл пятьдесят тысяч, а другой—тысячу. Помню, сидел я в постели, озирался и ругал кого-то дикими словами. Страшно было мне, как никогда, так глупо, по-бабьи страшно.

„Ну, всю эту ерундовую канитель долго рассказывать, да и однообразна она. Тридцать четыре года живу я в ней. Честное слово— я делал все для того, чтоб разориться, свернуть себе голову, но, как видите, благополучен. В конце концов я устал от этого и махнул рукою: будь, что будет!"

Ему, видимо, стало тяжко, скуластое лицо обиженно и сердито надулось, узенькие, зоркие глазки потускнели.

— И все еще бросаете ногти в огонь?—спросил я.

— Ну, а—чем же мне жить, чего ждать? Ведь должна же кончиться эта идиотская чертовщина? Или—нет? Может быть, я и не умру никогда?

Он усмехнулся и закрыл глаза. Потом, закурив сигару, глядя на конец ее, сказал негромко:

— Химия, это—химия, но все-таки в огне скрыто, кроме того, что мы знаем, нечто, чего нам не понять. И прячется огонь невероятно искусно. Так—никто не прячется. Кусочек прессованного хлопка или несколько капель пикриновой кислоты, несколько гран гремучей ртути, а между тем...

Он щелкнул языком и замолчал.

— Мне кажется,—сказал я,—что все это очень удачно объяснено вами в словах: когда нет веры в свои силы, нужно верить во что-нибудь вне себя. Вот вы и поверили...

Он утвердительно кивнул головою, но, очевидно, не понял или не слышал моих слов, потому что спросил, нахмурясь:

— Но—ведь глупо же это? Зачем ему нужны мои ногти?

Года через два он умер на улице от „паралича сердца“, как сказали мне.

Священник Золотницкий за какие-то еретические мысли тридцать лет просидел в монастырской тюрьме, кажется в Суздале, в строгом одиночном заключении, в каменной яме. В медленном течении одиннадцати тысяч дней и ночей единственной утехой узника христолюбивой церкви и единственным собеседником его был огонь: еретику разрешали самосильно топить печку его узилища.

В первых годах столетия Золотницкого выпустили на свободу, потому что он не только забыл свое еретичество, но и вообще мысль его не работала, почти угаснув. Высушенный долголетним заключением, он мало чем напоминал жителя поверхности земли, ходил по ней, низко склоняя голову и так, как будто он идет все время вниз, опускается в яму, ищет, куда бы спрятать хилое, жалобное тело свое. Мутные глаза его непрерывно слезились, голова тряслась и бессвязная речь была непонятна. Волосы бороды уже не седые, а в „прозелень“; зеленоватый, гнилой оттенок волос был ясно заметен даже на темных щеках тряпичного, старческого лица. Полоумный, он, видимо, боялся людей, но из боязни перед ними скрывал это. Когда с ним заговаривали, он поднимал сухонькую, детскую руку так, как будто ждал удара по глазам и надеялся защитить их этой слабой, дрожащей рукою. Был он тих, говорил мало и всегда вполголоса, робко, шелестящими звуками.

Он вышел из тюрьмы огнепоклонником и оживлялся только тогда, если ему позволяли разжечь дрова в печке и сидеть перед нею. Усаживаясь на низенькой скамейке, он любовно зажигал дрова, крестил их и ворчал, тряся головою, все слова, какие уцелели в памяти его:

— Сущий... Вечный огонь. Иже везде сый. Попаляяй грешные...

Тыкал горящие поленья коротенькой кочергою, качался, как бы готовясь сунуть в огонь голову свою; воздух тянул в печь зеленые, тонкие волосы его бороды.

— Всесилен есть. Никому же подобен. Лик твой да сияет во веки веков. И бегут... Тако да бегут... От лица огня... Яко дым от лица огня... Тебе хвала, тебе слава, купина...

Его окружали сердобольные люди, искренно изумляясь и тому, до чего можно замучить человека, и тому, как все-таки живуч и вынослив человек.

Велик был ужас Золотницкого, когда он увидал электрическую лампочку, когда перед ним таинственно вспыхнул белый, бескровный огонь, заключенный в стекло.

Старик, присмотревшись, замахал руками и жалобно стал бормотать:

— И его—ох,—и его... Почто вы его? Не дьявол ведь! Ох,—почто?

Долго не могли успокоить старого узника; из его мутных глаз текли маленькие слезинки, весь он дрожал и, горестно вздыхая, уговаривал окружающих:

— Ой, рабы божие...—почто? Лучик солнечный в плен ввергли... Ох, людие! Ох, побойтесь гнева огненного...

И дрожащей сухонькой рукою он осторожно дотрагивался до людей, всхлипывал:

— Ой, пустите его...

...Мой патрон А. И. Ланин, войдя в кабинет, сказал раздраженно и устало:

— Был в тюрьме, у подзащитного, оказался такой милый, тихий парень, но—обвиняется в четырех поджогах. Обвинительный акт составлен убедительно, показания свидетелей тяжелые. А он, должно быть, запуган, очумел, молчит. Чорт знает, как я буду защищать его...

Через некоторое время, сидя за столом и работая, патрон, взглянув в потолок, сердито повторил:

— Наверное, парень не виновен...

А. И. Ланин был опытный и счастливый защитник, он красиво и убедительно говорил на суде; раньше я не замечал, чтоб судьба подзащитного особенно волновала его.

На другой день я пошел в суд. Дело о поджоге слушалось первым. На скамье подсудимых сидел парень лет двадцати, в тяжелой шапке рыжеватых, кудрявых волос. Очень белое, „тюремное" лицо, широко-раскрытые серо-голубые глаза, золотистые чуть намеченные усики и под ними ярко-красные губы. Серый халат обидно искажает парня, его хочется видеть в малиновой рубахе, плисовых шароварах, в сапогах „с набором", с гармоникой или балалайкой в руках. Когда председательствующий В. В. Бер или обвинитель обращаются к подсудимому с вопросами, он быстро вскакивает и, запахивая халат, отвечает очень тихо.

— Громче,—говорят ему.

Он откашливается, но говорит все так же тихо. Это сердит судей, сердит присяжных. В зале скучно и душно, мотылек бьется о стекло окна, и этот мягкий звук усиливает скуку.

— Итак, вы не сознаетесь?

Перед судьями длинный, одноглазый старик, лицо у него железное, от ушей с подбородка висят прямые седые волосы. На вопрос: чем он занимается?—старик глухо, могильно отвечает:

— Христа ради живу...

Потом, склонив голову на бок, он гудит:

— Шел я из города, сильно запоздамши, солнышко давно село, и подхожу к ихой деревне, и вот светится маленько в темноте-то, да вдруг—как полыхнет...

Обвиняемый сидит, крепко держась за край скамьи, и приоткрыв рот, внимательно слушает. Взгляд его странен, светлые глаза сосредоточенно смотрят не в лицо свидетеля, а в пол, под ноги его.

— Я—бежать, а он—чешет...

— Кто?

— Огонь, пожар...

Обвиняемый качнулся вперед и спросил неожиданно громко, с явным оттенком презрения, насмешки:

— Это когда же было?

— Сам знаешь, когда,—ответил нищий, не взглянув на него, а парень встал, строго нахмурив брови и говоря суду:

— Врет он; с дороги из города не видать того места, где загорелось...

В него вцепился обвинитель, остроносенький товарищ прокурора; взвизгивая, он стал кусать парня вопросами, но тот снова отвечал тихо, неохотно, и это еще более восстановило суд против него. Так же неясно, нехотя обвиняемый отвечал и на вопросы защитника.

— Продолжайте, свидетель,—предложил Бер.

— Бегу, а он прыг через плетень прямо на меня.

Парень усмехнулся и что-то промычал, двигая по полу ногами в тяжелых „котах" арестанта.

Нищего сменил толстый мужик; быстро и складно, веселым тенорком он заговорил:

— Давно у нас догадка была на него, хоша он и тихий, и не курящий, ну, заметили мы, однако: любит баловать с огнем...

— Еду я из ночного, облачно было, вдруг у шабра на гумне—ка ак фукнет, вроде бы из трубы выкинуло...

Обвиняемый, толкнув локтем солдата тюремной команды, вскочил на ноги и отчетливо, с негодованием почти закричал:

— Да—врешь ты! Из трубы,—эх! Что ты знаешь? Чать, не сразу бывает—фукнуло, полыхнуло! Слепые. Сначала—червячки, красные червячки поползут во все стороны по соломе, а потом—взбухнут они, собьются, скатятся комьями, вот тогда уж и полыхнет огонь. А у вас—сразу...

Лицо его покраснело, он встряхивал головою и сверкал глазами, очень возбужденный, говоря поучительно и с большой силою. Судьи, присяжные, публика—все замерли, слушая. А. И. Ланин, привстав, обернулся к подзащитному и удивленно смотрел на него. А он, разводя руки кругами и все шире, все выше поднимая руки, увлеченно рассказывал:

— Да—вот так, да—вот так и начнет забирать, колыхается, как холст по ветру. В это время у него повадка птичья, тут уже его не схватишь, нет! А сначала—червяки ползут, от них и родится огонь, от этих красных червячков, от них—вся беда! Их и надо уследить. Вот их и надо переловить, да—в колодцы. Переловить их—можно!

Надо поделать сита, железные, частые, как для пшеничной муки, ситами и ловить, да—в болото, в реки, в колодцы! Вот и не будет пожаров. Сказано ведь: упустишь огонь—не потушишь. А—они, как слепые все равно, врут...

Ловец огня тяжело шлепнулся на скамью, потряс головою, приводя в порядок растрепавшиеся кудри, потом высморкался и шумно вздохнул.

Судебное следствие покатилось, как в яму. Подсудимый сознался в пяти поджогах, но озабоченно объяснил:

— Быстры они больно, червячки-то, не устережешь их...

В. В. Бер скучно сказал обычную фразу:

— Ввиду полного сознания подсудимого...

Защитник возбудил ходатайство о психиатрической экспертизе, судьи пошептались и отказали ему. Обвинитель произнес краткую речь. Ланин говорил много, красноречиво, присяжные ушли и через семь минут решили:

— Виновен...

Задумчиво выслушав суровый приговор, осужденный, на предложение А. И. Ланина обжаловать решение суда, сказал равнодушно как будто все это не касалось его:

— Ну, что ж, пожалуйтесь, можно...

Солдат, вкладывая саблю в ножны, что-то шепнул парню, парень, резким движением запахнув халат, ответил громко:

— Я ж говорю: как слепые...

В 93-м или 4-м году за Волгой, против Нижнего-Новгорода, горели леса,—огонь охватил сотни десятин. Горький опаловый дым стоял над городом, в дыму висело оранжевое солнце, без лучей, жалкое, жуткое; особенно неприятно было видеть, как тусклое отражение ощипанного солнца колеблется в мутной воде Волги, как бы нехотя опускаясь на грязное дно ее.

Луга за Волгой окрасились в бурый цвет, в городе тоже все краски поблекли. В дымной, чадной мгле все звучало глуше, сады обеднели пчелами, бабочками, и даже неукротимо бойкие воробьи стали тише чирикать, медленней летать.

Тяжело было смотреть, как за Волгой снижается обесцвеченное солнце, уходя в землю, а пышных красок вечерней зари—нет. По ночам из города видно: над черною стеной дальнего леса шевелит зубчатым хребтом огненный дракон, ползет над землей и дышит в небо черными облаками, напоминая Змея Горыныча древних сказок.

Дым наполнял улицы, просачивался в комнаты домов, город превратился в коптильню людей. Ругаясь, кашляя, люди, по вечерам, выходили на крутой берег реки, на „Откос“ и, глядя на пожар, ели мороженое, пили лимонад, пиво, убеждая друг друга, что это мужики подожгли леса. Кто-то мрачно сказал:

— Первая репетиция пьесы „Гибель земли".

Знакомый поп, глядя в даль красными глазами пьяницы, бормотал:

— Апокалипсическая штучка... а, пока, выпить надо...

Шутки казались неуместными, очень раздражали, и все, что говорилось в эти мутные, удушливые дни, как-то особенно едко обнажало нищету и скуку обыденной жизни.

Пехотный офицер, мечтатель, сочинявший „Ботанику в стихах для девиц среднего возраста", предложил мне ехать с ним на пожар,— там работала часть солдат его роты. Мы поехали душной ночью на паре обозных лошадей, паром перевез нас в село Бор, и сытые лошади, сердито фыркая, побежали по песчаной дороге в чадную мглу. Недвижимо обняв тихие поля, она кутала дали серой кисеей, сквозь нее медленно пробивался скучный рассвет, и, чем ближе к лесам подъезжали мы, тем более голубел дым, горько царапая горло, выедая глаза.

Солдат на козлах громко чихал, а офицер, протирая пенснэ, покашливая, хвастал красотою своих стихов, отважно рифмуя гелиотроп и гроб.

Трое мужиков с лопатами и топорами уступили нам дорогу; пехотный поэт крикнул им:

— Где работает воинская часть?

— Не знаем...

Солдат, придержав лошадей, спросил:

— Где тут солдаты?

Мужик в красной рубахе указал топором влево от дороги:

— А эвон...

Через несколько минут мы подкатились к перелеску; в густой чаще ельника и сосняка возились люди в белых рубахах, подбежал фельдфебель и, козыряя, отчеканил, что все благополучно, только чувашин обжегся немного. Затем он „осмелился доложить", что, по его разуму, работать здесь бесполезно.

— Место погибшее, огонь идет верхом, полукольцом, сожжет клинушек этот, а дальше ему есть нечего, сам погаснет...

И—указав длинной рукою вправо, предупредил:

— А там—торфяник, сухое болотце, там огонь низом ползет сюда. Люди беспокоятся...

Офицер тоже обеспокоился, видимо, не зная, как нужно распорядиться, но тут из леса медведем выломился большой, бородатый мужик, с палкой в руке, с медной бляхой на груди, снял шапку, осеянную пеплом, и замер, глядя на офицера немым взглядом синих глаз.

— Староста?

— Так точно.

— Ну, что?

— Горит.

— Надо бороться с огнем,—посоветовал офицер.—Лес—наше богатство. Да... Лес, это, брат, не просто деревья, а—общество разумных существ, как, например, ваше село...

— У нас—деревня...

По земле, под ногами у меня темной, кружевной полосою ползли муравьи, обегая навозного жука; он поспешно катил свой шарик. Я пошел посмотреть, откуда переселяется муравейник. Странный хруст колебался вокруг, некто невидимый шел рядом со мною, приминая траву, шелестя хвоей. И в движении ветвей было что-то неоправданное, непонятное.

Сзади меня очутился староста, жалуясь:

— Третьи сутки гуляю. Начальство будете? А-а, поглядеть желательно? Это—ничего! Идемте, я вас на холмик провожу, недалеко тут, с него хорошо видать...

Песчаный холм осеняли десятка два мощных сосен, кроны их, точно чаши, были налиты опаловой мутью. Перед холмом, в котловине, рассеянно торчали чахлые елки, тонкоствольные березы, серебристая осина трепетала пугливо; дальше деревья соединялись все плотнее, и между ними возвышались сосны, покрытые по бронзовым стволам зеленоватой окисью лишаев.

У корней деревьев бегали, точно белки, взмахивая красными хвостами, веселые огни, курился голубой дымок. Было хорошо видно, как огонь, играя, влезает по коре стволов, извивается вокруг них, прячется куда-то, а вслед за ним ползут золотые муравьи, и зеленоватые лишаи становятся серыми, потом чернеют. Вот снова откуда-то выбежал огонь, грызет порыжевшую траву, мелкий кустарник и—прячется. И вдруг между корней кружится, суетится целая толпа красных бойких зверков.

Опираясь руками на палку, староста ворчит:

— Наши там... спаси бог...

Людей не видно, но сквозь хруст, шорох и отдаленный глухой вой, доносились из леса дробные удары топоров, гулкое уханье и тяжкий, скрипучий шум падения деревьев. Темненьким комочком подкатилась под ноги мне полевая мышь, белым мячом мелькнул по болоту зайченок.

А щебета птиц не слыхать, хотя леса Заволжья богаты певчей птицей. И—ни пчел, ни шмелей, ни ос в тяжелом воздухе, в синеватой, опьяняющей, жаркой мгле. Было грустно видеть, как зеленое мертво сереет или покрывается рыжей ржавчиной, и, часто, не вспыхнув огнем, листья осины сыплются на землю пепельными бабочками, жалобно обнажая тонкие ветви. Но иногда лист, иссушенный жарою, вдруг весь вспыхнет и осыпается сотнями желтых и красных мотыльков. Я видел, как нижние лапы пышных елей, там, далеко, быстро теряют бархатный, темно-зеленый лоск, рыжеют, ржавеют и, сразу озолотясь, брызгают во все стороны густым дождем красноватых искр, похожих на запятые. Вот искры с легким, веселым треском дружно взвились вверх, осеяв всю пирамиду елки, взвились, исчезли, а дерево стало черным, и лишь кое-где на концах голых веток мелькают малень-

кие, желтые цветы огней. Вот еще так же быстро расцвела и погибла ель, еще и еще... Что-то прозвучало, лопнув, как гнилое яйцо, и по болоту, извиваясь, поползли во все стороны красно-желтые змеи, поднимая из травы острые головки, жаля стволы деревьев. Быстро желтел мелкий березовый лист, когда по белому стволу, по смолистым стружкам коры гибко вползал огонь, ветви курились синим дымом, удивительно красиво вились, тихонько посвистывая, его тонкие струйки. И в тихом свисте горения, казалось, звучат начала каких-то песен, странных и глубоких.

Непобедимо влекло вперед, ближе и ближе к огню. Староста ахал и тоже незаметно спускался с холма, помахивая палкой, восклицая:

— А, господи, чудеса твои... ах ты, господи!

Гул в лесу вдруг замолк, его сменил тревожный волчий вой:

— У-у-у...

— Побежали,—сказал староста, прислушиваясь, хмурясь. И—точно: слева от нас, далеко, в деревьях замелькали фигуры людей; их словно выбрасывало из леса, так быстро выскакивали они. А справа, на болоте, явилось два солдата, в сапогах, серых от пепла, в рубахах, без поясов; они вели коротконогого мужика, держа его под руки, как пьяного. Мужик фыркал и плевался, кропя встрепанную бороду и разорванную рубаху свою брызгами крови; нос и губы у него были разбиты, а неподвижные, точно слепые глаза улыбались жалкой ребячьей улыбкой.

— Куда это вы его?—строго спросил староста.

Солдат татарин, добродушно ухмыляясь, ответил:

— Поджог делал, огонь тащил место на местам!

Его товарищ сердито добавил:

— Поджигал, мы видели! Раздувал.

— Ну-у, видели, как-жа-а! Закуривал я...

— Нам за вами приказано глядеть, а он зажег ветку и подкладывает.

— Ну-у, ка-ак-жа-а! Зажег! К сапогу пристала...

Солдат ударил мужика по шее.

— Нет, погоди, ты не бей,—внушительно сказал староста.—Этот—наш мужик. Этот мужик, я тебе скажу,—не в разуме...

— Сади его на цепь...

Сердито, но неохотно заспорили, а по болоту кружились огни, встречая мужиков, бежавших из лесу. Человек семь, тяжело подпрыгивая, направлялось к нам, вот они подбежали и свалились на песок у холма, кашляя, хрипя, ругаясь:

— Чуть не захватило...

— Птицы сколь погибло...

При виде злых, измученных мужиков солдаты стали миролюбивее и, оставив избитого ими, ушли сквозь теплый дым,—он становился

синее и все более едким. По болоту хлопотливо бегали огоньки, окружая стволы деревьев, блекла и скручивалась, желтея, листва ольхи и берез, шевелились лишаи на стволах сосен, превращаясь во что-то живое, похожее на пчел.

На холме стало жарко, трудно дышать, мужики, передохнув, один за другим уходили в чащу, выше, на холм; староста угрюмо журил избитого:

— Завсегда у тебя скандал, Микита. Ни пожар, ни крестный ход, ничего тебе не скушно...

Мужик молчал, ковыряя черным пальцем передние зубы.

— И верно, что на цепь тебя сажать надобно...

Вынув палец изо рта, мужик крепко вытер его подолом рубахи. Он ворочал головою, неподвижные глаза его шарили по болоту, следя за струйками дыма. Все болото курилось, всюду из черной земли возникали голубые и сизые кудри дыма. И везде, вслед за ними, из торфа, острым бугорком выскакивал огонь, качался, кланялся, исчезал, на месте его являлось красновато-золотое пятно, и во все стороны от него тянулись тонкие, красные нити, сами собою связываясь в узлы новых огней.

Вдруг у подножия холма вспыхнул неопалимой купиною куст можжевельника, староста, взмахнув палкой, попятился.

— Ишь ты, как... Уходить надо отсюдова...

И, тяжело шагая по песку между сосен, он ворчал:

— Хожу, вот, а—чего хожу? Что может сделать человек против такого огня? А своя работа стоит! Может, не мене тыщи людей время теряют эдак-то, вот...

Спустились по зарослям кустарника в лощину; на дне ее тускло блестел ручей, дым здесь осел гуще, и даже ручей казался густою струей дыма. Поднялась из травы куропатка и камнем упала в кусты, быстро прополз маленький ужишко, а за ним к ручью скатился комком еж.

— Догонит,—сказал Никита и быком, наклоня голову, полез сквозь кусты.

— Ты, гляди, не дури,—крикнул ему староста и, с бока, осторожно взглянув на меня, заговорил:—Не в разуме маленько он. Троекратно горел, ну, и того... Солдаты, конечно, хвастают, поджогами он не занимается, ну, все-таки, разум свихнулся, к озорству тянет...

Дым выедал глаза, они заливались слезами, крепко щекотало в носу и было трудно дышать. Староста громко чихнул, озабоченно оглянулся, помахивая палкой.

— Скажи на милость, куда его метнуло!

Впереди нас по можжевельнику, в лощину воробьиными прыжками спускались огоньки, точно стая красногрудых снегирей, в траве бойко мелькали остренькие крылья, кивали и прятались безмолвно птичьи головки.

— Микита?—крикнул староста и прислушался. Был слышен сухой хруст, предостерегающее шипение и тихонький свист. Где-то, очень далеко, шумели люди.

— Пес,—сказал староста.—Не сгорел бы. Ему огонь—как пьянице вино. Где пожар—он первый бежит, сломя голову. Прибегет, вытаращит глаза и стоит, как, все равно, гвоздями пришитый к земле. Ни помочь людям, ничего, стоит и стоит, ухмыляется. Бивали его за это. Прогонят с одного места, он на другом приклеится. Полонен огнем...

Оглядываясь назад, я видел, что огни, спускаясь все ниже, торопятся поспеть вслед за нами, а вода ручья, кое-где покраснев, светится золотом.

— Мики-ита-а?

Встречу нам, лесом, бежал кто-то; староста остановился, протирая слезящиеся глаза; из-за деревьев выскочил парень без рубахи, она была наверчена на голове его чалмою.

— Куда гонишь?

Сильно двигая ребрами, отмахивая рукою назад, парень задыхался, бормотал:

— Там все разбежались... верхом пошло... не ходите туда. Сразу настигло... Ух, испугался я, господи...

— Ну, куда же тут итти?—сам себя спросил староста.—Айда-те прямо, что ли! Не знаем мы этот лес, зря согнали нас сюда. Плутай тут, а—какой толк? Только одним живешь, как бы от начальства укрыться.

Он говорил все более озлобленно:

— Житье! Утопленник ли, покойника ли, жертву убийства, найдут где, на дороге, лес ли горит,—на всякий этот случай требуется мужик. А у него—свое дело! Он чего требует? Одного: дайте ему спокой жизни. Боле—ничего... Микита-а? Чорт бы те драл...

Пройдя с версту редким, молодым сосняком, мы вылезли на поляну; на ней сидело и лежало полсотни мужиков; несколько баб принесли на коромыслах ведра квасу, хлеб. Увидав старосту, люди хором завыли:

— Долго мы тут дым глотать будем? Работа у нас...

Синеватые дымки ползали в траве, гладили заступы, топоры. Сверху дождем сыпался мелкий серый пепел, невидимый в опаловой мгле; от него посерели бороды мужиков, посерела трава, и широко распростертые лапы сосен покрылись как бы пенькою. Это был верный признак, что пожар идет верхом.

— Убирайсь отсюдова!—командовал староста.—Иди в поле...

Мужики тяжело поднялись и, покрикивая друг на друга, на баб, пошли просекой в бесконечную серую дыру.

Вплоть до ночи бродил я с ними по лесу и полю; вокруг нас воинственно гарцовали на сытых лошадях двое урядников, бестолково перегоняя толпу с места на место. Один из них, черненький, бойкий, размахивая нагайкой, кричал:

— Дьяволы, небойсь, как бы ваше горело...

Вечером я лежал в поле на сухой, жаркой земле,—смотрел, как над лесом набухает, колеблется багровое зарево и Леший кадит густым дымом, принося кому-то обильную жертву. По вершинам деревьев лазили, перебегали красные зверки, взмывали в дым яркие, ширококрылые птицы, и всюду причудливо, волшебно играл огонь, огонь...

А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный вид: синяя стена его выросла выше, и в глубине ее, между черных стволов, безумно заметались, запрыгали красные, мохнатые звери. Они припадали к земле до корней и, обнимая стволы, ловкими обезьянами лезли вверх, боролись друг с другом, ломая сучья, свистели, гудели, ухали, и лес хрустел, точно тысячи собак грызли кости.

Бесконечно разнообразно строились фигуры огня между черных стволов, и была неугомима пляска этих фигур. Вот, неуклюже подпрыгивая, кувыркаясь, выкатывается на опушку леса большой, рыжий медведь и, теряя клочья огненной шерсти, лезет, точно за медом, по стволу вверх, а достигнув кроны, обнимает ветви ее мохнатым объятием багровых лап, качается на них, осыпая хвою дождем золотых искр; вот зверь легко переметнулся на соседнее дерево, а там, где он был, на черных, голых ветвях зажглись во множестве голубые свечи, по сучьям бегут пурпуровые мыши, и, при ярком движении их, хорошо видно, как затейливо курятся синие дымки и как по коре ствола ползут, вверх и вниз, сотни огненных муравьев.

Иногда огонь выползал из леса медленно, крадучись, точно кошка на охоте за птицей, и, вдруг, подняв острую морду, озирался—что схватить? Или вдруг являлся сверкающий, пламенный медведь-овсяник и полз по земле на животе, широко раскидывая лапы, загребая траву в красную, огромную пасть.

Выбегала из леса толпа маленьких человечков в желтых колпаках, а вдали, в дыму, за ними шел кто-то высокий, как мачтовая сосна, дымный, темный, шел размахивая красной хоругвью, и свистел. Прыжками, как заяц, мчится куда-то из леса красный ком, весь в огненных иглах, как еж, а сзади его машет по воздуху дымный хвост. И по всем стволам на опушке леса ползают огненные черви, золотые муравьи, летают, ослепительно сверкая, красные жуки.

Воздух все более душен и жгуч, дым—гуще, горячей, земля все жарче, сохнут глаза, ресницы стали горячими, и шевелятся волосы бровей. Сил нет лежать в этой жгучей, едкой духоте, а уйти не хочется: когда еще увидишь столь великолепный праздник огня? Из леса, горбато извиваясь, выползает огромная змея, прячется в траве, качая острой башкой, и вдруг пропадает, как бы зарываясь в землю.

Я съеживаюсь, подбираю ноги, ожидая, что змея сейчас появится где-то близко, это она меня ищет. И жуткое сознание опасности опьяняет, мучает еще более остро, чем жара, дым.

...Облака на западе грубо окрашены синим и рыжим. В жемчужном небе, над мохнатой ватагой ельника, повис истаявший, почти прозрачный, обломок луны. Ельник разбрелся по болоту, дошел до горизонта и сбился в темную кучу,—там ему грозит красным каменным пальцем труба фабрики.

В полдень пролил обильный дождь, а потом, вплоть до вечера, землю сушило знойное солнце; теперь земля сыра, воздух влажно душен. Болото вспухло скукой; скука тоже влажная, потная.

Фельдшер Саша Винокуров ходит медведем, на четырех лапах, по холму, засеянному рожью, ставит сеть на перепелов, а я лежу под кустом калины и думаю вслух:

— Хорошо бы начать жизнь с начала, лет с пятнадцати...

Продолжая беседу, Саша говорит жирным шопотом:

— Существующая обстановка жизни—никому не нравится.

Он скатился с холма под куст ко мне, вытер испачканные грязью ладони о голенища сапог и осматривает „манки"—перепелиные дудки. По лбу его, на лысину, вздымаются волнистые морщины, глаза округлились, точно у рыбы.

Он—интересный. Сын судейского чиновника, он, „не в силах поднять тяжесть гимназической науки и гонимый варварством отца", убежал из дома, года два путешествовал по тюрьмам и этапам, как безымянный бродяга, затем „измученный до потери памяти даже о том, чего нельзя забыть", возвратился к отцу, „был сунут, как мертвая мышь в муравьиную кучу", вольноопределяющимся в пехотный полк и попал в школу военных фельдшеров. Отслужив положенный срок в солдатах, семь лет плавал на пароходах „Добровольного флота" и —

— Пил всемирные алкогольные напитки, не потому, что пьяница, а—надо чем-нибудь заявить людям об оригинальности характера! Пил в таком количестве, что на меня приходили смотреть даже англичане. Стоят истуканами, пожимают плечами, улыбаются, им—лестно: вот это—потребитель! Есть для кого джин и виски делать. Один даже намекнул мне: „А вы,—говорит,—не пробовали ванну брать из виски?". А, впрочем, англичане хороший народ, только язык у них хуже китайского...

„Незаметно для себя очутился я в Персии, женатым на горничной английского купца; очень милая женщина, но — оказалась пьяница, а может быть, что я ее споил. Через два года она скончалась от холеры, а я перебрался в самый безобразный город на свете, в Баку, потом—сюда, в этот лягушатник. Тоже—город, чорт его раздери на тонкие полоски.

— Саша,—прошу я,—расскажите, как вы путешествовали в Китай?

— Путешествуют обыкновенно: садятся на пароход, остальное — дело капитаново, — говорит он, разбирая дудки.—А капитаны—все пьяницы, ругатели и драчуны, таков закон их природы. Дайте папиросу!

Зажег папиросу, понюхал одной ноздрею струйку дыма.

— Табачок—легковейный, пур ля дам.

Винокурову за пятьдесят, но это человек крепкий. Его солдатское, деревянное лицо освещают ясные глаза; взгляд их спокоен,—взгляд человека, который много видел, отвык удивляться и чужд тревог. Смотрит он как-то через людей, мимо их, относится к ним снисходительно, немножко по-барски. Он не занимается медициной.

— Догадался, что медицина—наука слепая.

У него в городе: „Кефирное заведение и торговля болгарской сывороткой с доставкой на дом по способу И. Мечникова".

— Расскажите что-нибудь,—настаиваю я.

— Удивляюсь вашей ненасытности! И куда вы складываете всю эту труху слов людских? Что же рассказать?

— Что видели.

— Н-ну-у! Это—на год. Видел я все, что полагается, все препятствия. Почему—препятствия? А—как это назвать? Отвалит пароход от пристани, перекрестишься, ну, везите, куда назначено. И плывешь день, ночь, день, ночь, кругом—пустота моря и небес, а я человек спокойный, мне это нравится. Однако—гудок, значит: приехали куда-то. Остановка эта и кажется препятствием. Как будто: шел ночью и вдруг наткнулся на забор.

„Ну-у, тотчас на палубе зачинается истерическая суета этих бесподобных пассажиров. Пассажиры—совершенно особенный тип народа, самый бессмысленный тип. Человек в море, на палубе судна, приобретает смешную детскость, не говоря о том, что почти всех унизительно тошнит. И вообще—в море замечаешь, что человек еще больше пустяк, чем на суше,—в этом я и вижу поучительное достоинство морских путешествий. В заключение же прямо скажу: на поверхности земли и воды нет ничего хуже пассажиров.

„Для бездельника—везде скучно, а на морях скука особенно ядовита, пассажиры же по натуре своей все бездельники. От скуки они даже сами себя теряют до того, что, несмотря на высокий чин, ордена, богатство и прочие отличия, обращаются с кочегаром как с равным себе; я самолично наблюдал такой случай. Как собаки на овсянку, бросаются они к бортам наслаждаться окрестностями чужих берегов. Пожалуйста, наслаждайся, но—не суетись! Однако у них немедленно начинается топот ног и разногласие: ах смотрите, ах поглядите! Между прочим—смотреть не на что: все вполне обыкновенно: земля, постройки, люди меньше мышей. И всегда в этот час разыгрывается какая-нибудь несчастная случайность: в Александрии проклятая горничная растяпала у меня драхмовую склянку ацидум карбоникум, конечно, запах по всему первому классу, помощник капитана обрушил на меня такие слова, что какая-то дама в раздражении чувств подала жалобу капитану, но по ошибке тоже на меня. Или, например: прищемило девочке палец амбулаторной дверью, а папаша ее тычет мне

палкой в селезенку, потому что он дипломат. И все в этом роде: неожиданно и глупо.

„Кратко говоря—на этом земноводном шаре я не видел ничего необыкновенного; везде одинаково оскорбляют и словом, и действием; особенно прилежно на азиатском полушарии, но и на других тоже... Два полушария говорите? Я считаю это ошибкой умозрения: если, взглянув на дело строго практически, резать этот шар наш по линии любого градуса от полюсов, то мы обязательно получим столько полушариев, сколько имеем градусов, а можно и больше. Дайте папироску!

Закурив, прищурясь, он сказал:

— Курить не следовало бы, перепел дыма не любит.

И продолжал спокойно, вполголоса:

— Изредка бывают случайности интересные, но для спокойствия души лучше, чтоб их не было. Например: в Китайском море,—есть и такое, хотя от других морей ничем не отличается,—так вот: идем мы этим самозванным морем в Гонконг с большим опозданием, и ночью, в кромешной тьме, замечен был вахтой необыкновенный огонь. Я, младший помощник капитана, боцман и буфетчик играли в преферанс, вдруг слышим:

„— Пожар на море...

„Конечно—пошли смотреть, даже не доиграв пульку. Когда люди находятся в долгом плавании, то всякие пустяки возбуждают их интерес, даже на дельфинов смотрят с удовольствием, хотя несъедобная рыба эта похожа на свинью, в чем и заключается весь комизм случая. Итак—наблюдаю: обыкновенная, душная ночь, жарко, точно в бане, небеса покрыты черным войлоком и такие же мохнатые, как это море. Разумеется—кромешная тьма, далеко от нас цветисто пылает небольшой костерчик и, так, знаете, воткнулся остриями огней и в небо и в море, ощетинился как, примерно, еж, но—большой, с барана. Трепещет и усиливается. Не очень интересно, к тому же мне в картах везло.

„У людей, как я заметил, есть эдакое идольское пристрастие к огню. Вы тоже знаете, что высокоторжественные царские дни, именины, свадьбы и другие мотивчики человеческих праздников,—исключая похороны,—сопровождаются иллюминациями, игрою с огнем. Также и богослужения, но тут уже и похороны надо присоединить. Мальчишки даже и летом любят жечь костры, за что следует мальчишек без пощады пороть во избежание губительных лесных пожаров. В общем скажу, что пожар—зрелище любезное каждому, и все люди стремглав летят на огонь, подобно бабочкам ночным. Бедному приятно, когда богатый горит, и у всякого зрячего человека есть свое тяготение к огню, это известно.

„Пассажиры выметнулись на палубу и, наслаждаясь зрелищем, ведут легкий спор: что горит? Как будто им неизвестна очевидность— в море могут гореть только суда различных наименований, среди таких обширных вод все другие человеческие постройки невозможны, как

это понятно даже и глухонемому ребенку. Удивительно, что пассажиры не понимают простого: обилие лишних слов не может способствовать рассеянию скуки жизни.

„Ну-у, я скромно слушаю оживленный разговор заинтересованных зрелищем и—вдруг женский возглас:

„— Но ведь там должны быть люди.

„Я даже усмехнулся: какое легкомыслие! Само собою понятно, что ни одно судно не может выйти в море без людей, а она только сейчас догадалась об этом. И снова кричит:

„— Их нужно спасти!

„Начался спор: одни соглашаются—нужно, другие, поделовитее, указывают, что мы и без этого идем с опозданием. Но дама оказалась женщиной навязчивой и бойкой,—после я узнал, что она ехала из Карса в Японию, к сестре, которая была замужем, при посольстве, а также по причине туберкулеза легких,—так, говорю, оказалась она весьма назойливой,—требует спасения погибающих людей и подбивает пассажиров послать капитану депутацию, просить его о помощи горящему судну. Ей основательно возражают, что может быть судно китайское, и люди на нем — тоже китайцы, но это нисколько не успокоило ее, наоборот: истерическим визгом она довела каких-то троих до того, что они отправились просить капитана и, хотя он опирался на опоздание, доказали ему, что будто есть морской закон о подаче помощи в несчастиях и даже пригрозили составить протокол.

„К полному торжеству забияки, капитан изменил курс и потёпали мы по мохнатому морю, по кочкам волн, в кромешную тьму, на огонь этот. Команда, серчая, трудится, готовясь спустить шлюпки; подъехали мы близко, видим: горит дряненькое китайское суденышко о двух мачтах, около него ныряют две лодочки с людьми, орут люди, воют, а на горящем судне, на носу его, стоит высокий, тонкий человек; стоит и стоит. Огонь полышет совершенно серьезно, корма уже вся в огне, мачты—как свечи, даже на кубрике хлещет пламя, а человечек этот, точно часовой—недвижим. Видно его очень прозрачно.

„Наша команда приняла людей из лодки, — было их семь человек, из другой лодки трое, от преждевременного страха, бросились в воду, все утонули. Спасенные объявили, что на судне остался хозяин их и желает погибнуть вместе с имуществом. Матросы наши очень звали его: прыгай, чорт, в воду! Но—ведь не арканом же его тащить? Возиться с его упрямством было некогда, капитан пронзительно свистит. В самые те минуты, когда огонь охватил носовую часть судна, видел я очень прозрачно, как этот азиат запрыгал, вдруг весь вспыхнул огнем, схватился за голову руками и нырнул в огнище, словно в омут.

„Но суть случая, конечно, не в поведении китайца,—народ этот совершенно равнодушен к себе по причине своей многочисленности и тесноты населения; они даже до того дошли, что, в случаях особо

заметного избытка людей, жеребий бросают: кому умирать? И жеребьевые умирают вполне честно. Когда же у них в семье родится вторая девочка, так ее швыряют в реку: больше одной девицы на семью не выносят они.

„Но суть, говорю, не в них, а в поведении этой чахоточной дамы, кричит она капитану, почему он не приказал погасить огонь на судне? Он ей внушает:

„— Сударыня, я не пожарный!

„А она кричит:

„— Но ведь погиб человек!

„Ей объясняют, что это очень обыкновенный случай даже и на суше, а она—свое:

„— Знаете ли вы, что̀ такое человек?

„Конечно—все насмешливо улыбаются.

„А она, как собачка комнатная, прыгает на всех и верещит:

„— Человек, человек...

„Зрители, обижаясь, отходят от нее, тут—она к борту и плакать. Подошел к ней один сановник, так сказать—вельможа,—забыл я имя его!—и внушительно предложил успокоиться:

„— Сделано,—сказал,—все, что можно было сделать...

„Но она с ним обошлась невежливо.

„Тогда я говорю ей совершенно почтительно:

„— Сударыня, позвольте предложить вам валерьяновых капель...

„Она, не глядя на меня, шепчет:

„— О, идиоты...

„Признаюсь, что, несмотря на мою скромность, это обидело меня. Но, все же, как можно деликатнее говорю:

„— Сударыня, скандал, вызванный благородством вашего сердца, возмущает и мое...

„Но и деликатность мою отвергла она,—кричит стремительно прямо в нос мне:

„— Уйдите прочь!..

„Ну, тут я, разумеется, отошел, великодушно оставив пред нею рюмку с эфирно-валериановыми каплями. Встал в сторонку, слушаю, как она сморкается, хлюпает. Стою и чувствую: есть что-то очень обидное для меня в этих слезах о неизвестном китайце. Не может же быть, чтобы она всегда искренно плакала обо всех погибающих на ее глазах от разных причин. В Сингапуре сотни индийцев от голода издыхали,—никто из наших пассажиров слез не проливал. Положим, это—чужой народ, но, однако, на моих глазах десятки наших, русских матросов, портовых рабочих и других людей рвало, ломало, давило при полном равнодушии пассажиров, если не считать страха и содрогания нервов от непривычки видеть обильную кровь.

„Думал я, думал по поводу этого случая с женщиной, неприятно много думал, но так ничего и не решил...

Винокуров подергал свои усы, прислушался, потом сердито сказал:

— Подозреваю в этом поступке бесполезность.

Ночь. В мутно-синем небе тусклые звезды. Обломок луны куда-то исчез. Низенькая, тощая ель недалеко от нас, потемнев, стала похожа на монаха.

Саша Винокуров предлагает итти в сторожку лесника и там подождать до рассвета, когда проснутся перепела. Идем. Тяжело шагая по мокрой траве, он внятно говорит:

— Когда очень горячо—не разберешь—солоно ли?

Могильщик.

Когда я подарил кладбищенскому сторожу Бодрягину давно желанную им гармонику, он—одноглазый, лохматый—крепко прижал правую свою руку к сердцу и, сияя радостью, закрыв свой одинокий, милый, а порою—жуткий глаз, сказал:

— Эх-х...

Задохнулся от возбуждения, потряс плешивой головою и одним дыханием произнес:

— Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за вами поухаживаю!

Он брал с собою гармонику даже тогда, когда рыл могилы, и, уставая работать, поигрывал любовно и тихонько польку. Он иногда называл ее с французским „прононсом"—„Трен-блан", а иногда—„Дрянь-брань". Это была единственная пьеса, которую он умел играть.

Случилось, что он заиграл в то время, когда неподалеку от него священник служил панихиду. Кончив служить, он подозвал Бодрягина и стал ругать его:

— Усопших оскорбляешь, скот!

Бодрягин жаловался мне:

— Конечно, это я нехорошо сделал, а все-таки: как он может знать—что покойнику обидно?

Он был уверен, что ада—нет; души хороших людей отлетают после смерти тела в „пречистый" рай, а души грешников, оставаясь в теле, живут в могилах до поры, пока тело не сгниет.

— После того земля выдыхает душу на ветер и ветром разносит ее в бесчувственную пыль.

Когда зарыли в могилу труп любимой мною шестилетней девочки Николаевой, и все разошлись с кладбища,—Костя Бодрягин, подравнивая глиняный холмик могилы ударами лопаты, утешал меня:

— Ты, друг, не горюй! Может, на том свете иными словами говорят, лучше нашего-то, веселее. А может, и не говорят ничего, а только на виловончелях играют.

Музыку он любил до смешного и опасного самозабвения: услышит вдали звуки военного оркестра, шарманку или рояль и тотчас весь насторожится, вытянув шею в направлении звука, заложив руки за спину, замрет, широко открыв свой темный глаз, как будто слушая глазом. Иногда это случалось с ним на улице, дважды его сшибали лошади, и многократно били кнутами извозчики, когда он, очарованный, стоял, не слыша криков предостережения, не видя опасности.

Он объяснял:

— Услышу музыку и—словно на дно речное мырну!

Он „путался" с кладбищенской нищей Сорокиной, пьяной бабой, старше его лет на пятнадцать,—ему было уже за сорок.

— Зачем она тебе?—спросил я.

— А—кто ее утешит? Некому, опричь меня. Я же люблю утешать самых безутешных. Своего горя у меня нет, вот я чужое и одолеваю.

Мы говорили, стоя под березой, в потоках неожиданно хлынувшего июньского ливня.

Костя с наслаждением ежился под ударами дождя о его череп, голый, угловатый, и бормотал:

— Мне приятно, когда мое слово слезу сушит...

У него был, видимо, рак желудка, он выдыхал гнилой запах трупа, не мог есть, страдая рвотой, но работал бодро, ходил по кладбищу весело и умер за картами, играя с другим сторожем в дурачки.

Н. А. Бугров.

...В 1901 году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру „предупреждения и пресечения преступлений"—домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую—другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них.

Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду; страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал галоши, а когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой своей дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом:

— Господин Горьков,—извините!—как же это? Говорится: небеса, небесный, а—вдруг: без основания? Какое же основание? Основание грехов наших?

Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка; под носом торчали кустики черной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперек, левый глаз косил, забегая в сторону уха.

— Люблю читать жития священномучеников,—говорил он тонким голосом и, почему-то, виноватым тоном.—Необыкновенные слова там попадаются...

И конфузливо спрашивал:

— А—извините, непо́рочный, значит непоротый? Примерно: непо́рочная дева?

Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил:

— Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

— Хорошо,—благосклонно говорил он.—Ничего, пишите...

И через пять-десять минут снова звучал раздражающий голосок:

— А—извините меня...

Однажды, часов в семь утра, я был разбужен его словами:

— Спит еще, на свету лег...

Чей-то другой голос спросил:

— И ночью сторожишь?

— А как же? По ночам они и действуют...

— Буди. Скажи—Зарубин пришел.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин; тяжелая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сипло говорил:

— Знакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму к тебе притти,—прокуроришко не пустил.

— Зачем это нужно было вам?

Он хитроумно подмигнул мне:

— Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих! Они думают—нет сопротивления им в делах беззаконных. А я, вот, показываю:—врете, есть сопротивление.

Оглядел комнату прищуренными, красными глазами кролика.

— Небогато, однако, живешь, скудно. А слух идет,—большие деньги даны тебе иностранцами за книгу Гордеева, за позор купечества нашего. Ну, все-таки! книга, стоющая внимания; хоша и сочинение,— а правда есть. Читают ее согласно; верно, говорят, списал, народ мы— такой. Яков Башкиров хвастает: Маякин—это я. С меня списано, вот, глядите, каков я есть умный. Бугров даже читал, Николай Александров; книжка, говорит, для нас, действительно, горькая. Я, ведь, вроде как бы от него и пришел: почет тебе. Не верит он, что ты из простых, даже, будто, из босяков,—хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай пить.

Ехать к Бугрову я отказался; это очень рассердило старика, он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головою и брызгая слюной.

— Гордость твоя—глупая. Бугров не грешнее таких, каков ты есть. А что из дома выходить без полицейского не велено тебе, так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши.

И, не простясь, старик ушел, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил:

— Несогласие обнаружено?

Зарубин крикнул на него:

— А ты—молчи!..

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов,—Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя.

Старообрядец, „беспоповского согласия", он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой кирпичной оградой, на кладбище—церковь и „скит",—а деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье „Уложения о наказаниях уголовных" за то, что они устраивали в избах у себя тайные „молельни". В селе Поповке Бугров возвел огромное здание, богадельню для старообрядцев,—было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты „начетчики". Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но крепким столпом, на который опиралось „древлее благочестие" Поволжья, Приуралья и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник, Константин Победоносцев, писал — кажется, в 1901 году — доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил „ты" взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он в 96 году, на Всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший „Ночлежный дом", огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нем школу, устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел денег на дела „благотворения".

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова „разжился" фабрикацией фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил, как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод: если преступление не удалось — тогда это преступление, достойное кары, если же оно ловко скрыто — это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский „В лесах" под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Нико-

лае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала восьмидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесывая скулу:

— Это—большое дело. Имущества у меня много, считать его—долго.

Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

— Извини, брат,—сказал Бугров.—Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.

Я часто встречал этого человека на торговых улицах города: большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе, он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы, шел навстречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно разраслась серенькая бородка мордвина, прямые, редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей с приросшими мочками и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо неясное, незаконченное; в нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья,—под скучной, неопределенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем не объяснимую жестокость.

Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее, двойственное чувство,—напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивною враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать „добрые дела" этого человека, и всегда являлась у меня мысль: странно, что в одном и том же городе, на узенькой полоске земли могут встречаться люди столь решительно чуждые друг другу, как чужды я и этот „воротило".

Мне сообщили, что, будто, прочитав мою книжку „Фома Гордеев", Бугров оценил меня так:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких—в Сибирь ссылать, подальше, на самый край...

Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше этой оценки; ее воспитал ряд таких фактов: человек этот брал у бедняков-родителей дочь, жил с нею, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или

рабочих, снабжая приданым в три-пять тысяч рублей, и обязательно строил молодоженам маленький, в три окна домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочито подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом.

Забава миллионера была широко известна,—на окраинах города и в деревнях девицы и парни распевали унылую песню:

Наверно ты Бугрова любишь,
Бугрову сердце отдала;
Бугрову ты верна не будешь,
А мне, по гроб, страдать дала.

На одной из таких испробованных девиц женился мой знакомый машинист, тридцатилетний вдовец, охотник по птице и птицелов, автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников, напечатанного, кажется, в журнале „Природа и охота“.

Хороший, честный человек, он так объяснял мотивы женитьбы:

— Жалко девушку, обижена, а—хорошая девушка. Не скрою: за ней четыре тысячи приданого и домик. Это—меня подкупает. Буду жить тихо, учиться начну, писать...

Через несколько месяцев он начал пить, а на масленице был избит в пьяной драке и вскоре помер. Незадолго перед этим он прислал мне рукопись рассказа о хитростях лисы в ее охоте за лесной птицей,—помню, рассказ был начат так: „Ярко и празднично одет осенний лес, а дышит он унынием и гнилью“.

Ко мне пришла женщина, возбужденная почти до безумия, и сказала: ее близкий друг заболел в далекой ссылке, у Полярного круга. Она должна немедля ехать к нему, нужны деньги. Я знал, что речь идет о человеке недюжинном, но у меня не было крупной суммы, нужной на поездку к нему.

Я пошел к чудаковатому богачу Митрофану Рукавишникову; этот маленький, горбатый человек жил, как Дезессент, герой романа Гюисманса, выдуманной жизнью, считая ее очень утонченной и красивой: он ложился спать утром, вставал вечером, к нему ночами приходили друзья: директор гимназии, учитель института благородных девиц, чиновник ведомства уделов; они всю ночь пили, ели, играли в карты, а иногда, приглашая местных красавиц „свободной жизни“, устраивали маленькие оргии.

В полумраке кабинета, тесно уставленного мебелью из рога техасских быков, в глубоком кресле, сидел, окутав ноги пледом, горбун

с лицом подростка; испуганно глядя на меня темными глазами, он молча выслушал просьбу дать мне денег взаем и молча протянул двадцать пять рублей. Мне нужно было в сорок раз больше. Я молча ушел.

Дня три бегал по городу, отыскивая деньги, и, случайно встретив Зарубина, спросил: не поможет ли он мне?

— А ты проси у Бугрова, этот даст! Едем к нему, он на бирже в сей час.

Поехали. В шумной толпе купечества я тотчас увидал крупную фигуру Бугрова; он стоял, прислонясь спиною к стене, его теснила толпа возбужденных людей и в перебой кричала что-то, а он, изредка, спокойно и лениво говорил:

— Нет.

И слово это в его устах напоминало—цыц,—которым укрощают лай надоевших собак.

— Вот—самый этот Горький,—сказал Зарубин, бесцеремонно растолкав купечество.

С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие, усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками; из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелененькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И, пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

— Честь городу нашему... Чайку попить не желаете ли со мною?

В „Биржевой" гостинице, где все пред ним склонилось до земли, и даже канарейки на окнах почтительно перестали петь, Бугров крепко сел на стул, спросив официанта:

— Чайку, брат, дашь?

Зарубина остановил какой-то толстый, красноносый человек с солдатскими усами; старик кричал на него:

— Полиции—боишься, а совести—не боишься!

— Все воюет языком неуемным старец наш,—сказал Бугров, вздыхая, отер слезу с лица синим платком и, проткнув меня острыми лучами глаз, спросил:

— Слыхал я, что самоуком дошли вы до мастерства вашего, минуя школы и гимназии? Так. Городу нашему лестно... И, будто, бедность большую испытать пришлось? И в ночлежном доме моем живали?

Я сказал, что, будучи мальчишкой, мне случалось по пятницам бывать у него на дворе,—в этот день он, в „поминок" по отце, давал нищим по два фунта пшеничного хлеба и по серебряному гривеннику.

— Это ничего не доказует,—сказал он, двигая серенькими волосами редких бровей.—За гривенником и не бедные люди приходили от

жадности своей. А вот, что в ночлежном жили вы,—это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из этого дома, как из омута, никуда нет путей.

— Человек—вынослив.

— Очень правильно, но, давайте, прибавим: когда знает, чего хочет.

Говорил он солидно, как и подобало человеку его положения, слова подбирал осторожно,—должно быть осторожность эта и делала его речь вычурной, тяжелой. Зубы у него мелкие, плотно составлены в одну полоску желтой кости. Нижняя губа толста и выворочена, как у негра.

— Откуда же вы купечество знаете?—спросил он, а выслушав мой ответ, сказал:—Не все в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако—Маякин—примечательное лицо. Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а—чувствую: таков человек должен быть. Насквозь русский—и душой, и разумом. Политического ума...

И, широко улыбаясь, он прибавил весело:

— Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень!

Подошел Зарубин, сердито шлепнулся на стул и спросил не то—меня, не то—Бугрова:

— Дал денег?

Вопрос его так смутил меня, что я едва не выругался и, должно быть, сильно покраснел. Заметив мое смущение, Бугров тотчас шутливо спросил:

— Кто—кому?

Я в кратких словах объяснил мою нужду, но Зарубин вмешался, говоря:

— Это он не для себя ищет денег, он живет скудно...

— Для кого же,—можно узнать?—обратился ко мне Бугров.

Я был раздражен, выдумывать не хотелось, и я сказал правду, ожидая отказа.

Но миллионер, почесывая скулу, смахивая пальцем слезу со щеки, внимательно выслушал меня, вынул бумажник и, считая деньги, спросил:

— А—хватит суммы этой? Путь—дальний, и всякие случаи неудобные возможны...

Поблагодарив его, я предложил дать расписку,—он любезно усмехнулся:

— Разве что из интереса к почерку вашему возьму...

А посмотрев на расписку, заметил:

— Пишете, как будто, уставом, по-старообрядчески, каждая буковка—отдельно стоит. Очень интересно пишете...

— По Псалтырю учился.

— Оно и видно. Может—возьмете расписочку назад?

Я отказался и, торопясь передать деньги, ушел. Пожимая мне руку с преувеличенной любезностью, Бугров сказал:

— Будемте знакомы. Иной раз позвольте лошадь прислать за вами,—вы далеко живете. Весьма прошу посетить меня.

Спустя несколько дней, утром, около восьми часов, он прислал за мною лошадь, и вот я сижу с ним в маленькой комнатке; ее окно выходит во двор, застроенный каменными складами, загроможденный якорями, железным ломом, лыком, рогожей, мешками муки. На столе шумно кипит маленький самовар, стоит блюдо горячих калачей, ваза зернистой икры и сахарница с разноцветными кубиками фруктового—„постного"—сахара.

— Рафинада—не употребляю,—усмехаясь, сказал Бугров.—Не оттого, что, будто, рафинад собачьей кровью моют и делают с ним разные... мапулярии, что ли, зовется это по-ученому?

— Манипуляции?

— Похоже. Нет, постный сахар—вкуснее, и зубам легче...

В комнате было пусто,—два стула, на которых сидели мы, маленький базарный стол и еще столик и стул в углу, у окна. Стены оклеены дешевыми обоями мутно-голубого цвета, около двери, в раме за стеклом—расписание рейсов пассажирских пароходов. Блестел недавно выкрашенный рыжий пол, все вылощено, скучно-чисто, от этой чистоты веяло холодом и было в ней что-то „нежилое". Воздух густо насыщен церковным запахом ладана, лампадного масла, в нем кружится большая синяя муха и назойливо жужжит. В углу—икона Богоматери в жемчужном окладе, на венчике—три красные камня; пред нею—лампада синего стекла. Колеблется сиротливо голубой огонек, и, как будто, по иконе текут капельки пота или слез. Иногда муха садится на ризу и ползает по ней, черным шариком.

Бугров—в сюртуке тонкого сукна, сюртук длинен, наглухо, до горла, застегнут, похож на подрясник. Смакуя душистый чай, Бугров спрашивает:

— Так, значит, приходилось вам в ночлежном доме живать?

Голос его звучит сочувственно, точно речь идет о смертельной болезни, которую я счастливо перенес.

— Трудно поверить,—раздумчиво отирая слезу со щеки, продолжает он.—Босяк наш—осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо—лист осенний удобряет землю...

И в тон жужжанию мухи рассказывает:

— У нас тут, на берегу, подрядчик есть, артель грузчиков держит, Сумароков по фамилии; так он—знаменитого лица потомок, в Екатеринины времена его дед большую значительность имел, а

внук—личность дерзкая, живет вроде атамана разбойников, пьянствуя с рабочими своими, и прикрывает их воровство. Ведь—вот какая превратность! А вы—наоборот. Трудно понять, на каких весах судьба взвешивает людей... Возьмите икорки еще.

Не спеша, жует калач, громко чмокая, и скользящим взглядом щупает меня.

— Книг я не читаю, а ваши сочинения—прочитал, посоветовали. Очень удивительных людей встречали вы. Например: в одну сторону идет Маякин, в другую—„Проходимец" этот, как его?

— Промтов.

— Да. Одни, души не щадя, стараются для России, для всех людей нашего государства, а другой—расковыривает всю жизнь похабным языком, грязным шилом умишка своего. А вы и о том, и о другом рассказываете... не умею выразить как, как будто о чужих вам, не русских людях, но как будто и родственно, а? Не совсем понимаю это...

Я спросил: читал ли он рассказ „Мой спутник"?

— Читал. Весьма занятно.

Он откинулся на спинку стула, стирая пот с лица большим платком с цветной каймою, потом—взмахнул им, как флагом.

— Ну, это, конечно, человек дикий, не русский. А этот, „Проходимец"—правда? Маякин же, говорите, не совсем правда?

Качая головой с желто-седыми волосами, плотно примасленными к черепу, он негромко сказал:

— Есть в этом опасность. Государство наше, говорят, дом, который требует ремонта, перестроить надо-де его. Так-с. Ну, а какой же силой? Сила-то где, по-вашему? Как же всех людей включить в это дело, когда одни свободно пасутся, как скот на подножном корму, и ничего боле не желают? А как же Маякин-то? Хозяин-то? Он, души не жалея, делу государственному жертвует всей силой и совестью, а другим—наплевать на него, а?

Значительный этот разговор был прерван мухой,—она слепо налетела на слабый огонек лампады, взныла и, погасив его, упала в масло. Бугров встал, вышел за дверь и крикнул:

— Эй!

Явилась миловидная девушка, одетая, как монахиня, в темное, поклонилась нам, прижав руки к животу, и, положив на стол несколько телеграмм, молча стала оправлять лампадку. Потом, с таким же поклоном, не поднимая глаз, исчезла, перебирая пальцами кожаную лестовку, висевшую на поясе у нее.

— Дела доспели, извините,—сказал Бугров, скользя глазами по квадратным бумажкам телеграмм, вынул из кармана огрызок карандаша, наморщив нос, поставил на бумагах какие-то знаки и небрежно бросил их на стол, говоря:

— Пойдемте отсюда...

Привел меня в большой зал с окнами на берег Волги; на крашеном полу лежали чистые половики небеленого холста, по стенам стояли стулья. У одной из них—кожаный диван. Скучно, пусто и все тот же церковный, масляный запах. А в стекла окон непрерывно стучится буйный, железный гул трудового дня, на реке свистят пароходы...

— Хороша картинка?—спросил Бугров, указывая на стену,—там висела копия Сурикова „Боярыня Морозова", а против нее, на другой стене—превосходное старое полотно,—цветы, написанные удивительно тонко и благородно. Медная пластинка внизу рамы говорила, что это работа Розы Бонёр.

— Вам это больше нравится?—улыбаясь, спросил старик.—Я ее в Париже купил; иду по улице, вижу—в окне картина, и на ней цифра—десять тысяч. Что̀ такое?—думаю. Пригляделся—цветы и боле ничего. Искусно, однакоже и цена. Три тысячи целковых ведь. Послал знакомого спросить: почему так дорого? Тот спросил—редкость, говорит. Опять пошел, посмотрел. Нет, думаю, дудки! А на утро говорю приятелю-то: поди-ка, возьми ее мне.

Он засмеялся.

— Каприз, конечно. Но — так она мне понравилась—нельзя оставить...

Все вокруг блестело холодной, нежилою чистотой, вызывая мысль о скучной, одинокой жизни.

— Вы меня извините,—надо на биржу итти,—сказал Бугров.—Не удалось нам кончить интересную нашу беседу, очень жалею. Позвольте обеспокоить вас вдругорядь... До свиданьица!

Он часто присылал за мною лошадь, и я охотно ездил к нему пить утренний чай с калачами, икрой и „постным" сахаром. Мне нравилось слушать его осторожно щупающие речи, следить за цепким взглядом умных глаз, догадываться — чем живет этот человек вне интересов своего купеческого дела и в чем, кроме денег, сила его влияния?

Мне казалось, что он хочет что-то вытянуть из меня, о чем-то выспросить, но он, видимо, не умел сделать это или неясно понимал, чего хочет.

Часто возвращался к скучному вопросу:

— Как же это случилось, что вы, странствуя по путям опасным и даже гибельным, все-таки вышли на дорогу полезного труда?

Это раздражало меня. Я говорил ему о Слепушкине, Сурикове, Кулибине и других русских самоучках.

— Скажите, какое обилие!—нехотя удивлялся он, задумчиво почесывая скулу, безуспешно пытаясь прищурить больной глаз.

И, прищуривая здоровый, назойливо спрашивал:

— Ведь в жизни без основания, без привязки к делу—большой соблазн должен быть, как же это не соблазнились вы? В дело-то как вросли, а?

Но, наконец, он все-таки поймал мысль, которая тревожила его:

— Видите ли, что интересно: вот мы живем сыто и богато, а под нами водятся люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди—злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших, люди—без жалости. Ведь ежели начнет этих людей снизу-то горбом выпирать,—покатится вся наша жизнь сверху вниз...

Говорил он улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели на меня сухо и пронзительно. Сознавая бесполезность моих слов, я довольно резко сказал, что жизнь насквозь несправедлива, а потому—непрочна, и что—рано или поздно—люди изменят не только формы, но и основания своих взаимоотношений.

— Непрочна!—повторил он, как бы не расслышав слова—несправедлива.—Это—верно, непрочна. Знаки непрочности ее весьма заметны стали.

И—замолчал. Посидев минуту, две, я стал прощаться, убежденный, что знакомство наше пресеклось, и уж больше не буду я пить чай у Бугрова с горячими калачами и зернистой икрой. Он молча и сухо пожал руку мне, но в прихожей неожиданно заговорил, вполголоса, напряженно, глядя в угол, где сгустился сумрак:

— А ведь человек—страшен! Ой, страшен человек! Иной раз—опамятуешься от суеты дней и вдруг—сотрясется душа, бессловесно подумаешь—о, господи! Неужто все—или многие—люди в таких же облаках темных живут, как ты сам? И кружит их вихорь жизни так же, как тебя? Жутко помыслить, что встречный на улице, чужой тебе человек проникает в душу твою, и смятение твое понятно ему...

Говорил он нараспев, и странно было мне слушать это признание.

— Человек, словно зерно под жерновом, и каждое зерно хочет избежать участи своей,—ведь вот оно, главное-то, около чего все кружатся и образуют вихорь жизни...

Он замолчал, усмехаясь, а я сказал первое, что пришло в голову:

— С такими мыслями—вам трудно жить.

Он чмокнул губами.

Вскоре он снова прислал за мною лошадь, и, беседуя с ним, я почувствовал, что ему ничего не нужно от меня, а—просто—скучно человеку, и он забавляется возможностью беседовать с кем-то иного круга, иных мыслей. Держался он со мною все менее церемонно и даже начал говорить отеческим тоном. Зная, что я сидел в тюрьме, он заметил:

— Это—зря! Ваше дело—рассказывать, а не развязывать...

— Что̀ значит—развязывать?

— То и значит: революция—развязка всех узлов, которые законами связаны и людей скрепляют для дела. Или вы—судья, или—подсудимый...

Когда я сказал ему о назревающей неизбежности конституции, он, широко улыбаясь, ответил:

— Да, ведь, при конституции мы, купечество, вам, беспокойным, еще туже, чем теперь, гайки подвинтим.

Но о политике он беседовал неохотно и пренебрежительно, тоном игрока в шахматы об игре в шашки.

— Конечно,—всякая шашка хочет в дамки пролезть, а все другие шашки от этого проигрывают. Дело—пустенькое. В шахматах,—там суть игры—мат королю!

Несколько раз он беседовал с царем Николаем.

— Не горяч уголек. Десяток слов скажет—семь не нужны, а три—не его. Отец тоже невеликого ума был, а все-таки—мужик солидный, крепкого запаха, хозяин! А этот—ласков, глаза бабьи...

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

— Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворешнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют и—выходят из моды. Не страшны стали. А царь—до той минуты владыка, покуда страшен.

Говорил он небрежным тоном, лениввенькими словами, безуспешно пытаясь поймать ложкой чаинку в стакане чая.

Но вдруг, отбросив ложку, приподнял брови, широко открыл зеленые болотные глаза.

— Вот над этим подумать стоит, господин Горький,—чем будем жить, когда страх пропадет, а? Пропадает страшок пред царем. Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая, так горожане молебны служили, благодарственные богу, за то, что царя увидать довелось. Да. А когда этот, в 96-м, на Выставку приехал, так дворник мой, Михайло говорит: „Не велик у нас царек! И лицом не казист и роста недостойного для столь большого государства. Иностранные-то, глядя на него, поди-ко, думают: ну, какая, там, Россия, при таком неприглядном царе!“. Вот как. А он, Михайло, в охране царской был. И никого тогда не обрадовал царев наезд,—как будто все одно подумали: „Ох, не велик царек у нас!“.

Он взглянул в угол на умирающий, сапфировый огонек лампады, встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:

— Лампаду оправьте, эй!

Бесшумно, как всегда, вошла низко кланяясь темная девица, встала на стул, оправляя лампаду, Бугров смотрел на ее стройные ноги в черных чулках и ворчал:

— Что это у вас, в этой горнице, лампада всегда плохо горит?

Девица исчезла, уплыла, точно обрывок черной тучи.

— Вот и о боге—тоже,—заговорил Бугров.—Даже в нашем быту, где бога любят и берегут больше, чем у вас, никониан,—даже у нас, в лесах, покачнулся бог. Величие его будто бы сократилось. Любовности нет к нему и как бы в забвение облекается. Отходит от людей. Фокусы везде, фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им. Вот, послушайте случай.

Вдумчиво, крепкими, тяжелыми словами он рассказал: в глухое лесное село Заволжья учитель привез фонограф и в праздник в школе стал показывать его мужикам. Когда со стола, из маленького деревянного ящика, человечий голос запел знакомую всем песню, мужики встали, грозно нахмурясь, а старик, уважаемый всем селом, крикнул:

— Заткни его, так твою мать!

Учитель остановил аппарат; тогда мужики, осмотрев ящик и цилиндр, решили:

— Сжечь дьяволову игрушку!

Но учитель предусмотрительно запасся двумя валиками церковных песнопений. Он с трудом уговорил мужиков послушать еще, и вот ящик громко запел „Херувимскую". Это изумило слушателей до ужаса, старик же надел шапку и ушел, толкая всех, как слепой; за ним, как стадо за пастухом, молча ушли и мужики.

— Старик этот, — строго рассказывал Бугров, глядя в лицо мне прищуренными глазами,—придя домой, сказал своим: „Ну, кончено. Собирайте меня, умереть хочу". Надел смертную рубаху, лег под образа и на восьмой день помер—уморил себя голодом. А село с той поры обзавелось бесшабашными какими-то людьми. Орут, не понять—чтó, о конце мира, антихристе, о чорте в ящике. Многие—пьянствовать начали.

Постучав по столу пухлым пальцем, он продолжал с тревогой и горечью:

— Бог дал человеку лошадь для работы, а тут по улице бежит вагон — кем движим? Неизвестно. Я ученых спрашивал: это что значит:—электричество? Сила, говорят, а какая — неведомо. Даже — ученые. А каково мужику видеть это? Ведь ему не скажешь, что бог вагоны по улицам гоняет. А что не от бога, то — от кого? То-то. Да тут еще телефоны и всякое другое. У меня артельщик—умный парень, грамотей — до сего дня к телефону подходя, крестится, а, поговорив, руки мылом моет,—вон как. Все—фокусы. Польза в них есть, я—не против этого, я только спрашиваю: как понять это мужику, лесному-то человеку? Зверя он тонко понимает, рыбу, птицу, пчелу, но—если деревянный ящик молитвы поет, значит—зачем церковь, поп и все прочее? Как будто, не надобно церковь. И—где в этом бог? Это он — что ли—ангела в ящик посадить изволил? Вопрос.

Откусив кусочек фруктового сахару, Бугров жадно выпил чай, вытер усы и продолжал, убедительно, тихо:

— Наступило время опасное, больших тревог души время. Вот, вы говорите—революция, воскресение всех сил земли. Какие силы-то, какие, откуда они? Народ этого не понимает. Вы забегаете вперед да вперед и все дальше, а мужик отстает все больше. Вот о чем подумай...

И вдруг предложил почти весело:

— Поедемте со мною в Городец, разгуляемся?

Как земля, всякий человек облечен своей атмосферой, невидимым облаком истечений его энергий, незримым дымом горения его души.

Бугрова окружала атмосфера озабоченной скуки, но порою эта скука превращалась в медленный вихрь темных тревог. Он плутал, кружился по пустым своим комнатам, как пленный зверь, давно укрощенный усталостью, останавливался пред картиной Розы Бонёр и, касаясь тупым, желтым пальцем полотна, говорил задумчиво:

— На земле-то, в садах у нас, будто и не бывает таких затейных цветов. Хороши. Не видал таких...

Казалось, что он живет, как человек, глазам которого надоело смотреть на мир, и они слепнут, но иногда все вокруг него освещалось новым светом, и в такие минуты старик был незабвенно интересен.

— Вот, говорите,—Маякин—лицо выдуманное. А Яшка Башкиров доказывает, что Маякин—это он, Башкиров. Врет. Он—хитер, да не так умен. Это я к тому, что цветы можно выдумать, а человека—нельзя. Сам себя он может выдумать, и это будет—горе его. Вы же сочинить не можете человека. Значит—похожих на Маякина вы видели. И, ежели имеются, живут люди, похожие на него—хорошо.

Он нередко возвращался к этой теме:

— В театрах показывают купцов чудаками, с насмешкой. Глупость. Вы взяли Маякина серьезно, как человека,—достойного внимания. За это вам—честь.

И, время от времени, все спрашивал:

— Так, значит, вы в ночлежном доме живали? До чего это не похоже на правду.

Однажды он спросил:

— А что вы—различие между людями видите? Примерно—различие между мною и матросом с баржи?

— Невелико, Николай Александрович.

— Вот и мне тоже кажется: невелико для вас различие между людей. Так ли это? По-моему, очень тонко надо различать, кто—каков. Надобно подсказывать человеку, что в нем—его, что—чужое. А вы как в присутствии по воинской повинности: годен—не годен. Для чего же годен-то? Для драки?

Пристукивая ребром ладони по столу, он сказал:

— В человеке—одна годность: к работе. Любит, умеет работать—годен. Не умеет—прочь его. В этом вся премудрость, с этим безо всяких конституций можно прожить.

— Дай-ко мне ты власть,—говорил он, прищурив здоровый глаз до тонкости ножевого лезвея,—я бы весь народ разбередил, ахнули бы и немцы, и англичане. Я бы кресты да ордена за работу давал столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле— вот тебе честь и слава. Соревнуй дальше. А что, по ходу дела, на голову наступил кому-нибудь—это ничего. Не в пустыне живем, не толкнув — не пройдешь. Когда всю землю поднимем да в работу толкнем,—тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно опрокинуть, Кавказы распахать. Только одно помнить надо,—ведь вы сына вашего в позывной час плоти его сами к распутной бабе не поведете—нет? Так и народ нельзя сразу в суету нашу башкой окунать — захлебнется он, задохнется в едком дыме нашем. Осторожно надо. Для мужика разум вроде распутной бабы,— фокусы знает, а душу не ласкает. У мужика в соседях леший живет, под печью—домовой, а мы его, мужика, телефоном по башке. Примите в расчет вот что: трудно понять, кое место—правда, кое—выдумка? Когда выдумка-то издаля идет, из древности,—так она, ведь, тоже силу правды имеет. Так что, пожалуй, леший, домовой—боле правда, чем телефон, фокус сего дня...

Встал, взглянул в окно и проворчал:

— Экое дурачье!

Постучал кулаком по переплету рамы, а потом, укоризненно качая головою, погрозил кому-то пальцем... И, засунув руки в карманы, стоя у окна, предложил:

— Желаете—расскажу случай, может, пригодится вам? — Жила в Муроме девица, необыкновенно красива, до удара в душу. Сирота, жила у дяди, а дядя—приказчик на пристани, воришка, скряга, многодетен и вдов; племянница у него за няньку, за кухарку и за дворника. Было ей уже двадцать лет, и по силе ее красоты сватались к ней даже весьма денежные люди; ну, дядя не выдавал ее,—невыгодно ему было даровой работницы лишиться. Влюбился в нее чинуша один — спился, пропал. Говорили — поп старался захороводить ее, — ему от этого тоже ничего не прибыло, кроме вреда и горя. Была она боголюбива, вся радость у нее—в церковь ходить да книги церковные читать. Любила цветы,—прекрасные цветы развела и в горницах, и в палисаднике. Скромная, тихая, как монашка, и умилительной приятности глаза.

Помолчав, почесав скулу, он странно мигнул здоровым глазом и повторил:

— О таких глазах в сказках говорится хорошо. И вот, увидал ее хозяин дяди, купец,—старик изрядно распутной жизни, увидал и— тотчас обезумел, ошарашило его. Целую зиму охаживал—не поддается, даже как бы не понимает ничего. И никакими деньгами невозможно взять ее. Тогда он подстроил так, чтобы дядя послал ее в Москву, по делам, а в Москве уговорил девицу ехать с ним в „Яр“. И как

приехала она в идольское капище это, присмотрелась маленько,—сразу как бы нагими увидала всех и себя самое. Говорит старику: „Поняла я, чего вы хотите, и на все согласна, дайте только хоть месяц вот так великолепно пожить". Тот, конечно, обрадовался и предлагает ей все, что угодно, а сейчас—едем в баню. „Сейчас,—говорит она,—не могу я, завтра,—говорит,—суббота, схожу к вечерней, ко всенощной, а после—пожалуйте". И вот,—прошло с той поры боле пяти лет, и теперь она самая дорогая распутница по Москве...

Он медленно откачнулся от стены, сел на стул, задумчиво и тихо говоря:

— Конечно, случай не из редких, если забыть, какова девушка была. Однако—поглядите, как силен соблазн фокусов. Совокупите случай этот с тем, что раньше говорено, и подумайте: живет душа в плену темном великой скуки, и вдруг ей покажут такое... Вот он—рай! А это не рай, это—пыль. И не на жизнь, а на час. Воротиться же от фокусов к домовому, к лешему—охоты нет и немыслимо. И похоронена душа в земной пыли.

Он много знал таких похорон, все они были однообразны, и рассказывал он их всегда скучно, всегда так, как будто думал о другом, более значительном и глубоком. Смотрел в окна. Стекла их снаружи покрыты пылью, закопчены дымом пароходов, сквозь их муть видна темная вода Волги, заставленной пристанями, баржами. Всюду на берегу—горы товаров, ящики, бочки, мешки, машины. Шипят и свистят пароходы, в воздухе—облака дыма, на камнях набережной—тучи пыли, сора; лязг и грохот железа, крики людей, дребезжат телеги, непрерывно идет жизнь, гудит большая работа.

А один из людей, которые, создав эту суетливую, муравьиную жизнь, из года в год расширяют и углубляют ее напряжение,—смотрит на свою работу сквозь грязное стекло равнодушным взглядом чужого человека и задумчиво повторяет:

— Не сразу... не вдруг...

О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, сектантское. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая, со временем, свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую, разумную энергию,—цель ее: претворить нашу грязную землю в райский сад.

Это совпадало с моим отношением к труду; для меня труд—область, где воображение мое беспредельно; я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешатся только трудом и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни.

Но скоро я убедился, что Бугров не „фанатик дела"; он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную

жадность душевной скуки. Он был слишком крупен и здоров для пьянства, игры в карты; был уже стар для разврата и всякого хлама, которым люди его стада заполняют зияние своей душевной пустоты.

Однажды в вагоне, по дороге в Москву, ко мне подошел кондуктор и сказал, что Бугров просит меня к нему в купэ. Мне нужно было видеть его, я пошел.

Он сидел, расстегнув сюртук, закинув голову, и смотрел в потолок, на вентилятор.

— Здорово. Садитесь. Вы что-то писали мне о босяках, не помню я...

Дмитрий Сироткин, пароходовладелец, старообрядец, кажется „Австрийского согласия", впоследствии — епископ, Нижегородский городской голова, издатель журнала „Церковь", умница и честолюбец, бойкий, широкий человек предложил мне устроить для безработных дневное пристанище,—это было необходимо того ради, чтоб защитить их от эксплоатации трактирщиков. Зимою из ночлежного дома выгоняли людей в 6 часов утра, когда на улицах еще темно и делать нечего; „босяки" и безработные шли в „шалманы"—грязные трактиры, соблазнялись там чаем, водкой, напивали и поедали за зиму рублей на шестьдесят. Весною, когда начиналась работа на Оке и Волге, трактирщики распоряжались закупленной рабочей силою, как им было угодно, выжимая зимние долги. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами; его прозвали „Столбы"; оно с утра до вечера было набито людьми, а „босяки" чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой, порядком.

Разумеется, все это стоило немалых денег, и я должен был просить их у Бугрова.

— Пустяковина все это,—сказал он, вздохнув.—На что годен этот народ? Негодники все, негодяи. Вон они даже часов не могут завести у себя.

Я удивился.

— Каких часов?

— В ночлежном у них часов нет, времени не знают. Испортились часы там...

— Так вы велите починить их или купите новые.

Бугров рассердился, заворчал:

— Все я, да я. А сами они—не могут?

Я сказал ему, что будет очень странно, если люди, у которых нет рубах и часто не хватает копейки на хлеб, будут, издыхая с голода, копить деньги на покупку стенных Мозеровских часов.

Это очень рассмешило его; открыв рот и зажмурив глаза, он инуты две колыхался, всхлипывая, хлопая руками по коленям, а успоюясь, весело заговорил:

— Ох, глупсcть я сморозил! Ну, знаете, это со мной бывает,— друг вижу я себя бедным и становлюсь расчетлив, скуп. Другие из ашего брата фальшиво прибедняются, зная, что бедному—легче, душе вободнее, с бедного меньше спрашивают и люди, и бог. У меня—не о: я начисто забываю, что богат, пароходы имею, мельницы, деньги, абываю, что впрягла меня судьба в большой воз. В душе я не скуп, еньгами не обольщен, просят—даю.

Крепко вытер платком мокрый глаз и продолжал задумчиво:

— А бывает, хочется мне в бедном трактире посидеть и чаю со жаным хлебом попить, так чтоб и крошки все были съедены. Это бы ожно понять, если б я когда-то бедность испытал, но я родился богат. огат, а—есть охота милостыню попросить, самому понять, как туго едность живет. Этого фокуса я не понимаю, и вам, наверное, не понять. дакое, слышал я, только у беременных баб бывает...

Отвалясь на спинку дивана и закрыв глаза, он тихо бормотал:

— Капризен человек... чуден! Вот Гордей Чернов бросил все свое огатство и дело на ходу,—в монастырь сбежал, да еще на Афон, в амую строгость. Кириллов, Стела, благочестиво и мудро жил, скромен учен, до шести десятков дожил,—закутил, поставил себя на дыбы, ак молодой гуляка, на позор и смех людям отдал; все говорит, неравда, все—фальшь и зло, богатые—звери, бедные—дураки, царь— подей, честная жизнь—в отказе от себя. Да. Вот—Зарубин тоже. авва Морозов, большого ума человек, Николай Мешков,—пермяк, с ами, революционерами, якшаются. Да—мало ли. Как будто люди всю изнь плутали в темноте, чужими дорогами и вдруг—видят: вот она е, прямая наша тропа. А—куда тропа эта ведет, однако?

Он замолчал, тяжко вздохнув. За окном, в лунном сумраке, стреительно бежали деревья. Железный грохот поезда, раздирая тишину олей, гнал куда-то темные избы деревень. Испуганно катилась и прялась в деревьях луна, вдруг выкатывалась в поле и медленно плыла ад ним, усталая.

Перекрестясь, Бугров сказал угрюмо:

— У нас, в России, особая совесть, она, вроде, как бешеная. спугалась, обезумела, сбежала в леса, овраги, в трущобы, там и спряалась. Идет человек своим путем, а она выскочит зверем—цап его за ушу. И—каюк! Вся жизнь—прахом, хинью... Худое, хорошее—все в дин костер...

Он снова перекрестился, зажмурясь. Я стал прощаться с ним.

— Спасибо, что зашли. Вот что,—приходите-ка завтра, в час, к естову в трактир, пообедаем. Савву позовите,—ладно?

Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, около него расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отчеству:

— Дашь мне вино это рейнское—как его?

— Знаю-с.

— Здорово, Русь,—приветствовал он нас, а Морозов, пожимая ему руку, говорил:

— Пухнешь ты, Бугров, все больше, скоро тебе умирать...

— Не задержу...

— Отказал бы мне миллионы-то свои...

— Надо подумать...

— Я бы им нашел место...

Согласно кивнув головою, Бугров сказал:

— Ты—найдешь, честолюбец. Ну-тко, садитесь.

Савва был настроен нервно и раздраженно: наклонив над тарелкой умное, татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспие истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.

— А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбью чешую превратить в клей...

— Все ты знаешь,—вздохнув, сказал Бугров.

— А, вот, такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать ее. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны... А вы—дикари...

— Ну, начал ругаться,—примирительно и ласково сказал Бугров.— Ты—ешь, добрее будешь...

— Есть—выучились, а когда работать начнем?

Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал.

— Очень много ты, Савва, требуешь от людей,—они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.

— Если бы им не мешать, они бы и по сей час на четырех лапах ходили...

— Никогда мне этого не понять!—с досадой воскликнул Бугров.— Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили: от обезьяны. И—радуются.

С удивлением и горечью он спросил:

— Неужто ты веришь в эту глупость? Да,—ведь если б это и правда была, так ее надо скрыть от людей.

Савва взглянул на него прищурясь и—не ответил.

— По-моему человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть...

Морозов усмехнулся, грубо отвечая:

— Что ж, помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?

Ели нехотя, пили мало, тяжелое раздражение Морозова действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:

— Ты что, Савва? Али плохо живешь? На фабрике неладно? Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:

— У нас—везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно—в мозгах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.

— Разгорится она преждевременно, сил для нее—нет и будет—чепуха!

— Не знаю, что будет,—задумчиво сказал Бугров.—Жандарм нижегородский, генерал, дурачек, тоже недавно пугал меня. Дескать—в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме,—шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь, что законно. Скажем правду—рабочий у нас плохо живет, а—рабочий хороший.

— Ну, не так уж,—устало проворчал Морозов.

— Нет—так. Народ у нас—хороший. С огнем в душе. Его дешево не купишь, пустяками не соблазнишь... У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты—не усмехайся,—девичья. Я, вот, иной раз у себя на даче, на Сейме беседую с ними, по вечерам, в праздники. Спросишь,—что, ребята, трудно жить? Трудновато. Ну, а как, по-вашему, легче-то можно? И я тебе скажу—очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а—научены, книжки у них появились, листочки из Сормова... Вот—Горький хорошо знает эти дела. Деньги берет у меня на листочки. Я—даю...

— Не хвастайся,—сказал Морозов.

— Нимало! — спокойно возразил старик. — Против меня это, но я—даю! Конечно,—гроши. Но, ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны, — что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?

— Вот, пусти-ка...

— А—что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве —всегда соблазн есть.

И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле точно для прыжка, он продолжал:

— Конечно,—озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю. Но—ведь отказываются, полагая, что тут—святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых—за-

видую. Вот Горький рассказывал, что даже князь один, Кропоткин, что ли... Эх, разве не соблазн, сбросить с себя хомут...

— Чепуха все это, Николай Александров,—сказал Савва.

Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут, он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбужденно блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:

— Издревле человек чувствовал, что жизнь—непрочна, издавна хорошие люди бежали ее. Ты сам знаешь—богатство, невелика сладость, а больше—обуза и плен. Все мы—рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий—тридцати копейкам рад. Мелет нас машина в пыль, мелет до смерти. Все—работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно—на кого работаем? Я работу люблю. А иной раз, вздумаешь, как спичку в темноте ночи зажгешь,—какой все-таки смысел в работе? Ну,—я богат. Покорно благодарю. А—еще что? И на душе—отвратно...

Вздохнув, он повторил иным словом:

— Отвратительно.

Морозов встал, подошел к окну, говоря с усмешкой:

— Слышал я эти речи и от тебя и от других...

— Святость, может, просто—слабость, да она душе сладка...

Тяжелый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идет скучно, темным путем, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но все-таки я думал, что человеческий труд высоко оценен и осмыслен удельным князем Нижегородским.

Было так странно знать, что человек этот живет трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот—не нужен ему, бессмыслен в его глазах.

Невольно подумалось:

„Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди“...

Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шел на „Китеж-озеро“, остановился в деревне ночевать и узнал, что „ждут Бугрова“,—он едет куда-то в скиты.

Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного молока. В раскаленном небе запада медленно плавилась темно-синяя туча, напоминая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг березы гудели жуки. Усталые люди мед-

ленно возились на улице и во дворах. Околдованная лесной тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.

Когда стемнело,—в улицу деревни въехала коляска, запряженная парой крупных, вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окруженный какими-то свертками, ящиками...

— Вы как здесь?—спросил он меня.

И тотчас предложил:

— Айда со мною. Хороших девиц увидите. Тут недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются...

Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:

— Милостивец.. кормилец... Дай тебе господи...

И мычание коров тоже казалось насыщено благодарным умилением.

Проехав деревню бойкой рысью, лошади осторожно своротили в лес и пошли темной, избитой дорогой, смешивая запах своего пота с душным запахом смолы и цветов.

— Хороши здесь леса, сухие, комара нет,—говорил Бугров благодушно и обмахивал лицо платком.—Любопытный вы человек; вишь куда забрались. Много чего будет у вас вспомнить на старости лет,— вы и теперь со старика знаете. А вот наш брат одно знает: где, что, да почем продается...

Он был настроен весело, шутил с кучером, рассказывал мне о жизни лесных деревень.

Выехали на маленькую поляну; две черных стены леса сошлись под углом; в углу, на бархатном фоне мягкой тьмы притаилась изба в пять окон и рядом с нею двор, крытый новым тесом.

Окна избы освещал жирный, желтый огонь, как будто внутри ее жарко горел костер. У ворот стоял большой, лохматый мужик с длинной жердью, похожей на копье, и все это напоминало какую-то сказку. Захлебываясь, лаяли собаки, женский голос испуганно кричал:

— Иван, уйми собак-то, а, господи...

— Засуетилась,—ворчал Бугров, сдвинув брови.—Господ помнит. Много еще страха пред господами живет в народе..

Судорожно изгибаясь, часто кивая головою, у ворот стояла маленькая старушка, темная, как земля, она, взвизгивая, хватала руку Бугрова:

— Батюшка... принесли ангелы...

Ангелы, отфыркиваясь, били копытами по мягкой земле и бряцали сбруей.

На крыльцо выплыла дородная женщина, одетая в сарафан, и низко поклонилась, прижав руки ко грудям, за нею, посмеиваясь и шурша ситцами, толпились девочки разных возрастов.

— Величайте, дуры!..—густо крикнула женщина.

Девочки, стиснутые в плотный ком, нестройно запели:

— Светел месяц в небеси,—светел!..

— Не надо,—сказал Бугров, махнув рукой,—который раз говорю тебе, Ефимья, —не надо этого! Здорово, девицы!

Ему ответил хор веселых возгласов, и волною скатился со ступеней крыльца к животу Бугрова десяток подростков.

Женщина что-то бормотала; он, гладя головки детей, сказал:

— Ну, ладно, ладно. Тише, мыши! Гостинцев привез... ну, ну. Задавите вы меня. Вот—знакомый мой... вот он опишет вас, озорство ваше...

Легонько толкая детей вперед, он поднимался на крыльцо, а женщина вскрикивала:

— Тише, вам говорят!

Вдруг, как-то неестественно взмахнув руками, зашипела старуха, и тотчас дети онемели, пошли в избу стройно, бесшумно.

Большая горница, куда мы вошли, освещалась двумя лампами на стенах, третья, под красным бумажным абажуром, стояла на длинном столе среди чайной посуды, тарелок с медом, земляникой, лепешками. Нас встретила в дверях высокая, красивая девица, держа в руках медный таз с водою, другая, похожая на нее как сестра, вытянув руки, повесила на них длинное расшитое полотенце.

Балагуря весело, Бугров вымыл руки, вытер мокрым полотенцем лицо, положил в таз две золотых монеты, подошел к стене, где стояло штуки четыре пяльцев, причесал пред маленьким зеркалом волосы на голове, бороду и, глядя в угол, на огонь лампады пред образами в большом киоте с золотыми „виноградами“, закинув голову, трижды, истово перекрестился.

— Еще здравствуйте!

Девочки ответили ему бойко и громко,—тотчас же в дверях встала, содрогаясь, старуха, потрясла змеиной головою, исчезла, подобно тени.

— Ну, как, девушки, Наталья-то озорничает?—спрашивал Бугров, садясь за стол в передний, почетный угол.

Дети жались к нему смело и непринужденно. Все они были румяны, здоровы и почти все миловидны. А та, что подавала воду, резко выделялась стройностью фигуры и строгой красотой загорелого лица. Особенно хороши были ее темные глаза, окрыленные густыми бровями,—они, как будто, взлетали вверх смелым взмахом.

— Вот,—указывая на нее пальцем, сказал мне Бугров,—это первая греховодница, нестерпимо озорует. Я ее в скиты отправлю, в глушь лесную, на Иргиз, там—медведи стадами ходят...

Но, вздохнув, почесывая скулу, он задумчиво продолжал:

— Ее бы в Москву свезти, учить ее надо, необычен голос у ней. А родитель, лоцман, вдовец, не соглашается: не дам, говорит, чадо свое никонианам на забаву...

Огромный, волосатый мужик, тяжело топая, надув щеки, внес ярко начищенный ведерный самовар, грохнул его на стол так, что вся

посуда, вздрогнув, задребезжала, изумленно вытаращил глаза, сунул руки в шапку рыжих волос и, как бы насильно, низко склонил голову.

Пришла Ефимья; груди у нее выдавались как два арбуза, она наложила на них коробок с конфектами, придерживая их двойным подбородком; за нею три девочки несли тарелки с пряниками и орехами.

Бугров, разглядывая девиц, стал светлее, моложе, он негромко говорил мне:

— Вон та, курносенькая, голубые глаза, особо интересна. С лица будто—веселая, а на удивление богомольная и редкая мастерица. Воздух она вышила шелками, ангела с пальмом—удивительно. До умиления боголепно... С иконы взяла, но—краски свои...

Так он рассказывал почти о всех воспитанницах своих, находя в каждой то или иное ценное качество. Девочки держались свободно и оживленно, было видно, что приезд Бугрова—праздник для них, а дородная Ефимья не страшна им. Она, сидя на конце стола, сосредоточенно и непрерывно жевала пряники, конфекты, потом, тяжко вздохнув, разливала чай и снова, молча, не спеша, ела землянику с медом, растерев ее на тарелке в кашу. Работала она не обращая внимания на девиц и гостей, видимо, никого и ничего не слыша, поглощенная своим делом. Девочки шумели все резвее, но каждый раз, когда в дверях мелькала темная, искаженная судорогами старуха,—в обширной, гулкой комнате становилось тише, веяло холодом.

После чая красавица Наталья, взяв гусли, запела:

Был у Христа младенца сад...

Пела она неверно, на церковный, унылый мотив, очевидно, не зная музыки, написанной на эти слова. Она придавала им характер мрачный, даже мстительный, пела глядя в угол, ее летящие глаза сверкали сурово. Но голос ее, низкий и обширный, был, поистине, красив, странно богат оттенками. Забавно было видеть, как высокие ноты заставляют ее приподниматься на стуле, а низкие—опускать голову и прятать ноги под стул. Гусли были настроены плохо, но певица, должно быть, не слышала этого, смуглые руки ее щипали струны резко и сильно.

Бугров слушал, сидя неподвижно, приоткрыв рот. Парализованное веко отвисло еще более, и непрерывной, влажной полоской из глаза текла слеза. Смотрел он в черный квадрат окна; оно упиралось во тьму ночи, его, как и два других, украшали расшитые полотенца, окна казались киотами, в которых вставлены закоптевшие иконы. Если внимательно и долго смотреть в эту черноту, из нее возникают огромные лица без глаз.

В комнате стало душно, бревенчатые, чисто выскобленные стены дышали запахом мыла и пакли, а над столом поднимался тонкий аромат меда, земляники, жирный запах сдобного теста. Девушки при-

молкли, опьянев от обильной еды, пение подруги убаюкивало их, одна уже заснула, сладко всхрапывая, положив голову на плечо подруги.

Монументом сидела Евфимия, щеки ее блестели, точно смазанные маслом, и так же блестела желтая кожа, голых до локтей, круглых рук.

А девушка, упорно глядя в угол, дергала струны и все пела сердитым голосом грустные и нежные слова:

Кольцо души-деви-и-и-цы
Я в мор-ре ур-ронил...

— Ну, спасибо!—вдруг и как-то тревожно, слишком громко сказал Бугров.

В двери закачалась старуха, прошипев:

— Шпать!

— Идите, девоньки, спокойной ночи! Евфимья—работы покажи.

Провожая детей, он целовал их головы, а когда к нему подошла Наталья, сказал, положив ладонь на голову ей:

— Хорошо поешь... Все лучше ты поешь. Характер у тебя—плохой, а душа... Ну, иди с богом...

Она улыбнулась, дрогнули ее брови — и плавно, легко пошла к двери, а старик, глядя вслед ей, почесал скулу и, как-то жалобно, по-ребячьи обиженно, сказал:

— Вишь какая... да-а...

Евфимия внесла охапку аккуратно сложенных тряпок и разложила их на пяльцы, на стол под лампой.

— Поглядите-ко,—предложил Бугров, не отрывая глаз от двери.

Я стал рассматривать вышивки для подушек, туфель, рубах, воздухи, полотенца. Все это было сделано очень ярко, тонко, повторяя заставки и концовки старопечатных книг, а иногда рисунки-премии к мылу Брокара. Но одна вышивка удивила меня силой и странностью рисунка: на сером куске шелка был искусно вышит цветок фиалки и большой черный паук.

— Это одна покойница вышила,—нелепо и небрежно сказала Евфимия.

— Чего это?—спросил Бугров, подходя.

— Варина работа...

— А... Да, умерла девунька. Горбатенькая была. Чахотка ее съела. Чертей видела, одного даже вышила шерстями, сожгли вышивку. Сирота. Отец без вести пропал, утонул, что ли. Ну, Евфимья, спать укладывай нас...

Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров—в телеге, пышно набитой сеном, я—положив на траву толстый войлок. Раздеваясь, старик ворчал:

— Глупа Евфимья, а другой, поумнее, нет. Тут бы настоящую учительшу надо, образованную, да—отцы, матери несогласны. Никонианка будет, еретица. Благочестие наше не в ладах с разумом жи-

вет, прости господи. Да еще — старушка эта... не хочет умереть. Все сроки пережила. Вредная старушка. Для страха детям приставлена. А может, ради худой славы моей... Эх...

Он встал на колени и, глядя на звезды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, окутался одеялом и крякнул:

— Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы—не молитесь богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог... должен быть. Иначе—опереться не на что. Ну, спим...

В непоколебимой тишине леса гукнул сыч, угрюмо и напрасно Лес стоял плотной, черной стеною, и казалось, что это из него исходит тьма. Сквозь сыроватую мглу, в темном маленьком небе над нами тускло светился золотой посев звезд.

— Да,—заговорил Бугров—вот, девицы эти вырастут, будут капусту квасить, огурцы, грибы солить,—к чему им рукоделье? Есть в этом какая-то обидная глупость. Много глупости в жизни нашей, а?

— Много.

— То-то и есть. А слышали вы, — про меня сказывают, будто я к разврату склонил многих девиц?

— Слышал.

— Верите?

— Вероятно, это так...

— Не потаю греха, бывали такие случаи. В этом деле человек бестолковее скота. И—жаднее. Вы как думаете?

Я сказал, что на мой взгляд у нас смотрят на отношения полов уродливо. Половая жизнь рассматривается церковью как блуд, грех. Оскорбительна для женщины разрешительная молитва на сороковой день после родов,—оскорбительна, но женщина не понимает этого. И привел пример: однажды я слышал, как моя знакомая, умница и филантропка, упрекала мужа:

— Степан Тимофеевич, побойся бога. Только-что ты мне груди щупал, а теперь, не помыв рук, крестишься...

— О, то ли еще бывает!—угрюмо сказал Бугров.—Жен бьют за то, что в среду и пятницу, в постные дни, допускают мужей до себя. Грех. У меня приятель каждый четверг и субботу плетью жену хлестал за это, — во грех ввела. А он — здоровенный мужик и спит с женою в одной кровати,—как она его не допустит. Да, да, глупа наша жизнь...

Он замолчал, и стали слышны непонятные шорохи ночной жизни,— хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала хвоя, и казалось, кто-то сдержанно вздыхает. Как будто со всех сторон подкрадывалось незримое —живое.

— Спите?

— Нет.

— Глупа жизнь. Страшна путаностью своей, темен смысл ее... А, все-таки,—хороша?

— Хороша.

— Очень. Только вот умирать надо.

Через минуту, две, он добавил тихонько:

— Скоро... Умирать...

И—замолчал, должно быть, уснул.

Утром я простился с ним, уходя на Китеж-озеро и больше уже не встречал Н. А. Бугрова.

Он умер, кажется, в десятом году и торжественно, как и следовало, похоронен в своем городе...

Пугачевщина.

К. Тренев.

Народная трагедия.

(Отрывок.)

Деревенская улица. Избы Марея, вдовы Сидоровны и др. За избами высокий обрывистый берег большой реки. Липака выводит больного Марея из избы.

Липака. Посиди, Мареюшка, на завалинке.

Марей. Я лучше в холодку, под ракиту. *(Садится у избы под ракитой.)* Хомут мне вынеси из пуньки, холстину подошью.

Сидоровна. Уж и не знаю как быть: тут праздник-то ведь нынче, первый Спас, а тут снопы в копны сложить надо: того и гляди— дождь пойдет!

Липака. Да откуда же ему, Сидоровна, дожжу-то быть? Небушко чистое.

Сидоровна. Будет беспременно: свекруха, царство небесное, снилася! Быдто лаюся я с ею: не миновать дожжу!

Липака. А мне снилося, не знаю уж к чему, Марея моего мир старостой выбрал, а меня синим вином угощают. Выбрали быдто Марея да и говорят: „как ты, Мареюшка, ходить не можешь, дак ты лети". И вижу я—Марей мой машет руками и над головами по улице летит. А я внизу с радости так-то пляшу, да в ладоши.

Сидоровна. Ну, неладно ж твое дело, Липака.

Липака. Ой, да что ты, милая?

Сидоровна. Не к добру сон-то...

Марей. Бросьте, бабы, каркать.

Сидоровна *(взглянув вдоль улицы)*. Ой, батюшки. Барыня по селу ходит.

Марей. Вот и накаркали.

Липака. Пущай ходит. Недолго, сказывают, ходить-то...

Марей. Помолчала бы ты покеда.

(Проходит барыня, за ней крестьяне, Хрол, странник.)

Барыня. А этот мужик почему не на барщине?

Марей *(поднявшись, кланяется).* Хворый я.

Липака. Это, матушка-барыня, Марей, который безногий. Он и в дому не добытчик.

Хрол. Они, госпожа Параскева Антоньевна, нынче все для господ не добытчики! Нынче уж им ни господ, ниже самое матушку-императрицу не надобе! Свой мужицкий царь есть... Хе-хе-хе...

Барыня. Ой, да что же ты пугаешь!

Хрол. Не-ет! Конечно! Бежит ваш царь Емеля вниз, пятками светит. Ну, да теперь уж не убежит. Изловят.

Барыня. Ну, слава те господи!

Хрол. Вчерась солдатушки в Курмане были, не нынче—завтра сюда завернут.

Барыня. Пошли, царица небесная! Тебя зачем же сюда прислали?

Хрол. А для удворения беспорядку. Крамолу изводить.

Барыня. Ну, пошли тебе царица небесная! Силыч, вели попу сейчас же к молебствию благовестить! Чтоб все село мне в церкви было! Что, миленькие, видно, не по вашему бог делает? Заступила царица небесная! Видно, мы-то, дворяне, ближе ей!

Хрол. А еще бы!

Барыня. Да она, владычица, в комнату ко мне войдет—кивоты у меня все золоченые, лампадочки неугасимые, пальмовая веточка из самого Ерусалима. По садику пройдет—рай... Так, думаете, допустит она, чтоб погибло это от хамской руки? Да где же ей тогда, матушке, на земле голову преклонить, если нас не станет? *(Плачет.)* Марш, проклятые, в церковь! Каяться перед владычицей небесной. Молиться за владык земных богоданных! И ты, безногий, иди! *(Уходит. Странник идет в другую сторону.)*

Хрол. А ты, дед, куда? Почему в церкву не идешь?

Странник. Я, браток, не тутошний.

Хрол. Странник, что ль?

Странник. Все мы странники.

Хрол. По святым местам, значит, ходишь?

Странник. Всяко место свято.

Хрол. Что ж за царицу молиться не идешь? Аль за Пугача молишься?

Странник. Молюсь и за Пугача.

Хрол. А! Вот ты кто! Связать его, мятежника! Давай веревку. Самые смутьяны это! Вишь—ты! За разбойника молится!

Странник. Я, браток, и за тебя молюсь.

Хрол. Я те помолюсь! *(Хролу приносят веревку. Слышен набат.)* Вот и благовест. Ступайте в храм. Тю, зачастил! Пуще, как на Пасху. И то сказать—праздник-то нынче поглавней Пасхи!

Разговор в небольшой толпе:

— Да никак набат?

— Народу-то, народу!

— Вот повалило!

— Гляди—конные!..

— Сюда бегут!

(Слышны приближающиеся клики „Ура“.)

— К волости повернули!

— Нет, сюда бегут! *(Появляются мятежники.)*

1-й мятежник. Православные, царь-батюшка в ваше село приехал! Под видом Пугача! Поднимайся!.. Супроти дворян проклятых!

В толпе радость.

— Слава тебе, господи!

— Дождался и наш мир светлого праздничка!

2-й мятежник. А ты, с веревкой, кто такой тут?

Хрол. А по мирскому делу: помещицу вот вешать иду.

Странник. А и гнучкой же ты, браток...

Хрол. А ты остался цел, помалкивай!

В толпе. Царь, царь, едет! *(Проезжает Сидор коновал в сопровождении толпы. На нем треугольная шляпа, шелковый халат, через плечо красная лента.)*

Сидор. Православные хрестьяне! Я есть ваш батюшка мужицкий царь Петра Федорович, укрывшийся от начальства под видом Емельяна Пугача! Теперича я открымшись и вам даю полную волю от господ! Снистожайте как ни можно всех помещиков. Разбирайте имуществу, а капитал немедля мне через руки в казну!

Хрол. Препоручи, батюшка, мне! Я грамотный! *(Сидор уезжает, сопровождаемый ликующей толпой.)*

В толпе.

1-й мужик *(тихо)*. Братцы мои! Да это ж Сидор коновал из Елани.

2-й мужик. Сам гляжу—быдто он...

3-й мужик. Что буровите!..

1-й мужик. Да ай я не знаю. Летось у Троицких господ жеребца холостил.

2-й мужик. У Здвиженья на ярмарке цыганы его шибко били.

4-й мужик. Сидор-коновал и есть!

3-й мужик. Значит же он, батюшка, под видом Сидора укрывался!

2-й мужик. За народ страждал!..

1-й мужик. Ай-ай-ай... Батюшка!

2-й мужик. Знать бы эту делу ране!

3-й мужик. Ране ему строк не выходил.

Женщины.

1-я женщина. Радость-то, радость нечаянная!

2-я женщина. Дождалися волюшки... Желанные! *(Всхлипывают.)*

3-я женщина. Самого батюшку-царя увидать сподобились!

1-я женщина. Убранство-то на ем, матушки!

2-я женщина. Ку-уды нашим дворянам!

1-я женщина. Пролетел-то скоро, как соколик...

3-я женщина. Чай, у его не одна наша деревня!

1-я женщина. И то! Всю Россеюшку ослобонить надобно!

2-я женщина. Помоги ему, господи, Николай угодник... Егорий... *(Уходят.)*

Марей *(страннику)*. Вот и умирать не хочется!

Странник. Зачем тебе, браток, умирать!

Марей. Нутро у меня тлеет, ноги, вот, отнялися. Не работник я дому.

Странник. Да ты дом кинь. Пойдем со мною в Киев—здоров будешь.

Марей. А что ж! Теперь я вольный человек! Может, и до Киева дойду...

Странник. Беспременно!

Марей *(поднявшись на ноги и ступая по двору)*. Да ты гляди, гляди! Сам ступаю... Пятый год уж под-руки водят, а тут—во!.. Гляди, Липака!

Липака. Это от воли, Мареюшка! *(Радостно смеются.)*

Марей. Быдто новые ноги!

Странник. Новые и есть: вольные.

Липака. Заступница... Али это сон?..

(Прибегают женщины.)

Женщины. Ой, родимые, опять по реке плоты с виселицами плывут!

— Все воеводы проклятые с народом расправляются...

— Ну, теперь кончилось их царство!

— Уж наш-то надежа-царь всех их смерти предаст!..

Странник. Эх, братие, „не надейтеся на князя"... Князи, да цари затем только и выдуманы, чтоб за их брат брата смерти предавал. Во время оно множество на Руси князей развелось, и всего-то делов их было, что брата с братом на смерть стравливать, братской кровью землю поить. А как остался один царь на земле, начал с прочими царями нашими головами ссориться... Такое их званне царское...

(Проходит. Хрол, за ним толпа.)

Хрол. Тепеpь слушать мово распорядку: как я призведен в воеводы! Начинай с хором!

Странник. Истинный царь един на небеси, а земные все самозванные...

Хрол. А, вот ты какие слова! Тащи его, мир православный, вон к тому вязу! Вот она веревка... А в сумке что? *(Вырывает у него сумку.)*

Странник. Рубаха, порты чистые.

Хрол. Врешь, чай. Поглядим!

Странник. Дозволь, браток, на смерть перемениться.

Хрол. Хорош будешь и так. Тащи его! *(Странника хватают и ведут.)*

Странник *(крестясь)*. Прими, господи, дух новопреставляющегося раба твоего Симеона... Презирая вольная и невольная...

(Навстречу офицер с отрядом.)

Офицер. Стой! Что за люди?

Хрол. Свои, милостивец, свои. Супротивника вот вешаем.

Офицер. Какого супротивника?

Хрол. А супротив царя-батюшки слова говорил.

Офицер. А, вот ты кто, мерзавец!

Хрол *(всмотревшись)*. Занапрасно, ваше благородие, обижаешь! Дай речь кончить. Супротив какого царя-то? Супротив царя небесного! За Пугача проклятого богу молится!

Офицер. Ты, дед, правда?

Странник. Правда, детка, правда, молюсь и за тебя, молюсь.

Хрол. Видал? Ну, как его не вешать!

Офицер. А ты что за человек?

Хрол. Я—не мужик, я—чистого звания.

Офицер. Покажи руки.

Хрол *(показывает ладони)*. Вот они!.. Ни одного мозолика, кормилец!..

Офицер. Ну, не сметь мне самовольно казнить. На то приказ есть, сейчас объявлю.

(На сцену вваливается толпа, тащат барыню.)

Офицер. Это что?!

Из толпы:

— Барыню изловили...
— На веревку.
— На вороты, значит.
— Как приказано.

Офицер. А! Опоздали, сукины дети!

Из толпы:

— Прости, милостивец, покуль разыскали.
— В капусту схоронилася!
— Рады бы ране!

Офицер. Ах, вы проклятые! Вот я вас сейчас!

В толпе:

— Ай, батюшки, это царицына команда!
— Пропали наши головушки! *(Разбегаются.)*

Офицер. Стой, оцепить всех!

(Солдаты окружают толпу.)

В толпе:

— Эх, сказывал я: не замай, мир, барыню!
— „Сказывал". Аль не ты ее первый облапил?
— Да пущай ее господь милосердый облапит, а не я!

Офицер *(помещице)*. Вы здешняя помещица?

(Барыня молча трясет головой.)

Хрол *(забежав вперед)*. Они, матушечка, язычка решились. Дозвольте объяснить: помещица Параскева Антоньевна Требухина.

(Подъезжает младший офицер.)

Младший офицер. Честь имею доложить: нового самозванца за околицей поймали.

Офицер. Хорошо. Эй, старосту подать! Живо!.. Кто староста?

(Толпа выдвигает вперед старосту.)

Офицер. Слушать грамоту! По приказу главнокомандующего и управляющего гражданской частью усмиряемых губерний его сиятельства графа Петра Ивановича Панина, сия деревня, аки мятежная, незамедлительно подлежит нижеследующей экзекуции: „От каждых трехсот душ повесить одного, прочих же пересечь плетьми жестоко, и у пахарей, не идущих в военную службу, на всегдашнюю память злодейского их преступления, урезать одно ухо". Староста! Сколько душ в деревне? Сказывай точно! Солжешь—самого повешу!

Староста. До тысячи душ, ваше благородие! Ну, много бежамши...

Офицер. Выдать сию минуту трех человек на предмет повешения! Негодных к военной службе отобрать для урезывания уха. Всех прочих—на конюшню! Да чтоб мне в четверть часа—готово! Не то возьму под-ряд!

(Уходит.)

Младший офицер. Только трех повесить! На такое-то село... С самозванцем? Ну, нет! Я хоть одного несчитанного приватно вздерну. Тащи, ребята!

Солдаты. Какого, ваше благородие?

Младший офицер. Бери крайнего, вот хоть этого, что борода лисьим хвостом.

(Солдаты хватают Хрола.)

Хрол. Братцы, да что ж вы! Я ж за господ дворян!

Солдат. Ишь ты, и веревку припас!

Младший офицер. На ней и повесить.

(Хрол хочет говорить, ему зажимают рот и уводят.)

Странник *(вслед ему)*. Браток, там в сумке белье чистое: переменись. *(Крестится.)* Прими, господи, дух новопреставленного раба твоего, имя рек, презирая вольная и невольная...

Староста. Что ж, мир честной, идем решать—кого выдать на смерть, кому ухо резать.

1-й старик. Ухо молодым резать: это все через их!

Афоня. Ох, ты, умный какой! Мне после Успления жениться надо, а старикам ухо ни к чему.

2-й старик. Как это—ни к чему, ежели я, примерно, в сторожах?

Парень. А ежели я в хвалтурах?

1-й старик. Ну, это еще—как барыня скажет. А то ежели всякий станет отлынивать...

1-й мужик. Смутьянов изловить.

2-й мужик. Все они за Пугачами побежали—излови их.

3-й мужик. Авдей-кузнец дома на горне пьяный спит.

(Проходят бабы, мужики.)

1-я баба. Сказывают—это не настоящий Пугач был.

2-я баба. Да то нишь настоящий? Тот на Москву идет, а этот вниз побег.

3-я баба. Значит, не приезжал еще?

1-я баба. Знамо, нет! Проедет, так скрутит их вправду!

4-я баба. Да иде ж тут правда, коли мой Дрон из риги не выходил, а ему выпадает ухо резать.

1-я баба. А как у меня Хома сроду глухой!

3-й мужик. Не так судишь: тут, гляди сюды, для пользы ухо режется! По закону.

3-я баба. Знаем ваш закон! Богатеи, небось, с ухами останутся! *(Уходят.)*

Сидоровна. Ох, ты ж, горе наше! Девку какую высватали, ан—на тебе... Забракуют карнаухого.

(Проходит старуха.)

Старуха. Мир вам, люди добрые.

Странник. Мир и тебе, сестра! Откелича, милая?

Старуха. Сверху сыночка провожаю.

Странник. А где сыночек-то?

Старуха. Вон он, по реке плывет. Пятый от краю висит...

Сидоровна. Мати божия...

Старуха. Третий день иду. Отстала-было, да, спасибо, в заводи задержались. А с ночи опять поплыли.

Липака. Поплыла наша долюшка за водою в сине море...

Странник. Доля наша не на земле, ниже на воде, а на небесах.

Старуха. Итти-то уж моченьки нет. И отстать—моченьки нет.

Странник. Пойдем, милая, пособлю, покель земля носит. *(Марею.)* Что ж, браток, насчет Кеева?

Марей. Где уж... Осели ноги.

Странник. Ну, простите, Христа ради. *(Поддерживает старуху, уходит. Вбегает Афонька.)*

Сидоровна. Ну, что, сынок?

Афонька. Слава богу. Сейчас драть будут.

Сидоровна. А ухо?

Афонька. Цело. Двадцать пять и шабаш!

Сидоровна. Ну, слава тебе, царица небесная... А оно ж до свадьбы заживет?

Афонька. Да-то как же!

(Входят староста, старики, идут к Марею во двор.)

Староста. Здорово, Мареюшка.

Марей. Здравствуешь, Парфен Федотов.

Староста. Ай шлею чинишь?

Марей. Чиню, вишь.

Староста. Так... Здоровье твое как?

Марей. Какое мое здоровье!

Староста. То-то что... С таким здоровьем какое уж житье!

Голоса:

— Куды там!

— Какой уж ты жилец!

— Уж лучше помирать...

— Помирать-то, чай, все одно надо...

— Беспременно!

— Уж кому какая смерть на роду написана.

— От того уж не уйдешь!

— На воде там, стало-быть, али на земле.

Марей. Православные... Вы... с чего ко мне пожаловали?

Староста. К твоей милости, Мареюшка, выручай мир! Твой, значит, черед, Марей Иванович. На тебя упадает.

Марей. Что?

тароста. Помирать, Мареюшка, сейчас требуется...

Липака. Ой, несчастная головушка! Не ходи, Мареюшка. Али опричь тебя людей нету!

Староста. То-то, что нету. Виноватые давно к Пугачам ушли. А кто дома—все мужики здоровые, кормильцы.

Голоса:

— А кто не хуже, хворый—у его дети есть.

— А у тебя детей нету, сам ты не работник.

— Веку твово осталося мало...

Липака. А Корней Старшой? Али не больной?

Староста. То-то, что вечор помер.

Голос. Кабы не помер, царство небесное, самый бы раз!

Староста. Уж ты, Марей Иваныч, сделай милость, не противься.

Голос. Порадей миру.

Липака. Не ходи! Не ходи, Мареюшка, родименький! Не слухай никого.

Староста. Супротив мира уж не след.

Марей. Али я когда супротив мира шел?

Липака. Чай Стигней безрукий тоже не работник! Ему ближе черед!

Марей. Буде, Липака. Чужой смертью жив не будешь... С кем же мне помирать?

Староста. За Авдеем-кузнецом побежали.

Голоса:

— Да то пьяница и смутьян человек—не жаль.

— Знамо, того—силком.

Староста. А третий, Хрол-воевода, уж висит. Попросим засчитать.

Липака *(голосит)*. Рубаху-то хоть переменить да обмыть...

Староста. После обмоешь, время нету. А рубаху, это можно, заходи в избу.

(Марей и Липака уходят в избу.)

Голоса:

— Авдея, Авдея кузнеца ведут!..

(Толпа приводит Авдея. Он угрюмо поводит заспанными глазами, по временам фыркая, встряхивает с похмелья головой.)

Голоса:

— Сонного захватили!

— Так не дался бы!

Староста. Постой, ребята, сейчас Марей обрядится. *(Авдей вдруг вырывается и бежит. Толпа с воплем гонится за ним. Добежав до обрыва, Авдей оборачивается к толпе и кричит:* „Не хочу от ваших подлых рук смерти. Душитесь сами панам на здоровье". *Бросается с обрыва вниз головой.)*

Голоса.

— Разбился!

— Али на смерть?

— На смерть...

— Нарочито вниз головой!

Староста. Ну, не вредный мужик? Не пожелал с пользою помереть... Теперя иди, ребята, за Стигнеем.

(Из избы выходят Марей и Липака. У Марея в руках зажженная свеча.)

Липака *(причитая).* Ой, сон мой вещий, бесталанный. Ой, выпила ж я нонеча вина синего, да не опохмелиться мне до веку... Ох, Мареюшка мой безответной! Как мне без тебя век вековать?..

Марей. Буде, буде... Причаститься бы...

Староста. Да поп-то на огороде висит. За молебен.

Голос:

— Да кто ж его повесил-то?

Староста. Энти патрахиль накинули—„молебствуй", а эти на том патрахили повесили: „не молебствуй".

Марей. Дайте, православные, хоть на солнышко погляжу.

Староста. Что ж, гляди, родный, это хорошо.

Голос:

— Вишь, оно нынче ласковое какое!...

Марей. Эх, отсеяться не успели... Стригуна бы повидать... Борону, зубьями вниз положи,—не наскочил бы стригун-то.

Голоса:

— Это верно!

— Може, Марей Иваныч, водички выпьешь? Свежачка!

Староста. Ну, с богом.

Марей. Простите, люди добрые, ежели кого чем... *(Кланяется на все стороны.)*

Голоса:

— Прости и ты нас... Спасибо...

— Царство тебе за то небесное!

— За обротку, Марей, не поминай.

Марей. Что уж... Вдову горькую не обидьте.

Голоса:

— Что ты, милый!

— Али на нас креста нет!

Староста. Доски на домовину, Липака, возьмешь у меня. Жертвую.

(Марея ведут под-руки.)

Липака *(бросаясь к мужу).* Не дам. Окаянные!.. Проклятые! *(Падает без чувств. Ее уносят в избу.)*

Староста. Ногами, Мареюшка, жестче забирай, чтоб начальники не забраковали.

Голос:

— Эх, померла Клементьевна—поголосить-то порядком некому.

(Процессия молча уходит.)

Занавес.

Материалы к роману.

Бор. Пильняк.

Список персонажей повести, героев, людей хороших и плохих, обывзтелей и пр...

(Нужен принцип, каким расположить героев, и этих систем может быть длинный ряд, не случайно эти слова—„принцип“, „система“—не русского корня,—и пр.— — —).

Иван Александрович Утин, статистик. Главный герой повести. Место жительства, и старчества, и смерти—город Коломна, в Гончарах. За всю жизнь (после окончания университета) выезжал из Коломны только дважды—за мукой—в Нурлат, в Казанскую, и в Кустаревку, в Тамбовскую,—это было в голод, в 1919 и 1920 годах, когда люди в Коломне ели овес и конятник, лошадиный корм. Чтобы дать характеристику Ивана Александровича, надо описать его вещи,—сам же он—маленький, сухенький, говорить ему шопотом, голову держать в плечах, горбиться, ходить в женской шали, чай любить с малиновым вареньем;—у Ивана Александровича—очки на носу, без очков он не видит, очками всегда вперед, волосы черные ершиком, борода не уродилась,—усики на бледной губе—очень тонкие, очень юркие, заменили глаза, вместо глаз рассказывали, как настроен, что думает, над чем смеется Иван Александрович.—И вот дом:—в доме лежанка в кафелях с ягнятками и в кораблях, у лежанки лампадка (чтоб закуривать от нее, не вставая, самокрутные папиросы толщиною в палец, никак не для бога,—ибо за всю жизнь Иван Александрович ни разу не был у бога, и не мог научиться, пальцы не слушались скручивать папиросы;—и кстати, о руках: руки у Ивана Александровича были лягушачьи — —)—у лежанки лампадка, на лежанке—книжка (очередная), лоскутки бумаги, шаль, валенки, подушка и — Иван Александрович Утин, в шали и в валенках, за книжкой; у лежанки—по времени—или только лампадка (тогда очки над лампадкой), или лампа горит (тогда Иван Александрович пишет статистику), или день, очень светло от окошек, и окошки, тоже по времени,—или в зелени летнего садика, или в инейных хвощах на стеклах (тогда очень тепло на лежанке); и кроме лежанки в комнате—книги, только русские книги (ни одного чужого языка Иван Александрович не знал), странные

книги—старинные книги: одна стена—осьнадцатый наш век, другая—первая четверть девятнадцатого, в ящиках и на полочках—рукописные книги; книги теперешние—в других комнатах, в коридоре, в сарае, на чердаке, кипами, пачками, связками, за нумерами и в пыли;—теми, теперешними книгами заведывала Анна Ивановна, тоже статистик, жена, мать и кормилица Ивана Александровича, у нее хранился и список этих книг, и в комнате ее, куда никто не допускался, хранилась и двуспальная кровать (Анна Ивановна была на двадцать лет моложе Ивана Александровича, и была втрое больше его, безотносительно огромная, кустодиевских качеств женщина,—но была она покойна и румяна, как всячески сытая женщина). Перед домом Ивана Александровича дорожку всегда расчищала Анна Ивановна,—но Иван Александрович не любил выходить из дома. Все книги, что были у него, Иван Александрович—знал,—Иван Александрович не любил—ни траву, ни поле, ни солнце; он говорил—со своей лежанки, глаза за очками, только по усикам узнаешь, шутит ли, насмехается ль—говорил шопотом, и все, кто приходили, тоже шептали,—только Анна Ивановна спокойным басом спрашивала, на вы,—что хочет Иван Александрович—чаю ль покушать, картошки ль?—и где он ляжет сегодня на ночь, то-есть, где поставить на ночь лампадку, кувшин с ключевою водою и не охладить ли двуспальное логово?— — Перед лежанкой, собственно, под оконцами (ибо комната была малюсенькой, не любил Иван Александрович пространства), стоял стол—рабочий стол—Ивана Александровича; он был завален табаком, недогоревшими его самокрутками, пылью (Анна Ивановна—чистота—не допускалась сюда), лоскутками бумаги; здесь стояли в баночках всех цветов чернила, лежала навсегда раскрытая готовальня, лежала „Книга Живота моего, Утина“, лежала бумага всех сортов, покоились пятна всех цветов чернил, и от пирожков, и кругов от чашки, и от дыма,—и отсюда возникали—аккуратности поразительнейшей и чистоты—диаграммы всяческих красок и размеров и всяческие статистические таблицы.— — Ни годы, ни революция не изменили манеры жить и думать у Ивана Александровича.

Иван Александрович Утин—во время действия повести—не умер, проздравствовал точно таким же, каким был до повести. И не он, в сущности, герой повести, а его „Книга Живота моего, Утина“, его записи и статистические выкладки. Персонально он не участвовал в повести, но многие хотели бы его придушить, даже своими руками,—если было бы за что его придушить,—но он ничего не делал, и его не за что было душить. Он со всем был согласен и всему подчинялся—и ничего не делал, кроме статистических своих таблиц.— —

Выписка из „Принципов, коими расположены герои в Списке Персонажей Повести“:

«Принцип „единства места и времени действия“ и ассоциации параллелей и антитез неминуемо будут играть роль

хорошего режиссера. Принцип алфавитности и „вступления в действо“ явно устарел: принцип смерти, а стало быть и рождения (моральных и физических), уравнений „куском хлеба“ — более правилен».)

. . . .

УЧИН ВО ХРЕБТЕ.

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, какую считали подлинной столетьями.—Стать вот тут, у реки,—и перед тобою:— забор, за забором бурые горбы цехов, под забором горы каменноугольных шкварков, проржавевший железный лом, железные опилки,— под забором, по каменноугольным шкваркам—две колеи железных рельс от декавыльки, упертые в заборные ворота;—и через каждые какие-то минуты—паровичек, вагончики, каменноугольная пылища, рабочие чернее чорта; паровичок, вагончики шумливо мчат по плохо свинченым рельсам; и их съедают заборные ворота; за забором бурые горбы цехов и—не лесной, не полевой, не бурь и не метелей—шум, заводский шум, очень скучно; над горбами крыш—одно лишь небо, и даже на него не хочется смотреть, и даже нет прохожих, в этот час, и на реку уже не хочется смотреть, на древнюю Москву-реку, она зажата штабелями дров, ящиками торфа, баржами на воде, свистящим пароходом, и не видна вода, и не нужен монастырь вдали... — Стать тут вот, у переезда,—и пред тобою:—справа виадук через пути, вагоны, паровозы, рельсы, железнодорожные постройки, случайные три липы, тополь,—и за тополью, в акациях—„приезжий дом“, „дом холостых“, дома из цемента под черепицей в стиле шведских коттеджей, дома для инженеров, в спокойствии, в солидности;—слева и сзади— рабочий поселок, нищета, избушки, как скворешницы, в полисадах с маком и лопухами, с мальчишками в пыли и с бабой у калитки и с поросенком в луже,—и у бабы крепкою веревкой перетянуты одежды ниже живота, а на руках, у голой груди, в грудь всосавшись, дохленький ребенок,—и поросенок в луже—гражданин, и гражданином—пыль:— чтоб строить ребятишкам замки, крепкие, как пыль;—и весь поселок точен, как квадраты шахмат, и на крыше каждого (иная крыша из железа, иная крыта тесом, иная греется соломой)—на крыше изолятор электрического тока, и в окнах всюду ситцевые занавески, бедность, нищета,—и на углах квадратов шахмат—по артезианскому колодцу и по столбу для пламенных воззваний о митингах, о Коминтерне и кино,— и домики у рельс (овражек здесь, здесь некогда расстреливал ребят полковник Риман) оделись вывесками—парикмахерской, столовой, сельсовета, сапожной мастерской (башмак прибит под крышей, как у парикмахера—усы и бритва в мыле, как у столовой—чайник и тарелка); так деревянная Россия подпирала к стали и железу;—и впереди за переездом красным кирпичом возникли—заводская контора, заводоуправление, завком, клуб союза металлистов,—там в доме—совсем по-

европейски—степенность гулких белых коридоров, солидность тишины и мягкости ковров в солидных кабинетах, где тепло зимой, прохладно летом, где на стенах картины тысячного паровоза, где у окон искусственные пальмы,—угодливый шумок от счет, чуть-чуть кокетливый стрекот машинок, медоречивость главного бухгалтера; стекло перегородок, столы, светлейший свет—конторы—совсем по-европейски: а наружи и в коридорах (наружи—на красном кирпиче), огромно:

„Берегись, товарищ, вора!"
„Бей разруху—получишь хлеб!"
„Товарищ—не воруй!"
„Дезертир труда—брат Врангеля!"
„Смотри, товарищ, за вором!"

и карандашом сбоку:

„Ванька Петушков сегодня запел песни!"
„Дунька-Лимонадка родила двоих сразу!"

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной...

И там, за заводскими заборами, за степенной солидностью главных контор, за завкомом и клубом союза металлистов—

—дым, копоть, огонь,—шум, лязг, визг и скрип железа,—полумрак, электричество вместо солнца,—машина, допуски, колибры, вагранка, мартэны, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, горячие цеха,—и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка из дерева,—черное домино;—при машине, под машиной, за машиной—рабочий;—машина в масле, машина неумолима,—здесь знаемо—в дыме, копоти и лязге—ты оторван от полей, от солнца, от цветов, от ржаных утех и песен аржаных, ты не пойдешь вправо или влево, потому—что весь завод, как аякс и как гидравлический пресс,—одна машина, где человек—лишь допуск;—машина в масле, в копоти, как потен человек,—завод очень сорен, в кучах угля, железа, железного лома, стальных опилок, формовочной земли,—

—...там за заводской стеной, за завкомом, когда еще спят конторы и мыши лишь бродят по коридорам,—в рассвете в турбинной, в безмолвии, в тишине (лишь сторожа стучат сороками колотушек и щемят душу ночные свистки)—человек—ч е л о в е к!—его никто не видит—поворачивает рычаг—и:—(из каждого десятка один—одного тянет, манит, заманивает в себя маховик паро-динамо, в смерть, в небытие—маховик в жутком своем вращении, мчании—в допусках—в смерти)—человека никто не видит, он поворачивает рычаг—и:—

—завод дрожит и живет, дымят трубы, визжит железо, по двору меж цехов мчат вагонетки, ползут сотнетонные краны, рвет земное нутро и рассвет заводский гудок и тысяча черных курток рабочих рвут темноту из поселка—через ворота—к цехам...

Его никто не видел, человека, повернувшего рычаг в турбинной,— но завод—живет, дрожит и дышит,—идет рассвет, и тысяча черных людей идет к станкам, к печам, к горнам...

В сталелитейном у мартэнов: все совершенно ясно; в сталелитейном — полумрак; в сталелитейном – пыль; в сталелитейном—горы стальных шкварков; уголь, камень, сталь; в сталелитейном пол—земля, и рабочие роются в земле, чтобы врыть в нее формы, куда польют жидкую—сталь; сквозь крышу идет сюда—кометой пыли—луч солнца,— и он не нужен и случаен здесь. — У мартэнов: все совершенно ясно: в мартэнах — расплавленная сталь, туда нельзя смотреть незащищенным глазом; когда подняты заслоны, оттуда бьет жарящий жар, туда смотрят сквозь синие очки, как на солнце в дни солнечных затмений,—и совершенно ясно, что там в печах—в печи—в палящем жаре, в свете, на который нельзя смотреть, — там зажат кусок солнца, и это солнце льют в бадьи, чтоб делать из него паровозы, дизеля и новый мир.—

В кузнечном цехе—чужому, пришедшему с переезда иль с Москвы-реки, пришедшему впервые,—страшно—в кузнечном цехе, тоже в полумраке—в горнах до-бела калят сталь и потом куют ее в прессах, как тесто, и бьют молотами, чтобы сыпать гейзеры искр;—в кузнечном цехе полумрак и вой, и гром, и визг железа, которое куют;—в горнах— в горны, где горят сталь и уголь, качают воздух, рвется воздух, чтоб раздувать горны, и глотки горнов харкают огнем, пылают, палят, жгут,— горны стоят в ряды, к ним склонились краны, и краны вырывают у огня для прессов белую—огненно-белую—сталь,—и горны похожи на самых главных подземных чертей, они дышат, задыхаются, палят огнем и воют, ревут, барабанят—кранами, прессами, молотами:—здесь страшно пришедшему из-за Москвы-реки,—н-но у каждого горна висит объявленье завкома:

„Строго запрещается запекать картошку в горновых печах. Завком, подписи, печать, такое-то число“.

...Рабочие—черны. Машина—в масле. Здесь—огонь, сталь, машина. Где-то в турбинной повернут рычаг.— —

— Домино—это черные, с числами, кости, это числа, где число кладут к числу, чтобы получать новые числа. В домино играют в тавернах, где полумрак керосиновой лампы под потолком,—в домино играют, чтобы выиграть или проиграть.— Машина!—Когда сложат в сборном цехе все костяшки стального домино,—костяшки, созданные по нормалям и допускам фрезерами и аяксами,—тогда в о з н и к а е т м а ш и н а; но сама она—опять лишь костяшка нового, стального, цементного и каменного домино, имя которому завод, которых так мало в России.

„— Пусть мало, но на этом пути конца—нет! Домино машин—бесконечно, чтобы заменить машину мира“,—это сказал Осинский.

„...Строго запрещается запекать картошку в горновых печах!..“

И — ночь.

„Пучин во хребте"—эпиграф.—

Ночь—июльская, черная, в куриной слепоте, в лопухах, в крапиве,—надо было бы скрипеть кузнечикам, но на этой земле, убитой нефтью и железными опилками, не росла крапива. Сверхурочная смена—на фронт! бить врага и разруху!—работала до одиннадцати, и в одиннадцать уходили рабочие—по сходням в заборе, где меняются бляхи, на волю, и рабочие шли очень поспешно, веселый народ, с прибаутками в поле, чтоб докашивать недокошенные травы, чтоб не спать на страде ночей, и уборщицы—из Чанок, с Парфентьева—с завода в Парфентьево, за реку в туманы—понесли смешки, частушки, сладкие свои девичьи радости. И тогда у забора, у реки все стихло, только переливали на заводе из одного била в другое печаль да трещали трещетки. Была пятница, банный на заводе день,—и, когда жухлый месяц пошел к полночи, когда все стихло,—раздвинулись в заборе две доски, высунулась оттуда голова, посмотрела кругом, голова была волосата, голова промычала:

— Ну, здеся вы што ли,—идитя...

Тогда из штабелей откликнулись:

— Здеся, давно годим... Иттить?

— Говорю,—идитя!..

Из штабелей возникли двое—монах и баба. Баба первая пролезла в щель к исчезнувшей голове, монах пролез вторым, так же, как баба, высоко задрав свои юбки. За забором здесь лежал паровозный лом и неожиданно рос бурьян, и в бурьяне к потайному ходу шла тропа. Голова оказалась рабочим лет под сорок. Рабочий сказал:

— Все кончили, и Митюха лег спать. Идемтя.

— Ломит?—спросил басом монах.—В самом хребте?

Ответила баба:

— Иии, как ломит, прямо не может разогнуться! Ты уж помоги.

— Во хребте ломит?

— Во хребте,—сказал рабочий хмуро.

— Значит,—пучин, либо учин,—по разному называют. Иные просто говорят—утин,—но это неправильно,—сказал монах.

— Ты потише толкуй-то,—хмуро перебил его мужик.

Они пошли, шли меж цехов, по шпалам, по кучам угля, шли, как воры. Завод замирал на ночь, холодал, отдыхал, лишь на скрещениях горели фонари, лишь кое-где в цехах не стихнул скрип железа и не погаснул свет, чтобы оставить сторожевые огоньки. Трое шли мраком. Они пришли к заводской бане, баня была пуста и открыта. Трое, они ушли в баню и там притворились плотно. Там монах сел на лавку в предбаннике, сказал:

— Поддай пару, Дарья, покрепче. А ты, раб божий Иона, лезь на полок, парься крепче!

Мужик стал стаскивать сапоги, хмуро.

Баба сказала в раздумьи:

— Отец, мне раздеваться, што ли?—ты-то будешь снимать што?..

— Нам раздеваться не требуется,—ответил монах.—Только разве намочишься. Сниму на всякий случай рясу. Разуться надо!

В бане было темно. Мужик долго парился, покряхтывал, стонал. Баба пару поддать как следует не сумела,—поддавал монах. Тогда с полка застонал мужик:—„умру, дыхать нечем!". Монах ответил успокоительно—„потерпи, не помрешь!" ...Потом мужик соскочил с полка очень молодо, замотал головой, запрыгал, побежал к двери, закричал—„ну вас всех к чертям собачим, псов!"—выскочил в предбанник красный, очумелый. Монах ловко подхватил его, поднял на воздух, у мужика засучились в воздухе ноги. Монах ловко положил его на порог, брюхом к земле, скомандовал бабе—„держи за голову, за уши, сядь на шею!"—Баба исполнила приказ покорно — монах вскочил босыми ногами на спину, заплясал, загнусавил поповским речитативом—„пучин во хребте—иди вон! пучин во хребте—иди вон!"—потом что-то непонятное, засолил пальцами, перекрестил мужичий зад,—мужик уже покорно брыкался ногами, не пытаясь встать. Монах заплевался на все четыре стороны, заминил. Баба, сидя верхом на мужниной шее, причитала шопотком.

Потом на мужика лили ведрами холодную воду, особенно ловко монах, норовя попасть в рот, глаза и уши. Вскоре мужик напяливал сапоги, стал приходить в сознательное состояние.

— Ну, как, Иона, ушел?—спросил деловито монах.

— Кто?—переспросил мужик.

— Пучин.

— Ушел!

— Не болит, касатик мой ясный, Иоша?—спросила жена.

— Пошла ты отседа, стерва, в кобылий зад!—ответил мужик.—Не болит.

— —

... Вскоре эти трое шли обратно—это второй „учин"—опять, как эпиграф—цифра—2.— —

„Учин во хребте"—эпиграф— —
и:—послесловье!—

Был—девятьсот девятнадцатый год. Быль июль. Была ночь.— —

Дохлый месяц зацепился за трубу, повис на заводской трубе, был вылен и не нужен, и ночь была черна по-июльски. Эти трое шли тихо. Завод спал—или жил—по-ночному. Перекликались дозорные, били в железные била, мир наводили сороками колотушек. Завод остынул на ночь. Колотушки и била—всегда хороши для воров, всегда говорят, где сторожа. Эти трое шли—из бани—мраком, бесшумно. И вот—у фанерной мастерской—бесшумно в окне во втором этаже возникла доска, красным деревом метнулась в косом свете фонаря и упала бесшумно

на человечьи руки внизу, на углу свистнули тихо — и фонарь, и окно, и безмолвная тень внизу, у стены—тень доски над человеком—пляснули, плеснулись, исчезли. И опять лишь колотушки, лишь била—тишина и июль над заводом.

— Воры работают, сволочи!—сказал Иона монаху.

И у инструментальной во мраке повстречались два человека, с мешками, в кепках, раскоряками в безмолвьи, тенями, а не людьми,— и косые лучи фонарей кинули сразу три парные тени. В инструментальной горел сторожевой огонь, трое подошли к окну, взглянули—в огромном, немотствующем цехе, в безлюдьи стояли рядами станки и на черную крысу был похож человек, один во всем цехе, с зажигалкой в руке, шаривший быстро под фрезером. Иона кашлянул хмуро —и зажигалка, и человек исчезли. И тогда Иона сказал:

— Воры работают, сволочи, струмент воруют!

Они шли меж цехов, по шпалам, по кучам и за кучами угля и лома, шли по мраку. Завод замер на ночь, холодал, отдыхал. Они вышли к забору, туда, где был свален паровозный лом, где рос бурьян, щелкнул здесь неожиданно кузнечик, пахнул июлевым удушьем. Иона проверил потаенную щель в заборе, высунул голову в нее,—там была река и из-за реки донесся скрип телеги. Ночь. Тогда Иона сказал:

— Погодьтя, я сичас!

И он ушел в бурьян. Он вернулся скоро, у него в руках—на плечах, на голове—был круг. Монах спросил:

— Что такое?

Иона ответил:

— А это приводный ремень—подметки хороши!

Монах степенно пошутил:

— Ишь — ты, словно хомут на себя напялил. Что значит—пучин-то изгнали!

— Теперь не болит,—подтвердил Иона.

...А там, за Москвой-рекой, на лугах — кричали коростели, полз туман, в тумане пасла табун Маша-пастушка, та, что по травам гадает, та, о которой расскажет статистик Иван Александрович Утин-Комаров. Монах пошел берегом и мраком домой к Голутвину монастырю,—из-за реки смотреть тому, кто—

—свернул в шоссе, проехал полем, перебрался вброд через Черную речку—кто попал в места, где нету дорог, где болота, где безумеют в крике дикие утки, где бегают бесшумные, не жгущие, зеленые болотные огни,—

— тому

не понять геометрической формулы пролетария.

Шел девятьсот девятнадцатый год, шел июль,—за заводом легли поокские поля, Расчислав, на лугах пасли табуны Маши-пастушки,—шла и лежала Россия изб, смотрела трахомой избяных оконцев, скалилась подворотнями, усмехалась скрипом дверей:—„городам таперь и заво-

дам—крышка!—своим манером, своим обыком, как при дедах!..“—Шел девятьсот девятнадцатый — обнаженный и голый, — октябрый семнадцатый канул в историю, — приходил двадцать первый, скорбящий. О Расчиславах—потом—расскажет статистик Иван Александрыч.

А за рекой, там, где сливаются Москва и Ока (древнейшие русские реки!) все же стоял завод, смотрел в ночи красными огнями, пугал в ночи людей, волков и филинов, хрипел в ночи—хребет во пучине. Это он командовал девятьсот девятнадцатым:

— Россия, влево!
— Россия, марш!
— Россия, рысью!
— Карррьером, Рррросссия![1]) — — —

— Заводам—грамота!
— Заводам—хлеб!
— Заводам—труд!
— Заводам—братство!

„Хребет во пучине“ — эпиграф.— —

И — ночь. — —

Завком, союз металлистов, заводоуправление, ячейка Р.К.П., ночь,— у дверей плакаты: —

„Берегись, товарищ, вора!“
„Бей разруху—получишь хлеб!“
„Дезертир—брат Деникина!“ — —

— там в доме— совсем по-европейски—степенность гулких белых коридоров, солидность тишины и мягкости ковров в солидных кабинетах, где на стенах картины тысячного паровоза, где у окон — огромных! — искусственные пальмы — —

было — —

— Россия, влево!
— Россия, марш!
— Россия, рысью!
— Каaаррьером, Ррросссия! — —

было — —

ночь, потушены лампы, гулки коридоры, у дверей красноармейцы, — только в кабинете у директора, где заводоуправление, зеленая конторская лампенка и искусственные пальмы в сизом от махорки дыме, — и за окном заводские огни, — окно полуоткрыто — ночь, ночные колотушки. Люстру — потушили.

— Иван, родной, ты лег бы спать, — ты не ложился уж неделю.

— Я лягу здесь, Андрей... Мне надо написать. Я попишу, а ты ложись.

— Дай папироску.

Тишина, ночные колотушки.

---

[1]) Автору этой повести довелось прочесть в одной из английских книжек о России: „В России распространен вид животного, называемый „коняка“, чрезвычайно похожий на нашу английскую лошадь“.

Кожухов:

— Позвони Смирнову, пусть придет, он сидит в завкоме.

— Скоро уж рассвет.

Тишина, ночные колотушки.

Смирнов, — расставив ноги, голову на руки, — каждый глаз по пуду, и голова — в тысячу пудов, — как снести?! — :

— Я составил списки. Десять человек на фронт. Андреев с эшалонами по продразверстке. Тебе, Андрей, придется взять еще и профработу... Сидел и за столом заснул... Завтра утром до работы — собранье всех рабочих, ты выступай, — эх, Деникин, сволочь, жмет!.. Помнишь, у Лермонтова, — Казбек с Шатом спорили? — „от Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и свер...“ — —

Кожухов:

— На завод надо нажать, — патроны, пушки, рабочие дружины.. Иван, родной, ты лег бы!.. Иван пойдет на фронт... Мы тут всю ночь вопросы обсуждали...

Тишина, ночные колотушки. А потом — лиловой лентой за Москвой-рекой — рассвет. Один свалился на диване, другой заснул на стуле, — третий — Кожухов — у окна, в карманы руки, окно раскрыто, роса села, за окном рассвет — —

было — —

по-пушкински „румяной зарею покрылся восток“... „У Казбека с Шат-горою был великий спор“, — да... Ночь. Под Курском — Деникин, у Воронежа — казаки, в Одессе — французы, в Архангельске — англичане, в Сибири — чехи... В России — мужики, — мужики, разверстки, бунты, ведьмы, ведьмачи, лешие... Ерунда. Дичь... Ночь, рассвет, — это вот сейчас Россия идет по шпалам, бежит, не понимает, орет, воет, жжет костры, деревни, города, людей, правды, веры, жизни, гложет глотки... Пучина людская, — российские версты, глупости наши... „У Казбека с Шат-горою был великий спор“,—да, великий!.. Какая тишина!..

...За окном были стройки, виднелась станция. Возникало утро, возникал день. Было мертвенно тихо, только-только собирались запеть птицы, площадь перед завкомом пустынничала. Тогда — издалека еще слышный — зашумел поезд. На станции, как мухи у лужицы на столе, у перронного барьера на земле спали люди, было тихо, и только поезд шумел вдали, еще за мостом. В этот рассветный час показалось, что все лежащее перед глазами, весь мир, остеклянел и не живой, — но поезд заскрипел сотней позвонков, прогудел, — и от станции пошел страшный, воющий нечеловечески человечий гуд, мухи завертелись по перрону, визжали бабьи голоса, — поезд, полсотни теплушек, покорно ждал, когда его боем возьмут мешечники, и паровоз, посапывая, ходил брать воду, и кто-то, должно быть, заградители, стрелял из винтовок...

...Какая тишина!.. Красные армии отступают, голод, нет железа, заводы умирают, города пустеют... Какая тишина!.. Роса села, холодно.

Вон, запалили костры... Этот год уйдет в историю — без чисел и сроков. Нет села, весей и города, где б не было восстаний, бунтов и войн. Идет смерть — не постельная — в расстрелах, в тифах, в голоде — у стенок, на шпалах, в вагонах, в оврагах... Статистик Утин-Комаров подсчитал, что за эти годы родится, проживет и умрет, убив до миллиона людей, девять миллионов пудов вшей, — если бы это была рожь, ее хватило бы прокормить десять таких заводов, как этот, в течение десяти лет... Россия вышла на шпалы, в великом переселении правд, вер и поверий, — вся Россия — серая, как солдатская шинель, — вся Россия в заградах, в пикетах, в дозорах, в мандатах, в пошлинах, — и все ж вся Россия ползет в вое пуль, в разбойничьих песнях, в кострах, пожарах, неудержимая... Этот год уйдет заржавевшими заводами, разбитыми фабриками, опустевшими городами, поездами под откосами, серой шинелью, шпалами, кострами из шпал, песнями голодных — — Какая тишина, — но „восток покрылся румяной зарею". — —

ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ — —

БУДЕТ — —

— Андрей, ты не спишь? Ложись спать, я выспался, ложись на диван...

Кожухов:

— Я смотрел на рассвет, думал... Мы лжны побороть.. Роса, холодно!..

было — —

утром завод хрипел гудком, рвал свое нутро, задыхался дымом, омился. Утром шли на завод рабочие — оборванцы всея революционной Руси, в опорках, босые, злые, голодные, без шапок; скрипели цеха, скрипели краны, гудели паровички, орали плакаты — „бей разруху, бей Деникина, бей темноту народную!" — —

(Вопрос:

— Почему не развалился завод? —

Ответ:

— Потому что он стальной! —).

И было собрание рабочих, до цехов, до машин, росным рассветом, под небом на заводском дворе, тысячью глоток —

— и на собрании,
как везде, были:
было
и
получилось — —

Было:

между электростанцией, сталелитейным и заводскими воротами, на площади, где скрестились линии ширококолейной и декавыльки, где нависнул тысячетонный кран, где горами свалена болванка и железный лом, где дым, где гуд завода — собрались рабочие, десяток тысяч, на собранье, стали паровозы, замер кран, рабочие сидели — на

болванке, на мостике у крана, на шпалах, на паровозном тендере; кругом дымили дымы; — рабочие бриты, чтобы не въедалась сажа в бороды, у иных волосы в скобку, под польку иные, иные на английский пробор, — и все же крепко въелась сажа, хмуры лица, злые лица; у тех, кто впереди и кто стоит — тех лица энергичны.

Было: —

— что должно было быть — —

Кожухов:

— Товарищи! Мы строим первую в мире рабочую власть, — мы, рабочие, строим свой мир. Мы должны победить. Я ничего не хочу знать — мы должны победить — —

было, что должно было быть.

Было:

— Товарищ Кожухов! Вот император Александр II, освободитель, отставил крестьянство от крепостного права, а коммунисты его опять вводят для рабочих, — мобилизуют на заводы, гонят работать, а сами кормят воблой. Зачем для рабочих опять вводится крепостное право?—

Было:

— Товарищи рабочие! Вот мы все теперь кормимся по пайкам,— а я говорю—враки! Потому пайки выдают такие, что от них, если только их есть, умрешь ровно через три с половиной недели, я высчитал, — а народ не умирает, — значит все жулики, и коммунисты тоже, раз не помирают, значит кроме пайков кормятся, — и нечего спрашивать с нас, что мы ремни на подметки воруем,— все воры!

Было:

— Граждане рабочие! Вспомните октябрь семнадцатого года. Что нужно было немцам, чтобы победить нас? — отнять у нас хлеб, разрушить наши заводы, развалить нашу армию! — Кто это сделал? — большевики! — Они отняли у нас хлеб, заградив рабочего от крестьянина. Они разграбили заводы, растащив машинки на писание мандатов! Они заставили нас бороться с нашими врагами!..——

Было: — многое.

И —

п о л у ч и л о с ь:

— Десяток, — в профсоюзы!— — Россия, влево!
— Сотня, — за хлебом! — Россия, марш!
— Дружина, — на фронт! — Россия, рысью!
— К ссстттанкам ,— ты-ся-чи!—— — Кааарррьром, Ррроссссия!——

— Есть нечего—жить весело!!

Это вот здесь, на заводском дворе, в очередях, кепкой о земь:

— Запиши, товарищ, меня на фронт. — Крой Колчака,—даешь Деникина.
— Я к тебе, Семенов, в дружину... — Я от товарищей не отстатчик.
— Давай винтовку, — плачь, бабы! — Нам не бывать - стать пропадать!

Это завод заскрежетал, двинулся, пошел работать, пошел кран таскать тонны, это пошли рабочие черными реками по цехам, к станкам,

к труду, к будням, к мартэнам, —

— у мартэнов совершенно ясно, как солнце зажато в печах!..

— —

И —

было — —

опять расходился на ночь завком, чтобы выспаться наспех, — пальмы в кабинете заводоуправления отдыхали от махорки, совсем степенные по-европейски, и на столе лежали, не умершие еще, листки бумаги, окурки, ручки, пепел. Ночь. — Это в ночь, в проселки, в туманы, в веси — бросал и бросал завод — волю, людей, свои мысли, свой навык, — сотня туда! сюда десяток!..

было:

там, в ночи, за сотни верст от завода, в степной деревне, где нету полустанка, сгорел, стерт с землей полустанок, — костры в ночах и тысячи, и песни, и окна у деревни горят пожаром, — и за долго до рассвета к выгону идут отряды, раздетые, разутые, без картузов, с винтовкой и котомкой, — они идут меж костров, и красный отсвет красного огня провожает их во мрак, они идут бодро, ружья на плечо, широким шагом, — „бей белогвардейцев!“ — И на утро, когда „румяной зарею покрылся восток“, загрохотали пушки, точно это грохотало солнце, — тысячи пошли — иль умереть, иль победить! И в новых становищах новые горели красные костры.

было:

где-то на Оке иль Волге, где паром как триста лет назад, полдюжины телег, пепел от костра, мужичьи бороды и шопот: „значит, крышка, — хлеба не давать, — зато из городов за фунт достанешь шубу, — таперя, значит, крышка!..“ — —

было:

были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свисты, посвисты, насечки, зáмети, приметы, разгул и удаль по лесам и по разбою, — „бей коммунистов, — мы за большаков! бей революцию, — мы — за революху, ух!...“

было — —

Смирнов:

— Ты бы ложился, Андрей. Тебе завтра ехать по селам — —

—... и завтра, и после завтра, — доколе? — говорить, делать, не спать, побеждать, делать, делать, делать!.. строить, — по России проложить машину, на заводе строить хлеб, солнце заменить турбиной, по полям посеять города-сады, сделать жизнь прекрасной — —

Смирнов:

— Ты как хочешь, а я рабочим выдам завтра добавочные фунт селедки...

Ночь, ночные колотушки. Смирнов сидит, расставив ноги, и голову на руки, и глаза по пуду, — как с такою тяжестью голову снести? — как не упасть и не заснуть вот тут, где подкосились ноги? —

Кожухов:

— Помнишь, как-то мы прокоротали ночь втроем, с нами был Иван Терентьев... Ивана разорвали мужики... Ивана уже нет, хороший был товарищ...

Смирнов:

— Что ж тебе страшно? — многие еще погибнут...

— Нет, мне не страшно. Многие еще придут на его место. Казбек с Шатом спорит, ничего не поделаешь!..

Ночь, ночные колотушки. И потом рассвет. Какая тишина!.. —

— ...Послушай... Октябрь пришел восстаньем, бунтом, буем — ...Веками шла Россия в перелесках, болотами, проселками, — страшная страна, в разбое, в леших, в ведьмах. Россия заложилась — бегством, сначала побежали мы от киевщины, от уделов, — потом бегали от православья, от царей, от бар, — всегда бежали от строительства и государственности. Цари собрали, собирали Русь — дыбами, надолбами, заставами, нагайками. Припомни, или ты не знаешь, — Московская Россия — вся была — как притвор церковный, как церковь, от женского кокошника, как купол — до культуры из-за иконоспасского монастыря... И все ж — бежала Русь на Дон, на Волгу, на Украину, за Урал... И всегда гуляли по России Разины и Пугачевы... В семнадцатом году гуляли по Руси они же, и теперь еще гуляют, — еще гуляет Стенька Разин. Это он — враг городам, это он грабит заводы, — это он запел старинные песни, встряхнул старинными поверьями, зажег лучину, повалил поезда под откосы, побежал с фронтов, засорил вошью и тифом, — он, мужик, — большевик!.. Национальная русская душа — страшная над Россией метель!.. все разбросает, если... Послушай, — какая тишина... Ты спишь? — прислушайся!... Слышишь? — слышишь, в вихревую эту метель, в корявую, кровяную, полыхающую заревами удалую, разбойничью, безгосударственную — вмешалась, вплелась черная чья-то рука, жесткая, стальная, как машина, государственная — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, сжимающих все до судороги, — она взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу, и мужика, — сжала до хрипоты, — это она стала строить, — строить, — слышишь, — строить!.. Никто не понимает, — это мы, пролетарии, — это мы — машинная Россия, это — заводы, заводская Россия надевает на свой хребет пугачевщину, болота, лучину, поповщину... Всю Россию мы построим заводом, — это мы будем делать правду, справедливость хлеб и воду — трудом — на заводах... — —

„—...никто не понял в России тогда романтики пролетария. Вся городская великороссийская Россия тогда жила — — это они, пролетарии, нормали-

зовали, механизовали, ровняли, учитывали, — это они внесли в каждый дом быт завода с нормой труда, с нормой хлеба, с нормой света, с нормой прав и бесправий. Это рука — рука рабочего, пролетария. Это пролетарий над Россией из метелей — в метелях — — в буе, бунтах, голоде, войнах — строил машину, всесильную машину, рычаг которой был в Московском Кремле, где сидел Ленин, — это Кремль построил Россию, как карту, как план машины, — в карточках, картах, плакатах, словах, мандатах, во всяческих заград - отрядах, в карточках на табак, чтобы курили и некурящие, желтых, как человечьи лица, хоть вся Россия правилась метелью и кровью... Огромная воля!..“ — (выпись из „Книги Живота моего“ статистика Ивана Александровича Утина).

Ночь, ночные колотушки.

Кожухов:

— Делать, делать, делать!.. не спать, побеждать, строить! — По России проложить машину, на заводе строить хлеб, солнце заменить турбиной, по полям посеять города - сады, сделать жизнь прекрасной!.. Надо спать. Поеду завтра утром...

Ночь, ночные колотушки. Там — за окном — завод...

Год — двадцать первый.

. . . .

Не существовавший разговор:

Кожухов:

— Вас, Иван Александрович, надо было бы расстрелять!

Статистик Иван Александрович Утин:

— Нет, зачем же, Андрей Лукич, я никому не мешаю. Я для истории. Я за Россию!..

. . . .

Годы — шли:

Девятьсот девятнадцатый.
Девятьсот двадцатый.
Девятьсот двадцать первый.

. . . .

Было: были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свисты, посвисты, насечки, зàмети, приметы, разгул и удаль по лесам и по разбою,—„бей коммунистов,—мы за революху, ух!..“—„городам теперь крышка!“...— —

— —

было — —

„Пучин во учине"—эпиграф.——

В коломенский уездный комитет партии поступила бумага:

РСФСР.
КОМЯЧЕЙКА
РКП
при Коммуне в
С. Расчислово
„КРЕСТЬЯНИН".—

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Товоарищи в Уездкоме. Мы как коммунисты женившисья в дореволюционный периюд на представительницах контрреволюции Авдотье Семеновне Мериновой с детьми и Арине Ивановне Мериновой с детьми, как мы теперь братья один Председатель а другой Секретарь Коммуны КРЕСТЬЯНИН. Просим онулировать наших жен Авдотью Семеновну и Арину Ивановну; и детей. Как рожденных в дореволюционный периюд.

Члены Партии РКП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ липат меринов.

Секретарь логин меринов.

тыща девятьсот двадцать первого года.

В Расчисловых горках поют девки:

Как Расчисловские горки,
Странные делишки!
Все помещики Егорки,
Последни парчишки!.. э!

Топографией и помещичьей прихотью на Расчисловых горах чорт ногу сломал: на каждом бугре по усадьбе—шесть усадеб—и три крестьянских общества, по семи изб в каждом овраге. Землемер Нил Нилович Тышко—вот уже много месяцев проживая в одной из заколоченных усадеб, ни в планах, ни теодолитом, никак не мог разобраться, как и где сломал чорт ногу. Мужики жили и все понимали, как при царе Алексее Михайловиче, и столковаться о переразверстке не могли. Из помещиков остались лишь Ерликсовы-Ростиславские да Скуратовы-Ростиславские, в двух усадьбах рядом через овраг, да леший-пчеловод Комынин в землянке на своем собственном саженце. Коммуна же „Крестьянин" помещалась за Бирючим Буераком, в глухом месте.—Частушку же только девки поют так,—парни девкам пели иначе...

Впрочем, частушек очень много, бабье творчество: ибо—„твой милой в красноармейцах, мой у Балаховича,—твой повешен, мой расстрелян,—наша доля вдовичья". Бытописателю их не обойти. „Охо-хонюшки, хо-хой, ходит барин за сохой, в три ручья он слезы льет, нашей кровушки не пьет!"... „С коммунистом дело чисто—обещала землю нам,—три аршина на могилу раздают по едокам",—это про коммуну „Крестьянин".—„Раньше нашего брата не пущали в ворота,—теперь

в парадную зовут, последни юбки отдают",—это о городах. „По деревне слух идет, вшей забрали на учет,—чтобы вшей пересчитать, стали баб учить считать".—„Наживу себе беду, в сортир без пропуска пойду,—я бы рада пропуск взять, нету денег взятки дать",—это тоже о городах. Частушки—девичье творчество, бытописателю—не выкинуть слова из песни.—

———————

Девки поют:
„Я у тяти пятая, у мила девятая.
Ничего нас так не губит, как
любовь проклятая".—эпиграф.

Вселяясь, коммуна „Крестьянин" приняла от помещицы Ольги Юрьевны Ерликсовой-Ростиславской инвентарь—по описи, и Сидор Меринов, завхоз, мусоля чернильный карандаш, писал на каждом стуле—стул, и на каждом столе—стол,—чтобы было точно, и только тогда расписался в описи, в знак приема столов и стульев. Помещица Ерликсова, хромая, была принята в члены коммуны, объявила себя коммунисткой, ей отвели для жилья оранжерею. В сущности, описи не требовалось делать: в доме и на чердаках валялось много и не описанной рухляди. Старик Ерликсов, путейский инженер, исходил в свое время на изысканиях пол России и прошел всю Сибирь, в главном доме, нежилом, в комнате за его кабинетом кучей свалены были астролябии и теодолиты: Мериновы без описи отвинтили сферические стекла, и, по весне, когда стало пригревать солнце, закуривали этими стеклышками, чтобы экономить спички,—и даже в людской избе положили на окно большое стекло, для всех.

В тот год была бесснежная зима, и весна пришла ранняя, в ветрах. Мериновы прожили зиму скучно, в бездельи,—у Липата, председателя, сошли с рук мозоли,—зиму прожили в теплом дому, ели и спали, часто выходили за варок, к проселку, и стояли там часами, глядя в снежные пустые поля. Мериновы на деревне имели одну душу, жили в одной избе, Липат и Логин подростками ушли в город, служили в дворниках,—Липат еще тогда выбился в люди: устроился к рязанской купчихе в любовники, и как раз с тех пор стал сохнуть со спины и с заду, всегда ходил в валенках, ездил к докторам и бабкам лечиться от срамной и всем говорил, что у него не то грызь, не то учин... И тогда же, с города, Мериновы отвыкли от мужичьей работы,—знал ее только старший—Сидор, привыкший всю жизнь гнуть спину,—он сначала в коммуне отъедался, потом затомился в бездельи;—и это он писал на столах—стол, навертил сферических стекол и пересыпал книги листовым табаком, чтобы не ели мыши. Он же и заведывал ночной продажей в город, за соль, спирт, мануфактуру и спички,—хлеба и баранины. Мужики на коммуну смотрели косо, злобно, недоверчиво, сторонились коммуны.

Шла весна, как с испокон веков, хлеб у мужиков подобрался, стали заваривать мякину, подвешивали коров, мужики подтягивали гашники,—коммуна была сыта, аптекарь из города—за картошку—привозил спирт, тогда Мериновы запирались у себя в доме, к ночи, пили спирт и орали песни.

В ту весну дули ветры,—весенние ветры ворошат души русских, как птичьи души, весенние ветры манят бродить, к перелетам. Мериновы не сидели дома,—в доме было жарко, парно и кисло пахло от добротной жизни,—ходили по усадьбе, выходили на проселок, часами сидели в кухне на конике, вытknув тряпки из рам, к солнцу,—за бездельем не успевали все время приготовиться к летним работам. И на пятой неделе, когда повалился снег и пошли долгие дни в ручьях и грачином крике,—всполошились: два брата Мериновы, Логин и Липат,—прогнали жен с семьями, старший вселил в избу на селе, второй пустил по миру,—и оба стали искать себе новых баб. По округе невест не нашлось: из ближних деревень никто не хотел итти без венца, а венчаться Мериновы не могли. Невест найти помог Кацапов-старик, лет тридцать державший трактир на выселках у шоссе, не то хлыст, не то скопец, хоть и была у него семья таких же безбородых и безбровых, как он.—Несколько дней Мериновы ходили тайком к Кацапову и Кацапов к Мериновым,—потом Кацапов закладывал в коммуне каурого жеребчика, хозяйственно подвязывал ему хвост, надевал суконную бекешу и—в гулкие весенние дни—уезжал сыскивать невест. Баб Кацапов сыскал нескоро и обеих—дебелых, грудастых, красивых, ездил за ними в разные концы верст за шестьдесят: одну взял от каширских молокан, вторую—от гусляков, с Гусляцких выселок, где жили конокрады и старообрядцы. Бабы пришли к Мериновым без венца, за деньги,—сели в чистом доме, засорили на крылечке подсолнухами, и месяц в Мериновском доме прошел в блуде и веселии. Был двадцать первый год,—в этот месяц прошли благословенные весенние дни земного цветения,—в этот месяц напала на коммуну шпанская мушка, гнус, томила запахом псины, лезла за шивороты, жужжала зноем.

И в этот же месяц пришла в коммуну старуха Анфуса, из Каширы, мать одной из новых мериновских жен, вся в черном, с лицом, как у галки. Анфуса затормошилась хозяйкой, воркотливо, хлопотливо, комнату выбрала себе в главном, нежилом, доме, как раз ту, где раньше лежали теодолиты. Иконы в коммуне были свалены на чердаке (и ризы с них закопал в землю Сидор),—Анфуса не взяла их к себе, но привела их в порядок, расставила на чердаке под крышей, расчистила перед ними место, скрыла его чердачной рухлядью. В первый же день своего приезда она пошла к Кацапову,—и ночью видели их троих—ее, Кацапова и Ягора Ягоровича Комынина, бывшего земского начальника. Хлыст и Ягор Ягорович стали своими в коммуне. Ягор Ягорович полеживал на солнце, пятки вверх.

— — — — — —

...Каждую весну на Расчисловых горах цветут яблони и будут цвести, пока есть земля. Сады в белом яблоновом цвету под луной кажутся костяными, неподвижны...

Всю ночь пели соловьи. Землемер Нил Нилович Тышко всю ночь гулял с Еленой Ерликсовой в монастырском бору. В Филимоновом овраге внизу стоял туман, скат порос соснами, и даже ночью, как в заполдни, пахло растопленной смолой, пока не пала роса. По скату в Филимоновом овраге валялись конские черепа, ночь окутала землю лунным светом. Кукушки куковали—в ночи—так, точно воздух был смочен. Стройная Елена, усмехаясь, говорила о лешем Ягоре Ягоровиче Комынине, о любви,—встала, стройная, в белом платьи, босая, на конский череп, декламировала Пушкина: „Как ныне сбирается вещий Олег"...—Садилась на череп и переплетала свои косы. Елена все усмехалась. Нил Нилович ничего не понимал. Два черепа, по воле Елены, Нил Нилович потащил на ремне за собой, и их повесили в коммуне, около ерликсовского жилья, оранжереи.

— Ах, глупый, глупый крокодильский Нил! Ничего-то он не понимает! Ведь вот он не знает, что Егор Егорович—леший... а все женщины в коммуне—...ведьмы!..—сказала Елена.

— Елена Юрьевна,—сказал Нил Нилович.—Позвольте вас спросить... Вот, вы из хорошей семьи, окончили гимназию... Ну, я понимаю, гм, ваша сестра Мария Юрьевна поступила в коммуну, чтобы сохранить имение,—ну, а вы?.. Ехали бы вы на курсы, или служить в город, в Москву...

— Ах, глупый, глупый крокодильский Нил!.. Ничего-то он не понимает... Никуда отсюда не уйдешь, есть надо, есть, кушать, Крокодилыч! Вот что!.. и потом—Егор Егорович и Анфуса...—он леший, а она—ведьма!..—ответила Елена, усмехнулась мелким неровным смешком и скрылась в дверь между конскими черепами, в белом платье, босая, со снопом медвяницы в руках...

Нилыч сказал:

— Гм!..—и шел всю дорогу, гмыкая бритой своей рожей.

Наутро Нил Нилович проснулся в двенадцать, долго мыл на террасе бритую свою голову, чистил зубы, ногти, сапоги, дважды сменял брюки, наконец, надел синие галифе с задницей обшитой кожей, френч, шведские ботфорты, выпил крынку молока и, приколов четырьмя кнопками к двери пожелтевшее уже объявление на ватманской бумаге— „буду к 6-ти часам средне-европ. времени",—уехал на велосипеде за пятнадцать верст к женатому товарищу-землемеру—обедать.

Приехав домой, Нил Нилович вылил на себя три ведра воды, поел каши, переменил брюки и пошел к Ерликсовым в оранжерею. На травке перед оранжереей лежал — пятки в небо, весь заросший черными волосами—Ягор Ягорович. Поздоровались.

Ягор Ягорович, пожмурившись, сказал:

— А вот, позвольте вас спросить, господин студент,—откуда пошло слово товарищ?—

— Не знаю,—ответил Нил Нилович.

— А я вам скажу, господин студент! Когда Стенька Разин у Жигулей баржи купеческие грабил, они кричали: „—Сарын, на кичку, товар ищи!..“ отсюда и пошло, господин студент... А что такое женский вопрос, господин студент?

— Не знаю,—ответил Нил Нилович.

— А я вам скажу, господин студент.—Оскорбление!

— Почему?

Но Ягор Ягорович не договорил, потому что из оранжереи вышла Марья Юрьевна. Он вышла поспешно, хромая на сломанную свою ногу, размахивая руками, весело улыбаясь.

— Здравствуйте, товарищи,—сказала она,—идемте в избу. Я совсем мужичка, живу по-мужицки, чорт-те што!.. А съестного у меня совсем нет, решительно нет...

У двери все еще висели конские черепа. В оранжерею же войти было страшно, там—даже не покоились—а неистовствовали—пыль, грязь, мухи, пауки, при чем пыль была не серой, а коричневой. Валялась всяческая рухлядь, сломанные диваны, книги, овчинный тулуп, ацетиленовый фонарь. Марья Юрьевна села на диван, выставив колом негнущуюся свою ногу,—заскрипели пружины под обильным ее телом, крикнула истерически:

— Я, чорт-те што, истинная коммунистка, у меня ничего не осталось!..

— А позвольте вас спросить, господин студент,—сказал Ягор Ягорович ни к селу, ни к городу,—что такое равенство женщин?..

Помолчал, пощурился и ответил:

— Я вам объясню, господин студент... Женского равенства не может быть, потому что все женщины разделяются на дам и не-дам...

Из-за стены спокойно сказала Елена:

— Дурак!..

В окна сбоку шли красные лучи, пылились,—само же солнце стало над горизонтом огромным бронзовым шаром. Была та минута, когда стихли дневные птицы и не зашумели еще ночные. Елена не одевалась весь день и говорила с Нилом Ниловичем через стену.

— Ах, как скучно жить, Крокодилыч! ведь люди мечтают. Всегда мечтают и окутывают свою жизнь мечтами и верою. Без этого нельзя. А сама жизнь проста, как съеденный огурец: дважды-два!..

Ягор Ягорович и Марья Юрьевна ушли в людскую избу на коммуне ужинать.

...А на рассвете этой ночью Нила Ниловича разбудили странные шорохи. Светало. Стоял густой туман. Ныли комары, простыня посерела от росы. Первой Нил Нилович услышал кукушку, потом он разобрал придавленные голоса.

— Этакий дурак этот Сидор!.. Фу, как устала!

— Тише, Нил может услышать.

— Спит наверное, иначе бы откликнулся.

Нил Нилович подошел к окну, был белесый туман, через который ıьзя было видеть в двух шагах. Нил Нилович стал подслушивать. эптались две женщины.

— Скучно, Мария, — сказала Елена. — Знаешь, раньше при себе сили мушки, в табакерках, и вырезывали их из черной тафты. потом на балах приклеивали их со значением: мушка у правого ıза—тиран, на щеке—разлука, на подбородке—люблю, да не вижу... у бабки в дневниках прочитала...

— Он в тебя влюблен...

— Да, но он дурак, говорит про курсы... бросим это, Мария...— слышался удар ладони по голому телу.—Фу, как кусают, всю кровь выют, чорт-те што... А обмороки тоже были разные: обморок Дидоны, каизы Медеи, вапёры Омфалы, обморок к с т а-т и... Ты же понимаешь, ария, все кончено, никуда не уйдешь, я вот нитяные туфли шью за ıлоко... Дальше Ягора не уйдешь... А я хочу...

— Ну, да, конечно... Как и мне все надоело... Коммуна... Ведь ты ıйми,—они, я не знаю, сыты, обеспечены, а правды не знают, эти ериновы... Вот поэтому и Анфуса, и Егорки...

— Слушай, а Егорка—что?.. Ты прости, но ведь он твой...

— Да, мой любовник, муж... И теперь бросил меня... Он страшый, он негодяюшка,—он и тебя покорит, Елена. Только он не даст ичего, ни семьи, ни уюта, все обесчестит... А Тышко—сильный, дуık и молодой... Есть хочется...

— Да, Марья, сильный и молодой... А Егорка—омут...—а нам— эго кроме омута, ведь мы дворяне!..—это сказала Елена, тихо.

Близко затрещали кусты, звякнула колотушка, послышалось устасопение. Женщины побежали в сторону. Дверь с треском раствоась, в дверях стал Сидор Меринов, в тулупе и в меховой шапке, олотушкой и колом в руках.

— Ну, что? — спросил испуганно Сидор.

— Что—что?—переспросил Нил Нилович.

— Не тронули? Здеся?

— Кто?

— Они! Видел?

— Кого?

— Их!

— Ты про что, собственно, говоришь-то?—обиженно спросил л Нилович.

— Ну, значить зато, не тронули,—успокоенно ответил Сидор.— . Напишем.

— Кого их?

— Бабов этих!—Пошел к куэне на плотину, понадобилось мне туда сходить, ка-ак они мимо меня сиганут нагишем, волосы по ветру, по плотине в омут, Марья Юрьевна, комоногая, и обратно Алена Юрьевна... завизжали, словно их за пуп ухватили,—и под воду, и ни гу-гу, обратно пузыри пущають... Я кричать—а-ля-ля!.. Они выскочили, завизжали и—в овраги... Ну, думаю, либо к тебе, либо к Ягору Ягоровичу,—если к тебе—защикочуть...

— Да ты что—рехнулся, что ли?

— Сам своеми глазами видел. Передом Марья хромоногая, и обратно Елена, так и сигают рысью по кочкам, по лугу! Нагишем!

— Да как же ты видел?—туман-то какой!—обиженно сказал Нил Нилович.

Сидор осмотрелся кругом, не увидел ничего, что было в трех шагах от него, посмотрел смущенно на Нила Ниловича, потом повеселел.

— Ведьмовское навождение, все одно к одному!

— Ну, ходили купаться. Зачем они меня щекотать станут?—

Сидор склонил на бок свою кудлатую голову, чтобы удобнее было всмотреться в Нила Ниловича, прошептал со страшком:

— Ведьмы!..

— Что-о?

— А ты и не знал?—Ведьмы, обе! И Ягор Ягорович обратно ведьмак!

— Ерунду ты говоришь, Сидор. И туман, и ходили они вообще купаться, сказал Нил Нилович,—и вообще ведьмы—это предрассудки!..

— Ярундуу?—возмущенно переспросил Сидор.—Ягор Ягорович всех баб боломутит, мужики и то поддаются, веру образовал, Марьин любовник,—теперь к Алене подъезжает... Ярундуу?..—А по весне, ночью-то,—Ягор Ягорович пили,—приходит ко мне в сарай, Марья-то, в одной исподней, пьяная в розволочь, волосы по грудям,—лезет обниматься. „Милый, говорит, рабеночка хочу, все погибло, ничего не осталось",—и вроде плачит... „Ягорушка, негодяюшка",—говорит. Я ей отвечаю:—это не Ягор, какой еще Ягор?—это Сидор. А она опять плакать, косоногая, „все равно, говорит, пожалей меня, Сидор, я одна, все погибло"... и смеется, как ведьма... Ярундуу!..—А обратно в этой вот даче, когда тебя еще не было,—что с ей Ягор Ягорович разделывал—днем, дне-ем!.. а она потом опять плакать, в щелочкю видел, косоногая: „у тебя, говорит, позорная кровь, бессеменный ты",—и опять про рабеночка. А Ягор Ягорович ей: „мне, говорит, все наплевать, надо всем смеюсь,—хихикаю", говорит,—и захихикал, прямо мороз по коже!.. А зачем ей рабенок?—чтобы кровь детскую выпить, к примеру... Ярунду!..

... Утром Нил Нилович был еще спокоен, опять прикалывал бумагу:

„Буду к 6-ти часам средне-европ. времени".

Но уехать ему не удалось: пришла Елена и сейчас же за ней Ягор Ягорович. Нил Нилович, после ночных разговоров, решил быть стро-гим и хмурым.

Елена сидела на ступеньках террасы, руку закинула за голову и откинулась к перильцам. Говорила:

— Знаете, в старину были разные обмороки: обморок Дианы, капризы Медеи, вапёры Дидоны, обмороки кстати... А на балах дамы передавали секреты мушками, мушки и мужчины наклеивали себе и носили их в табакерках... Теперь можно достать нюхательный табак?—

— Можно,—ответил сумрачно Нил Нилович.

— Купите мне, пожалуйста!..

— А позвольте вас спросить, господин стюдент, что такое жен-щины?—сказал Ягор Ягорович.—Женщины, господин стюдент,—трубо-летки-с, вот что! Каждую ночь в трубу летают. Ведьмы-с! Вот что.

Елена истерически закричала:

— Уберите этого негодяя, уберите, уберите!..

Нил Нилович сумрачно спустился со ступенек, стал против Ягора Ягоровича, сказал сумрачно:

— Прошу вас, вы на самом деле, того... прошу вас отсюда уда-литься... к чорту!..

Ягор Ягорович не спеша встал, посмотрел миролюбиво и внима-тельно на Нила Ниловича, решил, должно быть, что этот не умеет шутить, и не спеша побрел в сторону, шлепая пятками туфлей, вязан-ных Еленой. А когда Ягор Ягорович ушел, Елена, растерянная и воз-бужденная, со слезами на глазах, как девочка, просила Нила Ниловича спасти ее от Ягора Ягоровича, от Мериновых, от коммуны. Елена— в доме — села на диван, посадила рядом с собою Нила Ниловича, положила руки ему на плечи, сидела тихо, беззащитная, как девочка,— и вдруг в глазах Елены побежали мутные огоньки, задышала неровно, откинула голову и, с закрытыми уже глазами, стала искать своими губами губы Нила Ниловича. Нил Нилович возбужденно загмыкал.

— Скоро Иванова ночь и зацветет папоротник,—сказала Елена.— Ночью на плотине пляшут русалки, поют песни, которых никто не слышит. Я хочу их слушать, каждую ночь. Они плачут... Приходите ночью на плотину... пойдем к Оке, где был древний город...

— Я влюблен в вас,—сказал Нил Нилович.—Я очень вас полюбил, я не позволю Егору Егоровичу.

Нил Нилович взял плечи Елены и потянул их к себе,—и тогда лицо Елены стало старым, страшным, злым. Она сказала брезгливо:

— Не надо, не надо,—ведь ты не Егорка!.. Ведь Егорка приносит хлеб и мясо...—Елена встала и пошла поспешно к двери, ушла, потом вернулась, сказала сердито:—А на плотину ты приходи, все-таки... все-таки я тебя люблю... хоть ты и дурак!..

Нил Нилович был чрезвычайно обескуражен. Весь день он про-валялся у себя на постели. Десять раз решал: итти или не итти на

плотину?—К сумеркам опять пришла Елена, вошла заботливо, как старый друг, говорила про мушки, сказала, чтобы обязательно пришел на свидание, на плотину нарядным;—потом говорила о тайнах, о липком лешем Ягоре Ягоровиче, о том, чтобы Нилыч ее защитил от него.—И Нил Нилович решил ночью пойти. К ночи он нарядился, надел галифе с кожаной задницей, взял тросточку и не спеша пошел,—сначала в деревню попить молока, потом на плотину.

На плотину Нил Нилович пришел уже затемно, стал там в ивняке. Ему показалось, что здесь кто-то уже был, были поломаны сучья, валялись листья, трава была примята. Нил Нилович стоял долго, и тогда пришел к нему Сидор Меринов, он шел поспешно и посапывая.

— Ты здеся?—спросил он.

— А чего тебе надо?—переспросил Нил Нилович.

— Так что вы, господин студент, спать ступайте, значить,—ответил строго Сидор.—Ягорушка велели вам по ночам не шататься!

— Это еще какой Ягорушка?—

— Ягор Ягорович Комынин. А éщé, к примеру, Алену Юрьевну также не трогать, они сами просили, чтобы к ней не приставать... коммунских вы не трогайте, господин стюдент!.. Спать вам надоть, господин стюдент! Вот что.

И Нилыч — и Нилыч — ушел... Но пошел сначала в землянку к Ягору Ягоровичу в расчете побить ему морду,—там никого не было, дверь была отворена, землянка торчала в шерсти соломы точно ряженый на святках в вывороченной шубе. Тогда Нилыч пошел в коммуну. В коммуне было темно, только в главном доме в слуховом окне был свет, и оттуда неслось церковное пение. Нилыч собирался было уже лезть на сосну, чтобы заглянуть под крышу,— но в это время из главного подъезда вышли: впереди парой Егор Егорович и Елена, сзади кучей — Анфуса, скопец, бабы, Мериновы. Елена была во всем белом, в фате, шла невестой с опущенной головой. Нилыч караулил. Елена, Егор Егорович, Анфуса, скопец — пошли через овраг к комынинской землянке,— остальные остались, кричали речитативом:

— Совет да любовь, совет да любовь, подай коровай, подай коровай, они люди нáнови, ему денежки нáдобны!..

В землянку вошли только Елена и Ягор Ягорович, Анфуса и скопец остались наруже, поклонилися земно и ушли. Нилычу показалось, что из землянки—из тишины—послышался вскрик. Нилыч пошарил по земле, нашел камень, со всего розмаху пустил им в окно землянки и пошел не спеша домой. Но вскоре его обнял неимоверный страх, холод пошел по спине, он споткнулся о корягу, прыгнул в сторону от дерева и—побежал, все быстрее и быстрее, и по мере того, как ускорялся его скач, увеличивалс страх и все громче и безумней кричал Нилыч.

На крылечке кто-то сидел. Нилыч перескочил через него, бросился в дом,

В дверь снаружи заскреблись. Дверь бесшумно отворилась, вошла етвердой походкой Мария, в ночной рубашке, села на стул, уронила олову, помолчала. Нилычу стало не так страшно.

— Елена—дура, Егор—негодяй... Все погибло, вы—простите меня еспутную, глупую, несчастную!..—заговорила Мария Юрьевна.—Вы простите... Пьяная я, несчастная я!.. глупая я... совестно мне!..

Выпись из „Книги Живота Моего":

„В Расчисловых горах имеется коммуна „Крестьянин". Весной три брата по фамилии Мериновы, фактические хозяева коммуны, прогнали своих жен, взяли новых. Бабы пошли без венца в коммуну. С одной из них пришла мать ее. Эта мать устроила какую-то сектантскую моленную, в коммуне возникла секта, богом избран бывший земский начальник Комынин, откуда-то появились духовные песнопения, которые все члены коммуны вызубрили наизусть. Комынин всех исповедует еженедельно, все женщины перевенчались—сначала с Комыниным, а потом со всеми членами коммуны. Комынина все зовут богом Егорушкой. Есть у них и богоматерь, состоящая в сожительстве с Комынином, дочь бывших помещиков Елена Ерликсова"...

— — — — — —

Нил Нилович Тышко написал письмо матери. В этом письме излагалось:

„Что же касается советской власти, то могу сказать, что у меня есть совершенно достоверные сведения, что все коммунисты получили приказ поступить в новую веру, какую — не могу еще сказать, должно-быть масонскую, — в каждой коммуне избирается свой бог, и ему принадлежат все женщины..." —

—и прочее.

— — — — — —

В черновике Акта по осмотру коммуны КРЕСТЬЯНИН, рукою Ивана Терентьева было записано:

„Читальной нет, книг много, но про них не все знают. Книги нашлись в главном доме, в ящиках, пересыпанные листовым табаком, „чтобы не ели мыши", как объяснил завхоз. Книги очень ценны, много на иностранных языках.— —
В коммуне есть не знающие—члены ли они (слесарь и мальчик подпасок),—общих собраний не припомнят.—Крестьяне, входящие в коммуну, берут с собой и крестьянские свои наделы, избы же на поселке сдают внаймы.

Баба:

— Да, што уж, родимый, погорели мы, до тла погорели, совсем обеспечили, вот и пошли в камуню. Исть, ведь, надоть.

Другая:

— Нищая я, касатик, Спаси их Хресте за кусочек хлебца старушке. Полы я за то мою и коров дою... Нешто от хорошей жисти пойдешь на этакое озорство?

В коммуне только четыре семьи: три брата Мериновы и их двоюродный брат,—остальные бобыли.

Живут в двух домах и бане. Один дом—дача 12×12, 4 комнаты и кухня, живут 8 человек: три брата Мериновых с женами и их родственник. Второй дом 11×14, людская изба, одна комната, окно заткнуто тряпками, живет 23 человека. В доме, где живут Мериновы, чрезвычайно много кроватей, чисто, убрано, на столах скатерти, по стенам следы от клопов; бабы молодые, на подбор дебелые, в башмаках, на показ вяжут за столом. В людской избе—грязно, низко, темно, все старики и старухи, босые, спят вповалку.

	КОММУНА	ДЕРЕВНЯ
Десятин пахотн	200.	72.
„ озимых засеяно	24.	20 (больше не позволяло место).
Людей	31.	75.
Лошадей	14.	11.
Коров	13.	12.
Свиней	8.	— —
Домов	3.	18.
Едят с мясом.		конский щавель.
Сеялки, веялки, плуги.		сохи, бороны.

Культурного сельского хозяина нет ни тут, ни там. Деревня сдавала по разверстке: зерно, масло, мясо, яйца, шерсть, картошку. Коммуна ничего не сдавала.

Членом комиссии по осмотру коммуны был Иван Терентьев. Их было трое. Они приехали на велосипедах. У околицы их остановил парень.

— А вы куды едете?—спросил парень.

— В Расчисловы Горы.

— Ну, тогда едьте.

— А что?

— Не пущаем мы за-то камуньских.

— А что?

— Не пущають они наше стадо своем выгоном. Обратно продовольствие прижимають... Ну, мы и не пущаем.

— Вот мы как раз и едем ревизовать коммуну,—сказал Иван Терентьев.

Были сумерки, садилось солнце. Парень посмотрел испуганно, идиотом, круто повернулся и побежал от велосипедистов,—опрометью,

задами помчал в Филимонов овраг, куда вскоре собрались и остальные дезертиры. Ручная мельница, что мирно шумела в амбарушке, крякнула и смолкла. Только петух, в сумерках, взлетел от велосипедов на жердину и крикнул:

— Ку-ко-ре-ку!—

деревня стала мертва.

В коммуне комиссию ждали, встретили пением Интернационала, сейчас же пригласили на заседание ячейки Р.К.П., в людскую избу, притащили меда и кваса. Расписались под протоколом не все—не все были грамотны, члены Р.К.П. Терентьев, широкоскулый, квадратноплечий, молчал. Липат Меринов предложил субботник отменить, хотя субботы и не было. Начали с текущих дел и обсуждали: отбирать или не отбирать у учителя корову,—с одной стороны, он буржуй, потому что ругал коммуну,—с другой, без коровы ему не обойтись,—умрет с голоду. Все члены ячейки оказались родственниками. Председательствовал Липат Меринов, говорил развязно, по всем правилам, и приседал на каждом слове.

— Открываю повестку дня... Кто жилаеть перестановить?

До конца заседание довести не удалось,—пришли из деревни мужики. Загалдели.

— Теперь революция кончена; теперь ты погади, мы господ комиссаров спросим, все-таки!..

— Он, можно сказать, в городу жил, а мы целину драли. А ен— по ядакам!.. опять жа—комуня!..

— Врё! Она у тебя гулящая, земля-те!.. Жрец какой, за восемь душь исть хочешь!..

— Погодите, граждинины!.. Мы господ комиссаров по порядку спросим, мы им, как перед богом!.. Вот к примеру, они двадцать годов в городу в извозчиках ходили, а мы землю драли зато... А как теперь в городу недостача, крышка городам, значить,—они—по ядакам, тоже!.. А у них обратно, ни скоту, ни струменту, одна изба ветром подбита!..

— Врё!.. Она у те гулящая!..

— Жрец,—знамо—жрец!..

— Съять с него полработника!..

— А што,—сикулятничать хочешь?—згноил в земле картошку-те?!.

— Повремените, ребяты!.. Я как по-божьи. Я как перед богом... Когда блядь щеки накрасила, расфуфырилась, ее и того, значит, ...,— а как она, значить, вымылась, краска с ей слезла, она никому и не нужна:—мы вам из городу все присылали, и на одежу-обужу, и деньги,—а как городам крышка,—нам и земли нетути!.. Пересомить желають!..

— Врё... У мене есть девка, а я девку выдал, а ее засеял, она, стало-ть, родила,—опять, стало-ть, улигуровка по ядакам выходить?!. Ядак какой!..

— Съять с него полработника!..

И вдруг посыпались—матери, печенки, селезенки, рты, души, становые жилы, которые мужики хотели изнасиловать друг у друга. Липат Меринов сказал:

— Ребята, мужики! Я вот сейчас возьму бумагу и буду писать протокол... Не видишь, перед кем выражаесси?.. И кто хоть раз матюгнет, того отправлю в волость в тигулевку—и двойной наряд на гужевую.

Мужики замолчали, помолчали и—понуро пошли в сторону...

Липат намеревался было продолжать заседание,—Иван Терентьев прервал. Тогда Липат предложил спеть Интернационал,—и начал, встав и приседая при каждом слове,—

Вставай, проклятьем заклейменный...—

но Терентьев прервал и Интернационал, сказал:

— Петь эту песню зря не стоит.

Терентьев всегда был грубоват, неловко говорил, мало говорил, был неприветлив, рабочий чугунно-литейного цеха. Встал из-за стола и ушел молча, пошел осматривать коммуну, стройки, пахоти,—за ним пошел Липат Меринов,—Терентьев сказал:

— Вы за мной не таскайтесь, я сам найду, что посмотреть...

Опять приходили на коммуну крестьяне, начали мирно,—

— Мы, как по божьи. Мы без матерщины, а что мы выражаемси, темный мы значить народ...—

— Врё!.. Она у тебе гулящая,—земля-те!..—

и опять посыпалось...—Терентьев с мужиками ушел на деревню,—мужики притихли, говорили мирно, без шума, толково, наступала ночь.— На деревню приходил Сидор Меринов, отозвал в сторону, согнул голову на бок, прошептал:

— Спросить велели, выпить не желаете ли?—можно спиртику достать с устатку, хороший спиртик...

Терентьев помолчал, сказал:

— Нет, не желаю.

...Ночью в коммуне плохо спали. На конюшне в проходе у денников (лошадей угнали в ночное) стояли Липат и Логин Мериновы. Племянник-мальчишка будил в людской избе слесаря:

— Иди, иди скореи-ча!.. Липат Иваныч, Логин Иваныч зовут скореи-ча...

Драный мужиченко встал, почесался, расправил бороду,—спал в том же, в чем ходил днем,—подтянул штаны и поспешно пошел. Мальченка побежал вперед. Липат, обыкновенно смотревший в небо, скорчился дугой, чтобы заглянуть белесыми своими глазами в божьи-глупые глаза слесаря. Логин скорчился с другой стороны.

— А-а, ты не член?!—прошептал Липат.

— А-а, ты не член?!—повторил Логин.

Липат выпрямился и ударил левшой слесаря в ухо. Логин тоже выпрямился, подпрыгнул и, крякнув, ударил слесаря по шее.

— Мы тебя за-так кормили?!. за-зря?!

— А-а, ты не член?!

Слесарь икнул, крякнул, ткнулся носом вперед и повалился в ıоги,—

— Касааатики!..

— Ааа, ты не член?!. начальству болтать—ты не член?!. Тошши ıозжу!..

...На ночлег членов комиссии устроили в сарае. За открытыми оротами сарая, небо, ставшее четыреугольником в белых пустых звез-ах, чертили летучие мыши, и лягушки в пруде сзади сарая кричали ак громко, точно каждая лягушка была с собаку. В сарае, кроме ıпанского гнуса, которым пропахла вся коммуна, пахло крысами и ужжали комары так же тонко, как тонки их носы.

Члены комиссии лежали вповалку на ватных одеялах, сшитых из реугольных лоскутьев. На весах стоял жбан кваса. В сарай влетела ова, метнулась за летучей мышью, крикнула глухо и улетела в ночь. 'ерентьев еще не приходил. Тогда в воротах сарая стал Сидор Мери-ов, оперся плечем о воротину. Сзади его послышались два бабьих олоса, оба сразу:

— Ой, что ты делаи-ишь?!.—это игриво-плаксиво одна.

— Куда иттить-то?..—это покойно-деловито другая.

Сидор прошептал им:

— В углах они, в углах, к примеру!..—

отом сказал в темноту сарая:

— Спитя?—спросить мы вас хотели, то есть... Толькя выходить ам отседа никак нельзя, подозрят... Вы уж обратно разместитесь по глам, что ли как... А то подозрят... Есть у нас хорошие бабочки и елають вам услужить...

Две женщины стали сзади Сидора; в тесном треугольнике неба енщины показались огромными, передняя локтем защитила лицо.

И тогда, голосом, похожим на бычий, заглушившим и лягушек, комаров, и ночь, закричал, освирепев, Иван Терентьев:

— Убью, сволочей, расстреляю!.. Арестовать негодяев!—

...Потом, через дни, когда те два члена комиссии, что уцелели, ассказывали, они всегда путались. Терентьев, приходивший из деревни, ıкричал на Сидора, сказал, что тот арестован. Мериновых оказалось сарая сразу несколько, кто-то из них кричал:

— Что?!. И это выходит, коммунисты, товарищи!—Интернационал хотят петь, жулики, у чужих выспрашивать, авторитет, значить, ıуть!.. Мы за авторитет!..—кричал что-то в этом роде.

Когда эти два члена вышли из сарая, сарай уже горел, а Иван рентьев лежал на земле с проломанной головой, в луже крови... ериновы с кольями бросились на них, они стали отстреливаться...——

——————

ы л о——

ночь, ночные колотушки. Еще не разбелесилась махорка...—

—...По России положить машину, сковать Россию сталью, на заводе строить хлеб, солнце заменить турбиной... Кааарьеррром, Ррросссия!!

Кожухов:

— Помнишь, как-то мы прокоротали ночь втроем, с нами был Иван Терентьев?.. Ивана уже нет, хороший был товарищ...

Смирнов:

— Что же, тебе страшно?—многие еще погибнут...

— Нет, не то. Многие еще придут... Казбек с Шатом, ничего не поделаешь... А товарища—жаль...

. . . .

Расчиславовы горы.

...было...

Если от шляха свернуть влево—нет деревни Чертановой, провалилась она под землю, земля под ней—торф—выгорела в лесном пожаре,—проехать полем, перебраться вброд через реку, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, обогнуть овраг, пересечь село Секирино, потомиться по суходолам,—приедешь к Оке, к древнему городу Ростиславлю, ныне—Погосту Расчислову, Расчиславовым горам и борам. На север от Расчислова по Оке, в лесах, захранилась Введенская—Введенье Божей Матери—пустынь (впрочем, около Коломзавода торчит Голутвин монастырь, а в Рязани и Коломне - их штук пятнадцать).— —

Нету города Ростиславля и есть погост Расчислов. В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году на погосте сгорела церковь, тогда подрядчик перехитрил церковного старосту (или оба сжульничали мужичьими пятаками?),—съели церковь, выстроили из известняка плохую—богу—кордегардию. И все же на церкви надпись:— —о том, что церковь эта поставлена на месте, где был некогда город Ростиславль, построенный князем рязанским Ярославом в 1153-м году, одновременно с городом Зарайском, для сына Ростислава, коий и правил здесь. Есть и предание, как погиб город:—в Смутное Время изгнанные московскими воеводами из Коломны Иван Заруцкий с Мариною Мнишек и с сыном Ивашкой-воренком подступили к городу Ростиславлю, переправились через Оку—вон там, пониже (так и зовется с тех пор это место—Пристан),—спалили, разграбили, расчистили город дотла (так и зовется с тех пор город—не Город-Ростиславль,—а—Погост-Расчислов). Иван Заруцкий от Расчислова хотел итти на Зарайск, но про то пронюхали мужики (так и зовется село Пронюхово),—князь зарайский вышел навстречу, дал сражение, победил Ивана,—дрались тогда на секирах—так и осталась деревня Секирина!—а Иван убежал Астраханским трактом на Астрахань с Мариною Мнишек и сыном Ивашкой-воренком.—Вот и все о городе. В рязанских „Эпархиальных Ведомостях“ писалось еще, что в Городе-

Ростиславле собирались князья—тульские, рязанские, суздальские,—чтоб ходить бить мещеру и мурому... И еще. Годах в семидесятых, или раньше, или позже, княгиня Ростиславская выгнала с погоста попа, задумала устроить монастырь, набрала девиц, заштатного попа выписала, черная была, как галка, и горячая, как головня, дымилась монашеской страстью, посылала сыновьям - конногвардейцам в Петербург по пяти тысяч, епископ рязанский Мелетий собутыльничал с ней, бумаги у нее были царские, сыновья приехали на весну—всех скитниц взбаломутили. Скит приезжал закрывать рязанский губернатор. Вот и все. С испокон веков Расчисловы горы принадлежали князьям Ростиславским, а потом—о Расчисловых Горах пели девки:

Как Расчисловские горки,
Странные делишки.
Все помещики Егорки,
Последни парчишки... э!—

. . . .

Иван Александрович Утин, статистик, и „Книга Живота Моего".—

Кожухов:
— Вас, Иван Александрович, надо было бы расстрелять!..
— Нет, зачем же, Андрей Лукич? Я никому не мешаю. Я для истории. Я за Россию!..—эпиграф.—

Маленькому, сухонькому Ивану Александровичу—говорить шепотком, голову держать в плечах, горбиться, ходить в женской шали, чай любить с малиновым вареньем. У Ивана Александровича очки на носу, без очков он не видит, очками всегда вперед,—а говорит Иван Александрович—как настроен, что думает, над чем усмехается—говорит Иван Александрович усиками своими, усики вместо глаз, тонкие, юркие.

И вот дом Ивана Александровича:—в доме лежанка, в комнате его, в кафелях с ягнятами и в кораблях, у лежанки лампадка, у лампадки—книжка, очки (а стало быть, и голова) Ивана Александровича, лоскутки бумаги, шаль, валенки, подушка...

И вот:— —

„КНИГА ЖИВОТА МОЕГО"— —

(выписки автором взяты случайно, в дальнейших частях повести будут они систематизированы).

„Книга „Обзор деятельности Коломенского уездного Исполнительного Комитета и его Отделов" (за 1922 год).

„В разделе „Коммунальное хозяйство" (выписывает Иван Александрович), на стр. 134:

„Ассенизационный обоз.

„С самого начала года, ввиду все повышающейся заработной платы и стоимости фуража, давал такие убытки, что содержать его значило бы убивать на него и так скудные средства Коммунотдела, поэтому предположено было сдать его в аренду. Находились арендаторы из частных лиц, но по договоренности с Исправдомом Обоз был передан туда в количестве 8 запряжек с фуражем, и, как такового, его с 1-го мая не существует.

„Похоронная Секция (стр. 134).

„На самоокупаемости. В распоряжении ее находится кладбище, где занят 1 человек распределением могил, и гробовая лавка, которая сдана в аренду на условиях предоставления Коммунальному Отделу из его материала 20 гробов в месяц. Секция дает небольшую прибыль.

„В разделе „Сельское хозяйство“, в главе о ветеринарии, стр. 81:

„За истекший год в уезде эпизоотий не было. Были только отдельные вспышки сибирской язвы... С середины лета на лошадях в волостях, расположенных на берегу Оки и в других частях уезда, появился цереброспинальный менингит, от которого погибло около 60 лошадей... При появлении сибирской язвы в некоторых пунктах уезда ветеринарный персонал забил тревогу и сделал обследование во всех селениях скотских могильников. Оказалось, что в большинстве случаев эти могильники совершенно исчезли...

„В главе о животноводстве, стр. 78:

„Общее мнение, что текущий год остановил вынужденное сокращение скота за отсутствием корма, вместе с тем прекратил падеж скота от бескормицы. Но и это не есть еще благополучие, ибо состав стада еще носит отпечаток тяжелых годов, и стаду требуется абсолютный ремонт с привлечением сильных производителей. При громадном сокращении размера скотоводства по всей Республике...“

На отдельной странице в „Книге Живота“ Иван Александрович написал:

„Со слов товарища Андрея Лукича Кожухова:—Коломенский завод за годы революции, производил, главным образом, три вещи,—паровозы типа „Малет“, зажигалки для раскуривания папирос и лемехи для сох. Выяснить подробней“.

Приклеено в „Книге“:

РСФСР
Жилищный Подъотдел
при
Отделе Городского Хозяйства
Коломенск. Уисполкома
Сов. Р. и К. Деп.

Гражданину Вагаю (вместо Вогау).

•

К продаже двух кроватий железных, одного буфета, одного письменного стола, одного книжгого шкапа, двух этажерок,

шести венских всульев со стороны Жилищного Подъотдела препятствий не встречается.

Печать. За Заведующий Подъотделом — —
Секретарь — —

— — — — — — —

РСФСР
Отдел Здравоохранения
Коломенск. Уисполкома
Сов. Р. и К. Деп.

В Продоволственный Отдел.

Отдел Здравоохранения просит отпустить врачу Городской бывш. Земской Больницы М. А. Соколовой керасину на две горелки 10 и 14 лин. для Профессиональных работ.

Заведующий Отделом — —
Врач Бюро — —
Секретарь — —

— — — — — — —

РСФСР
Отдел Народного Образования
Коломенского уездного Совета
Раб. и Крестьянск. Деп.

В Губ. МОНО.

Коломенский Уотнаробраз просит оказать содействие на выезд в гор. Коломну Литератору Ивану С. Рукавишникову для вступления на Литературном вечере.

Заведующий отделом Наробраза — —
Зав. Подъотделом Внешкольного Образования — —
Делопроизводитель — —
Секретарь — —

Печати на обеих сторонах бумаги.— —

— — — — — — —

Чугунное литье.

Вопрос:
— Почему не развалился завод.
Ответ:
— Потому, что он стальной.—
(Эпиграф.)

...есть!..

На заводе шло чугунное литье. Чугунно-литейная работала в три смены, двадцать четыре часа,—чугунно-литейная безмолствовала два года, теперь ее пустили. Чугунно-литейный цех не спал, рабочие не досыпали, инженеры не уходили с завода круглые сутки. Черное здание, многажды прокопченное, с побитыми стеклами в крыше,—чугунно-литейный цех,—гудел жаром, на дверях повиснул дым;—люди ходили с воспаленными от жара глазами, тем шагом, которым, если итти по прямой линии, пройдешь четырнадцать верст в час; люди молчали,

рабочие в блузах с засученными рукавами, в синих очках, в кепках на затылок. Лили все чугунное, что нужно заводу на месяцы,—что нужно заводу, обточив, собрав, свинтив, кинуть в русские дали и веси...

Вагранка лила третий день. Была ночь, те часы, когда все спят, когда спутываются расстояния и понятия, и когда люди—или ничего не понимают, или чокаются душой о душу... Здание, как сарай, с кранами под крышей, скрипящее лебедками кранов, было темно,—и только, когда открывали вагранку, когда лился жидкий чугун, тогда надо было надевать очки, чтобы видеть, чтобы не ослепнуть. Люди молчали,—им было не до разговоров. Чугун лился в чаны,—и когда эти чаны ползли над землей, красные отсветы падали на потолок, освещали каждую паутинку, темнили электричество, над ними, из мрака, возникали—не люди,- человечьи подбородки, челюсти, лбы, руки, кепки,—все красное, сосредоточенное, молчащее;—и звезды над крышей, в разбитых стеклах—сразу меркли, когда туда попадали отсветы от чанов с чугуном. Потом чугун лили в формы,—и тогда он плескался тысячью искор, и тогда люди казались не людьми, а чертями в преисподней. Во мраке черные тени людей, безмолвно и поспешно, с лопатами, рылись в формовочной земле, ровняли, отрывали, рыли. В литейном было трудно дышать,—там в вагранке было зажато жидкое солнце, на которое, как на солнце, надо смотреть сквозь очки и которое жжет солнцем. Люди не досыпали, люди уставали,—шло чугунное литье.

Шло литье.

Инженер Форст и Кожухов, перед рассветом, вышли из цеха,—покурить, отдохнуть, размять мышцы. Сразу за дверями обвеяла отдохновенно прохлада, над головой стали звезды, направо из электрического света в небо, во мрак, уходили трубы. На шпалах лежали рабочие, курили, отдыхали. Слышно было, как огромная труба тянет из вагранки раскаленный воздух. Пошли по тропинке между цехов, ноги шли привычно по привычной плоскости, между рельс, стрелок, куч матерьялов. Молчали. Впереди, за площадкой, стала электростанция. Пошли к ней, подошли к окну.

За стеклом, в абсолютном свете бесшумно работали турбина и паро-динамо, людей не было видно. Всмотрелись,—увидели: прислонившись к решетке, под турбиной, склонив голову на грудь, спал монтер, с тряпкой в руке. Вошел смазчик с чайником и с куском хлеба, прошел к лестнице в котельное и спустился по ней вниз.

— Смотрите,—сказал Форст Кожухову.—Ночь. До смены еще далеко... Машина—это консолидированный человеческий гений. Монтер спит, смазчик ушел пить чай к угольщицам... Машина работает одна, без человека... Присмотритесь,—как она работает... Она работает одна, без человека!.. Замечательно...

. . . .

(Продолжение следует).

I.

Жестокую стужу костры сторожили.
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра.

Бульвар, пораженный до центра морозом,
Деревьев артерьями синий,
Уже не бисквитом хрустел, а склерозом,
На известь меняющим иней.

И землю морозом сковав и опутав,
Хирурги хрустальной посуды
Выкачивать начали кровь из сосудов,
Чтоб стужей наполнить сосуды.

И вынули сердце, как слизистый слиток,
И пулю, засевшую слепо.
И мозг, где орехом извилины слиты —
Поступков и совести слепок.

II.

Я видел Ходынкой черневшую площадь,
И угол портала — уступом,
И ночь с перекошенным глазом, как лошадь,
В толпу напиравшую крупом.

Кобыла под мерзлым седлом, оседая,
Хрустела и двигала холкой,
И нежно топорщилась морда седая
Ресницами извести колкой.

И вспышками магния, кроя с балконов
Смертельною известью лица,
В агонии красных огней и вагонов
В лице изменялась столица.

III.

Дубовые дровни гремели сугробом,
И люди во тьму уходили,
Они по опилкам прошли перед гробом,
Они обо одном говорили.

Один:
Я запомнил знамена у ложа
И черную флейту над пультом.
Я видел, как с глиною борется, лежа,
У гроба измученный скульптор.

Другой:
Как столетие, стала минута,
Проверенной совести проба,
Он был неподвижен, во френче, как будто
Диктующий лозунг из гроба.

И третий:
С мешками у глаз, среди зала
(Седая, и руки сухие)
Жена неподвижно, дежуря, стояла
У тела в ногах, как Россия.

IV.

Но я не пришел посмотреть и проститься.
(Минута... навеки... и мимо!..)
Бывает, что стужею сердца, как птица
Убита у двери любимой.

И падает сердце, легко замирая,—
Стремительно, слету, навылет...—
В сугроб, у десятого дерева с краю,—
Морозом игольчатой пыли.

Бывает, что слово становится слепо,
И сил не хватает годами
Отцовского лба, как высокого склепа,
Прощаясь, коснуться губами.

Но совесть поступков не забывает,
И в каменной памяти пыток
Поступок становится слепок.
Бывает
Такой непомерный убыток!

Валентин Катаев.

Иванушка-Аника.

Памяти Ленина.

Иванушка, рубаха-парень,
Кровь с молоком, в плече — сажень,
Крутая грудь — кузнечный сварень, —
Да ходит сваха — злая старень
Ему высватывает пень...

Ему и святки, знать, не в святки,
Не до гульбы, не до потех —
Эх, даже кудри — только смех,
Коли зипун — латы, да латки,
Да дыры черные прорех...

Коли у барыни в палате
Щенков выкармливает мать, —
А тяти нет — давно нет в хате:
Ушел он в каторжном халате
За суку барскую страдать.

Глядит в окно луна-сычиха,
В окно стучит сиротка-ель,
Грозит веревкою качель,
И гонит девок Салтычиха —
Простоволосая метель...

Как в терему, под белой елью
Горит крещенская свеча, —
Сидит подружка за куделью,
И кровь с иглы на рукоделье,
Как нитка красная — с плеча...

Подруга шьет ему рубаху,
Обводит ворот кумачем,
Чтоб не тужилось ни о чем,
Чтоб, коль судьба, — так уж без страху
На плаху лечь пред палачем.

Не лей, подружка, слез на кику,
Не порти белого лица:
Есть у Иванушки - Аники
Зубец от вил — острее пики,
Коса — вернее кладенца.

Над ним крещенской полуночью
Сквозь кровлю светится звезда.
В руках — луч месяца — узда, —
Как колокольчиком, стрекочут
Сверчком запечным повода...

Под ним — как конь, звенит подпругой
И пышет глиняная печь,
И мчит его в пургу и вьюгу,
И не зипун уж, а кольчуга
Спадает с богатырских плеч...

Закинет соху он за тучу
И на поля нахмурит бровь,
И потечет по полю кровь
И прорастет крапивой жгучей,
Мечем запаханная новь...

И руки вспружатся, как клешни,
И на устах замрут слова,
И там, где годы в сини вешней
У хат качалися скворешни,
Качнется вражья голова...

Не будет песен и запевок,
Замолкнет колокольный звон,
Зайдет луна за небосклон, —
И семьдесят безумных девок
Стучаться будут у окон...

И встанет у хоромных окон
Дремучий лес — хребетный люд:
Как обвинить, что изнемог он,
Что дыбой черной изурокан,
Был свят и добр — и будет лют...

Он сменит пашню на заплечье,
И меч Аники не отвесть:
Как листопад, куда — нивесть, —
На ветер жизни человечьи
Вскружит Иванушкина месть...

Но не для-ради злой потехи
Он будет ратовать и мстить:
В полях заря поставит вехи,
Где о земь разломить доспехи,
Все позабыть и всем простить.

Сергей Клычков.

Салтычиха—*легендарная* героиня крепостного права. До сих пор в наших мес еще ходят рассказы о ее жестокости: семьдесят крестьянских девушек она довела безумия, пытая их иголкой, и столько же отправила на тот свет.

С. К.

Так будет.

Закономерно, чередою длинной,
Пройдут года —
И в город-сад, асфальтово-пчелиный,
Сольются города.

В нем будут розы на стеклянных крышах,
Но мы, увы,
Его уж не увидим, не услышим —
Ни я, ни вы.

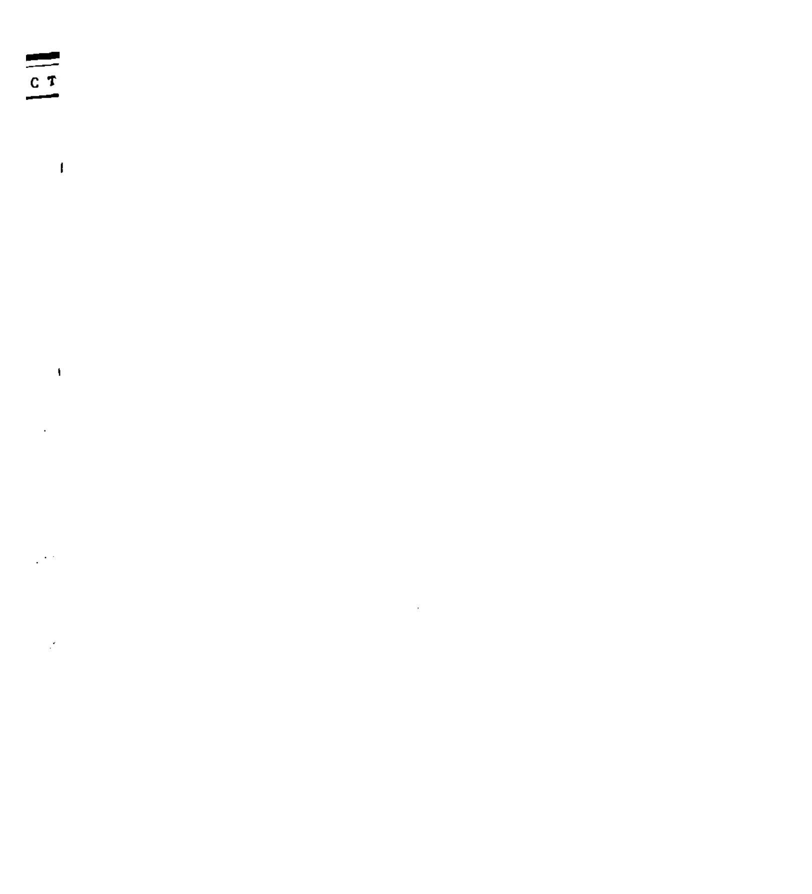
Но всё же так легко себе представить
И вам, и мне
Зеленый город в солнечной оправе
В ничьей стране.

Там памятник на площади крылатой
Поставлен так,
Что солнце сыплет золото заката
На бронзовый пиджак.

Туда приходят маленькие дети,
Счастливые на вид.
И улыбаются в закатном свете
Тому, кто там стоит.

И мать, подняв ребенка на ступени
И за лучем следя,
Негромко произносит: — Это — Ленин,
Мое дитя.

Вера Инбер.



и

21—27 января 1924 г.

Скрипят подошвы или снег, не знаю,
задумываться поздно... Голубой
мороз упрямо шарит в человечьей стае,
на Красной Площади развертывая бой.
Колючий, берегись... Ты холоднее стали,
но жарко брошено народное плечо
к венкам, рассыпанным в Колонном Зале,
и мертвый ЛЕНИН дышит горячо.

Н. Каратыгина.

О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем.

(Ответ академику Павлову.)

Н. Бухарин.

(Окончание.)

4. Об'ективное значение революции и второй тупик мысли профессора Павлова.

Академик Павлов великодушен: он готов сделать нам «уступку» и признать, что, по крайней мере, н а ш а-то революция есть факт (да благословят его боги г-на Бердяева!). Но—думает наш профессор—ведь, по случаю этого факта не «осанну», а, пожалуй, «караул!» кричать надо.

«Затем,—пишет он,—если бы в элементах нашей революции было бы что-нибудь такое, что могло бы пособить, это другое дело. Вот вы несчастны, а мы очень счастливы, мы поможем вам, как выйти из этого затруднительного положения. Н о э т о г о н и ч е г о н е т».

Теперь эта «злая» (в ковычках) ирония проф. Павлова над н а м и у ж е превратилась в злую (без ковычек) иронию проф. Павлова над проф. П а в л о в ы м. Ибо, когда, например, коллеги нашего оппонента на с'езде ученых постановляют оказать помощь ученым Германии, когда то же делают наши профсоюзы, то́ за этими, сравнительно мелкими, фактами на самом деле скрывается целый принципиальный переворот, опрокидывающий целиком Павловские построения. Мы далеко еще не «счастливы», а вот жиры германским ученым посылаем, хлеб рурским рабочим посылаем, вообще налаживаем экспорт в Германию, а своей вооруженной мощью (одним фактом ее существования) удерживаем кое-кого от окончательного раздела Германии. Что же, все это не факты и не действительность, которую так любит (как «категорию») проф. Павлов? И если проф. Павлов любит действительность (критерий истины) не платонической любовью, die keine Kinder produziert (ибо платоническая любовь чрезвычайно мало подходит к стилю физиолога-экспериментатора), то не пора ли сделать кое-какие п р а к т и ч е с к и е выводы?

Необходимо, прежде всего, осмыслить вышеприведенные факты.

Основной вывод, который нужно сделать, это—тот вывод, что большевистская революция спасла страну от разгрома и превращения в колонию.

Понимает ли проф. Павлов, что кроме пролетариата и его партии в России не было силы, которая могла бы вывести ее из империалистской войны и уберечь ее от настоящего разгрома и разложения? Пробовал ли он хоть примерно подсчитать, что̀ стоили России одни проценты по государственному долгу? Читал ли проф. Павлов, как хозяйничали японцы, англичане, французы и проч. на территориях, занятых в свое время белыми? И так далее и тому подобное.

Неужели теперь, даже теперь, непонятно, что один выход из войны и неплатеж долгов являются двумя фактами, которые определили жизнь страны, как самостоятельной величины? Неужели это нужно еще доказывать?

Но спасти страну и защитить ее мог только рабочий класс и крестьянство. Почему?

Потому, что тут нужно было пробуждение величайшей активности масс. Эта активность масс могла быть стимулирована, разожжена исключительно тогда, когда крестьянин получил землю, рабочий взял фабрики и власть. Другими словами, социально-экономический и политический переворот был об'ективной предпосылкой сохранения того комплекса, который назывался Россией. Только потому, что была пробуждена активность миллионов рабочих и крестьян, что они могли развить беззаветную, безграничную, героическую преданность революции в ее борьбе с врагом, только потому мы стали, на новой основе (ибо старая об'ективно изжила себя), великой державой. Неужели это так трудно понять?

Это общенародное значение «узко-классовой» большевистской революции и есть основной признак того, что старый уклад жизни изжил сам себя: невозможна стала экономическая старая увязка; невозможна стала старая увязка между классами; невозможно—об'ективно невозможно—стало прежнее соотношение в области политической надстройки; лопнуло равновесие старого типа (империалистского типа) между различными национальными элементами. «Нужна» была в данных условиях радикальная общественная переорганизация. Только она и обеспечила жизнь стране, возможность дальнейшего развития. Этой возможности не видели близорукие идеологи буржуазии, для которых свет клином сошелся на священном принципе трижды священной частной собственности, с ее «религиозно-онтологической основой». Но теперь эта возможность уже реализуется, и параллельные синхронистические таблицы германского и российского развития были бы лучшей иллюстрацией к опровержению «опровержений» проф. Павлова. Ибо мы еще не «счастливы», но становимся «счастливее». А Германия уже не «счастлива» и становится все более несчастной. Так — и только так — можно ставить вопрос.

«Возьмите Германию, — возражает нам, однако, проф. Павлов, — она мучается, потому что побеждена, потому что должна платить непомерно много. А как бы—желал бы я знать—как ей пособит пролетарская революция? Теперь они все-таки, за исключением маленькой кучки, соединены между собой, а тогда они образовали бы стан враждующих друг с другом людей. И почему это вывело бы их из тяжелого положения, в котором они находятся? Я этого опять не представляю себе, и я опять в тупике. Конечно, кончилось бы тем, что Франция тем скорее эту Германию обработала бы, заняла бы еще бóльшую территорию, отняла бы бóльшие ценности, если бы они (т.-е. немцы. *Н. Б.*) устроили (! *Н. Б.*) гражданскую войну. Я совершенно не понимаю, каким образом это (т.-е. выход из затруднений. *Н. Б.)* бы вышло, и опять становлюсь в тупик. Ответа нет».

Аргументация проф. Павлова удивительно проста, прямо трогательна в своей святой простоте, до того трогательна, что невольно вспоминаешь старушку Иоганна Гуса: O, sancta simplicitas!

В самом деле. Проф. Павлов выставляет, по сути вещей, один единственный аргумент: если «они»—вместе, то «они»—сильнее. Если «они» идут друг против друга, то «они»—слабее. Но такой постановкой вопроса проф. Павлов снимает с обсуждения самую основную проблему. Ибо основная проблема современности и состоит в том, кто склеивает общество, рабочий класс или буржуазия. Предпосылкой является кризис теперешнего соотношения, фактический кризис. Ибо где это проф. Павлов видел, что «все немцы», «за исключением маленькой кучки», «соединены между собою». Ведь, это смеху подобно, такое утверждение. В Германии идет восстание за восстанием, Германия расчленяется, борьба классов невиданная, а проф. Павлов толкует о «маленькой кучке».

Правда, когда проф. Павлов читал свою лекцию, многих фактов еще не было. Но в том-то его, Павлова, и беда, что он не видит об'ективных тенденций развития и распада. Не видит—или не хочет видеть. Раскол между классами на-лицо. Можно ли восстановить старое равновесие или нужно искать новой общественной установки — вот в чем вопрос. Другими словами: сможет ли буржуазия скрутить пролетариат или пролетариат должен скрутить буржуазию и, переорганизовав общество, вести борьбу за его существование. Только так можно ставить проблему. Павловская постановка ее никуда не годится потому, что она не видит вопроса самого существенного, того, который навис над миром во всей его громадности.

Посмотрите, далее, на ход мыслей проф. Павлова по этому пункту. Ведь все его рассуждения, от слова до слова, с таким же правом могли бы быть «применены» и к русской революции. Представим себе период мировой войны, то время, когда царская армия начала терпеть поражение за поражением. Проф. Павлов мог бы слово в слово повторить свои аргументы. Был бы он прав? Нисколько. Потому, что он не видит больших исторических, совершенно об'ективных, детерминант, которые соответствующим образом расставляют классы и определяют волю этих классов (или, если хотите, их «внешнеее поведение» —в данном случае это совершенно безразлично). Во

время войны сначала была, действительно, «маленькая кучка» ее решительных противников. Но нужно же понять, что эта «кучка» могла стать могучей силой только потому, что об'ективные условия жизни ставили массы в такое положение, когда они неизбежно должны были восстать. Неизбежно—понимаете ли вы это, сторонник об'ективного метода?

То же сейчас и в Центральной Европе. А при таком положении проповедь классового мира будет поповской проповедью, которая от масс все равно будет отскакивать, как от стены горох. Она будет, в лучшем случае, той слюнявой, «гуманной» фразой, которую извергают «в космическую жизнь» никчемные, не способные ни на какое действие, не приставшие ни к какой крупной общественной силе, юродствующие интеллигенты, «люди-слизни, люди-трава», как их называл когда-то Герцен. Эта расслабляющая проповедь об'ективно ничего, кроме вреда, никогда не приносила и не принесет.

Ну, а теперь самый «ужасный» вопрос, который привел в тупик проф. Павлова: почему же революция поможет; или, говоря по-кантиански: «как возможна об'ективно полезная роль революции». Что же: правда, что на этот вопрос нет ответа?

Vous vous trompez, monsieur! На этот вопрос ответ дала, прежде всего, сама жизнь. Наша революция уже ответила, как «это» происходит. Мы подробно останавливались на этом несколькими строками выше. Стоит только немного подумать, чтобы увидеть «значимость» этих строк и для Германии.

Теперешнее германское правительство есть правительство «кучки». В условиях общего кризиса оно не может защищать Германии и поэтому будет об'ективно способствовать ее разложению, несмотря на все свои усилия. Мобилизация масс происходит не за правительство, а против него. Между тем, спасти Германию может только такое правительство, которое опирается на массы, их мобилизует, их ведет.

«Франция все отнимет, все разорит». А почему у нас Франция плюс Германия + Англия + «и так далее» не смогли отнять наших завоеваний? Именно потому, что на защиту своей страны (а не страны денежного мешка) встали массы. У Германии, правда, нет таких пространств, какие были у нас, пространств, которые давали нам возможность маневрировать и выигрывать время («я уступаю пространство, чтобы выиграть время» — говорил тов. Ленин во время Брестских дебатов внутри нашей партии). Но мы были одни, а теперь уже есть такая база революции, как весь наш Союз. И — скажите, пожалуйста, по совести: если бы ряды революционных масс сомкнулись от Рейна до Владивостока, какая сила могла бы их победить? Какая сила могла бы сосать жизненные соки из Советской Германии? И неужели, действительно, непонятно, чем, как и почему помогла бы Германии победоносная пролетарская революция?

Этот революционный выход не только возможен, но он — в той или другой форме—исторически необходим.

А вот у проф. Павлова—действительно пиковое положение, воисти хуже губернаторского.

Обретши у нас несуществующий тупик, он пишет:

«Когда автор говорит о перспективах капиталистического мира, обращает внимание на то, куда устремилась энергия и мысль этой капитали стической Европы. Именно на выделку чрезвычайных истребительных средст на пушки, на аэропланы, которые летают одни и разрушают города и т. Право, это ужасная картина, и если бы все эти истребительные средств были пущены в ход, это угрожало бы истреблением человечеству. Конечн перспективы ужасные, если только человечество (!) не приду мает (!!!) чего-либо (?!) смягчающего (!!?!)».

М-да. Утешили вы, профессор Павлов, человечество!..

Это уж почти совсем по Щедрину:

«Карась—рыба смирная и к идеализму склонная: не даром его монахи любят».

« — Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он: — чтобы каждая за всех, а все за каждую—вот когда настоящая гармония осуществится!

« — Желал бы я знать, как ты с своей любовью к щуке под'едешь! — расхолаживал его ерш.

« — Я, брат, под'еду!—стоял на своем карась:—я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

« — А нутка, скажи!

« — Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, чтó такое добродетель, и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?»

Увы! У проф. Павлова нет даже таких слов... А карася-то щука все же, как известно, проглотила.

5. Ужасы гражданских войн, или третий тупик проф. Павлова.

Предлагая «человечеству» свое «смягчающее» (не хотите ли, граждане, «смягчающего» на полтинник?), — при чем толком не поймешь, чтó же это, в конце концов, за штука, сия касторка для страждущего человечества, — проф. Павлов обрушивается изо всех сил на не-«смягчающее» средство гражданских войн. И тут — так уж, очевидно, ему на роду написано — попадает в свой очередной тупик, чему читатель, впрочем, перестал уже, наверное, удивляться: «привычка—вторая натура».

«Но, позвольте,—восклицает И. Павлов,—а что же в этом будущем ужасном положении пролетарская революция могла бы сделать?» Наш оппонент цитирует ссылку на Маркса, где Маркс говорит о длительной полосе гражданских войн и битв народов («15, 20, 50 лет»), и трагически вопрошает:

«Что же это за выход? Мировая война была четыре года и то уже измучила человечество, а Маркс, оказывается, предполагает 50 лет, да еще ужасных, битв народов да еще гражданской войны. Что это за выход?.. Я не понимаю, что это за выход—50 лет всенародной войны при этих

істребительных средствах. Мне кажется, что в этих случаях (?)—конечно, к Марксу это не относится, а относится к Бухарину (merci bien! *Н. Б.)* — они (т.-е. большевики. *Н. Б.)* соблазняются до известной степени легкостью русской революции, но я думаю, что соблазняться ею разумных оснований нет. Не говоря уже о чрезвычайных издержках, Россия на десятилетия разрушена... Если бы желание нашей партии осуществилось, то резня во всех нациях произошла бы такая, которая неизмеримо превзошла бы ту, которая была у нас».

В этой тираде проф. Павлова заключается целый букет ошибок.

В о - п е р в ы х. И. Павлов наивным образом смешивает об'ективный прогноз с нормой поведения. Маркс п р е д с к а з ы в а е т эпоху мировых войн, как некую реальность; Маркс предсказывает гражданские войны, как результат общей катастрофы, которая растягивается на целый период. И Маркс говорит, что в это «железное» время рабочему классу придется вести активную борьбу, которая закалит его и «переделает его собственную природу». Верны или неверны оказались эти предсказания? На этот вопрос можно ответить так: они у ж е н а ч а л и сбываться. А проф. Павлов, перед лицом этих ф а к т о в, становится в благородную позу и говорит: «ах, как это нехорошо, все битвы, да битвы! Никакого покою нет».

Положим. Но почему же вы все эти «битвы» (в том числе и м и р о в у ю в о й н у) вменяете в вину пролетариату, как е г о «выход»? Это уж совершенная нелепица, ровно ничем не оправдываемая. Маркс «предполагает». Верно. Но «предполагать» это вовсе не значит «желать». Мы и сейчас «предполагаем», что царство священной частной собственности еще и еще раз приведет к кровавой бойне. Буржуазия с ее ученым и техническим окружением н е д л я д е т с к о й з а б а в ы строит смертоносные орудия и машины. Она не может иначе. А наше дело, дело рабочего класса, и с п о л ь з о в а т ь вызываемые войной кризисы для подрыва того проклятого строя, для которого войны, захваты и грабежи так же характерны, как власть денег, угнетение масс, проституирование науки и т. п. Но разве из этого следует, что буржуазную кроваво-грязную политику можно вменять пролетариату? Это, уж, знаете ли, логика по Мейерхольду, «логика дыбом». Иначе такие выводы обозначить нельзя.

В о - в т о р ы х. Откуда это профессор Павлов заключает, что мы «соблазняемся» легкостью русской революции? Проф. Павлов, не читающий «для ради беспристрастия» теперешних газет, «соблазняется» возможностью клепать на нас, как на мертвых. Если бы он немного больше з н а л, тогда ему бы «казалось» нечто совершенно другое. Ибо все коммунистические идеологи, во главе с товарищем Лениным, всегда говорили, что на Западе победить т р у д н е е, но зато с т р о и т ь будет легче. Труднее победить, потому что буржуазия гораздо крепче, умнее, сильнее, тренированнее, опытнее; потому что крестьянство в значительной степени не то, что у нас; потому что народ обезоружен и т. д. Все это т ы с я ч и раз твердилось всеми нами. А вот проф. Павлову, изволите ли видеть, «кажется», что мы думаем «совсем наоборот». Как замечательно такое чтение в сердцах подходит стороннику

«строго-научных» методов! Конечно, если на свои выступления смотреть как на лущение семячек (сплюнул шелуху в угол, да и ладно)—тогда другое дело. Но, ведь, проф. Павлов — серьезный, уважаемый всеми, выдающийся работник науки. Вот что значит: «газет не читаю, а судить да рядить—берусь».

В-третьих. Проф. Павлов аргументирует от издержек революции. Но уже из предыдущего ясно, что он совершенно неверно подводит балансы этих издержек. У него получается вот какая картина:

I.	II.
4 года мировой войны.	50 лет великих международных и гражданских войн.
Они измучили человечество.	Они совершенно доканают человечество.
В этом виновата германская буржуазия, которая начала войну.	Это предлагает от имени пролетариата Маркс, а вместе с ним и все коммунисты.

А отсюда И. Павлов делает примерно такой вывод: так как 50 больше 4, то «пролетарский» выход есть чистое безумие. Все это было бы так, если бы «калькуляция» проф. Павлова хоть сколько-нибудь соответствовала истине. Но ее (этой «калькуляции») основное свойство в том и заключается, что она никакой действительности не отражает и не выражает. Правильная калькуляционная картина была бы:

1. Буржуазия.	2. Пролетариат.
4 года мировой войны.	Победоносная революция в России и ряд революций в других странах.
Послеверсальский хаос.	
Новые неизбежные войны.	Неизбежные восстания.
Культурная гибель Европы, а, может быть, и гораздо более широкого культурного круга.	Спасение Европы от гибели (а, может быть, и всего культурного мира).
Все это длится „15, 20, 50 лет".	Все это длится „15, 20, 50 лет".

Тяжелы будут «издержки революции»? О, да! Очень тяжелы. Но если их сравнить с теми ударами, которые нанесла человечеству мировая империалистская война, то, ведь, все же это «две большие разницы». Мировая война (первая!) стоила человечеству 10 миллионов убитых и 20—30 миллионов раненых [1]). Россия потеряла одними убитыми $2\frac{1}{2}$ миллиона [2]). Представьте себе, пожалуйста, новый цикл мировой войны, на основе новых изобретений (газы, теле-бомбы, самоуправляющиеся аэропланы и прочие продукты человеческого гения). Что по сравнению с этим представляют из себя «издержки революции»? Нельзя быть страусом, хотя страус и хорошая птица, и хвост у него красивый. Без уничтожения власти капитала мы идем к гибели—вот что должно быть выжжено в каждом мыслящем мозгу. И ради спасения человечества мы должны итти на жертвы, которых требует революция.

---

[1]) Jahrbuch für Politik-Wirtschaft-Arbeiterbewegung 1922—23. S. 223.

[2]) Подсчет Döring'а. См. „Мировое хозяйство за время с 1913 по 1921 г.г.". Статист. ежегодник под ред. проф. Фалькнера.

Проф. Павлов, изобразив не без яркости, как буржуазия будет, вместе с учеными, бороться против «материальной массы», как гражданская война «пройдет насквозь через всю нацию», как правящие круги оонаружат «последовательность действий» в деле подавления пролетариата и т. д., кончает своим обычным припевом:

«Что же выходит? Опять для меня тупик, опять не могу понять, каким образом этот ужасный вопрос (о том), что будет дальше с человечеством — будет разрешен при помощи (!) этой 50-летней гражданской и международной войны».

А вот так же, как «при помощи» русской революции была спасена наша страна. Ni plus, ni moins.

Еще одно небольшое замечание. Проф. Павлов, пòходя, утверждает, что «Россия разрушена на десятилетия». Откуда такое пророчество? Какими соображениями, какими цифрами, какими об'ективными данными подтверждается этот пессимизм? А вот, по-нашему, С. С. С. Р. через пять - шесть лет будет самым могущественным европейским государством. Так как проф. Павлов не читает наших газет, то ему, конечно, приходится оперировать с данными, история которых «темна и непонятна». Все же в таких случаях не мешает заглядывать в кое-какие таблички. Американские сенаторы, французские ростовщики, купцы Великобритании—и то не страдают таким дальтонизмом, как проф. Павлов. Почему? Потому, что они знакомятся с нашей жизнью по источникам, несколько более подходящим, чем квартира и физиологическая лаборатория. Блокада с нас снята, профессор! И вам давно бы пора снять свою блокаду с наших газет, с «теперешней» нашей общественности. Та, старая, «беспристрастная», та, которая всегда против людской «материальной массы»,—она умерла. И ее не воскресить никакими сомнениями и никакими ламентациями.

6. Наше культурное строительство. Тупик профессора Павлова номер четвертый и последний.

В своей брошюре я говорил о том, что рабочий класс не только спасет мир, не только построит фундамент новых хозяйственных отношений, но создаст и новые формы культурной работы, осуществит, претворит в жизнь новые культурные принципы. Речь шла о понимании связи любой научной дисциплины и любой идеологической отрасли с жизнью—с одной стороны, о преодолении анархии культурно-интеллектуального производства — с другой.

Проф. Павлов заявляет, что эта проблема его «очень занимает». Проф. Павлов делает мне честь, признавая, что у меня здесь есть «много здравых вещей». Особенно нравится профессору Павлову положение, что рабочий класс—«неуч по сравнению с буржуазией». Приведя эти слова, проф. Павлов сейчас же открывает пальбу и заявляет, что он снова в тупике.

«Вот его (т.-е. Бухарина. *Н. Б.*) слова. А рядом с этим мне совершенно непонятное: этот рабочий класс, который совершенно ничего не знает, ка-

ким-то образом навалит на свои плечи уничтожение анархии культурно-индивидуального производства. Но это безвыходное противоречие. Эту анархию можно устранить только тому, кто что-нибудь понимает в этой работе, а если человек ничего не знает, то как он будет эту анархию устранять? Я опять в тупике, я опять ничего не понимаю...»

Последнее положение, к сожалению, совершенно верно, соответствует действительности и—позвольте ответить комплиментом на комплимент — является, как признанье, вполне «здравой вещью». Постараемся об'яснить и преодолеть эту, не вполне выгодную для проф. Павлова, действительность.

Популярно об'яснять, значит — прежде всего — об'яснять примерами. Так вот мы и начнем с примеров.

Знал ли рабочий класс дело управления государством? Не знал. «Кухаркиных детей» держали подальше даже от школы. Был рабочий класс неучем по сравнению с буржуазией? Был. «Навалил» ли он на свои плечи управление государством? «Навалил». Все это признает и сам проф. Павлов.

Позвольте! А где же ваше «безвыходное противоречие»? Как же случилось этакое чудо, что неучи расколотили противника и крепко, точно молодые дубы, стоят на завоеванной земле? Разгадка простая, проф. Павлов: не знали—узнали; не учились—обучились и научились; не умели, а потом сумели. Только и всего. Вот некоторые очень почтенные и уважаемые буржуазные умы утверждают даже, что у нас самое умное правительство (см., напр., рассуждения по этому поводу графа Keyserling'a). Но оставим этот вопрос в стороне. Все же никто не станет оспаривать, что один факт нашей победы и нашего укрепления кое-что говорит и о руководстве нашего класса—не так ли?

Другой пример. Знал ли рабочий класс, как строить армию? Не знал. Офицерский корпус вербовался не из рабочих, как это хорошо известно И. Павлову («тогдашние» газеты он, ведь, читал!), а, главным образом, из благородного дворянского сословия. Генералов из рабочих тоже, как будто, было маловато—не так ли? Что касается неучей-революционеров, то им не приходилось командовать армиями. А вот поди ж ты! «Навалил» на себя рабочий класс этакую обузу? «Навалил». И, представьте себе: армию построил, ею командовал, победоносно вел ее в бой, получил признание от противника, полное, безоговорочное (рекомендуем проф. Павлову прочитать отзывы белых генералов о Красной армии—чтение весьма поучительное). Опять таки, что за чудо? Ведь это «безвыходное противоречие»? Конечно, противоречие, только с точки зрения заскорузлой, статической, чисто формальной, с позволения сказать, логики, которая—выражаясь гегельянски—не знает категории «становления». А загадка опять просто решается: научились, проф. Павлов! И так научились, что к новым условиям войны оказались более приспособленными, чем Колчаки, Врангели, Юденичи и прочие не-неучи, которые, можно сказать, «собаку с'ели» на военном деле.

Третий пример. Управлял ли рабочий класс промышленными и торговыми единицами, банками, кооперативами и т. д.?

Нет. Был неучем. Много глупостей делал, когда за это дело взялся. А теперь уже подучился, стал на ноги. Продолжает учиться, но уже уверенно стоит на совершенно новой для него почве.

А теперь спросим себя: во всех этих областях внес рабочий класс что-либо свое, новое? Ясно, что внес: Красная армия — далеко не то, что белая; советская система совсем не похожа на так называемое парламентское государство; наше хозяйство весьма далеко от частного хозяйства буржуазии. И т. д., и т. п.

Теперь интересно узнать, почему же культура снабжена таким «табу», что здесь «неучи» ничего не смогут сделать, ничему не смогут научиться? Где попытка (хотя бы попытка!) доказать это? Увы, ни тени доказательства нет, если не считать за доказательство сердитые фразы и сердитые слова.

Сердится проф. Павлов ужасно свирепо.

«Люди вообразили, — пишет он про нас, — что они, несмотря на заявление о своем невежестве, могут переделать все образование нынешнее».

Страсти-мордасти! Вот ужас-то, в самом деле! И переделаем-таки, как нам нужно, обязательно переделаем! Так же переделаем, как переделали самих себя, как переделали государство, как переделали армию, как переделываем хозяйство, как переделали «расейскую» «Федорушку-Варварушку» в активную, волевую, быстро растущую, жадную до жизни, народную массу, которая только теперь завоевала себе возможность настоящего развития.

По существу: возражает ли проф. Павлов против того, что я называл в своем докладе принципами пролетарской культуры? Нет, не возражает. Признал ли он сам необходимость увязки между различными идеологическими областями («уничтожение анархии интеллектуального производства») и отчетливого сознания практической ценности научных конструкций и т. д.?

Как будто признал. Может ли буржуазия решить эти задачи? По-нашему, не может. Если бы нужны были здесь доказательства, мы могли бы привести их немало. Современная буржуазная наука, начиная от самой абстрактной и кончая самой «практической», вроде техники, тщетно бьется в поисках синтезов — и не находит таковых. То же и в области искусства. Со всех сторон жалобы, со всех сторон разговоры и причитанья о кризисе «духовной культуры», о «тупике» и проч. Разве это случайно? Выдающийся германский социолог Георг Зиммель пишет в одной из своих последних работ об общем духовном кризисе, который, по Зиммелю, есть результат столкновения между «жизнью» и существующими формами жизни. Переводя эту философскую абстракцию на язык конкретного, получаем: буржуазный строй, с его производственной анархией и дробностью, которая еще более усилилась процессом распада его форм, не может уже решать синтетических за-

дач. Вот почему его культура идет книзу. Вот почему рост культуры должен иметь своей исторической предпосылкой господство рабочего класса.

Но проф. Павлову некогда заниматься такими высокими материями. Он берет исходной точкой для своей атаки нашу практику, обращаясь к нам— в нашем вольном переводе—примерно так: «Хорошо поёшь, где-то сядешь?». И оказывается, что «садимся»-то мы очень плохо, хотя и хорошо, быть может, «поем».

«Сейчас на что-нибудь даются огромные деньги, напр., на Японию в расчете на мировую революцию, а рядом с этим наша академическая лаборатория получает три рубля золотом в месяц... Надо разумно давать, понимать для того, чтобы делать, значение биологии, значение другого вопроса и т. д. Этого ничего нет».

И далее еще более сердито:

«И что же, если эту самую науку будут третировать люди, которые сами признают, что они ничего в этой науке не знают, что из этого выйдет? Разве это не чрезвычайная опасность для науки?»

Тут нужно об'ясниться начистоту.

Прежде всего, откуда это проф. Павлов узнал об «огромных деньгах» на «Японию»? Газет, ведь, он не читает. Что же, «знакомый рассказал»? Достойны ли такие приемы ученого об'ективиста? Хорошо ли это?

Далее. Мы, действительно, оказывали неоднократно помощь трудящимся разных стран. А они нам не оказывали такой помощи? Они нам не помогали бороться с интервенцией и блокадой? Не собирали крох во время ужасного голодного года? Не помогли, не заставили ряд государств признать нас, как великую державу? Нельзя же так близоруко подходить к вопросу. Нельзя не видеть больших вопросов, которые иногда решают всё.

Проф. Павлов, как и многие, впрочем, профессора, не видят этой большой, исторически необходимой, стратегии рабочего класса: это не их забота.

Когда идет борьба, то приходится часто жертвовать всем для целей этой непосредственной борьбы, хотя экономически это нерационально с точки зрения дня. Но если положительный исход борьбы есть необходимая предпосылка для всего остального, то выбора нет: нужно жертвовать всем.

С точки зрения статистической и с точки зрения рассуждений «вообще», бессмысленно, что мы на оборону тратили больше, чем на просвещение. Но это не бессмысленно с точки зрения всего нашего дела, которое опрокидывает старый status quo; это не бессмысленно с точки зрения истории. Для того, чтобы это понять, нужно иметь горизонты побольше, чем горизонты «квартиры и лаборатории», нужно выйти за пределы узкой специальности, нужно не замыкаться в четырех стенах, нужно постараться понять события в их взаимной обусловленности, в их движении и в их — как это ни трудно— всемирном масштабе...

Само собой разумеется, что все сказанное не есть оправдание частных ошибок, излишнего «битья посуды», конкретных и общих случаев неуме-

лости и неопытности. Это есть «издержки обучения», очень тяжелые, но временные. Не они решают дело. Проф. Павлов ведет атаку против всей системы и против руководства коммунистов, которые «ничего не знают в этой науке».

Что касается наших руководящих кругов, то — смеем уверить профессора Павлова — они в биологии и физиологии понимают много больше, чем проф. Павлов в области общественных наук, и проф. Павлов совершенно напрасно выступает со столь категорическими утверждениями. Но что весь наш класс еще очень мало культурен, это мы признаем. Тем не менее, и по отношению ко всему нашему классу нельзя выдвигать обвинения, будто он «третирует» науку. Для этого нужно было бы лишь почитать некоторые документы, вроде нашей партийной программы, ряда постановлений профсоюзов, органов Советской власти, разных конференций и совещаний рабочих и проч. Мы совершили и совершаем много ошибок, но линия нашей политики — совершенно правильна. Никакой опасности для науки нет: есть лишь опасность для тех якобы ученых предрассудков, которые поворачивают «людей ума и знания» против «материальной массы». Вот для этих вещей существует громадная опасность, и будет в высшей степени хорошо, если эта опасность для них превратится в их гибель.

А потом невредно проверять свои положения фактами — в этом мы совершенно согласны с проф. Павловым. Притом не отдельными фактами, выдранными из общего контекста, а итогами, по всем правилам «закона больших чисел». Что же, может проф. Павлов утверждать, что культурная и научная кривая у нас за два последних года пошла вниз? Стоит только просмотреть цифры издающихся книг, журналов, специальных публикаций и т. д., чтобы увидеть, как быстро мы растем.

Разве можно это отрицать? Где же опасность? Не есть ли это доказательство того, что и здесь мы уже кое-чему научились, что и здесь мы уже выходим из того «безвыходного противоречия», которым так пугал себя и нас профессор Павлов? А, ведь, он прямо заявлял, что наша политика «ведет к уничтожению русской культуры» — ни больше, ни меньше. Проф. Павлов думает, что коммунисты действуют исключительно по принципу: «Раззудись, плечо, размахнись, рука!». Не пора ли хоть теперь бросить это, мягко выражаясь, «неверное» представление?

Профессора Павлова в высшей степени удручает факт классового приема в высшие учебные заведения. «Уровень образования чрезвычайно понизится, благодаря... непоследовательности (в) приобретении знаний». С другой стороны, «масса людей подготовленных... отстраняются от школы, им ставятся всякие затруднения».

Если оставить в стороне всякие «эксцессы» и обсуждать основы нашей политики (классовый прием и т. д.), то нельзя вырывать этой проблемы из всего контекста наших задач. Как развитие производительных сил нашей страны, так и развитие в ней интеллектульной культуры, теоретически говоря, возможно в двух формах: буржуазной и пролетарской. Если бы рост кадрового состава (управляющего, администрирующего, идейно «коман-

дующего» и т. д.) наворачивался по линии анти-пролетарской (что далеко не всегда предполагает сознательно анти-пролетарскую идеологию) то мы неизбежно сползли бы на «смено-веховских» тормозах к «идеальной» цели либеральной буржуазии: «здоровому» капитализму в экономике, так называемому «правовому государству»—в области политической надстройки. Но, ведь, у нас есть совершенно достаточные основания для того, чтобы бороться с этими тенденциями вырождения. Само собой разумеется, что без ответа на этот кардинальный вопрос (социализм или капитализм) немыслимо понять и вопросы производного характера. Нет роста производительных сил «вообще», а есть рост производительных сил в совершенно определенных формах, в совершенно конкретной исторической скорлупе. То же и с интеллектуальной культурой. Мы уже писали, что отнюдь не хотели бы выступить в роли навоза для нового цикла капиталистического развития, который привел бы с неизбежностью к новой и новой катастрофе. Песня «про белого бычка» в «мировом масштабе», это—слишком трагическая песня. Мы твердо ведем политику на уничтожение и преодоление капиталистического строя. И именно поэтому вся логика, и формальная, и диалектическая, на нашей стороне.

Ошибка академика Павлова состоит в том, что он обходит основной вопрос, вопрос о социальной сущности того или другого общественного порядка. А обходить этот вопрос—нельзя, недопустимо.

Понятно, что с точки зрения «нейтральной» (на деле буржуазной) классовый прием из среды, вообще говоря, менее культурной и менее подготовленной, представляется нелепостью, и если оставаться в рамках такого аспекта, то коммунистов можно и в самом деле счесть за буйных помешанных.

Но в том-то и дело, что наша политика основана на совершенно определенной предпосылке. Нам нужны такие кадры и постоянное воспроизводство таких кадровых элементов, которые вели бы пролетарскую политику на всех пунктах трудовой шахматной доски, на которой им придется впоследствии разместиться. Гарантией такой политики является определенная социально-классовая прививка, т.-е. социальное происхождение. Отсюда — «классовый прием». Мы, конечно, «проигрываем» временно с точки зрения квалификации, «независимой» от социальной оценки, но зато мы имеем прочную гарантию того, что поезд пойдет по надежным рельсам и не с'едет где-нибудь под откос. Что же здесь удивительного и непонятного? Что необ'яснимого в том, что мы, начав социалистическую революцию, производим ее во всех областях, играющих существенную роль в процессе производства всей общественной жизни в его целом?

И опять-таки: разумеется, чтобы это понять, нужно понять внутреннюю логику этого процесса в целом. И наоборот, без предварительного понимания всего процесса, т.-е. той основной орбиты, по которой движется наша политика в целом, совершенно невозможно понять и такого частного мероприятия (связанного с совершенно своеобразными и специфическими «расходами»), как классовый прием в наши вузы.

К числу таких «расходов» нужно отнести и упоминаемое акад. Павловым понижение уровня квалифицированных работников, выпускаемых вузами. Вообще говоря, революция в первой своей фазе безусловно сопровождалась разрушениями и в этой сфере, сфере производства квалифицированных интеллектуальных сил. Теперь и здесь мы видим быстрый прогресс. Но нам важно отметить, что революция создала все же некоторые, совершенно неслыханные, предпосылки для быстрого расцвета культурной жизни. Интенсивность культуры пала. Но экстенсивность ее колоссально возросла, несмотря на бывшую материальную разруху. Массовая психика стала гораздо более подвижной, гораздо менее косной; горизонты необычайно раздвинулись; воля закалилась; опыт обогатился в неизмеримой степени. Брошенная в широкие массы политическая, а затем и хозяйственная литература, сеть клубов, кружков и т. д.; методы массовой пропаганды и агитации; Красная армия, пропускавшая через себя сотни тысяч и миллионы людей, и т. д. и т. п. — все это в целом произвело громадный культурный сдвиг, результаты которого сказываются хотя бы на том перевороте, который произошел в языке нашего крестьянства, наиболее массовой и наименее культурной силы нашего общества. Разве трудно сообразить, что эта громадная экстенсификация культуры есть величайшее культурное завоевание, плоды которого не преминут сказаться через некоторое время? Разве не понятно, что это есть фундамент небывалого культурного расцвета в будущем.

Здесь вполне уместно поставить один общий вопрос, который имеет и прямое отношение к разбираемой проблеме. Вообще говоря, такой строй и такой порядок вещей способствует в наибольшей степени общественному развитию, который, при данном уровне развития производительных сил, дает возможность культурного развития и культурного подбора максимальному числу людей. Чем шире это селекционное поле, тем лучше, при прочих равных условиях.

И вот здесь наша революция совершила поистине величайший переворот. Она еще не догнала довоенного уровня в нашем хозяйственном развитии, она еще не обеспечила довоенного standart of life. Но она уже в гигантской степени расширила селекционное поле, она впервые вовлекла широчайшие пролетарские и крестьянские массы в культурный оборот, давая возможность подбора не из «верхних десяти тысяч», а из «нижних» миллионов. Такие организации, как партия, профессиональные союзы, завкомы, клубы и проч., через которые направляется поток людей в наши высшие учебные заведения, есть не что иное, как громадная и неизвестная прежним временам школа, подбирающая людей из самой гущи жизни.

Это завоевание уже есть у нас: оно прочно, оно неоспоримо. И если на первых порах мы не будем иметь достаточно «полноценных» студентов, то эти недостаточно «полноценные» будут иметь одно несомненное преимущество над старым студенчеством: они будут всеми своими корнями связаны с жизнью, с практикой, с активным участием в общественном строительстве. Этой чертой могут быть недовольны ученые-«олимпийцы», до

которых не доносится гул жизни (да к тому же олимпийцы всегда бь туги на левое ухо). Но это недовольство как раз и есть свидетельств отсталости. Будущее принадлежит — это уже начинают понимать и в бу азных кругах — не героям спекулятивной философии, спекуляция кот не многим лучше вульгарной и прозаической спекуляции рынка, а лк которые связаны с практикой, у которых наука есть орудие этой практ а не талмудическая похлебка или «летом сладкий лимонад». У рабочего класса практика в крови. И тот синтез теории и практики, который дан рабочим классом в общественных науках (т.-е. в теории общес ведения и в научной политике рабочего класса), он будет, несомненно, за шагом завоевывать одну область за другой. Этот процесс уже нача Разве не повернут нашей государственной властью руль в сторону гегемо материализма и решительной борьбы против фантастических привидений лигии, идеалистической метафизики и тому подобных Бердяевских « делений»?

Что же, это — положительный или отрицательный факт, — эта ге мония опытной науки, материалистического мировоззрения, материа стического воспитания и обучения?

Такой поворот стóит очень многого. Конечно, праздношатающиеся бо туны «демократической», с позволения сказать, «мысли», и по сему случ не упускают толковать о диктаторской тирании и изнасиловании всячески свобод. Но это есть не что иное, как та же самая, до крайности пошла фетишистская и — позвольте сказать совершенно откровенно — с историч ской точки зрения варварская мысль, как и мысль г-на Бердяева о «евхаристическом питании». Люди думают, что это — крайне умно. А на са мом деле — перед нами, несмотря на всю раффинированность авторов, идес логия, достойная каменного века, к которому сейчас не прочь апеллироват «беспристрастные» ученые буржуазии. Но как с этим совместить научны взгляды самого профессора Павлова? That is the question.

Заключение.

Хотя мы не отличались и не отличаемся христианской добродетелью, но все же посильно старались помочь нашему оппоненту вылезать из его многочисленных тупиков и ям. Ибо этого требует от нас не категорический императив Канта и не заповеди христианской морали, а революционная целесообразность. Рабочий класс, вопреки профессору Павлову, отнюдь не собирался и не собирается третировать en canaille науки. Но он самым категорическим образом отметает quasi-научное шарлатанство, которое теперь процветает на вымоченных кровью полях Европы, и в котором некоторые скорбные главою российские интеллигенты видят последнее слово божественного откровения. Рабочий класс прямо заинтересован в том, чтобы лучшие традиции науки,—а лучшие традиции науки связаны с опытным исследованием, с материализмом, с борьбой против всякой метафизики, — чтобы эти лучшие традиции науки сплелись и слились в один поток с усилиями победоносного

пролетариата и его учащейся молодежи. И поэтому мы взялись за ответ профессору Павлову, этому выдающемуся представителю честной науки. С ним случился грех не только с точки зрения коммунизма, но и с точки зрения того самого об'ективного метода, который он так блестяще защищает, когд речь идет о слюнных железах, и который он так основательно позабывает, когда нужно анализировать события общественной жизни. Мы все время только и делали, что бросали профессору Павлову в ямы, куда он попадал, спасительную веревку об'ективного метода. «Веревка—вервие простое», но это «вервие» помогает вылезать из ям не только в области экспериментальной физиологии...

А вот хоть изредка выходить из квартиры и лаборатории на свежий воздух—все же очень не помешало бы. Об этом, правда, Заратустра не говорит, но медицина утверждает «с превеликим упорством» и, смеем думать, не без основания.

Ленин и кооперация [1]).

Н. Мещеряков.

Среди старых дореволюционных кооператоров было чрезвычайно ши-
1 роко распространено мнение, что кооперация представляет какую-то совершенно самостоятельную форму общественного движения, совершенно независимую от других его форм. Отношение этих вождей старой кооперации к кооперативному движению и к кооперативной идеологии было самое утопическое. Одни из них вполне явно, другие более или менее прикровенно представляли себе кооперативную идеологию как какую-то абсолютную, вечную, внеклассовую истину. Некоторые из них искали корни кооперативного движения еще в те времена, когда не было капитализма, не было, следовательно, и капиталистической эксплоатации. Другие доходили до того, что старались найти начала кооперации у самых первобытных народов. Идея кооперации при таком подходе к делу развивалась не из условий экономической обстановки и классовой борьбы, а совершенно независимо от них. Кооперативное движение, по их мнению, не было продиктовано жизнью, а явилось результатом работы идеологов, «родоначальников» кооперативного движения. Идеология эта развивалась и совершенствовалась сама по себе, а не в зависимости от того, что диктовала жизнь. Развитие этой идеи шло в направлении искания таких кооперативных догматов, которые при всяких условиях наилучшим образом отражали бы идеи кооперации. Такие догматы многие старые кооператоры усматривали в знаменитых принципах рочдельских пионеров. И они старались свято сохранить эти рочдельские принципы даже тогда, когда вся обстановка экономической жизни и классовой борьбы в корне изменялась. Всякую попытку нарушить или изменить эти принципы они считали чуть не святотатством.

Ленин был великолепным марксистом и потому ясно понимал, что кооперативное движение есть одна из форм проявления классовой борьбы пролетариата и мелкой буржуазии против эксплоатации капитала. Он прекрасно понимал, что нет никаких «вечных», абсолютных кооперативных истин, нет никаких принципов организации, которые были бы хороши и пригодны при

---

[1]) Статья эта служит предисловием к находящейся в работе Государств. Издательства и выходящей скоро в свет книге Н. Ленина „Статьи и речи о кооперации".

всяких условиях. Как великий, гениальный революционер-реалист, Ленин прекрасно понимал, что нет единых задач, которые бы всегда стояли перед кооперацией, что задачи эти меняются в зависимости от изменения всех условий окружающей жизни, а также и условий классовой борьбы, что в зависимости от этого должны меняться и принципы кооперативной организации. В кооперативную работу Ленин вносил всегда ту же гениальную гибкость тактики, уменье во-время повернуть руль налево или направо, то же уменье сосредоточить всю живую силу движения на одном пункте, который является в данный момент наиболее важным для целей всего революционного движения пролетариата.

Эту гибкую тактику Ленина не надо ни на один момент упускать из виду при изучении всех его произведений. Нельзя ее упускать из виду и при изучении статей и речей Ленина, посвященных вопросам кооперации. Тот, кто упустит это из виду, наткнется сразу на ряд якобы противоречий в статьях и речах Ленина; он никогда не сумеет свести эти якобы противоречивые взгляды в единую стройную систему.

Попробуем выполнить эту работу.

* * *

Все то, что было написано или сказано Лениным о кооперации, может быть разбито на 4 группы:

I. Статьи, написанные в период борьбы с народниками, в период от начала литературной деятельности Ленина и кончая «Аграрным вопросом». Извлечение этих отрывков было особенно трудно, так как в это время Лениным не было написано ни одной статьи, посвященной только вопросу о кооперации. Мысли и замечания по поводу артелей и кредитных кооперативов переплетаются в статьях Ленина со всей его полемикой против народников. Многие страницы, на которых ни слова не говорится прямо о кооперации, могут быть всецело отнесены к этой полемике, и все, что говорится на них, может быть всецело применимо и к вопросу о кооперации.

II. Статья из «Социал-Демократа» 1910 г. по поводу кооперативной резолюции Копенгагенского Социалистического Конгресса. В ней Ленин говорит только о роли и значении *рабочих потребительских* кооперативов. Вопроса о рабочей производительной кооперации он касается в ней только вскользь.

III. Отрывки из статей и речей Ленина по вопросу о кооперации за время военного коммунизма (с 1918 по 1920 год).

IV. Статьи и речи о кооперации периода новой экономической политики (с 1921 по 1923 год).

* * *

Обратимся теперь к мыслям Ленина о кооперации, которые он высказывал в первый период, т.-е. в период борьбы с народничеством.

Заметим, прежде всего, что во всех отрывках, относящихся к этому периоду, он говорил только о производительной (сельско-хозяйственной и

промысловой) и о кредитной кооперации. О потребительской кооперации в этот период он не говорил ничего.

Идея кредитной кооперации зародилась в Германии. Родоначальниками ее были либеральный буржуа Шульце и реакционер юнкерского пошиба Райффейзен. Оба эти творца кредитной кооперации не имели ничего общего с социализмом. Наоборот, оба они были врагами социализма и революции и самую кооперацию выдвигали как средство поддержки жизнеспособных элементов мелкой буржуазии (ремесленников и крестьян), как средство предохранить их от разорения и превращения в революционно настроенных пролетариев.

Если мы обратимся к истории кредитной кооперации в России, то увидим, что и у нас это движение зародилось под влиянием идей Шульце-Делича. Сторонниками его в течение первых двух десятилетий были только либеральные помещики, интеллигенты и земцы. Революционно или даже радикально настроенное народничество того времени выступало, наоборот, противником ссудо-сберегательных товариществ. В этих товариществах,—писал, например, в «Отечественных Записках» С. Н. Кривенко, — «участвуют кулаки и мироеды»... «История ссудо-сберегательных товариществ,—писал тот же журнал,—заключается в том, что они разоряют средних крестьян и выбрасывают их из своей среды». А Глеб Успенский прямо называл клиентов этих товариществ «страстотерпцами мелкого кредита». Нечего говорить о том, что отношение более революционных элементов народничества к ссудо-сберегательным товариществам, как к либерально-кулацкой затее, было еще более враждебным.

Так было во времена расцвета народничества, в героический период его истории.

Но это отношение стало совсем иным у эпигонов народничества, действовавших в период разложения, падения и вырождения этого движения, в тот период, когда идея революции была отброшена народниками, когда движение это подпало под сильное влияние либеральной буржуазии, когда идея революционного социального переворота сменилась у них идеей медленного, совершающегося без всяких глубоких социальных потрясений, мирного перехода к социализму, идеей медленного, мирного врастания в социализм.

Это врастание, по мыслям народников времен упадка, могло совершаться путем развития земельной общины, артелей и т. п. А одним из средств, способствующих этому процессу, должен был быть народный кредит. При организации же этого кредита должны были, по их мнению, сыграть большую роль так называемые ссудо-сберегательные товарищества. Позже к ним присоединились и кредитные кооперативы другого вида — так называемые кредитные товарищества, организованные по типу товариществ Райффейзена.

Революционно настроенный марксизм девяностых годов с силой и страстью обрушился на эти либерально-народнические затеи. Немудрено, что и Ленин затрагивает вопрос о кредитных товариществах чрезвычайно часто, чуть не во всякой статье, посвященной полемике с народниками. При

этом вопрос о кооперации все время тесно сплетается у него с другими вопросами, которые он затрагивал в своей полемике. Переплетение это так тесно, что трудно выделить из его статей места, относящиеся к кооперации. Очень часто даже в тех случаях, когда Ленин ни слова не говорит о кооперации, все его рассуждения и возражения целиком применимы и к ней.

Ленин неоднократно указывал в этих своих статьях, что услугами кредитных кооперативов (как и других кредитных учреждений) могут воспользоваться только хозяйственно сильные элементы, т.-е. зажиточные элементы крестьянства. Бедняк будет признан этими учреждениями некредитоспособным и не получит кредита. А между тем беднота составляет господствующий элемент среди крестьянства. Поэтому всему крестьянству кредитные кооперативы помощи оказать не могут. Они могут помочь только наиболее зажиточным, богатым элементам крестьянства. Этим они выделят эти элементы еще сильнее из крестьянской массы, превратят их в богатых кулаков, в мелких капиталистиков, т.-е. будут способствовать не сохранению целостности крестьянства, не движению его к социализму, а проникновению капитализма в деревню, в крестьянскую среду. «Всеми этими кредитами, улучшениями, банками и т. п. «прогрессами»,—пишет Ленин в своей известной книге «Что такое друзья народа»,—в состоянии будет воспользоваться только тот, кто имеет при правильном, точном хозяйстве известные сбережения, т.-е. представитель ничтожного меньшинства, мелкой буржуазии». Все такие мероприятия «в состоянии только усилить мелкую буржуазию»,—пишет Ленин в другом месте той же книжки; «они приводят на деле лишь к помощи и содействию «хозяйственному мужичку», мелкому фабрикантику или скупщику, вообще представителям мелкой буржуазии»—пишет Ленин в статье «Кустарная перепись 1894/5 года». Возникновение и развитие кредитных организаций в деревне означает не движение деревни в сторону социализма, а «выражает потребности развивающегося капитализма», проникновение капитализма в деревню. Социалист не может выставлять в своей программе требования подобных мероприятий. «Выставлять их со стороны социалиста—значит именно льстить собственническим интересам. Выставлять их—то же самое, что требовать содействия государства трестам, артелям, синдикатам, обществам промышленников, которые не менее «прогрессивны», чем кооперации, страхования и проч. в земледелии. Это все капиталистический прогресс. Заботиться о нем не наше дело, а дело хозяев, предпринимателей. Пролетарский социализм, в отличие от мелко-буржуазного, представляет графам де Рокиньи[1]), помещикам-земцам и т. п. заботу о кооперации хозяев и хозяйчиков, а сам заботится всецело и исключительно о кооперации наемных рабочих в целях борьбы с хозяевами».

Эта последняя цитата интересна и в том отношении, что Ленин выступает в ней не противником, а сторонником рабочей кооперации, ставя ее целью борьбу с хозяевами. А такую роль может выполнять только

---

[1]) Известный вождь французских крестьянских сельско-хозяйственных синдикатов (кооперативов), занимающих резко враждебную позицию по отношению к социализму.

кооперация потребительская. Но эта кооперация слишком слабо была развита у нас до революции 1905 года. Естественно поэтому, что она не привлекала внимания марксистов того времени, и мы не находим о ней ничего в статьях Ленина того времени.

По отношению к артелям, общественным запашкам и т. п. мы находим в статьях Ленина девяностых и начала десятисотых годов другую критику. Он неоднократно указывает, что эти организации были развиты чрезвычайно слабо, что это были карликовые, игрушечные организации в России, что они не обнаруживали тенденции к развитию, а потому их нельзя было рассматривать как оружие для осуществления социализма, как способ мирного врастания в социализм, без всяких революционных потрясений. «Для обобществления труда,—говорит Ленин,—нужна организация производства не в пределах одной какой-нибудь деревушки, потому что для этого необходима экспроприация «живоглотов», монополизировавших средства производства и заправляющих теперешним русским общественным хозяйством. А для этого нужна борьба, борьба и борьба, а не пустяковинная мещанская мораль». Все эти артели и общественные запашки при тогдашних русских условиях должны были «представлять из себя мизерные паллиативы, которые с такой нежностью культивирует либеральная буржуазия везде в Европе». Против них и у нас «не могут ничего иметь даже г.г. Ермоловы и Витте». «Буржуазные либералы и полицейское правительство имеют склонность заигрывать с артелями и с покровительством народной промышленности». Подобные «кроткие либеральные полумеры, прозябающие от щедрот филантропических буржуа», могут принести только «мизерное и шаткое улучшение положения отдельных личностей». Социального вопроса такими мероприятиями разрешить нельзя. Наоборот, усиленный шум, который народники поднимали вокруг этого вопроса, приносил эксплоатируемым большой вред, ибо таким образом сеялись среди них иллюзии относительно возможности мирного врастания в социализм, и трудовые массы отвлекались этим от революционной борьбы, а социализм превращался в «простую вывеску».

Идея производительной кооперации имела вообще очень сильное влияние на многих социалистов. От Лассаля эта идея перешла и к немецким социал-демократам; долгое время она фигурировала и в их программе. Она перешла отсюда и в первую русскую социал-демократическую программу—программу группы «Освобождение Труда». В 1895 году Ленин набросал новый «Проект программы нашей партии». В нем он решительно отбрасывает идею государственной помощи производительным кооперативам. «Требование государственной помощи производительным ассоциациям, стоящее в программе группы «Освобождение Труда»,—пишет он,—должно быть вовсе устранено из программы, по нашему мнению. И опыт других стран, и теоретические соображения, и особенности русской жизни (склонность буржуазных либералов и полицейского правительства заигрывать с «артелями» и с «покровительством» «народной промышленности» и т. п.) — все говорит против выставления этого требования».

Перейдем теперь к статье, помещенной в № 17 от 25 октября 1910 г. в заграничной большевистской газете «Социал-Демократ». Статья эта носит заглавие: «Вопрос о кооперативах на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене в 1910 году». Ленин был одним из русских делегатов на этом конгрессе и входил в состав кооперативной комиссии этого конгресса.

Интересен уже один этот факт. Великий революционер, стоявший всегда на крайнем левом фланге движения, заинтересовался на всемирном социалистическом конгрессе таким архи-мирным вопросом, как кооперация. Он вошел в комиссию, работавшую по этому вопросу, а после конгресса посвятил ему в русском революционном журнале особую и большую статью. Разве это не показывает, что Ленин уже в то время придавал кооперации очень крупное значение, не отвергал ее, как движение, насквозь и безнадежно пропитанное оппортунизмом, а хотел использовать ее как орудие революционной борьбы?

Иначе и быть не могло. Ленин всегда стремился к трудовым массам, всегда хотел как можно теснее спаяться с ними. И в то же время он видел, что кооперация об'единяет в Европе миллионы рабочих. Он видел, что эти миллионы близких его сердцу пролетариев подвергаются опасности попасть под влияние крайних правых оппортунистов, которые, став во главе движения, будут направлять его только по пути реформизма, отклонять от пути революции и этим затемнять сознание рабочих. Он хотел противодействовать этой вредной работе, поставив кооперативное движение на правильные революционные рельсы. Именно в области кооперации реформисты встречали наименьший отпор со стороны революционных марксистов. И Ленин вступил на конгрессе в эту борьбу.

Ленин видел, что в России кооперативное движение стало к тому времени развиваться бурным темпом. Ему в России угрожало то же извращение. Надо было предостеречь кооператоров-революционеров против этой опасности, выработав для них линию кооперативной работы в то дореволюционное время. И Ленин посвящает длинную статью этому на вид мирному вопросу в наиболее революционном журнале того времени.

Какую же точку зрения на кооперацию защищал в то время Ленин?

Он не вполне доволен той резолюцией, которую принял Копенгагенский конгресс. Он признает, правда, что «Интернационал дал правильное в основных чертах определение задач пролетарских кооперативов». Но в то же время он «не скрывает ни от себя, ни от рабочих недостатков резолюции». Эти недостатки состоят в ее компромиссности. На конгрессе «наметились две основные линии: одна—линия пролетарской классовой борьбы..., другая—линия мелко-буржуазная, затемняющая вопрос о роли кооперативов в классовой борьбе пролетариата». Но эти две линии были только намечены, а «не были ясно, отчетливо, резко противопоставлены друг другу, как два направления, борьба которых должна решить вопрос»... «И резолюция получилась, в результате отражающая сбивчивость мысли, не дающая всего,

что могла и должна была бы дать резолюция конгресса социалистических партий».

Ленина не удовлетворил ни один из проектов резолюций, предложенных конгрессу. Поэтому от имени русской делегации был представлен особый проект, приведенный в статье Ленина.

Рассмотрим важнейшие черты этого проекта.

Заметим прежде всего, что почти вся резолюция — за исключением последнего абзаца—говорит только о потребительских рабочих кооперативах. О производительных товариществах говорится только в последнем абзаце, что они «в том только случае имеют значение для борьбы рабочего класса, когда являются составной частью товариществ потребительских». Здесь нет ни слова о сельско-хозяйственных крестьянских товариществах. Им проект резолюции не приписывает никакой полезной для борьбы рабочего класса роли. Почему? Потому, что на эти мелко-буржуазные организации пролетариат в то время, до захвата власти, до установления своей диктатуры, не мог оказать никакого влияния, не мог вырвать их из-под влияния мелко-буржуазных, а подчас и помещичьих элементов. Потому, что работа этих товариществ ничем не может облегчить экономическое положение пролетариата. Потому, что «врастание в социализм», о котором для красоты стиля любили болтать некоторые из кооператоров, являлось бессмыслицей до захвата власти пролетариатом.

Поэтому и рабочие производительные товарищества, по словам резолюции, полезны только тогда, когда они «являются составной частью товариществ потребительских». Эта связь производительной рабочей кооперации с потребительской должна помешать первой выродиться в замкнутые и обособленные от всего рабочего класса и от всего рабочего движения компании мелких акционеров, прибегающие к эксплоатации труда наемных рабочих.

Обратимся теперь к взглядам Ленина на потребительскую рабочую кооперацию.

Параграф первый указывает, что пролетарские потребительские товарищества «суживают размеры эксплоатации со стороны всякого рода торговых посредников, влияют на условия труда в заведениях поставщиков и улучшают положение собственных служащих». Другими словами, они имеют целью не осуществление в недрах капиталистического общества кусочка социализма, а только борьбу против чрезмерной эксплоатации со стороны капитала. Далее резолюция подчеркивает, что не надо возлагать на потребительскую кооперацию излишних надежд, ибо в пределах капиталистического общества помощь кооперативов может быть «лишь весьма незначительной».

Следующий параграф еще энергичнее предостерегает рабочих от всяких кооперативных иллюзий, против оценки кооперации, как средства, при помощи которого рабочий класс может разрешить социальный вопрос, т.-е уничтожить эксплоатацию капитала без классовой борьбы и без социалистической революции.

Пропущенный мною пункт второй указывает, что потребительские кооперативы могут и должны расширить рамки своей работы; они могут и должны помогать рабочим во всей их классовой борьбе, вмешиваться в политическую борьбу, насколько это для них возможно, поддерживать рабочих во время стачек и т. п. Это нужно не только потому, что такая помощь полезна борющемуся пролетариату, но и потому, что выход кооперации на широкую арену классовой борьбы пролетариата предохранит кооперативы от загнивания, от закостенения в своей узкой идеологии, расширит кругозор членов и работников кооператива. В этих же видах резолюция настаивает на «возможно более полном сближении всех форм рабочего движения».

Наконец, еще один пункт призывает всех рабочих вступать в пролетарские потребительские товарищества.

Подводя итог всему сказанному, мы видим, что резолюция—1) говорит о роли кооперации только в дореволюционный период; о роли кооперации во время пролетарской революции она не говорит ничего; 2) она хочет использовать кооперацию только как орудие, развивающее революционную боеспособность пролетариата в классовой борьбе, и решительно борется против идеи мирного врастания в социализм, против преувеличения роли кооперации и против кооперативных иллюзий.

Применимы ли директивы этой резолюции в настоящее время? В Советской России решительно не применимы, ибо у нас после октябрьской революции в корне изменились все условия. У нас теперь у власти стоит не буржуазия, а пролетариат, и кооперация находится и должна быть под влиянием последнего. У нас теперь речь может итти о «внедрении в социализм» не до пролетарской революции, а после нее. Все это в корне изменяет и характер и задачи кооперации. Что касается Западной Европы, то там директивы резолюции и статьи Ленина применимы еще в очень значительной степени. Там еще не было пролетарской революции. Там у власти все еще стоит буржуазия и стремится использовать кооперацию в своих интересах. Там есть еще опасность кооперативных иллюзий. Но и для Запада в основе решительно верные положения Ленина нужно для настоящего времени усилить, ибо власть буржуазии на Западе уже колеблется, и пролетариат должен сильнее использовать для своей уже не подготовительной только, но в значительной степени уже и прямо революционной борьбы все свои организации, в том числе и кооперативные. Надо усилить политическую работу кооперации и связь ее с единственно революционной коммунистической партией и с революционными профсоюзами; надо энергично вырывать кооперацию из рук соглашателей II Интернационала; надо готовить в кооперации работников-хозяйственников. Но все эти поправки, вызванные изменившимися условиями, не отрицают положения резолюции и статьи Ленина, а только усиливают их. И чем революционнее положение в какой-нибудь стране, тем энергичнее приходится вносить эти усиления.

* * *

Обратимся теперь к статьям и речам Ленина, в которых он говорил о задачах и роли кооперации в период русской революции.

Прежде всего, мы находим несколько параграфов, посвященных этому вопросу, в черновом наброске проекта программы Р. К. П., внесенном Лениным на VII с'езде Р. К. П.

Напомним прежде всего, как трудно было составлять эту программу. Задача эта встала перед большевиками в предвидении неизбежной и близкой пролетарской революции еще в начале лета 1917 года. Ленин тогда был очень осторожен. Он предлагал не писать вполне новую программу, а внести только в старую социал-демократическую необходимые поправки.

Никаких ранее существовавших образцов коммунистической программы у большевиков не было. Приходилось только угадывать те новые задачи, которые встают перед ставшим у власти пролетариатом. Угадать ту обстановку, в которой будет протекать революция, те возможности, которые будут в ее распоряжении. Отсюда осторожность Ленина, отсюда его постепенный подход к вопросу, отсюда только «черновой набросок проекта программы».

Ленин говорит в этом наброске о «потребительско-производственных коммунах», которые должны работать в области распределения. Под этим именем он подразумевает кооперацию в ее новом виде. Прежде всего, привлекает внимание самое название: «потребительско-производственная коммуна». Функции коммуны лежат не только в области распределения продуктов, но и в организации производства: «неуклонное повышение организованности, дисциплины, производительности труда, переход к высшей технике, экономия труда и продуктов» и т. п. Что же понимает Ленин под этой производственной деятельностью коммун?

Мне кажется, что будет верно такое толкование.

Ленин выделяет в отдельный параграф «организацию производства в общегосударственном масштабе». Это дело он не возлагает на коммуны. Очевидно, на долю коммун останется организация и ведение производства, которое имеет не общегосударственный, а местный характер.

В городах это будут водопроводы, освещение, трамваи, бойни, пекарни, бани, прачечные и т. д. и т. п.—все те предприятия, которые в силу их местного значения не могут быть взяты в руки организации, которая ведает «производством в общегосударственном масштабе». В период диктатуры они находятся в руках местных Советов, а после уничтожения диктатуры пролетариата они должны будут перейти в руки самоуправляющихся организаций потребителей. Это будут «потребительско-производственные коммуны», единые потребительские общества будущего.

В идее «потребительско-производственных коммун» нужно отметить еще одну мысль: это—стремление об'единить производительную и потребительскую кооперацию в одной организации, идею интегрирования кооперативных функций. Здесь идея резолюции Копенгагенского конгресса («производительные товарищества в том только случае имеют значение для

борьбы рабочего класса, когда являются составной частью товариществ потребительских») повторяется в другой обстановке, приобретает иную форму.

Такова роль «потребительско - производственных коммун» в городе. Но какова их роль в деревне?

Прямого ответа в черновом наброске проекта резолюции нет. А между тем в деревнях также должны были быть потребительско-производственные коммуны. В статье «Очередные задачи Советской власти», написанной почти одновременно, мы читаем: «Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производственно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих свое производство и потребление, экономящих труд, повышающих его производительность и достигающих этим возможности понижать рабочий день до семи, до шести часов в сутки и еще менее».

Заметим, что ни в проекте программы, ни в указанной статье не говорится ни слова о сельско-хозяйственных кооперативах. Вполне понятно было умолчание о них в резолюции Копенгагенского конгресса, так как в то время эти организации не имели никакого отношения к делу пролетариата, и кооперация тогда интересовала Ленина только постольку, поскольку она имела это отношение. Но Ленин не мог умолчать о сельско-хозяйственной кооперации в эпоху диктатуры пролетариата, ибо в это время сельско-хозяйственная кооперация должна была явиться еще по указанию Энгельса орудием превращения мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные обобществленные предприятия. Только при помощи этой кооперации можно было внести планомерность в работу действовавших до сих пор вполне самостоятельно мелких крестьянских хозяйств, начать превращать эту до сих пор анархически поставленную работу в работу более или менее плановую.

Только при помощи сельско-хозяйственной кооперации можно будет ввести машинную технику в крестьянские хозяйства и этим повысить их производительность. Только при помощи сельско-хозяйственной кооперации можно мало-по-малу вытеснить индивидуалистическую психику крестьянина и заменить ее психикой коллективистической.

Одним словом, только через сельско-хозяйственную кооперацию можно осуществить врастание мелкого крестьянского хозяйства в социализм. А между тем о сельско-хозяйственных кооперативах в черновом наброске проекта программы нет ничего.

Это происходит от того, что сельско-хозяйственные кооперативы у Ленина сливаются с потребительскими кооперативами и входят в состав «потребительско-производственных коммун». И в этом случае Ленин стремится слить, интегрировать различные виды кооперации.

Отметим бегло еще несколько пунктов этой программы. Ленин говорит в ней, что деньги временно должны остаться, что нужно допускать возможность торговли («купля-продажа») и не через потребительские коммуны, т.-е. через вольный рынок. Все это—предвидения грядущей новой экономической политики.

И, наконец, последний пункт: коммуны должны принимать «неуклонные, систематические меры к переходу, к замене индивидуального домашнего хозяйства, хозяйничанья отдельных семей общим кормлением больших групп семей». Вопрос, который усиленно обсуждается потребительской кооперацией в последнее время в связи с вопросом о преобразовании быта.

Повторяю, все это взято из «чернового наброска проекта программы» и написано в начале 1918 года, т.-е. в самом начале революции, когда неясны были все условия, вся обстановка революции. Немудрено, что изложенные мысли Ленина часто носят характер «набросков». Но все эти «наброски» — конечно, mutatis mutandis живы и имеют громадное значение и для настоящего времени и будут иметь его в будущем. Поистине гениальные наброски.

Есть в проекте и специфические черты периода военного коммунизма: трудовая повинность и т. п. Все это было необходимо в свое время, ибо диктовалось обстановкой. Теперь все это отжило свой век, как отжил его военный коммунизм. Но это произошло потому, что изменилась обстановка, исчезли условия, вызывавшие необходимость в свое время сурового военного коммунизма.

Есть, наконец, в наброске краткое упоминание о «принудительном об'единении всего населения в потребительско-производственные коммуны». И эта мысль в наброске не развита. Поскольку дело идет о потребительских обществах, обязательное кооперирование было осуществлено декретом от 20 марта 1919 года. И эта мера была продиктована условиями военного коммунизма: необходимостью распределения всех продуктов по карточкам. Но эта идея ни разу после не предлагалась Лениным для производственных кооперативов. Вступление в последние всегда оставалось делом добровольным.

Наоборот, резолюция об отношении к среднему крестьянству, написанная Лениным и принятая VIII с'ездом Р. К. П. 25 марта 1919 года, говорит о том, что, «поощряя товарищества всякого рода, а равно сельско-хозяйственные коммуны, представители Советской власти не должны допускать ни малейшего принуждения при создании таковых. Лишь те об'единения ценны, которые проведены самими крестьянами по их собственному свободному почину... Чрезмерная торопливость в этом деле вредна»...

В следующем параграфе та же резолюция говорит, что кооперативные об'единения крестьян в целях поднятия сельского хозяйства должны находить помощь со стороны государства.

Вопрос об интегрировании деревенской кооперации как здесь, так и во всех последующих статьях Ленина совершенно не затронут. Можно сказать только, что в декретном порядке это интегрирование было проведено в период военного коммунизма довольно решительно на верхах кооперации (кооперативные центры были уничтожены как самостоятельные организации и влиты как секции в Центросоюз) и сравнительно слабо на низах сельско-хозяйственной кооперации. С началом новой экономической политики сельско-хозяйственная кооперация стала развиваться совершенно независимо. Кроме изменившихся хозяйственных условий этому способствовало и то, что к

ітому времени были сломлены контр-революционные настроения и работа ста- ›ых заправил сельско-хозяйственной кооперации. Эта контр-революционная ›абота была одной из причин того, что декрет от 27 января 1920 года уничто- жил самостоятельное существование всероссийских центров сельско-хозяй- ственной кооперации и подчинил их Центросоюзу.

* * *

К «черновому наброску проекта программы» примыкает отрывок из уже итированной мною статьи Ленина «Об очередных задачах Советской ласти», написанной в феврале — марте 1918 г. и напечатанной в «Изве- тиях В. Ц. И. К.» 29 апреля 1918 года (№ 85).

Статья эта была написана в предвидении обострения продовольствен- юго кризиса и поэтому выдвигает важнейшей задачей «наладить строжайший сенародный, всеоб'емлющий учет и контроль хлеба и добычи хлеба, затем и всех других необходимых продуктов». Для выполнения этой за- ачи Ленин предлагает использовать доставшиеся нам в наследство от ка- итализма «массовые организации, способные облегчить переход к массовому чету и контролю распределения продуктов — потребительские общества».

Желая использовать кооперативные организации, Ленин всячески ста- ается избежать конфликта с их буржуазными руководителями; он старается говориться с последними. Он дает им право решающего голоса при об- уждении декрета в Совнаркоме. «Отрасываются части декрета, встретившие ешительную оппозицию этих учреждений» (кооперативов). Из этого видно, ак бережно относился Ленин к кооперативам, если даже во главе их стояли уржуазные вожди. Он говорит, что задача Советской власти руководить уржуазными элементами. Используя их, делая известные частные уступки им, ы создаем условия для такого движения вперед, которое будет более ме- ленно, чем мы первоначально предполагали, но вместе с тем более прочно, с элее солидным обеспечением базы и коммуникационной линии, с лучшим крeплением завоеванных позиций». Все это показывает, как близок был енин уже весной 1918 года к тем идеям, которые легли в основу новой эко- эмической политики.

Далее Ленин указывает еще некоторые уступки, сделанные старым юператорам: отказ от бесплатного вступления в кооператив и отказ от об'- инения всего населения данной местности в одном кооперативе.

Первая уступка была уничтожена декретом от 20 марта 1919 года. Но снова пришлось сделать незадолго до смерти Ленина в декрете о замене язательного членства добровольным. Эта новая уступка была продиктована обходимостью усилия средств потребительских обществ при условиях вой экономической политики. Вторая уступка была также уничтожена де- етом от 20 марта 1919 года, согласно которому все потребительские об- ства какого-либо города были слиты в «единое потребительское общество». о положение остается и до настоящего времени, смягченное, правда, тем, о в недрах такого общества существуют самостоятельные, независимые елкие кооперативные об'единения». Как вывод из того положения, кото-

рое защищал в своей статье Ленин, следует необходимость слияния рабочей и нерабочей кооперации. Эта мера была проведена позднее и продолжает существовать до сих пор.

Наконец, последняя уступка состояла в том, что буржуазия не была совершенно исключена из кооперативов; только некоторым элементам ее было запрещено входить в правления кооперативов. Позднейший декрет от 20 марта 1919 года также не исключил буржуазию и родственные ей элементы из потребительских обществ. Сделать это было нельзя потому, что это значило бы лишить эти элементы права получать какие-либо продукты: ведь все продукты распределялись тогда кооперативами по карточкам, которые они выдавали своим членам. Декрет от 20 марта 1919 года только лишил буржуазию и родственные ей элементы всякого активного и пассивного избирательного права при выборах правлений и других органов единых потребительских обществ.

* * *

Ряд следующих статей и речей затрагивает различные вопросы, относящиеся к кооперации во времена военного коммунизма. Сюда относятся: 1) отрывок из речи на I Всероссийском с'езде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун (11 декабря 1918 г.), 2) речь на II Всероссийском с'езде советов народного хозяйства (19 декабря 1918), 3) Речь на III с'езде рабочей кооперации (7 декабря 1918 г.), 4) отрывок из речи, произнесенной на митинге в Петербурге 13 марта 1919 года, 5) отрывок из речи о партийной программе на VIII с'езде Р. К. П. (19 марта 1919 года), 6) отрывок из речи на конференции фабрично-заводских комитетов и профсоюзов (29 июля 1919 года) и 7) речь по вопросу о кооперации на IX с'езде Р. К. П. (3 апреля 1920 г.).

Основным, господствующим положением во всех этих речах и статьях является мысль, что Советская власть должна использовать кооперацию для организации дела снабжения и для выполнения других стоящих перед ней задач. Кооперация, как «аппарат единственный, который капитализм подготовил в массах, как единственный, который действует в деревенских массах, стоящих еще на стадии примитивного капитализма, должен быть во что бы то ни стало сохранен, развит и во всяком случае не отброшен».

При проведении этой мысли Ленину приходилось наталкиваться на сильное сопротивление значительной части коммунистов, которые не дооценивали кооперацию, которые переоценивали методы национализации в отношении к мелкому крестьянскому хозяйству, которые хотели в ущерб самодеятельности кооперированного населения всецело подчинить кооперацию органам Советской власти. Особенно резко это стремление сказалось в прениях по вопросу о кооперации на IX с'езде Р. К. П. Поэтому Ленин многократно продолжал возвращаться к мысли о необходимости использовать кооперацию. Он неустанно в разных речах повторял, что кооперация есть единственный доставшийся нам в наследство аппарат, созданный капиталистическим обществом для товарообмена. Это громадное наследство,—говорит он. Правда, «кооперативы,

существовавшие в капиталистическом обществе, насквозь проникнуты духом капиталистического общества»; они находятся в руках старых вождей кооперации, также насквозь проникнутых буржуазным духом, как проникнуты им все специалисты, которых мы получили в наследство от капитализма. И подобно тому, как Советская власть должна использовать для своего дела социалистического строительства всех доставшихся ей в наследство буржуазных специалистов, она обязана сделать то же и со старыми кооператорами-специалистами. «Чтобы победа была полная и окончательная, надо взять все, что есть в капитализме ценного, взять себе всю науку и культуру», — неоднократно говорит Ленин. — Тех, кого капитализм против нас воспитал, надо повернуть на службу к нам».

Вовлечение крестьянства в революционную борьбу пролетариата, создание революционной спайки между пролетариатом и крестьянством — вот одна из главнейших задач, которую всегда Ленин ставил перед собой, перед коммунистической партией, перед Советской властью и перед пролетариатом. Кооперация же действует и среди рабочих, и среди крестьянских масс. Понятно поэтому, что Ленин так высоко ценил ее, как мостик между пролетариатом и крестьянством, как путь, по которому пролетариат может распространять свое влияние на деревню.

Для успешности революционной борьбы и, главное, социалистического строительства необходимо вовлечь в активную борьбу широкие массы. А самодеятельность масс является одной из задач кооперации. Ленин ясно видел и высоко ценил эту сторону кооперации. Работа старой кооперации,— говорил он, — была полезна тем, что она развивала самодеятельность масс. Важно использовать самодеятельность масс, создавших эти организации,— повторял он в другом месте.

Вожди кооперации, действуя во времена капитализма, старались сохранить возможно полнее независимость этих организаций. В то время такое стремление было вполне понятно и законно, ибо это было борьбой против стремления капиталистов и капиталистического государства подчинить себе кооперативные организации и заставить их работать в своих интересах. Правда, эта борьба кооперации за свою независимость велась в особенности за последние десятилетия чрезвычайно слабо и неэнергично. На деле вожди старой кооперации и в Западной Европе и в России изменяли делу пролетариата и входили в тесные соглашения с капиталистическими государствами, помогая империалистической политике последних. Лозунг независимости кооперации сохранился только на словах. Но те же вожди старой кооперации горячо подхватили этот лозунг и решили проводить его со всей строгостью, когда дело дошло до сотрудничества с властью трудящихся, с Советской властью. Они или не понимали, или не хотели понять, что, если изменился характер государственной власти, то должно измениться и отношение к ней кооперации. Если при власти капиталистов, класса враждебного трудящимся, кооперация должна была остерегаться государства и энергично охранять свою независимость, то после перехода власти в руки трудящихся, кооперация, как организация трудящихся, должна была отбросить всякие страхи перед своей же государственной организацией, позабыть об охране своей независимости и,

наоборот, стремиться сблизить возможно теснее кооперацию с другими организациями трудящихся и с Советской властью. Забудьте о независимости,— упорно твердил на протяжении всей своей речи на III с'езде рабочей кооперации Ленин: — наоборот, стремитесь к «слиянию кооперации с Советской властью».

Я указал выше, что Ленин высоко ценил кооперацию, как мостик между пролетариатом и крестьянством, как средство смычки между этими двумя классами. А чтобы достигнуть этой цели нужно сблизить, больше того, — слить рабочие и крестьянские кооперативные организации в один союз. Об этом слиянии рабочей и общегражданской кооперации много раз говорил Ленин в своих статьях и речах.

Из тех же соображений Ленин настаивал на III с'езде рабочей кооперации на необходимости соединить производственную кооперацию с потребительской.

Задача коммунистов—использовать кооперацию и специалистов-кооператоров. Но этого можно достигнуть только тогда, когда коммунисты будут иметь большое влияние на низах кооперации, в кооперативных массах. Поэтому Ленин во многих речах усиленно настаивал на усилении работы коммунистов в кооперации, на необходимости для них приобрести большинство в этих организациях.

Вот основные мысли Ленина о кооперации, которые он высказывал во времена военного коммунизма. И опять нужно признать, что в общем и целом эти мысли остаются правильными и до сих пор. С переходом от военного коммунизма к нэп'у не изменились задачи кооперации в период, переходный к социализму. Изменился только характер конкретных заданий. Должен был измениться поэтому и конкретный характер организации кооперативов. Но принципиальные задачи кооперации и основные принципы ее работы в общем и целом остались те же. Это работа не только по собственным заданиям, но и по заданиям Советской власти, не охрана «независимости», а сближение со всеми другими организациями пролетариата. Все эти принципы правильно были намечены Лениным еще в 1918 — 1920 годах. И из статей и речей периода военного коммунизма современный кооператор может многому научиться.

* * *

Перейдем теперь к последней группе статей и речей Ленина, посвященных кооперации периода новой экономической политики.

Сюда относятся: 1) многие места из речи Ленина на X с'езде Р. К. П. (март 1921 г.) о замене продовольственной разверстки продовольственным налогом и из его заключительного слова по этому вопросу; 2) две страницы из брошюры Ленина «О продовольственном налоге», изданной весной 1921 года, и, наконец, 3) две его последние статьи, написанные в январе 1923 года и опубликованные в «Правде» весной того же 1923 года.

В речи на X с'езде и в заключительном слове Ленин указывает, что с отменой продовольственной разверстки и с переходом к новой экономиче-

ской политике должны измениться роль и положение кооперации. Ленину сразу ясно, что кооперацию нельзя оставить в том подчинении наркомпроду, в которое поставило ее постановление IX с'езда Р. К. П. в эпоху продразверстки и военного коммунизма. Ленину ясно, что роль кооперации при новых условиях должна возрасти. Но ему в марте 1921 года далеко еще не было ясно, какие в точности задачи должны быть возложены на кооперацию при новых условиях, в какие организационные формы должна отлиться кооперация. Поэтому Ленин, как великий реальный политик, хочет действовать очень осторожно, сперва хорошо изучить вопрос. Он предлагает только отменить явно непригодную более, несвоевременную резолюцию IX с'езда Р. К. П. и не принимать пока никакой новой. «Ничего не ломайте,—говорит он,—не спешите, не мудрите наспех, поступайте так, чтобы максимально удовлетворить среднее крестьянство, не нарушая интересов пролетариата. Испытайте то, испытайте другое, изучайте практически на опыте, чтобы потом поделиться с нами, и скажите, что вам удалось, а мы создадим специальную комиссию или даже несколько комиссий, которые собранный опыт учтут. Чтобы итти потом на основании опыта, нам нужно десять раз проверить принятые меры».

Интересен в этой цитате совет: «максимально удовлетворить среднее крестьянство, не нарушая интересов пролетариата». Ленин говорит этим, что кооперация в переживаемый нами период для крестьянства важнее, чем для пролетариата. Нужды пролетариата в городах можно удовлетворить при помощи государственных и местных советских организаций товарообмена. Но в деревню с ними не проникнешь. В деревне без кооперации не обойдешься. Разве не жива эта мысль до сих пор, как директива кооперации направить свою работу главным образом на деревенскую периферию?

В брошюре «О продовольственном налоге» Ленин говорит только о производственной (промысловой сельско-хозяйственной) кооперации, а отнюдь не о потребительской—рабочей. Ленин пишет: «Кооперация мелких производителей (о ней, а не о рабочей кооперации идет здесь речь[1]), как о преобладающем, о типичном в мелко-буржуазной стране) неизбежно порождает мелко-буржуазные капиталистические отношения, содействует их развитию, выдвигает на первый план капиталистов, им дает наибольшую выгоду. Это не может быть иначе, раз есть на-лицо преобладание мелких хозяйчиков и возможность, а равно необходимость, обмена. Свобода и права кооперации при данных условиях России означают свободу и права капитализма. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы глупостью или преступлением». Здесь мы видим повторение мыслей Ленина о сельско-хозяйственной кооперации периода борьбы с народниками.

Итак, производственная кооперация будет способствовать выделению и усилению мелких капиталистиков. Но Ленина это не пугает, ибо, с другой стороны, кооперация дает много положительного. Она дает возможность вести

[1]) Курсив мой. *Н. М.*

борьбу с частным торговцем. «Кооперация, как форма торговли, выгоднее и полезнее, чем частная торговля»... «Кооперация облегчает об'единение, организацию миллионов населения, а затем и всего населения поголовно, а это обстоятельство, в свою очередь, имеет гигантский плюс с точки зрения дальнейшего перехода от государственного капитализма к социализму». «Кооперативная политика в случае успеха даст нам под'ем мелкого хозяйства и облегчение его перехода, в неопределенный срок, к крупному производству на началах добровольного об'единения», от которого уже гораздо легче будет переход к окончательно обобществленному хозяйству, т.-е. к социализму.

Итак, в брошюре «О продовольственном налоге» Ленин дает оценку производительной кооперации (крестьянской потребительской только постольку, поскольку она выполняет функции закупочной кооперации и кооперации по сбыту) и с точки зрения под'ема общего состояния мелкого хозяйства, и с точки зрения социалистического строительства.

Перехожу теперь к последним статьям Ленина «О кооперации».

О какой кооперации говорит в них Ленин? Обо всякой, но — думается мне — главным образом опять - таки о крестьянской производственной.

Неоднократно в этих своих статьях он указывает, что роль, характер, возможности и задачи кооперации в Советской России уже не те, какие были во времена дореволюционные. Фантастичность, утопичность планов старых кооператоров, — говорит Ленин, — состояли в том, что они мечтали о мирном преобразовании современного общества в общество социалистическое без классовой борьбы, без захвата власти пролетариатом. Но об этом мечтали гораздо больше вожди и идеологи производительной кооперации и только очень немногие из руководителей потребительской кооперации — последние просто крохоборствовали. С этим утопическим пониманием кооперации, а не с крохоборством, полемизирует Ленин в своих статьях. Да и вообще в эпоху пролетарской диктатуры (в особенности в стране с сильно преобладающим крестьянским населением) производительная кооперация (главным образом сельско-хозяйственная) имеет гораздо большее значение, чем потребительская. Первая повышает уровень крестьянской техники, позволяет машинизировать крестьянское хозяйство, об'единяет эти мелкие, разрозненные хозяйства в более крупные кооперативные предприятия, ослабляет индивидуалистический дух самостоятельного мелкого производителя, т.-е. подводит технический базис под мелкое производство для перевода его в хозяйство социалистическое и создает более удобные психические предпосылки для этого перехода. Роль потребительской кооперации в этот период гораздо меньше. Она организует только коллективный обмен и ведет борьбу с эксплоатацией частных торговцев. Важнейшей хозяйственной области — производства — она почти не затрагивает [1]), а поэтому и значение потребительской кооперации,

---

[1]) Говорю „почти", так как и потребительская кооперация затрагивает область производства, поскольку потребительские общества заводят свои промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Но эта сторона работы потребительской кооперации пока еще очень слаба. Ея главная работа идет пока в области торговли.

как орудия социалистического строительства в переживаемое нами время меньше, чем роль производственной кооперации. Но вместе с тем роль потребительской кооперации чрезвычайно важна потому, что в этой области позиции пролетариата сильнее, чем в других отраслях кооперации, и, владея этими позициями, пролетариат может оказывать влияние на другие отрасли кооперативной работы.

В своих статьях Ленин указывает, что, «благодаря нэп'у, кооперация получает у нас совершенно исключительное значение». Далее Ленин намечает основные задачи, которые стоят в Советской России перед кооперацией. В указанных статьях Ленин говорит обо всех этих вопросах подробнее, чем где-либо. Поэтому именно эти статьи «О кооперации» заслуживают наиболее внимательного, пристального и вдумчивого изучения и не только со стороны одних кооперативных работников, а и со стороны всех интересующихся ходом, характером и задачами современного рабочего революционного движения. В эти статьи должны будут еще долгое время вдумываться не только русские, но и заграничные коммунисты и кооператоры.

* * *

Таковы взгляды Ленина на роль и задачи кооперации, которые он высказывал с 1910 по 1923 год.

Есть ли в этих взглядах какая-нибудь новая теория кооперации, верная и неизменная при всяких условиях, при всякой обстановке, во всякие времена?

Нет, никакой новой теории кооперации у Ленина не было, ибо Ленин прекрасно знал, что не может быть такой теории. Во всем, что Ленин говорил и писал о кооперации, есть только одно: стремление так организовать это движение, чтобы оно было орудием в руках революционного пролетариата, чтобы оно усиливало революционную энергию и мощь пролетариата. А так как обстановка и условия революционной борьбы в разные периоды бывают различны, то и кооперация в разное время должна иметь разный характер, ставить перед собой разные задачи, по-разному строить свои организации.

Отсюда различие взглядов Ленина, которые он высказывал на один и тот же вопрос. Невнимательный, мало вдумчивый или мало знающий дело читатель назовет это противоречиями. Но тут нет никакого противоречия. Мы можем видеть тут только блестящее диалектическое развитие в применении к вопросу о кооперации основных мыслей Ленина о задачах и характере революционной борьбы пролетариата в различные периоды этой борьбы. А эта диалектика мысли есть только отражение диалектики жизни, к которой всегда внимательно приглядывался Ленин.

Многие думают до сих пор, что в деле кооперативного строительства мы возвращаемся теперь к временам и принципам кооперации дореволюционной. Это крупная и грубая ошибка. Пролетарская революция проложила нестираемую и глубокую борозду и в истории кооперации. Несмотря на то, что организационно современная кооперация периода новой экономической политики в очень многом непохожа на кооперацию времен военного комму-

низма, обе они составляют две разновидности одного и того же вида кооперации периода пролетарской революции. Между ними—общее то, что обе они являются орудием социалистического строительства стоящего у власти пролетариата, тогда как до революции (и теперь в Западной Европе) кооперация в лучшем случае может быть орудием борьбы пролетариата против эксплоатации капитала. Послереволюционная кооперация должна быть орудием врастания в социализм, орудием социалистического строительства, а дореволюционная кооперация таковым быть не могла. Обо всем этом, как мы видели, Ленин подробно говорил в своих последних статьях «О кооперации». В разговорах и письмах Ленин очень резко отзывался о тех, кто не понимал, что роль, задачи и характер кооперации после захвата власти пролетариатом в период переходный к социализму совсем не те, какие были до этого захвата власти. Вот, например, отрывок из его письма ко мне, как к Председателю Редакционной Коллегии Государственного Издательства по поводу вышедшей в Госиздате под маркой Наркомзема книжки одного из известных русских старых кооператоров.

Автор этой книги, говоря о кооперации, ни слова не сказал о ее новых задачах и новых формах организации. И Ленин пишет об этой книге:

«Насквозь буржуазная пакостная книжонка, одурманивающая мужичка показной буржуазной ученой ложью.

«Почти 400 страниц и—ничего о советском строе и его политике, о наших законах и мерах перехода к социализму и т. д.

«Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц».

* * *

В общем Ленин очень мало написал о кооперации. Все его статьи и речи на эту тему составляют около пяти печатных листов. Но из этих коротких статей и речей видно, что Ленин всегда интересовался этим вопросом. В эпоху борьбы с народниками он правильно указал реакционный и утопический характер дореволюционной сельско-хозяйственной и кредитной кооперации. В 1910 г. он необыкновенно правильно указал задачи кооперации, как орудия революционной борьбы пролетариата в эпоху капитализма. После октябрьской революции он в ряде статей и речей так же резко и выпукло наметил задачи и принципы организации кооперации в период военного коммунизма. И, наконец, с самого начала новой экономической политики он сделал то же относительно роли кооперации в этот период. Таким образом совокупность статей Ленина о кооперации чрезвычайно полезна и поучительна для всякого, кто заинтересуется ролью кооперации в переживаемое нами время.

К критике основ учения П. А. Кропоткина.

И. Гроссман-Рощин.

I.

О Кропоткине в свое время много говорили, но мало изучали. На русском языке литература о Кропоткине чрезвычайно скудна. Можно, конечно, указать на изложение теории у Эльцбахера, Цокколи, но это изложение есть скорее фотография, нежели портрет, это добросовестное «цитирование» ничего общего не имеет с углубленным пониманием и самостоятельной проработкой кропоткинизма. В свое время г. Дионео добросовестно, хотя и довольно тускло, реферировал на страницах «Русского Богатства» книгу «Взаимопомощь». Г. Кареев там же излагал и отчасти критиковал (не совсем удачно, как он после сам признался) поистине замечательную, внимание всего социалистического мира на себя обратившую, книгу «Великая Французская революция». Социолог Де-Роберти написал небольшой этюд о Кропоткине, да еще Базаров в своей брошюре сделал вскользь несколько замечаний по поводу естественно-научного метода. Вот и все. Я не говорю о недавно вышедшем сборнике «П. А. Кропоткин», под редакцией т.т. Борового и Лебедева в издании «Голос Труда». Этот сборник вносит кое-что существенное в литературу о Кропоткине.

Лично мне приходилось писать о Кропоткине сравнительно много.

Странно: я никогда не был сторонником кропоткинизма, боролся с кропоткинизмом в лекциях и докладах; писать же о Кропоткине мне приходилось скорее догматически — я чувствовал, что необходимо дать более углубленное понимание и оценку системы, а потом только возможно будет приступить к плодотворной критике. Только в статьях, посвященных борьбе с милитаристической позицией Кропоткина в период империалистической войны, я критикую Кропоткина, где я вскрываю противоречия милитариста Кропоткина с самим собой. (Интересующихся отошлю к брошюрке «Характеристика творчества П. А. Кропоткина», «Мысли о творчестве Кропоткина» в упомянутом уже сборнике издания «Голос Труда», там же «Речь на могиле Кропоткина» и «Двойственность позиции Кропоткина» в «Жизни для всех» за 1918 г.)

Отметим основные положения учения Петра Алексеевича Кропоткина.

1. Естественно-научный метод. Наука ликвидирует теологию и метафизику во всех областях и в том числе и в социологии. Естественно-научный материализм XVIII в., позитивизм Огюста Конта создают фундамент для синтетического мировоззрения. Социология должна ставить себе задачей счастье и обеспечение каждого и всех — социология должна быть как бы физиологией общества. Естественно-научный метод противопоставляется также диалектическому, причисляемому Кропоткиным к типу метафизического мышления.

2. Космический федерализм. Буржуазные мыслители, мыслящие мир по аналогии с государственной централизацией, рисуют космос иерархически; солнце является центром, вокруг которого вращаются «зависимые» планеты. На самом деле космос есть устойчивая система равновесия, в которой взаимодействие бесконечно малых и «создает» это равновесие и устойчивость.

3. Социальный федерализм. В истории боролись и борются два начала — централизм и федерализм. Централизм всегда создавал неравенство — центр, как пьявка, высасывал соки провинции, централизм всегда создавал штамп, безликий шаблон. Всякая культура, в которой пышно и буйно процветало массовое творчество, обязана своим расцветом федерализму. Борьба Ганзейского союза, моменты средневековья, борьба Пскова и Новгорода за автономию — все это было борьбой массового творчества с централизмом. В пределах социализма тоже борются два начала — государственный социализм, точнее социализм государственников, якобинцев, централистов, поклонников римского права (Маркс, Лассаль) с федералистическим безгосударственным социализмом, представителем которого является Бакунин и Юрская федерация.

4. Все положительное, разумное и свободное в истории является продуктом массового творчества. Эти продукты массового творчества не нуждаются ни в законе, ни в праве, ни в охране государства—массовое творчество фиксируется в обычном праве. Как же государству удается сломить массовое творчество и водворить царство Права, Закона и Государства? Масса часто застывает в своем развитии, или же вырабатываемые ею нормы недостаточно универсальны, чересчур локальны. Тогда государство берет на себя «прогрессивную» инициативу и в смысле нарушения временной спячки и расширения пределов приложения выработанных обычным правом норм. Но за эту «услугу» государство — Шейлок — живое мясо в процент берет. Государство превращает закон в какую-то вечную, застывшую норму, мешая пробудившемуся богатырю-народу двигаться дальше; государство, сумев сделаться нужным «прогрессу», превращает в неизменного спутника истории закон, право, государство с прокурором, судьей и палачем.

5. Определение государства. Не надо смешивать государство с правительством. Государство существовало в Риме, умерло в период средневековья, возродилось к жизни в XVI столетии. Государство характеризуется территориальной концентрацией, центром, всеопределяющим и всерегулирующим.

6. Прогресс, это — «переход от худшего к лучшему».

7. Взаимопомощь. Неверно, что борьба за существование, грызня и конкуренция способствуют выживанию и подбору лучших. На деле буржуазные дарвинисты не замечают важнейшего фактора эволюции и прогресса — взаимопомощи, фактора, действующего в космической среде, фактора, суженного и извращенного в социальной среде, благодаря принципу конкуренции, частной собственности и государству. Коммунизм, федерализм, свободный договор — таков идеал массового творчества, таков идеал анархического коммунизма.

8. Этика. Этично — содействие благу рода, при чем в содействии этому благу рода личность экстенсивно и интенсивно развивается, приобретает мощь и силу.

Мы изложили все основные пункты учения Петра Алексеевича Кропоткина. Разумеется, мы не думаем подвергнуть анализу учение по пунктам. Нам хочется наметить некоторые моменты, которые послужат другим исследователям материалом для целостной и плодотворной критики кропоткинизма с точки зрения философии и тактики диалектического материализма и ленинизма.

II.

Мне приходилось в другом месте формулировать основной дефект кропоткинско-бакунинского анархизма так:

Анархизм дает нам формулу прогресса, но не дает нам представления о механике исторического процесса.

Я настаиваю, что в этом — центр слабости и незрелости анархизма.

Вышеприведенная формулировка нуждается, однако, в значительном дополнении: Кропоткин занимает своеобразно-промежуточное место между научным социализмом и утопизмом. Он не настолько утопист, чтобы не пытаться обосновать «естественно-научно» свое мировоззрение, но не настолько научен и об'ективен, чтобы не подчинять бессознательно-научные доводы своему моральному идеалу. Это-то делает особенно трудным анализ кропоткинизма, это же накладывает на все учение печать некоторой туманности и расплывчатости, несмотря на изумительное техническое умение ясно, соблазнительно ясно, излагать свои мысли.

Надо, однако, быть наивным рационалистом, чтобы думать, будто «грехопадение» кропоткинского анархизма есть результат только неправильного представления, ошибки разума. Конечно, анархизм, его интеллектуальная незрелость есть отражение определенных общественных отношений.

Говорят: кропоткинизм мелко-буржуазен. Это верно, хотя следует сейчас же добавить, что «мелко-буржуазность» Кропоткина своеобразно смешана и спутана с либерализмом. Давно, еще на страницах нелегального «Черного Знамени» я указывал на наличность либерализма в анархизме, на теоретическое отсутствие в полном об'еме идеи классовой борьбы.

В том-то и дело, что мы чересчур злоупотребляем термином «мелко-буржуазность» и нам грозит опасность превратить его в штамп, в серый

ярлык, неряшливо и неумело наклеиваемый на явления различного социального порядка.

Если под мелко-буржуазностью разуметь апологию индивидуальному крестьянскому хозяйству, то это определение, применимое в о б щ е м к Прудону, решительно не приложимо к коммунистической теории Кропоткина. Если под мелко-буржуазностью разуметь территориальную изолированность общины, некоторую хозяйственную «монадологию», то этот упрек, имеющий н е к о т о р о е основание, все-таки в целом парируется тем фактом, что Кропоткин требует от массового творчества во всех областях у н и в е р с а л ь н о с т и, в с е о б щ н о с т и, без которой массовое творчество иссякнет и сделается добычей государственного «прогрессизма».

Неприемлемо применение к кропоткинизму понятия «мелко-буржуазность» и в его психологически-культурном смысле. Мелкий буржуа ведь никогда реально не взбирается на вершины и потому-то он расслабленно сюсюкает и грезит о заоблачных «идеалах» и даже комично проявляет порой ненависть к «оппортунистам», н а д е л е строющим под'емные машины, по которым можно реально, а не в мечтах, взобраться на Гималаи. Мелкий буржуа никогда не видит к о р н е й и потому он не способен к мужественному об'ективному анализу — он подменяет реально сущее малокровным, на ходулях поставленным, «должным».

Философию мелкого буржуа дал Шекспир в «Гамлете»:

Г а м л е т. Милейшие мои друзья. Как поживаешь ты, Гильденштерн, и ты, Розенкранц? Да, как поживаете?

Р о з е н к р а н ц. Так, как могут поживать люди с р е д н е г о у р о в н я.

Г и л ь д е н ш т е р н. Мы, по крайней мере, счастливы в том отношении, что счастливы н е ч р е з м е р н о. Мы не сияем, как драгоценные камни на головной повязке фортуны.

Г а м л е т. Но и не находитесь под подошвами ее сандалий.

Р о з е н к р а н ц. Н и т у т, н и т а м.

Г а м л е т. Следовательно, находитесь около ее пояса, т.-е. по близости того места, откуда сыплются самые щедрые ее дары.

Г и л ь д е н ш т е р н. Да, мы с нею в ладах.

Г а м л е т. И пользуетесь ее тайными прелестями. Это совершенно понятно: ведь судьба — потаскушка...

Разве в какой-нибудь мере этот классический тип духовного мелкого буржуа родственен Кропоткину? — Конечно, нет. Б е с к о н е ч н а я щ е д р о с т ь д у х о в н а я, борьба с золотой серединой — вот завет и основная черта этики Кропоткина.

«Давай, не считая» — вот, по Кропоткину, лозунг духовно-избыточной личности.

В каком же смысле можно говорить о мелко-буржуазности Кропоткина? Только в том, что он не понял об'ективной роли и значимости капитализма, не понял и н е д о о ц е н и л о р г а н и з у ю щ е - о с в о б о ж д а ю щ е й р о л и т е х н и к и. Пролетариат, крупная промышленность входят

элементом и моментом в его коммунистическое мировоззрение, но он не постиг великого закона о необходимости исходить из пролетариата, как единственного, надежного авангарда свободы.

Вот потому-то он часто, теряя единственно правильную об'ективную базу, превращается в утописта и, не видя реальных сил и двигателей в настоящем, впадает в социологический пассеизм, идеализирует якобы «свободное» средневековье или древние Псков и Новгород.

Конечно, в мелко-буржуазном Прудоне были элементы либерализма, поскольку Прудон верил, что всякая экономическая «сила», предоставленная самой себе, ведет к свободе, да вот только государство извращает направление этой свободоносной силы. В либерализме Кропоткина есть элемент мелко-буржуазности, поскольку Кропоткин не исходит из об'ективно данного и идеализирует некоторые стороны до-капиталистических отношений. Но красить обоих одной краской — «мелко-буржуазность» — не годится.

Для нас важно отметить, что идеологическое и философское колебание Кропоткина вытекает из этого непонимания об'ективной логики вещей. Воистину — «мне отмщение и аз воздам», — кто потерял ключ к пониманию законов развития общества, тот обречен на эклектику и неустойчивость в теории.

Это мы видим на учении Кропоткина.

Что ярче всего бросается в глаза при анализе учения Кропоткина, это чисто этический, моральный характер его. Оно все пронизано моральным пафосом, категорией должного; это вполне понятно, если вспомним, что Кропоткин, славный представитель плеяды «кающихся дворян», поклявшихся уплатить «долг народу» и хоть чуточку вознаградить его за обиды и гнет. Но ни к кому так не приложим афоризм Владимира Соловьева о том, что интеллигенция мыслит по парадоксальному положению — «человек произошел от обезьяны, а потому будем добрыми», как к системе Кропоткина. Ибо свой этический идеал Кропоткин хочет обосновать натуралистически — естественно-научным методом. А это теоретически безнадежно.

Вообще говоря, возможен или натуралистический аморализм — таковым является в значительной степени учение Спинозы. Здесь все моральные переживания развенчиваются, разоблачаются — этические переживания есть только некоторый эпифеномен натуральных желаний, хотений и вожделений. Или панэтицизм: моральная категория об'является некоей мировой субстанцией, и сама природа как бы осуществляет некоторый, хотя бы и зачаточный, моральный замысел. Наконец, возможен дуализм: природа безразлична к добру и злу, в ней царит только железный закон железной необходимости, — этическое же есть чисто человеческая категория.

По существу своему Кропоткин умудряется соединить различные категории, спутать воедино натуралистический аморализм с пан-морализмом. Возьмем пример. Какой смысл учения Кропоткина, что космос организован федералистически? Что там, в космосе, нет «центра», нет властелина, что космос есть уже готовое царство анархического федерализма? Ведь безначалие, федералистическая организация имеет смысл и значение только там,

где есть живые люди, элементы, проклинающие централизм, борющиеся за автономию. В приложении же к механической природе все эти термины—только метафоры; но для Кропоткина это не только метафоры. Здесь несомненно—неосознанный антроморфизм. И здесь сразу вскрывается основное противоречие всей системы: сторонник чисто механического миропонимания, применяющий естественно-научный метод, не знает и не может знать этической категории. Он знает только веления природы, а эти веления безразличны к добру и злу. Естественно-научным методом никак этизировать общество невозможно; натурализм совлекает с человека мантию морали, подчиняет его безжалостным «аморальным» законам природы. Но тогда исчезает все, что так ценно, что единственно ценно и дорого Кропоткину—система этических ценностей. И вот Кропоткин пускается бессознательно, конечно, на своеобразную «хитрость»: человек действительно натурализуется, но зато природа чуточку этизируется—в природе уже осуществлен некоторый моральный постулат свободного федерализма; бросить человека в об'ятия этой природы не так уже страшно, ибо эта природа уже «не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, есть свобода»—да еще и какая свобода,—анархически федеративная!..

Ясно, что естественно-научный метод здесь занимается не столько констатированием фактов и их связи, сколько подбором их для утверждения моральной гипотезы.

Естественно-научный метод в применении к категориям должного блестяще и окончательно был скомпрометирован Кантом, побежденным в свою очередь в области истории и социологии—диалектическим материализмом Маркса. Основной замысел всего кантианства может быть формулирован так: из изучения закономерной связи природных явлений никак, ни в какой мере и ни в какой степени нельзя извлечь категории должного. Правда, Кант как будто бы об'единил мир сущего и мир должного в знаменитой формуле «звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». Но это единство в универсальности добыто различными методами. Второе положение Канта: мир механики есть мир количественных комбинаций, мир моральных ценностей—качественный комплекс. А количество никогда не переходит в качество.

Кто же победил Канта? Разве естественно-научный материализм?—Нет. Кант был побежден диалектикой Гегеля, в которой количество переходит в качество. Естественно-научный же метод должен был капитулировать, естественно-научному методу Кант нанес неизлечимые раны.

Кропоткин отвергает диалектику и впадает в эклектику: через природносущее он таинственно пробирается к должному; но таких путей нет у естественно-научного метода!

Характерно, что «суб'ективный метод в социологии», защищаемый Н. К. Михайловским в гораздо большей степени, нежели естественно-научный метод Кропоткина, гарантирует нас от вторжения суб'ективизма.

Да, «суб'ективный метод» в социологии в гораздо большей степени обеспечивает нас от привнесения суб'ективного произвола, нежели мнимое обоснование социального идеала естественно-научным методом. Н. К. Михайловский самым категорическим образом протестовал против той мысли, будто суб'ективный метод — какой-то «саврас без узды», произвольно нарушающий об'ективную закономерность и заменяющий эмпирическую наличность плодами благородной фантазии. Н. К. Михайловский аргументирует так: природа так, как она нам научно дана и освещена теорией Дарвина, эта природа не знает ни добра, ни зла, ни подвига, ни преступления, она сеет смерть — здесь, бесконечно богатую буйную жизнь — там. Она не знает ценного, дорогого, желательного. Но ценное, желательное знает живой человек. Но этот живой человек—дитя природы. Как же сочетать верность научной закономерности с не менее реальной потребностью в идеале правды? Человеку не надо капитулировать перед природой, но горе ему, если он во имя нравственно желательного забудет грозные веления природной необходимости. Суб'ективный метод есть открытое заявление о том, что данная личность занимает определенное место в обществе, является сторонницей определенного типа социальной кооперации. Личность не знает бесстрастного отношения к жизни. Чтобы не проводить свои идеалы контрабандно, чтобы не обезличить свой моральный идеал безликими законами природы, чтобы не подбрасывать природе не свойственных ей оценок, суб'ективный метод открыто формулирует идеал класса или личности и старается, через познание законов природы, добиться торжества. Не даром польский социолог Крживицкий усматрел в суб'ективном методе зачатки идеи классовой точки зрения. Конечно, речь может итти только об эмбрионе классовой оценки, ибо и Михайловскому было чуждо познание об'ективных законов исторического развития. На практике Петр Алексеевич Кропоткин, не взирая на все свои «империалистические» уклоны, был несравненно революционнее, нежели типичный идеолог разночинной и отчасти дворянски деклассированной интеллигенции Н. К. Михайловский. Как бы не старался архиэклектик В. Чернов представить дело так, что у Михайловского «шито-крыто» и нет ни единой трещины, на деле мы знаем, что система К. Михайловского насквозь дуалистична: как своеобразный этический философ истории, Михайловский является романтическим максималистом, как практик — Михайловский умеренный социалист, вряд ли правее Мякотина.

Но методологически естественно-научный метод несомненно является шагом назад в деле обоснования революционного мировоззрения, чем, в свою очередь, характеризуется несовершенный и давно отвергнутый «суб'ективный метод в социологии».

Эта методологическая невыдержанность Кропоткина особенно рельефно выступает в оценке Кропоткиным дарвинизма.

Как подходит к дарвинизму марксизм? Раньше всего марксизм методологически отмежевывается от дарвинизма. Попытки перенести законы био-

логии в социологию решительно отвергаются хотя бы потому, что Маркс выясняет специфическую природу социального бытия и устанавливает диалектические законы развития. Засим: марксизм целиком принимает закон борьбы за существование, но из вечной, естественной категории марксизм превращает борьбу—не видов, а классов—в историческую.

Как подходит к дарвинизму упомянутый Н. К. Михайловский? Михайловский указывает на кооперацию, как на фактор, видоизменяющий и ограничивающий закон борьбы. Но, верный своему «суб'ективному антропоцентризму», Михайловский устанавливает различные типы приспособления. Дело в том, что очень часто выживают типы «практические» и погибают типы «идеальные». Практические типы выживают потому, что у них нет «любви к дальнему», они паразитически присосались к данной конкретной обстановке, но эти типы погибают, как только обстановка меняется, усложняется и требуется многогранность вместо элементарности и пассивности. «Идеальные» типы, наоборот. обладают многогранностью и многосложностью, они не приспособляются к данной среде, потому, что данная среда требует от них отказа от сложности, многосторонности, требует поменьше активности и побольше пассивного приспособления. Да, выживает «приспособленнейший», но наиболее приспособленный ни в какой мере не означает более совершенный. Молчалин «выживает», ибо он—тип «практический», Джорджиано Бруно погибает, ибо он—тип «идеальный». Но неужели в данном примере выжил наиболее «совершенный»?

Кропоткин также подвергает жесточайшей критике дарвинизм. Но подход его совершенно иной. П. А. Кропоткин написал совершенно замечательную, всеми признанную книгу «Взаимопомощь как фактор эволюции». Кропоткин заявляет, что не борьба, а взаимопомощь является одним из факторов прогресса.

Как ни важна работа Кропоткина, но в смысле обоснования мировоззрения эта работа вызывает ряд серьезных недоумений.

Раньше всего: дарвинизм не отрицает факта взаимопомощи (симбиоза). Дарвинизм великолепно знает, что борется не только особь с особью, а вид с видом. В пределах вида, конечно, существует и взаимопомощь. Ведь с точки зрения естественно-научной факт борьбы и факт взаимопомощи равноценны и одинаково аморальны! Но ясно, что для Кропоткина взаимопомощь не просто факт, а норма. формула прогресса.

Больше того: этот факт взаимопомощи есть об'ективное обоснование идеала. Марксизм базирует на об'ективном ходе вещей, Кропоткин хочет обосновать свои идеалы на биологическом факте, он видит в взаимопомощи «гарантию» достижения идеала! Но—здесь мы подходим к центральному вопросу—где же гарантия, что взаимопомощь победит борьбу? Чисто фактически доказать это невозможно: как ни многочисленны примеры изумительного героизма, все же история человечества полна жестокости, лютой вражды, тупой и порой бессмысленной злобы. Конечно, взаимопомощь важный факт и фактор жизни. но ведь не даром же кто-то сказал: «не в том

беда, что человек человеку—зверь, а в том, что человек человеку—бревно». В порядке *натуральной* необходимости *никак* не докажешь, что «зверь» и «бревно» начнут широко «практиковать взаимопомощь»! Кропоткин просто *констатирует* два параллельных явления, но *ничего* не обосновывает и не доказывает. А ведь ясно, что Кропоткину желательно не просто констатировать факты двойного характера человеческой эволюции — борьба—взаимопомощь, а *обосновывать* идеал универсальной взаимопомощи. А этого-то *фактом* взаимопомощи обосновать невозможно! Здесь-то и вскрывается та неопределенность и двойственность, о которой мы неоднократно говорили.

Заметьте: поскольку речь идет о взаимопомощи в мире растений, постольку мы имеем дело с метафорой, своеобразным анимизмом. Кропоткин, сторонник механического миропонимания, уверяет, что явления психической жизни поддаются такому же механическому анализу, как звон колокола, но тогда Кропоткин должен согласиться, что взаимопомощь по отношению к природе есть метафора, или же Кропоткин, на деле, как психист и под прикрытием естественно-научного метода, анимизирует природу. *Так оно и есть.* Взаимопомощь для Кропоткина не просто факт, а *формула прогресса.* И эта формула прогресса контрабандно подбрасывается природе, как-будто бы из природы «вытекает» и естественно-научным методом *открывается.* Естественно-научный факт в сущности толкуется, как моральная норма, а эта моральная норма живет под фальшивкой естественно-научного «закона».

Яснее ясного двойственность Кропоткина выступает в его этике. Я буду иметь в виду его этюд «Нравственные начала анархизма», так как вышедший том «Этика» ничего нового не прибавляет. Абсолютно невозможно преодолеть этический натурализм Кропоткина без анализа этого этюда.

Кропоткин отвергает утилитаристическую мораль Бентама. Он указывает, что с точки зрения индивидуализма нет никакого резона жертвовать своим шкурным интересом во имя чего бы то ни было. Эта критика обязует П. А. Кропоткина дать такой базис этике, который *оправдал бы жертву во имя ближнего.* Кропоткин весьма легко отделывается от этики Канта. «Неужели,—говорит он,—я должен жертвовать собой во имя какого-то императива?» Надо ли говорить о том, что Кропоткин отрицает христианскую и библейскую мораль. Кропоткин заявляет, что анархизм дает только совет и научно открывает личности путь *к счастью через моральные поступки.*

Однако эта идиллия скоро нарушается, ибо Кропоткин уподобляет лиц, не идущих путем научной этики, людьми убогими, больными, изуродованными. В сущности тут мы имеем уже грозные осуждения и даже наказания всем «непослушным». Но что же такое моральное поведение? Моральным называется поступок, *содействующий благу рода.*

Это определение вызывает наше глубочайшее недоумение. Мы ставим тот же вопрос, который ставит Кропоткин утилитаристам, — почему это *должен содействовать* благу рода? Почему не рассуждать

в духе Базарова? Какое мне дело до счастья мужика, раз из меня будет лопух расти? Дальше. О каком благе рода идет речь? Идет ли речь просто о неиссякаемости, непрерывности; продолжении биологической жизни рода? — Тогда непонятно, почему же этот биологический факт жизни рода превращается в моральную категорию? Почему хорош поступок, содействующий биологической непрерывности рода? Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты» Толстого, полагает, что прекращение рода человеческого диктуется именно моральным сознанием: жизнь рода — факт, мое нежелание содействовать жизни рода — тоже факт, и ничего больше! Очевидно, что у Кропоткина речь идет не просто о благе существования рода, а о моральном благе рода, о достойном существовании; тогда надо было вскрыть, в чем именно заключается моральное благо. Но этого у Кропоткина нет и не может быть: моральная категория превращается в естественно-научный факт, а естественно-научный факт толкуется, как моральная категория. Правда, Кропоткин заявляет, что и в жизни животных и в жизни дикарей мы просто фактически наблюдаем самопожертвование во имя рода. Но если это — факт, то откуда же берется «зло» в мире. Если самопожертвование — факт, то откуда же бешеный эгоцентризм, людоедство, рабство и злоба. Если бы эта взаимопомощь была фактом, то незачем было ее пропагандировать. Значит, в жизни действуют и другие факты, столь же равноправные и морально безразличные. Формально Кропоткин нисколько не доказал нужности самопожертвования во имя рода,—ибо как бы ни было убедительно поведение обезьян и дикарей, я никак не могу этот биологический факт положить в основу своего поведения.

Кропоткин силится выйти из затруднения и обещает жертвующей во имя целого личности громадное счастье, мощную жизнь, гармоническое развитие всех сторон личности. Кропоткин указывает на то, что биологический избыток толкает личность на великое и сильное. Но предоставим уже самой личности определить, в чем сила и мощь. (Это учение об избытке сил взято Кропоткиным у Гюйо. Анализу этого учения я посвятил небольшую заметку и позволю себе отослать к ней читателя—см. «Красная Новь», кн. 7 за 1923 г., отд. «Критика и библиография»: Ж. М. Гюйо — «Нравственность без санкции и обязательства».)

Кропоткин подчеркивает, что только генетический метод дает нам ключ к решению спорных проблем. Он изучает генезис морали и на этом строит свое мировоззрение,—мы видели, что этим путем дальше описания фактов никак не пойдешь! Однакоже более тщательный анализ показывает, что и здесь наблюдается роковое для Кропоткина колебание между натурализмом и этицизмом. В самом деле, не только можно, но и должно отвергнуть этикоформальную схоластику Канта. Марксизм, например, подходит к этике классово-прагматически. Кропоткин как-будто бы хочет чисто научно показать нам происхождение морали, а на самом деле он из факта длительного и непрерывного существования

альтруизма хочет построить систему должного. Как это возможно?—Никак. Но если Кропоткин как будто достигает цели, то это только потому, что космос, этизирован, что мир уже как-будто бы — космическая, анархофедералистическая республика. Каждый факт натурального порядка есть одновременно—глубоко секретно!—гимн взаимопомощи. Вот почему кропоткинизмом как-будто бы чисто научно указывается происхождение, а на деле устанавливается моральная родина каждого простого биокосмического факта. Здесь не просто констатируется происхождение, а подчеркивается этическое благородство «родителей». Естественно-научный метод есть — на деле замаскированный подбор оправдание формулы прогресса. Сам Кропоткин наивно думает, что последовательное применение естественно-научного метода обязательно приводит к идее человеческого равенства и братства. Кропоткин упрекает Спенсера в том, что неправильное применение научного метода приводит Спенсера к оправданию частной собственности. На самом же деле этизирование природы, произвольное превращение биологии в этику позволяет Кропоткину якобы естественно-научно открыть «закон» прогресса.

Изумительно, что мы почти не находим у Кропоткина попытки дать анализ специфической природы социальных явлений и признака дифференциации на классы. Это роковым образом влияет на постановку его проблем взаимоотношении массового творчества, обычного права и государства.

III.

Нам, после пережитых великих годов, трудно уже представить себе, е ошеломляющее впечатление произвела и, не только среди революциов, весть о том, что П. А. Кропоткин «приял» войну. Ликовали бешено ступленно идеологи империалистов и их соглашательские помощники! енитое письмо Кропоткина, кажется, шведскому ученому, о том, почему листы и анархисты должны стать под знамена Антанты против Гери,—это письмо сделалось одновременно как-будто бы знаменем, а на деле прикрытием для империалистов.

Для многих лозунг Кропоткина — «отливайте пушки и везите на пози- — был равносилен идейному кризису. Многим казалось, что этим нано- глубочайший и непоправимый удар вере в значимость и прочность бы то ни было идеологии. Да на самом деле: какое значение имеет ник-идеология, когда вихрь фактов гнет и пригибает в какую угодно ну?

Помню один незначительный, но, по-моему, красноречивый, факт. ял в Женеве на площади, поджидал трамвай. Ко мне подходит юный т и взволнованно, как-то даже озлобленно, говорит:

— Что же, тов. Рощин, вы и теперь будете верить в значимость — после того как поседевший под знаменем безгосударственности и илитаризма Кропоткин бьет в барабан и зовет под знамена Жоффра?

Лично я, казалось бы, не должен был быть ошеломлен происшедшим, ибо я никогда кропоткинистом не был и вел все время борьбу на два фронта: с социал-демократизмом и до-ленинским марксизмом, поскольку последний подчиняет классовую борьбу нормам демократии, и с кропоткинизмом, поскольку последний пронизан надклассовым гуманизмом и подчиняет классовую борьбу той же демократии под видом федерализма.

В беседе с Кропоткиным в период болгарско-турецкой войны меня поразило чудовищное утверждение, будто бы победы славян над Турцией и исчезновение Турции, как государства, должны приветствоваться как победа безгосударственности: мол, исчезло одно государство с лица земли...

Даже ярые поклонники Кропоткина, помню, ахнули от удивления: да и не удивительно, — оказывается Фердинанд Болгарский и вся русско-австрийская клика воплощают не более и не менее как заветы безгосударственности!

И вот, несмотря на то, что я был достаточно подготовлен,—весть о приятии Кропоткиным войны показалась мне невозможной. Думалось, что неверная теория уступит здоровому инстинкту интернационалиста. Первый листок против Кропоткина, «Тревожный вопрос», писался во внутренней неуверенности, что сдача Кропоткиным крепости антимилитаризма — реальный факт, а не случайное, временное заблуждение.

Но это, конечно, было не так.

Пролетарский интернационализм, как и предательский анархо-социалистический шовинизм, не исчерпывается только моментом приятия или неприятия войны.

Здесь сложная гамма оттенков, здесь сложная система взаимодействия. Тот или иной соглашатель мог отвергнуть войну, но это еще не интернационализм! Интернационализм обязует сделать последовательный вывод по формуле Ленина: война империалистическая должна перейти в войну гражданскую. Отсюда вытекает и требование приятия Октябрьской революции с ее наступлениями и отступлениями.

П. А. Кропоткин проделал цельно весь цикл анархо-шовинизма, принял войну, отверг лозунг гражданской войны, отвернулся от Октябрьской революции и с принципиально-несущественными оговорками признал Версальский мир.

Конечно, здесь опять явление типично мелко-буржуазного порядка, но у Кропоткина эта мелко-буржуазность идеологически оформилась, как борьба за федерализм и массовую самодеятельность латинских стран против чудовищно жестокого и всепоглощающего централизма немцев.

Характерно, что Кропоткин на знаменитом демократическом совещании Керенского требовал республики федералистической.

Что же это за федерализм, которому поклоняется Кропоткин? Раньше всего здесь федерализм и централизм берутся не конкретно при данной обстановке, а абстрактно, при чем централизм — всегда зло, федерализм — всегда добро!..

Перейдем к анализу некоторых теоретических положений Кропоткина, связанных с проблемой федерализма и государства.

Мы уже знаем, что Кропоткин характеризует государство наличностью территориальной концентрации. Там, где нет единого центра, там мы имеем правительство, но не государство.

Допустим на минутку, что это деление имеет какую-либо теоретическую ценность в порядке классификации, хотя мы в этом сильно сомневаемся. Но ведь ясно, что антигосударственника Кропоткина интересует не формальная классификация, а реальное влияние государственного принуждения на сознание, психику и волю людей! Тем изумительнее, что Кропоткин ничего не говорит о тех путях, которыми государство закрепляет свое влияние и развращает сознание. Кропоткин ничего не говорит, чем в деле прививки яда закона и власти правительство лучше, или менее вредно, нежели государство, а ведь в этом центр вопроса! Замечательно то, что другой антигосударственник, Толстой,—и как художник и как мыслитель,—с напряженным вниманием изучал механизм власти, силу его гипноза, и пришел к заключению, что власть — сила иррациональная, основанная на стихийном подражании.

Оговоримся: мы вовсе не думаем требовать от Кропоткина психологического обоснования права и государства. Такой подход правилен только в сравнительно узких пределах суб'ективного, психологического переживания и не дает нам социальной об'ективно-классовой базы государства. Речь идет только об изучении способов и характера влияния государства и «правительства». И отсутствие изучения влияния механизма дает возможность Кропоткину дорожить мнимым различием «правительство» и «государство» и возводить федерализм в какую-то безгосударственную категорию.

В самом деле: верно ли, что в архифедералистической Швейцарии гражданин—менее исступленный государственник, нежели в централизованной Германии? Ни в малейшей степени. На самом деле, если подходить к федерализму прагматически, то мы увидим яснее ясного, что федерализм может явиться не худшим, нежели централизм, способом, и являться показателем торжества государственности в умах и душах граждан.

Кропоткин, кстати, нигде не дает нам точной формулировки понимания федерализма. Надо думать, что он разумеет некую территориальную самостоятельность и значительную независимость местной жизни от центра. Но надо доказать, что этот федерализм совпадает с антигосударственностью.

Поясним это примером. На-ряду с коронным судом существует суд присяжных, который судит не на основании только закона, но и по совести. Реакционеры всех времен возмущались этим институтом. Они говорили: ведь это—чистейшая анархия, глумление над законом! Что это такое — суждение по совести? Разве можно подчинить суровые, об'ективные нормы права каким-то суб'ективным переживаниям, часто может недостаточно «благонадежных» людей? Но буржуазия великолепно знает своих людей и знает, что она уже достаточно обработала человеческую «совесть». В тех или других отдельных случаях суд присяжных может вольничать, но в общем совесть находится на услужении частной собственности и государства! Ценой маленьких жертв буржуазия по-

купает сознание масс, что ее строй зиждется не только на застывших, безликих, беспощадных нормах права, но санкционируется совестью народа. И суд присяжных превращается в великолепное орудие воспитания буржуазного правосознания! Так же обстоит дело с федерализмом: местные вольности нисколько не мешают, а помогают выработке государственного фетишизма, а наличие этих вольностей доказывает, что класс в целом достаточно уверен, что вольная жизнь укрепит основы неволи и порядка. Ни классово-прагматически, ни в самом принципе федерализма нет того момента, который дал бы нам право поставить знак равенства между безгосударственностью и федерализмом. Централизации и децентрализации суть различные формы единой по существу государственности.

Скажут: но ведь Кропоткин дал иное обоснование происхождению государства. Ведь, по его учению, государство — палач массового творчества! Государство застает массовое творчество в период упадка, берет на себя инициативу прогресса, но этот прогресс оно оформляет в законы, которые превращаются в тяжелые оковы для массового творчества.

Спору нет. Это — самая интересная мысль Кропоткина. Но, увы! и здесь отсутствие анализа конкретных социальных явлений превращает эту идею в отвлеченную, крайне мертвенную схему. И эта схема с бесспорной ясностью еще раз подтверждает колебание Кропоткина между натурализмом и отвлеченным морализмом.

В самом деле: взаимопомощь — фактор и факт космической жизни. Повторим уже ранее поставленный вопрос: что же, человеческое общество «отпало» от природы? Поэтому существует эта вражда и ненависть? С точки зрения закона взаимопомощи, как универсального факта и нормы природы, делается правильным тяжкое недоумение Мити Карамазова: «Почему плачет дитё? Почему голодны люди? Почему не обнимаются, не целуются, не поют песен радостных?». Здесь мы подходим к интересному моменту творчества Кропоткина. В кропоткинизме скрыта идея, что человек и человечество как будто бы «отпали» от природы и подчинились стихии зла... И хотя, по Кропоткину, «прогресс есть переход от худшего к лучшему», на деле в кропоткинизме звучит нотка, что человеческая история, поскольку она «отпала» от закона взаимопомощи, есть переход от лучшего — природной взаимопомощи — к худшему — исторической борьбе. Человечество должно бы бить тревогу!

Сбились мы. Что делать нам...
В поле бес нас водит, видно.
И кружит по сторонам!..

Тогда дальнейшая история есть как-будто бы история «искупления» или воссоединения человечества со стихией взаимопомощи, царящей в природе...

Если перейти к конкретному анализу, то получается какая-то фантастическая картина: на массовое творчество насело «извне» государство. При

чем не указано, почему это массовое творчество вдруг застывает и теряет свой универсальный характер? Каким образом и откуда получают [illegible] силы, которые опутывают тенетами права ослабевшего богатыря. На деле мы здесь имеем отвлеченную схему вместо реального анализа фактов и соотношений сил. Попробуйте-ка на деле изучить [illegible] средних веков и переход к XVI столетию с точки зрения [illegible] массового творчества и «извне» насевшего государства! На деле [illegible], что нет однородного массового творчества, что масса сама [illegible] и свой максимализм и минимализм. Увы!—минимализм не «извне» пришел, он тоже—продукт массовой «самодеятельности». Но лучше всего, конечно, бросить эти мало научные аналогии и просто перейти к изучению законов динамики социальной, изучить систему экономических сил на [illegible] уровне. И тогда проблема массового минимализма, противодействующего своему же освобождению приобретет колоссальное значение; тогда мы будет говорить о взаимоотношении об'ективных и суб'ективных предпосылок [illegible]. Но тогда эта проблема теряет свой фантастический характер и приобретает конкретные классовые очертания.

Оперирование расплывчатым [illegible] «массовое творчество», «федерализм» не вводит нас в суть явлений.

Замечательно, что Кропоткин не делает ни малейшей попытки выяснения социальной структуры общества. Социальный космос как-будто распыляется между природой и формулой прогресса. Это характерно для всех утопистов.

Кропоткин готов идеализировать обычное право, совершенно не закономерно спутывая идею будущего «свободного договора» с обычным правом. Конечно, и обычное право и свободный договор противостоят писанному праву—закону и государству! Но по существу обычное право и свободный договор глубоко противоположны. Не будем уже говорить о содержании норм обычного права. Обычное право санкционирует тьму, произвол, насилие. Это обычное право санкционирует истязание неверной жены, тиранию над детьми. Но возьмем от обычного права только его способ фиксировать коллективный опыт вне писанного права. Но всякому ясно,—это обычное право есть зачаток того же принудительного права только при более примитивных, элементарных условиях существования. [illegible] обычное право отличается еще меньшей текучестью [illegible] подвижностью, нежели писанное. Свободный же договор в будущем предполагает не договор индивидуумов, а момент развития общества, когда человек окончательно победит природу, техника достигнет высочайшей мощи, социальная грызня и принцип конкуренции будет заменен товарищеской солидарностью, а главное, долголетнее товарищеское сотрудничество, социальные навыки сделают ненужным принуждение, эта или иная перемена будет вытекать из потребностей перехода на высшую форму культуры.

Что общего между обычным правом и свободным договором по существу? — Ничего. Но Кропоткину важно формальное противопоставление писанному праву. Вот это-то увлечение противопоставлениями приводит к идеализации до-капиталистических отношений, при чем будущее толкуется по аналогии с до-капиталистическим прошлым, а до-капиталистическая эпоха идеализируется, освещенная лучами будущего общества. На деле здесь вскрывается еще и еще раз дуализм Кропоткина: природа как бы теряет свою мощь и силу и пропитывается какой-то этикой, этика теряет мощь и силу нормы и разжалована в простой факт натурального порядка,—вырабатывается что-то среднее, тусклое, неопределенное. Точно так же прошлое как-будто бы возвышается до будущего, а будущее принижается к уровню до-капиталистического прошлого.

В лице Кропоткина сошел в могилу последний великий представитель полу-утопического, полу-научного анархизма. Моральная связь с трудовым народом дала возможность Кропоткину в «Речи бунтовщика» вскрыть язвы буржуазного общества, в «Хлеб и воля» дать несколько наивную, но во многом не устаревшую картину будущего общества. В «Великой французской революции» Кропоткин подымается до истинного пафоса революционера.

Но существуют железные законы общественного развития. Только познав эти законы, связав себя окончательно с определенным классом,—мыслитель может до конца выдержать испытания истории. Кропоткин был связан с массой эмоционально и морально. Законов общественного развития он не познал.

Его с виду безукоризненная система на деле пронизана противоречиями, его формула прогресса не могла заменить отсутствующей механики исторического процесса; его сантиментально-моральное отношение к массовому творчеству заслоняло возможность об'ективного изучения.

Война и Октябрь не теоретически, а практически вскрыли недуги и язвы полу-утопического полу-научного анархизма. Сам Кропоткин оказался захваченным в водовороте империалистических страстей.

Наше дело — «не плакать, не смеяться, а понимать».

Октябрь дал нам образчик, как надо сочетать безумную волю с холодным рассудком. Этот опыт ляжет в основу опыта всемирного пролетариата, который уж без колебаний осуществит все лучшее, к чему стремился Петр Алексеевич Кропоткин.

Второй психоневрологический с'езд.

Г. Даян.

(Некоторые итоги.)

I.

Начался с'езд в Питере (3—10 января) с декларации суб'ективизма и идеализма в психологии, искусно прикрытых формулами философского нейтрализма.

На первом же пленарном заседании проф. А. П. Н е ч а е в выступил с речью, в которой торжественно заявил, что его школа одинаково отвергает всякий философский подход к вопросам психологии.

— Ни идеализма, ни материализма!

Декларация проф. Нечаева удивительно напоминала обычный тип тронной речи. На словах—дружественный нейтралитет в области внешней политики и невозбранное свободное проявление общественной воли во внутренней политике. На деле же проводится политика интервенции, «дружественное» вмешательство, закрепление «сфер влияния» и пр. во внешней политике и агрессивная дворянско-буржуазная политика во внутренних взаимоотношениях классов...

Так, например, «нейтрализм» проф. Нечаева не мешает ему заявить: «О какой реальной среде может итти речь? Такая среда нам неведома!». «Представления реального опыта все более отходят от об'ективного мира». «Весь наш опыт глубоко-суб'ективен».

Тут полный разрыв между реальностью и представлением о ней, раздвоение материи и «духа», отказ от познаваемости «вещи в себе».

Провозглашение «свободы» психологии от всяких «подходов» не мешает, однако, проф. Нечаеву уделить почетное место на Олимпе науке о психической жизни человека, глубоко-суб'ективному подходу интроспекции, методу самонаблюдения.

Основой психологии проф. Нечаев об'являет интроспекцию. На раз'яснении последней, я полагаю, необходимо здесь несколько остановиться.

Исторический генезис метода самонаблюдения надо искать в религиозно-мистическом завете древних: «Познай самого себя!». Ударение при этом

ставилось не на «познай», не на проблеме научного постижения, а—на «самого себя», как на исходный пункт познания бога или мирового разума (у Гераклита).

Идея абсолютной непогрешимости внутреннего опыта от Гераклита преемственно переходила к св. Августину и от него к Декарту и Беркли.

В современной русской психологии школа Челпанова является преемницей св. Августина, уделяя красный угол интроспекции.

Но, разумеется, не в порочности происхождения основная беда метода самонаблюдения. Дефекты его заключаются, главным образом, в том, что он не дает гарантии надежности и правильности наших суб'ективных самонаблюдений.

Здесь и ошибки в воспроизведении пережитого и невозможность одновременного сильного переживания и наблюдения. Что-нибудь одно: или глубоко-захватывающе переживать или рефлексировать и холодно раздумывать над своими получувствами.

Совместить и то и другое нам не дано.

Затем из сферы самонаблюдения необходимо исключить детский возраст. Выпадают из цепи интроспекции также звенья грез и сна, играющие столь существенную роль в наших психических процессах.

Интроспекция еще тем грешит, что она низводит сублиминальную область, сферу подсознательного, которое гораздо шире и глубже сознательного.

Надо еще учесть то обстоятельство, что мы с детства насыщены предвзятостями, убеждениями, идеями, от которых редко кому удается вполне освободиться. Эти все идеологические наслоения и придают определенную окраску и направление всему нашему самонаблюдению.

Наконец, и собственная душевная болезнь подчас служит об'ектом самонаблюдения. А в какой мере заслуживает нашего доверия самонаблюдение человека в горячечном бреду!

Тем не менее, Кант и Ламеттри, оправившись от болезни, делали из самонаблюдений в периоде заболевания даже некие философские выводы (См. «Историю новейшей философии» Геффдинга и биографию Ламеттри, приложенную к рус. перев. «L'Homme-machine»).

Понятно, что мы не выбрасываем интроспекции целиком из методологии познания поведения человека. Как высказывания, подлежащие об'ективному контролю, самонаблюдение должно быть использовано. В частности, в психотехнике и при психоанализе.

При последнем должную об'ективность вносит регулирующий процессы самонаблюдения аналитик. руководитель анализом. Проф. же Нечаев такой об'ективации не дает, и у нас абсолютно нет уверенности, что психологический отчет об эмоции будет действительно воспроизводить первоначальный опыт.

Исследовать путем самонаблюдения «состояние духа», «сознание» и пр., это, как выражается Джемс, все равно, что выключить освещение, чтобы увидеть темноту.

Любопытна также своеобразная, хотя и неоригинальная социология проф. Нечаева. Самонаблюдение, видите ли, тем еще превосходно, что оно образует базу гуманности, перенося свои переживания на других людей. Деспот-правитель, фабрикант-эксплоататор потому-де жестоки и бессовестны, что не прониклись принципом самонаблюдения. А. П. Нечаев так и заявляет:

«Безысходность борьбы нашего времени берет свой источник из недостаточного развития самонаблюдения. Люди не входят в положение другого человека».

Вот в чем причина «безысходности» борьбы нашего времени! Тут, как говорится, комментарии излишни...

II.

Академик В. М. Бехтерев в своих докладах и выступлениях оставался на прежней своей высоте. Взгляды его столь общеизвестны, что на них, как нам кажется, нет надобности долго останавливаться. Скажем лишь вкратце, что в своих выступлениях на с'езде он наносил удар за ударом приверженцам суб'ективизма в психологии. В частности, он указывал, что чужие переживания мы можем только истолковывать. Но истолковывать не значит наблюдать. Переносить свои ощущения на других значит фантазировать. Останавливаясь на генетической психологии, В. М. Бехтерев между прочим напоминал о том, что сочетательные рефлексы появляются у младенца уже на первом месяце его жизни.

Ребенка необходимо расшифровать. Постепенное вызревание человеческих свойств дается генетической рефлексологией. На ребенке мы наблюдаем развитие и наслоение рефлексов высшего порядка. От простых двигательных местных рефлексов ребенок постепенно, в процессе развития, переходит к сложным и концентрированным рефлексам. На рефлексах — и только на них—мы можем установить психическую жизнь личности. Ибо личность это—совокупность рефлексов, внешних проявлений, разнообразных реакций на внешнюю среду.

Изучая личность, нам необходимо исследовать ее конституцию, т.-е. биологический состав. Большое внимание следует уделить внутренней секреции. Подлежат изучению символические рефлексы (жесты, и мимико-соматические).

Мысль решительно одно и то же, что речь. Разница только в том, что речь—выявленный, а мысль не выявленный рефлекс. В самом процессе же они по существу адэкватны (тождественны).

Отличительная особенность В. М. Бехтерева, что он превосходный классификатор.

Об этом ясно свидетельствует его «Коллективная рефлексология». Сказалось это свойство В. М. Бехтерева и на с'езде. Ряд терминов и наименований сменялись и заменялись другими. Вместо Павловского условного рефлек-

са — «сочетательный»; вместо памяти — «репродукция», вместо внимания — «рефлексы сосредоточения» и т. д. и т. п.

Бехтеревская рефлексологическая система встретила на с'езде ряд возражений. Приведем наиболее характерные из них. Многие из них, несомненно, взяты из арсенала проф. Вагнера.

На почве рефлексологии выяснить процессы мысли, это так же безнадежно, говорили противники, как изготовлять в кондитерской или булочной живую протоплазму.

Нельзя же все сводить к одинаковым для всех рефлексам.

Существует бесконечное индивидуальное разнообразие. Одного побуждает к работе потирание определенных участков кожи, подергивание бороды и волос. Другого—вид какого-нибудь блестящего предмета, как это было у Гайдна, который за работой рассматривал алмаз. Иного—определенная окраска, определенный музыкальный отрывок. Наконец, запахи. как это было у Шиллера, хранившего в ящике своего стола гнилые яблоки.

Не только для уяснения психологии человека рефлексологии недостаточно. Она мало дает и для изучения зоологического мира, продолжали противники.

Сосание щенка—спорный вопрос. С одинаковым основанием одни признают его за рефлекс, другие признают его инстинктом.

Но отлет птиц, например, свести к рефлексам смешно. Есть птицы, перелетающие по одиночке. Никогда не видали они ни того места, куда нужно лететь, ни тех мест, которыми нужно пролетать. Все же они неуклонно двигаются куда нужно. О каком же рефлексе тут может быть речь? Как можно, говорили оппоненты, подставить нервный механизм деятельности перелетных птиц под рефлекторный процесс?

Напрасно рефлексологи, говорили оппоненты, исключают из области науки изучение душевных явлений, делая отвод по неподсудности их научному исследованию. А исключают они их уже одним тем, что ничего кроме рефлексов не признают. Это—грубая ошибка. Знать инструмент и его историю еще далеко не значит знать музыку и законы ее эволюции. А что история развития субстрата и самой психики представляет две разные вещи — следует хотя бы из того, что орган слуха дикаря совершенно один и тот же, что слух европейца. Между тем между музыкой того и другого огромная пропасть. И как об'яснит рефлексология тот плюс к физической энергии, то «нечто», некую прибавку, которую дают явления сознания!

Не останавливаясь на отдельных деталях, дал бой по всей линии широкого фронта современной психологии проф. К. Н. Корнилов. На его выступлениях стоит остановиться подольше. В следующей главе мы даем более или менее полную сводку того, чтó говорил в своих двух докладах и в дебатах проф. К. Н. **Корнилов**.

III.

Диалектический метод находит свое применение и оправдание как в области естествознания, так и в социологии. А так как с точки зрения диалек-

тического материализма человеческое сознание есть не только отражение диалектического развития мира, но и составная часть этого мира, то ясно, что диалектический метод должен найти свое применение и в области человеческой психики. И он это применение находит. Первая предпосылка диалектического материализма, это—принципы всеобщей изменчивости. Нет предметов, а есть процессы. Эту аксиому по отношению к психологии нет надобности доказывать. Все в психике динамично и актуально. Даже психологи-метафизики не нашли все же возможным отстаивать субстанциональность в психологии.

Принцип всеобщей связи и закономерности, господствующий в диалектическом материализме, всецело признается и психологией. Те разногласия, которые существуют у психологов по вопросу о психо-физической причинности, доказывают, что и представители умозрительной психологии не мыслят психические процессы произвольными, ничем материальным не обусловленными. Наоборот, наблюдается усиленное стремление детерминировать психические процессы во всех их, казалось бы даже случайных, появлениях. Например, забывание, описки, оговорки в школе Фрейда.

Принцип скачкообразности развития процессов с переходом количественных определений к качественным находит в психологии наиболее очевидное подтверждение. Например, в области слуховых ощущений, где нарастание количества колебаний воздушных волн дает качественно-различные тоны. Закон Вебера-Фехнера[1]) и есть подтверждение скачкообразного роста ощущений. Надо думать, что и развитие сложных психических процессов подчиняется этому же принципу перехода нарастающего количества в новое качество. Особенно заметно это в эмоциональной сфере. Качественно-определенная эмоция, достигнув узлового пункта количественного нарастания, качественно меняется (удовольствие—в неудовольствие, чувство достоинства—в челюбие, бережливость—в скупость, похвала—в самолюбование и т. д.).

Всякий может наблюдать на себе и других, как часто ничтожная мель, случайный разговор, встреча, вскользь брошенное слово играют опреяющую роль в жизни. Почему? А потому, что человек близок был к опреенному узловому пункту. Необходима была ничтожная количественнаяназка, чтобы качественно все его сознание, эмоциональное состояние, поение резко изменились.

Диалектическую триаду мы наблюдаем в психологии в процессах расторживания торможения, о котором сообщает академик И. П. Павлов, коый говорит, что при выработанном условном рефлексе последний может ормозиться, но тормоз этот может быть расторможен аналогичным раздражителем. Развитие акта запоминания влечет антитезис—забывание и тез — воспроизведение воспринятого, как источник творческого воображения и пр.

---

[1]) Закон Вебера, развитый Фехнером, гласит:

«„Порог различимости" находится в постоянном отношении к наличной силе раздражения, и отношение это должно быть установлено для различных качеств ощущений ным путем».

Далее. Энергия не может быть одновременно истрачена и периферически, в виде физического труда, и центрально, в виде умственного труда.

Происходит торможение, как результат двух отрицающих друг друга факторов. Но при последовательной смене мы получаем высший принцип энергии — синтез физического и умственного труда.

Вот показательный пример из педологии.

— Развитие эстетической эмоции у детей. Экспериментально установлено, что детей 2—3 лет преимущественно привлекают цвета оранжевый и желтый. У 4—5-летних детей симпатии переходят к прямо противоположной части спектра—фиолетовым, пурпуровым цветам. Наконец, с 7 лет и до 42-х симпатии сдвигаются ближе к средней части спектра: нравится синий цвет.

Не во всяком, конечно, психическом процессе возможно проследить это развитие из противоречий. Но ясно, что и в психологии, как в биологии и социологии, противоречия и возникающая отсюда борьба являются основными факторами развития.

Диалектический метод должен стать методом исследования в психологии. И наибольшее значение он имеет там, где в процессе развития человеческой психики мы имеем дело с резкими качественными изменениями. Это ярче всего заметно в детской психологии и психопатологии.

Теперь—по существу спора двух основных школ в психологии. Сущность борьбы двух основных направлений в психологии—суб'ективного и об'ективного—заключается не только в области применяемых этими двумя направлениями методов, а прежде всего в понимании самого об'екта изучения.

Суб'ективисты видят свою задачу в изучении душевных переживаний или душевных явлений. Об'ективисты—в изучении поведения человека. Понятно, что суб'ективисты прибегают в первую очередь к самонаблюдению, а об'ективисты — к об'ективному и экспериментальному методам.

Речевое проявление, словесный отчет несомненно должны войти в науку о поведении человека, при соответствующем достаточно об'ективном контроле.

Но по существу и суб'ективисты и об'ективисты не достигают поставленной ими себе цели, ибо анализ и описание не дают ничего.

С другой стороны, у об'ективистов,—по крайней мере в лице рефлексологов,—сосредоточение всего внимания только на биологической стороне не вскрывает и не дает полной картины поведения человека.

Факт, именуемый поведением человека, есть факт не чисто-биологического, а био-социологического порядка. Вот почему только синтез биологических и социологических данных способен дать ответ на вопрос, что же представляет собой наука о поведении человека. Конечно, рефлексология стоит неизмеримо ближе к разрешению этого вопроса, нежели суб'ективная психология, но и рефлексологии необходимо учесть еще социальный фактор, к которому до сих пор она имела такое слабое отношение. При этом рефлексологии следует отказаться от фигового листка идеалистической стыдливости и философской беспринципности. Ведь заявляет же Бехтерев: «Рефлексология не исключает гипотезы о душе!».

Без определенной философской концепции нельзя жить и жизненно действовать. Беспринципность нашей современной психологии есть не что иное, как защитный рефлекс против философии марксизма.

IV.

Особое мнение в трактовании психических процессов занимали на с'езде доклады проф. А. Б. Залкинда.

Психологическая концепция т. Залкинда сводится к следующим положениям и выводам, экстрактивно нами здесь приводимым.

Основной философской предпосылкой для марксистского подхода к психологии необходимо считать психофизиологический монизм, лучше всего сейчас осуществляемый учением И. П. Павлова о рефлексах.

Психический процесс, это — активность единого, неразделимого организма, единая, неразрывная со всеми прочими органическими проявлениями, биологическая функция.

В рефлексах организма нет деления на «психические» и на «соматические» процессы. Все рефлексы в одинаковой мере являются активными действиями организма в борьбе за жизнь. Существует лишь общая рефлекторная установка организма в окружающей среде.

Тугоподвижность человеческой физиологии учением об условных рефлексах не подтверждается. Наоборот, уясняется чрезвычайная благоприобретаемая изменчивость человеческого организма под давящим влиянием нового социального опыта.

Этот динамизм подтверждается новой областью биологического знания, называемой психотерапией (лечение психическими методами).

Некогда твердая система безусловных рефлексов человеческого организма, дававшая право говорить о почти прочных законах человеческой физиологии, зашаталась и раздробилась. Окружающая общественно-производительная среда ныне меняется с чрезвычайной быстротой, и наш организм не успевает зафиксировать устойчивую серию новых безусловных рефлексов, способных, как бронирующий фонд, переходить по наследству. Большинство вновь приобретаемых сочетаний рефлексов оказываются легко разрываемыми и требующими беспрестанных поправок.

Для диалектического материализма учение о рефлексах — и пока только оно — дает ценнейший арсенал, открывающий простор диалектическому подходу к психическим процессам, к явлениям антропобиологического порядка.

Многое дает нам школа Фрейда, поскольку она сочетается с монизмом и диалектическим методом.

Ослабление у Фрейда примата наследственности, в сравнении с приобретенным социальным опытом, является плодотворнейшим методическим преддверием для диалектического изучения биологической изменчивости человека, в противовес реакционнейшей, по мнению т. Залкинда, биогенетической тео-

рии и учению о конституциях в биопатологии! При этом фрейдовский психический пандетерминизм—лучшее противоядие против учения о свободе воли.

Социогенетическая биология, в соединении с учением о рефлексах, при осторожном использовании ценнейшего ряда фрейдовских понятий и отдельных его экспериментальных методов, сильно обогатит биомарксистскую теоретику и практику.

Как расценивает т. Залкинд проповедь философской нейтральности, отказ от всяких «подходов»?

«Нейтральность», аполитичность в подходе к человеческой психике, это — низведение глубоко-социального человеческого организма к мало-социальному типу более низких животных, это — ветеринарный подход к человеку.

Этой ветеринарии т. Залкинд противопоставляет синтез между психическим и социальным.

С социо-психологической или, как т. Залкинд ее именует, «психофизиологической» точкой зрения подходит т. Залкинд к истолкованию значения и значимости революции. Старая психологическая школа всякую революцию представляла нам как социально-болезненное явление, развертывающееся за счет «низменного» нервно-психического материала («психопатические вожди», «разгул зверских инстинктов», «развал морали» и т. д.). Так трактуют революцию Ковалевский, Тард, Лебон, П. Сорокин, отчасти Бехтерев.

Тов. Залкинд указывает на здоровые нервно-психические корни революции и на колоссальный фонд нового нервно-психического социального здоровья, неуклонно вырастающего на наших глазах.

Победоносная революция освобождает целый ряд скрытых сил и энергию в массах и способствует уменьшению благоприобретенных психоневрозов. Наблюдаемые психоневрозы касаются людей, выбитых из колеи, деклассированных и социально-ущемленных.

С этой же точки зрения рассматривает т. Залкинд вопрос о войне и психоневрозах. Под психоневрозом надо понимать такое заболевание, в котором первичной травмой является острая или длительная эмоция, возникающая под влиянием внешних обстоятельств и нарушающая обычную связь организма с внешней средой. Характерным комплексом (комплекс—сгусток чувствований, имеющих для человека большое жизненное значение) для военного психоневроза является установка на уход из состава воюющих.

Эта комплексная стратегическая установка — неизбежное порождение буржуазно-империалистической войны. Солдаты—рабочие и крестьяне, обойденные и угнетенные группы—нисколько не связаны социально с такого рода войнами. Совершенно иное наша Красная армия. Здесь для нас вполне выполнимая задача. Здесь мы комплекс бегства от войны можем заменить целевой установкой на войну, т.-е. добиться иммунитета против военных психоневрозов. Метод—организованное живое перевоспитание больного по пути стойкого усвоения им социальной идеологической необходимости данной войны.

Это и есть единственная рациональная психотерапия военных психоневрозов, единственный метод для сублимации[1]) энергии, заторможенной «дезертир-комплексом».

На эту сублимацию ориентируется т. Залкинд и в своем подходе к вопросу о детской психопатии. Все болезненные явления у нашего подрастающего поколения в области психической жизни могут и должны исчезнуть,— поскольку они не конституциональны — под влиянием и при помощи политпросветительной и социально-установленной психотерапии.

Выработка устойчивого рефлекса определенной социальной цели, биологически тоназирующей человека, — вот над чем должны усердно работать и наши невропатологи и наши педагоги.

Надо, чтобы сублимационные каналы нашей молодежи вели в направлении к рефлексу революционной цели, которому предстоит стать целебным источником для нашей био-психической жизни.

Установка на социальность ведет к ликвидации невротической закупорки либидо. Фрейдовское сексуальное истолкование либидо т. Залкинд заменяет понятием всего находящегося в потенции творческого фонда человека.

Патологическая установка может быть побеждена вовлечением нашей молодежи в пафос социальной борьбы.

V.

Выступления марксистов на с'езде происходили в атмосфере насыщенного сочувствия.

Из 906 членов с'езда было 429 врачей. Огромное число педагогов в значительной мере определило симпатии к нам с'езда. Среди педагогов, работающих не в одиночку, а в обстановке групп и коллективов, естественно, сдвиг в сторону революционной идеологии совершается с гораздо более ускоренным темпом, чем среди прочих слоев интеллигенции, представители которой замкнуты в узком круге изолированной практики.

Сказались здесь, несомненно, и переподготовка, происходящая с прошлого года среди педагогов, и политкурсы, и марксистские кружки.

Не без влияния остался незадолго до питерского с'езда психоневрологов происходивший в Москве с'езд научных деятелей, выявивший возросшие среди нашей квалифицированной интеллигенции симпатии к Советской власти.

Не мало значило и присутствие на переполненных хорах лучшей революционной питерской молодежи, с захватывающим вниманием восторженно ловившей каждое слово марксиста.

Особенным успехом пользовались доклады т. Залкинда. Они собирали максимальное число слушателей, членов с'езда и гостей. Аудитории, в кото-

---

[1]) Сублимация—превращение энергии низшего типа в более высокий тип, сбереженная секреция, использованная для высших эмоций.

рых читал т. Залкинд, бывали буквально переполненными. И слушали его с неослабным напряженным вниманием.

Победа наша выразилась не в настроениях лишь, царивших на с'езде, а нашла себе яркое выражение в резолюциях, вынесенных с'ездом.

Прежде всего — в победе научного об'ективизма, которая есть наша победа. Эта резолюция гласит:

«Признать необходимым ввести преподавание в трудовых школах и в высших учебных заведениях С.С.С.Р., как самостоятельный предмет, науку о поведении животных и человека в об'ективном изучении естественных наук, основным содержанием которой должно явитьсч выяснение внутренних (биологических, физико-химических) и внешних физических и социальных факторов, определяющих развитие личности и ее поведение».

И далее:

«Изучение вопросов педологии должно производиться методами биологии, в частности физиологии и научной социологии. На-ряду с экспериментальными методами является особо важным метод генетической рефлексологии».

А по докладам тов. Залкинда с'езд принял даже специальную резолюцию. В ней говорится:

«Заслушав серию докладов А. Б. Залкинда, представляющих собою последовательный социологический анализ ряда неврологических, психопатологических и педологических проблем в свете революционной общественности,—с'езд приветствует этот подход к основным вопросам психоневрологии. Вместе с тем с'езд подчеркивает, что условия жизни в С.С.С.Р. теперь таковы, что ряд важнейших психоневрологических проблем могут быть впервые, действительно, об'ективно научно освещены с социологической и классовой точки зрения. Одновременно с'езд находит, что в процессе экономического роста С.С.С.Р. условия развивающейся революционной советской общественности обеспечивают наилучшую атмосферу для предупреждения и лечения нервно-психических заболеваний как мирного, так и военного времени, а также для педагогической работы, теоретической и практической».

Сказался благоприятный для нас сдвиг на идеологическом фронте и в ряде других резолюций, предложенных с'езду некоторыми секциями. Их мы приведем, когда в следующих главах коснемся итогов работы этих секций.

VI.

Из выступлений тех психологов «промежуточного» направления, которые стали на путь научного об'ективизма, но еще не сделали решительного шага к диалектическому материализму, достоин быть отмеченным доклад молодого психолога Л. С. Выготского о методике рефлексологического исследования.

Методика рефлексологического исследования человека все более и более :ближается с приемами исследования, давно установленными в эксперимен-тальной психологии (простая реакция, ассоциативный эксперимент и пр.).

Сближение это не случайное, и сходство форм исследования не только внешнее. Поскольку рефлексология стремится об'яснить все поведение чело-века, как систему рефлексов, она неизменно имеет дело с тем же самым иатериалом, что и психология. Рефлексология действительно в принципе исключает рассмотрение душевных переживаний, но психология вовсе не ограничивается одной внутренней стороной психики, а включает в себя и рассмотрение об'ективной стороны психических процессов (вся реактология и др.). Таким образом рефлексология есть один из методов психологии.

Современное состояние обеих отраслей, говорит Л. С. **В ы г о т с к и й**, астойчиво выдвигает вопрос о необходимости и плодотворности самого есного сплетения обоих методов, их общего применения при эксперимен-ально-психологических и рефлексологических исследованиях. Помимо общих еоретических и методологических оснований для слияния этих двух наук, за го же говорит и практический опыт целостного изучения какого-либо зления.

Для всякого рефлексологического исследования необходимо считаться данными и показаниями испытуемого относительно заторможенных рече-ых рефлексов (внутренняя речь: словесное мышление), без учета которых ы рискуем получить совершенно ложную и искаженную картину. Мето-ика рефлексологии вплотную подошла к тому, чтобы включить в систему оих приемов и этот учет в н у т р е н н е й р е ч и к а к з а т о р м о-е н н ы х р е ф л е к с о в, п о п о к а з а н и я м и с п ы т у е м о г о, и ля нее л о г и ч е с к и н е и з б е ж н о с д е л а т ь э т о т ш а г.

В приведенных Л. С. Выготским опытах чистота рефлексологического нципа ни в чем не нарушена: он везде пользовался только рефлексами, ывая заторможенные. Сами показания испытуемого должны при этом матриваться как рефлексы, свидетельствующие о наличии заторможен-рефлексов. Если методика допускает установление торможения при по-и инструкции и выбор речевого аппарата в качестве реагирующего органа, на должна допустить, вероятно, полное исследование заторможенных ре-:сов речи.

Общее учение рефлексологии о сознательных процессах как затор-енных рефлексах, возникающих при налаживании новых связей, неиз-ю обязывает учитывать и заторможенные рефлексы (через полные— це показаний испытуемого), ибо без их деятельности не может быть га и об'яснена вся соотносительная деятельность. К тому же обязывает й взгляд на психику, отвергающий теорию параллелизма и утверждаю-единство психических и нервных процессов.

Интересны были высказанные Л. С. **В ы г о т с к и м** соображения о давании психологии в средней школе.

Преподавание психологии в средней школе сейчас переживает кризис. ой стороны, не ясно самое место этого предмета в учебном плане, и он

в громадном большинстве провинциальных школ упраздняется вовсе. Происходит на наших глазах фактическая ликвидация психологии в средней школе. С другой стороны, там, где предмет этот сохраняется, остаются невыясненными самые насущные вопросы преподавания — программа, количество учебных часов и лет, отводимых для него, необходимый учебный материал, его расположение, общие руководящие принципы и понятия, на которых курс должен строиться, учебник и т. д. Не меньшая путаница существует и в педагогических учебных заведениях (техникумах) в этом вопросе.

Надо, говорит Л. С. Выготский, принять все меры к тому, чтобы положить конец такому смутному и неопределенному положению. Прежде всего необходимо сохранение психологии в курсе средней школы общей и специально педагогической. Данные преподавательского опыта русских учителей, сказавшиеся в анкете Моск. Психологического О-ва, говоря резюмирующими словами П. П. Блонского, устанавливают, что психология в педагогическом отношении предмет незаменимый. За то же говорит опыт западноевропейской школы. В условиях современной школы психология призвана занять очень видное место в учебном плане.

Л. С. Выготский несомненно прав, когда он требует, чтобы курс психологии в системе средней школы играл роль связующего звена между циклом естественных и гуманитарных наук. Психология должна преподаваться, как часть биологии, самым тесным образом примыкая, с одной стороны, к физике, физиологии, зоологии, а с другой — к политической экономии, истории, литературе. Такое внесение данных других дисциплин может быть только полезно в смысле создания живой связи между разнородными науками. Психология должна стать узлом, который связывает науки естественные и гуманитарные. В зависимости от этого курс должен быть построен на основных данных рефлексологии, как учения о соотносительной деятельности физиологии и сравнительной психологии.

Общие определения задач, принципов и методов психологии должны исходить из психологии как науки о поведении живых существ, рассматривая это последнее как особый вид приспособления и насыщая курс биологической и социальной точками зрения на предмет. Роль и значение психики при этом должны выясняться в согласии с данными естественных наук без помощи существующих научных гипотез параллелизма, взаимодействия на принципе единства психо-физического процесса. Все гипотезы идеалистической философии должны быть устранены из курса.

(Окончание следует.)

Этапы биологии.

(Популярный очерк.)

М. Завадовский.

I.

Кого из нас не поражает у смертного одра человека, что вот еще вчера, совсем недавно, он жил и чувствовал, а вот сейчас—он... тот и не тот. То же тело, те же черты, но они недвижимы и бесчувственны... Как будто все на месте, но... чего-то нет. Нет жизни! Она ушла с последним судорожным вздохом.

Взгляните на быстрое, резвящееся животное и лежащий рядом бездыханный труп, и вас сковывает опять та же цепкая мысль:—где разгадка тому, что в одних и тех же формах может воплощаться цветущая жизнь и бездыханная смерть?

С необыкновенной силой проблему контраста жизни и смерти сумел тавить Леонид Андреев в своем «Большом шлеме».

Вопрос жизни и смерти написан на челе человека с того момента, как илась пытливая человеческая мысль.

В разные времена и эпохи он получал различные решения, но в осе всех их лежит наблюдение, что жизнь уходит с последним тяжким или егченным вздохом. Наивная мудрость совершенного дикаря или философе системы древних культур на все лады вариировали мысль, что в мот смерти, с последним вздохом, из тела уходит дух, который оживлял). Связь между дыханием и животворящим началом—душой в предстаии народов—выражена в общем корне слов: дыхание, дух, душа.

Подобные представления нашли свое выражение еще 2.000 лет тому ід в учении китайцев о «кэ», в котором выражена мысль, что при дыми в тело человека и животных из воздуха проникает особая субстанция, рая и поддерживает жизнь. С последним вздохом она покидает тело, вляя его безжизненным.

В учении о «кэ» мы находим одну из первых попыток в стройной сие выразить представление о связи между жизнью и дыханием, осмыь необходимость для жизни воздуха, без которого жизнь быстро прецается.

Близкая по содержанию мысль выражена и в учении о «пнеймах». Отец медицины, Гиппократ, учил, что жизнь организма поддерживается благодаря особому тонкому материальному агенту — пнейме, которая проникает в него из воздуха при дыхании через легкие.

Знаменитый греческий анатом и врач учил, что существует три рода пнеймы: пнейма сфигмическая, пнейма психическая и пнейма физическая. Первая пребывает в сердце, вторая в мозгу и третья в печени. Пнеймы психическая и физическая восстанавливаются за счет пнеймы сфигмической, которая проникает в организм через легкие.

Сфигмическая пнейма обусловливает сердцебиение, пульс и образование теплоты в организме; психическая пнейма рождает мысль и чувствования, физическая же пнейма заведует питанием, ростом, развитием, секрецией и размножением.

Неудержная фантазия в учении греков о пнейме причудливо сплеталась с здравым наблюдением и выводом.

Галлен уже хорошо знал, какими путями в тело человека и животных попадала пнейма. Он знал строение дыхательных путей и легких и ставил первые опыты с мускулами, которые приводят в движение грудную клетку при дыхании. Более точные сведения о тонком строении легких, в которые попадает воздух при дыхании, могли быть получены, однако, лишь Мальпиги в 1661 году, уже после изобретения микроскопа.

Мальпиги показал, что легкие представляют собой совокупность мельчайших пузырьков, полости этих пузырьков открываются в мельчайшие канальцы, которые, сливаясь между собой, дают все более крупные трубки, вплоть до бронх, впадающих в трахею.

Легочные пузырьки оплетаются мельчайшими кровеносными сосудиками—капиллярами. Таким образом воздух, попадающий при вдохе в легкое, имеет огромнейшую площадь соприкосновения с легочной тканью, исключительно богато снабжаемой кровью.

К вопросу, что именно в воздухе, какая его часть необходима для поддержания жизни с здравым, красивым в своей простоте опытом подошел Майо (1649—1679).

Ему было известно из опытов Гука и Бойля, что животное быстро умирает, если оно будет лишено постоянного притока свежего воздуха. При том, если посадить мышь, воробья или даже рыбу, мух или червей под колпак насоса, то животные умирают задолго до того, как будет удален весь воздух. Птица умирала в опытах Бойля даже в том случае, когда ее просто сажали под стеклянный колпак, подобно тому, как под колпаком гаснет свеча.

Майо заинтересовался вопросом, в каком количестве содержится в воздухе то вещество, без которого невозможна жизнь. Он положил на тарелочку, подвешенную внутри стеклянного колпака, кусочек камфоры и смоченный серой трут и затем опустил колпак в сосуд с водой. При помощи стеклянной, изогнутой трубки он выпустил часть воздуха из - под колокола так чтобы вода под колоколом и в сосуде стояла на одном уровне. При по-

мощи зажигательного стекла он воспламенил трут и камфору. Через короткое время горение прекратилось, хотя камфора сгорела не вся. Когда воздух под колпаком, нагревшийся при горении камфоры, охладился, Майо убедился, что уровень воды под колпаком сделался выше, чем до опыта. Очевидно, часть воздуха при горении исчезла. Майо думал, что горение прекратилось потому, что под колпаком была использована вся горючая часть воздуха.

Для сравнения горения с дыханием он взамен камфоры и трута под колокол посадил мышь и опустил колокол в сосуд с водой, как в предыдущем опыте. Уровень воды стал под колпаком понемногу повышаться, и когда достиг известного уровня, мышь пала. Как и в опыте со свечей и с камфорой, под колоколом оставался еще большой запас воздуха. Очевидно, была использована лишь особая его часть, поддерживающая дыхание и жизнь.

Исследователь занялся вопросом,—не поддерживается ли и горение и жизнь одним и тем же веществом из воздуха. Для этого он под колокол поместил одновременно свечу и мышь. Уровень воды стал подыматься в колоколе значительно быстрее, чем в предыдущих опытах, но, вместе с тем, скорее погасла свеча и вскоре за ней пала мышь. Гибель мыши последовала, когда уровень воды остановился на высоте, подобной опыту с одной мышью, без свечи. Майо отсюда заключил, что свеча и мышь—горение и жизнь—являются конкурентами в потреблении одной и той же части воздуха. Горение и жизнь нуждаются в одном и том же газообразном веществе воздуха.

Для обоснования последнего вывода исследователь внес горящую свечу под колокол, в котором воздух был уже испорчен дыханием, и убедился, что в этом случае свеча погасла тотчас же. Мышь, очевидно, исчерпала для жизни находящийся под колпаком запас воздуха, необходимый для поддержания как жизни, так и горения.

Таинственная связь жизни с дыханием потеряла свою мистику в этих опытах. Из них было видно, что с дыханием в организм попадает нечто из воздуха, но это уже нечто поддерживает не только жизнь, но и мертвое пламя. Преждевременная смерть Майо оборвала этот ряд красивых опытов.

Закончил анализ этого вопроса Лавуазье (1780—1789).

Еще в 1757 году Блак установил, что выдыхаемый из легких воздух содержит «испорченный воздух», который образуется и при горении; другими словами, содержит угольную кислоту.

В точном опыте Лавуазье нашел тот же результат и сделал из него дальнейший вывод. «Я доказал,—говорит он в 1777 г.,—что чистый воздух, войдя в легкие, выходит из них в виде связанного воздуха. Следовательно, чистый воздух испытывает, проходя через легкие, превращение, подобное тому, какое он испытывает при горении угля; но так как при горении угля освобождается теплород, то и в легких в промежуток времени между вдохом и выдыхом должно выделяться тепло. Это есть то тепло, которое, распространяясь вместе с кровью по всему телу, поддерживает в последнем постоянную температуру около 32½° Р. Эта мысль может показаться слишком смелой, но, прежде чем осудить и отвергнуть ее, я просил бы принять во внимание, что

она опирается на два неоспоримых факта, именно на превращение воздуха в легких и на выделение тепла, которое сопровождает превращение чистого воздуха в связанный воздух».

Но лишь несколько позднее он замечательным опытом обосновал этот свой вывод.

В холодную зиму 1779 года Лавуазье совместно с математиком Лапласом построили двустенный сосуд. Между двух стенок этого сосуда помещался лед, а в сосуде производились химические реакции. Часть этих реакций сопровождалась отделением тепла, количество которого можно было учитывать измеряя количество образовавшейся из льда воды.

Сжигая в своем ящике-калориметре уголь, Лавуазье и Лаплас могли убедиться, что на каждую образовавшуюся при горении унцию угольной кислоты (CO_2) выделяется количество тепла, которое из льда образует 26,692 унции воды. Поместив в калориметр морскую свинку, исследователи нашли, что за 10 часов свинка выделила 224 доли угольной кислоты и выделила количество тепла, которое образовало из льда 10,5 унций воды.

Простым расчетом можно вычислить, что на 1 унцию угольной кислоты морская свинка образовала бы из льда 27,083 унции воды.

Количество воды, образовавшейся при горении угля на каждую унцию CO_2—26,692, и количество воды, образовавшейся на унцию CO_2 при дыхании—27,083, столь близко, что можно говорить об одной цифре (разница находится в пределах ошибки опыта).

В этом опыте Лавуазье и Лаплас справедливо видели отчетливое доказательство положению, которое они формулировали в следующих словах:— «Дыхание есть не что иное, как горение, хотя и медленное, но во всех отношениях сходное с горением угля» (1780 г.).

Позднее сам Лавуазье показал, что под чистым воздухом следует понимать кислород, под испорченным—угольную кислоту.

От наивного представления о «духе», фантастической системы китайцев о «кэ» и греков—о «пнейме» наука привела нас к газу-кислороду, который составляет $^1/_5$ окружающего нас воздуха и подлежит изучению физика и химика.

Таинственный жизненный процесс дыхания гением Лавуазье был исторгнут из рук колдунов, жрецов и философов и передан в ведение биолога физико-химика.

Лавуазье казалось совершенно естественным допустить, что медленный процесс горения, т.-е. соединение кислорода воздуха с веществом организма, совершается в самих легких, с их необыкновенно большой поверхностью. Однако после того, как Фогель и другие показали, что угольная кислота находится в венозной крови, а Гоффман и другие установили присутствие в артериальной крови кислорода, большинство ученых склонилось к мысли, что процесс медленного горения, или, как принято говорить в настоящее время,— окисления, совершается в крови.

Однако уже с 1878 г. рядом остроумных опытов Пфлюгер показал, что сгорание совершается не на поверхности легких и не в крови, а в самих

тканях организма — в мышцах, нервах и т. д. В справедливости этого положения можно убедиться на лягушках, у которых кровь искусственно заменена раствором поваренной соли. Подобные лягушки в продолжение долгого времени обнаруживают почти такой же высокий газообмен (т.-е. поглощение кислорода и выделение угольной кислоты), как и нормальные лягушки. Наконец, в том же можно убедиться на изолированных органах.—Отрезанные и обескровленные задние лапки лягушки поглощают кислород и выделяют угольную кислоту наподобие целого нормального животного.

Позднее Тумберг, Лёб, Варбург, автор этой статьи и др. показали, что поглощение кислорода и выделение угольной кислоты совершается и в изолированных тканевых клетках, так что в сложном организме сгорание совершается в пределах каждой клетки живой ткани. Варбург в серии продуманных опытов показал, что газовый обмен особенно энергично совершается на поверхности живой клетки, а еще до него Эрлих и другие установили, что оживленный газовый обмен совершается в ядре клетки.

Дальнейший шаг сделали Паладин и Костычев. Они убили живые растительные клетки низкой температурой и несмотря на то, в них можно было и после этого наблюдать газовый обмен (поглощение кислорода и выделение угольной кислоты).

Таким образом процесс, лежащий в основе дыхания, с которым связаны все остальные явления жизни, из области биологии уходит в область химии.

Оглядываясь на долгий путь научного исследования проблемы дыхания, которая столь тесно связана с проблемой жизни, мы видим, что из области беспочвенной фантазии (китайцы, Галлен), он ведет к анатомическому, затем микроскопическому исследованию (Мальпиги) и, наконец, выходит на дорогу физико-химического анализа (Майо, Лавуазье).

Процесс сгорания с поверхности легких переносится в кровь, из крови в ткани, из тканей в клетку. В клетке его локализируют на поверхности в ядре и протоплазме, и, наконец, проблема дыхания выносится за пределы живой клетки, за пределы биологии в область химии.

Таков неизбежный путь исследования всех деятельностей организма, которые в своей совокупности характеризуют жизнь.

II.

На-ряду с вопросом, как протекают жизненные явления, каковы их причины или условия течения, биологическая мысль ищет решения проблем и иного порядка. Среди последних человек неоднократно возвращается к вопросу:—каким образом, откуда возник существующий живой мир.

На этот вопрос пытались ответить религии всех времен и народов; посильное решение давали легенды и философские системы.

Образцом для многочисленных ответов может служить легенда о сотворении мира, которая записана под названием «Старого Завета» и принята официальными религиями современного культурного человечества.

Из нее следует, что мир создан в 6 дней.

Легенда ясно формулирует мысль, что от момента своего создания и доныне лик земли сохраняет приданный ей от сотворения образ.

Заключение это, облеченное в религиозную догму, было общепризнано веками.

Крупнейший ученый XVIII века Линней, взявший на себя колоссальный труд свести в единую систему все существующее разнообразие животных и растительных форм и осуществивший это задание в своих знаменитых «Systema Naturae», принимает легенду Старого Завета, как неоспоримый факт. Все чарующее разнообразие форм и красок растительного и животного мира он мыслит себе созданным творческой волей бога-творца,—каждого вида по особому плану.

Лишь в 1801 году французский исследователь де-Ламарк в своем большом исследовании—«Организация живых тел» с сомнением останавливается на выраженной Линнеем мысли, что каждый вид животных и растений создан по особому плану, что между существующими ныне животными и растительными формами не существует переходов. Изучая тогда еще мало исследованную группу беспозвоночных животных, он находит, что нет возможности во всех случаях провести резкую границу между одним видом животных и другими.

В его представлении между существующими видами можно видеть разнообразные переходы.

А в 1801 году в своей «Философии зоологии» Ламарк уже пытается обосновать мысль, что одни формы животных могут произойти от других форм животных, что тот же вывод следует распространить и на растения. Превращение одних форм животных в другие, по мнению Ламарка, может последовать как под влиянием изменившихся климатических условий, так и в силу активного приспособления животного к условиям обитания. В представлении Ламарка жираффы и лебедь, вытягивая шею для добывания ветвей на высоких деревьях или ила со дна водоема, удлиняют свою шею и передают приобретенный таким образом признак по наследству.

Сильное научное воображение Ламарка, однако, не было подкреплено достаточно строгой аргументацией, а слабые фантастические места с жираффом делали слабым и то, что было безусловно сильным.

Аргументацию эволюционной идее дал Чарльз Дарвин в 1859 г. Он ответил на вопрос, почему мог и должен был изменяться живой мир.

Взгляните на все разнообразие пород прирученных домашних животных: голубей, кур, собак, быков, баранов, козлов, лошадей и т. д. Все они произошли, очевидно, от одного или, во всяком случае, от двух, трех диких видов, но ведь иная из пород по совокупности своих признаков смело может быть сочтена за особый вид. А все изумительное разнообразие садовых растений. Они ведь тоже получены из относительно немногих диких видов, путем умелого отбора сильно уклоняющихся по своему строению форм.

Изменчивость животных и растительных форм является основным свойством любого вида. Путем вмешательства человеческой воли можно

искусственным отбором измененных форм в сравнительно короткий срок достигнуть образования новых пород и видов. В природе образование новых форм и видов идет значительно медленнее в силу того, что там нет постоянного вмешательства разумной воли человека, нет столь планомерного подбора как в саду или на животноводственной ферме; нет садовника или животновода, которые бы предупреждали скрещивание измененных с неизмененными формами, вследствие чего соблюдается возврат к средней типичной форме.

Но ошибочно бы было думать, что в природе совсем нет отбора, который приводил бы к образованию новых форм. Отбор безусловно есть, отбор естественный. Это отбор приспособленного, который получается в силу гибели огромного количества неприспособленных. Он действует медленно, но неуклонно. Войдите в лес и вы увидите, какое огромное количество деревьев гибнет без света, влаги и пищи в силу подавляющей конкуренции более сильных, окрепших соседей. Таким путем из множества молодых побегов сохраняются лишь немногие, более сильные и приспособленные.

Что лик земли меняется в течение веков, можно видеть и из того, что в разные периоды жизни земли ее заселяли различные формы животных и растений, о чем свидетельствуют ископаемые остатки.

В основе рассуждений Дарвина лежала мысль, что животные и растительные формы склонны к изменчивости, и что изменившиеся существа способны свои даже незначительные изменения передать по наследству своему потомству.

Изменчивость и наследственность приобретенных признаков Дарвин считал само собою разумеющимся явлением; центр же своей могучей аргументации он перенес на «садовника» природы—на естественный отбор.

Однако вскоре, там, где Дарвин мог и счел возможным ограничиться лишь наблюдением и логическими рассуждениями и допущениями, последовал кропотливый анализ.

Кетлэ в 1871 году опубликовал работу, в которой пытается беспорядочные на первый взгляд явления изменчивости выразить в простых количественных закономерностях.

Кэтлэ прежде всего остановил свое внимание на таком признаке, как рост человека; измеряя рост 26.000 новобранцев в Соединенных Штатах, он подразделил их по росту на 16 классов или групп, начиная с наименьшего в 60 английских дюймов и несколько ниже и кончая ростом в 75 англ. дм. и несколько выше. Затем он рассчитал, какое количество человек приходится на каждый класс. Результаты этого подсчета сведены в таблицу. В ней, во второй графе, указано не все количество солдат, приходящихся на каждый класс, а из расчета на 1.000 человек.

Рост в дюймах	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Число солдат на 1000 . .	2	2	20	48	75	117	134	157	140	121	80	57	26	13	5	3

Результаты подсчета, сведенные в таблицу, с очевидностью показывают, что наибольшее количество солдат приходится на средний рост — 67. По мере же отклонения в сторону возрастания или убыли роста, число солдат на каждый класс падает. Наименьшее количество солдат приходится на минимальный (всего лишь 2) и на максимальный рост (3 солдата).

Другими словами, можно видеть некоторую закономерность в распределении особей по классам. Закономерность эта легко и отчетливо выступает, если цифры переведем на графики.

Если на оси абсцисс отложим рост солдат в дюймах (классы роста), а на оси ординат число солдат, приходящееся на каждый класс, и соединим точки пересечения перпендикуляров, восстановленных из отмеченных на осях координат точек, то получим кривую, равномерно спадающую справа и слева. Вершина ее отвечает среднему классу. Подобная кривая получила название вариационной кривой. Она может быть охарактеризована средней величиной вариации, которая часто совпадает с вершиной кривой, и отклонением от средней величины.

Подобному статистическому исследованию можно подвергнуть вариацию любого признака, поддающегося количественной характеристике.

С особенной полнотой количественное статистическое изучение изменчивости было проведено Гальтоном. Для нас, однако, интересны не самые закономерности в явлениях изменчивости, а попытка использовать их для проверки явлений наследования, без которых трудно себе мыслить эволюцию. Эту попытку прежде всего сделал Гальтон. Особенно демонстративны его исследования на душистом горошке, на котором он учитывал диаметр семян, последний колебался от 0,15 до 0,21 английского дюйма. Все семена в отношении этого признака были разбиты на 7 классов: 0,15—0,16—0,17—0,18—0,19—0,20—0,21.

Средний класс—0,18.

Если выразим средний класс (0,18) для удобства расчета через 100, все классы получат следующее значение: 83—89—94—100—106—111—117.

Семена каждого класса были высеяны отдельно. С выросших из них растений были вновь собраны семена и для каждой дочерней группы отдельно были измерены диаметры семян и вычислена их средняя величина.

Сличение размеров родительских семян со средней величиной дочерних семян для каждой группы в отдельности позволяет видеть, в какой мере наследуются потомством признаки их родителей.

Величина материнских семян.	Средняя величина семян у их потомства.
83	94
89	98
94	96
100	100
106	98
111	106
117	107

Для удобства приведенную таблицу можно заменить другой, в этой второй таблице указана лишь степень отклонения от средней величины.

Степень отклонения от средней вел. у матер. семян.	Отклонение средн. вел. семян у их потомства.
— 17	— 6
— 11	— 2
— 6	— 4
0	0
+ 6	— 2
+ 11	+ 6
+ 17	+ 7

Если бы вариационное отклонение от средней величины не наследовалось, то потомство любого материнского класса (от 83 до 117) должно было бы иметь среднюю величину, подобную средней величине материнских семян, т.-е. 100.

Если бы вариационное отклонение от средней величины наследовалось полностью, то потомство каждого класса должно было бы среднюю величину иметь подобной классу родителей, т.-е. потомство первого класса должно было бы иметь среднюю велич.—83, второго—89 и т. д. Таблица 2-я показывает, что отклонение от средней величины наследуется потомством, но не полностью.

На основании ряда исследований на различных животных и растительных об'ектах Гальтон формулировал закон регрессии или возврата, который гласит, что если родительские особи обладают отклонением от нормы, то часто последняя наследуется, другая же часть исчезает (возврат к средней величине). Должно быть совершенно очевидным, какое веское обоснование нашли взгляды Дарвина о возможности передачи по наследству незначительных изменений в количественных расчетах Гальтона.

Однако необходимо помнить, что статистические методы обладают большой остротой лишь в том случае, когда они оперируют с по возможности однородным материалом.

Датский биолог Иогансен подверг сомнению чистоту Гальтонова материала. Последний оперировал со случайными семенами неизвестного происхождения и, во всяком случае, неизвестной наследственной потенции. Внешнее же сходство ни в коем случае не может быть показателем однородности наследственных качеств. Возьму простейший пример: при скрещивании расы гороха с желтыми семенами с расой, у которой зеленые семена, в первом поколении образуются растения с желтыми семенами.

При внешней оценке семена этого первого поколения пришлось бы соединить с желтыми семенами одного из родителей. Однако, несмотря на свое внешнее сходство, желтые семена родительской расы и дочерней значительно разнятся по своей наследственной потенции, что легко обнаружить при их разведении путем самоопыления. Первые будут производить лишь желтые семена, вторые же на каждые три желтых будут давать одно зеленое.

Иогансен для проверки выводов Гальтона остановился на фасоли, которая представляет ряд удобств для подобного рода опытов..

Основной задачей Иогансена было избежать неоднородности материала, которая совершенно очевидно имела место в опытах Гальтона. Чтобы избежать подобной неоднородности в смысле наследственных задатков, Иогансен решил остановиться на потомстве лишь одной особи, при чем на потомстве, полученном путем самоопыления.

Потомство подобной самооплодотворяющейся особи Иогансен назвал чистой линией. Иогансен собрал с ряда растений, полученных путем самоопыления, семена и подверг их статистическому обследованию по признаку их веса, в пределах каждой чистой линии отдельно.

Каждая чистая линия показывала свою вариационную кривую со своим максимумом, минимумом и своей средней величиной.

Результаты могут быть переданы в форме следующей таблички:

Вес семян фасоли в сантиграммах.

ЛИНИЯ.	Наименьший.	Средний.	Наибольший.
A	35	64,2	90
B	25	55,8	85
C	35	55,4	80
D	25	54,8	75
E	25	51,2	70
F	25	48,2	75
G	20	46,5	80
H	20	45,5	65
I	15	45,4	65
J	20	45,0	65
K	20	44,6	70
L	20	42,8	65
M	10	40,8	65
N	10	35,1	50
O	25	45,3	70
P	20	49,2	65
Q	25	45,5	60
R	20	48,9	65
S	30	50,6	65
Весь материал	10	47,9	90

Когда Иогансен отбирал класс низкого значения из всего населени т.-е. из всего материала, он мог наблюдать, что потомство подобного класс (напр., с весом в 10 сгр.) частично наследовало отклонение от средней в

личины (47,9), что находилось в полном согласии с опытными данными и выводами Гальтона.

Если же Иогансен отбирал и высеивал какой-либо класс в пределах той или другой чистой линии, даже класс с максимальным отклонением от средней величины, напр., 1-ый класс из линии А с весом в 35 сгр., или последний класс с весом в 90 сгр., то он всегда без исключения наблюдал, что потомство этих уклоняющихся особей имело среднюю величину, подобную средней величине родительского вариационного ряда, т.-е. в линии А—вес в 64,2 сгр. В пределах любой чистой линии получался тот же результат. Так, например, в линии N любой класс, даже с весом в 10 сгр., давал потомство, средняя величина которого была около 40,8. Т.-е., другими словами, отбор в пределах наследственно однородного материала, в пределах чистых линий, не может повести или способствовать образованию новых типов организации, так как вариационные отклонения оказываются не наследственными. Даже у крайних отклонений наблюдается полный возврат к типичной для этой линии средней величине.

Однако возникает вопрос, как об'яснить различие в результатах опытов над чистой линией и всем населением. Почему в одном случае наследования нет, в то время, как в другом случае оно, как будто, есть. Иогансен раз'яснил это кажущееся противоречие. По Иогансену, отбор в случае работы со смешанным материалом ведет к тому, что экспериментатор отбирает некоторые из чистых линий, входящих в состав населения. Так, например, если из общего населения фасоли исследователь отбирает для посева семена с весом в 10 сгр., то он фактически выбирал из общей массы семена лишь двух чистых линий—N и О. Средняя первой из них—40,8, второй—35,1, т.-е. ниже, чем средняя всего населения — 47, 9.

Создается представление, что наследуется отклонение, когда в действительности произошел лишь отбор линии с меньшей средней вариацией.

Естественно, что при подобном понимании результатов Гальтона и собственных исследований Иогансена можно было ожидать, что отбор в пределах сложного населения должен иметь свой недалекий предел, после которого никакой отбор не может дать наследования уклона. Предел этот должен наступить тогда, когда будут отобраны особи чистой линии с наименьшей или с наибольшей средней вариацией. В опытах со всем «населением» Иогансен убедился, что эти ожидания оправдались и на опыте.

Действительный в первых поколениях отбор привел к выделению семян, которые при дальнейшем разведении перестали обнаруживать наследование отклонений от средней вариации.

Из своих остроумных и продуманных исследований Иогансен делает вывод: «Подбор только отбирает представителей существующих типов; эти типы отнюдь не создаются им постепенно — они лишь отыскиваются и изолируются».

Эволюция, очевидно, осуществляется не наследованием варьирующих признаков, а наследованием внезапных скачкообразных изменений.

III.

Человеческую мысль тревожит не только вопрос о жизни и смерти или о происхождении мира с его земным растительным покровом, причудливым животным населением и самим человеком. С неменьшей требовательностью заявляет о себе проблема развития каждого индивидуума в отдельности. Откуда и какими путями и силами возникает хотя бы человек в утробе матери. Из каких вначале невидимых элементов он слагается и создаются его органы. Какие силы создают из икринки лягушки головастика, а затем превращают его в бесхвостую взрослую особь.

Аристотель полагал, что гусеницы возникают при гниении садовой земли или растений под влиянием росы, а угри — путем гниения тины рек. В библии есть рассказ о возникновении пчел из трупа льва, а Вергилий повествует о рождении роя пчел из внутренностей павшего быка. Знаменитый алхимик XVI века ван-Гельмонт дает рецепт получения мышей в сосуде с зерном и грязными тряпками.

Еще в 1687 г. в сочинении «Micrographia curiosa» фон-Ахен дает изображение лягушки, созданной из майской росы.

Широко распространена была уверенность, что черви возникают из гнилого мяса, а мыши из грязного белья.

Современник Петра великого св. Дмитрий Ростовский писал: «В корабле Ноевом не бяху також де та животна, якоже от земныя влаги, от блата и согнития родятся, якоже, мыши, жабы, скорпии и прочая пресмыкающаяся по земли; и черви различныи, жуки же и хрустие и пруци; и яже от росы небесныя зачинаются комары и мшицы и иная тем подобная, та вся потопом погибоша и паки по потопе от таковых же веществ родишася».

В половине XVII века итальянский ученый Реди поставил простой опыт. Он прикрывал мясо в сосудах тонкой кисеей и убедился, что в этом случае никогда в мясе не заводились черви, хотя мясо и загнивало. Если же мясо оставалось неприкрытым кисеей, на него садились мухи и откладывали белые яички, из которых и выводились черви.

Несколько позднее Валиснери и Сваммердам столь же простыми и убедительными опытами показали, что нет никаких оснований утверждать, будто самопроизвольно из гниющей листвы, коры, земли или иного сора могут возникать насекомые.

Опытами итальянских ученых вера в возможность самозарождения сложных животных была разрушена.

На-ряду с этим уже в седые времена древних веков от наблюдательных глаз не ускользало, что молодь многих животных образуется из отложенных самкой яиц, которые нередко называются икрой. Из икринок яиц развиваются лягушки, рыбы, змеи, черепахи, птицы, муравьи, пчелы, мухи, черви и т. д. и т. д. У одних, как напр. у птиц, яйца велики, у других же, как например у насекомых, они мелки, но в существе происхождение животных несет следы общности.

Когда в XVII веке было выяснено, что и у четвероногих животных, как лошадь, корова, собака, кошка и т. д. и даже у человека, зародыши развиваются из яичек, которые только не откладываются наружу, а задерживаются в утробе матери, где и развивается плод, в науке окончательно утвердилась мысль: Omne vivum ex ovo, т.-е. все живое от яйца.

Однако в связи с этим выводом неизбежно возникли два недоуменных вопроса.

Первый из них — как из яйца или икринки, от круглого комочка слизи, может возникнуть сложно организованное животное; второй — к чему же сводится участие самца, который необходим для зарождения, если яйца образует самка.

На. первый вопрос ответ был найден. — Готовы были думать, что уже в яйцеклетке заключается маленькое сложно построенное существо, которое во время развития лишь растет. Бонье логически, развивая эту идею, должен был притти к выводу, что у праматери Евы было заложено в микроскопической форме все существовавшее после нее и ныне существующее человечество.

Большое затруднение возникло в связи с вопросами об участии самца.

В конце XVII века ответ казалось был найден. В 1677 году голландский студент Гамм, рассматривая в изобретенный незадолго перед тем микроскоп мужскую половую слизь, нашел в ней массу оживленно копошащихся телец с длинными хвостиками. Другой ученый Горштекер вскоре опубликовал, что он разглядел в каждом из этих телец образ маленького человечка с огромной головой, со сложенными на груди ручками, поджатыми ножками и длинным хвостиком. Казалось ясным, что животное может развиваться из яйца или икринки, которые образуются у самки после того, как в нее проникает образующийся у самца микроскопический зародыш.

Вскоре, однако, сделалось очевидным, что человеческие формы у подвижных существ из мужской половой слизи являются плодом горячей фантазиии Горштекера, принявшего «чаемое и ожидаемое за сущее». В хорошие микроскопы было видно, что ничего общего нет в организации этих подвижных телец со строением взрослого организма.

В связи с этим часть ученых готова была считать открытые в половой слизи тельца за случайно туда попавших паразитов, подобных инфузориям.

В 1780 г. ученый итальянский аббат Спалланцани получил искусственным путем у самца собаки половую слизь, отделил при помощи тонкой густой кисеи жидкую часть половой слизи от подвижных телец и ввел при помощи шприца одной собаке во влагалище только жидкую часть половой слизи самца, другой же подвижные тельца.

Первая собака осталась бесплодной, вторая же, получившая подвижные тельца, забеременела и принесла 3 здоровых щенят. Смелый опыт Спалланцани решил вопрос. Подвижные тельца из мужской половой слизи (сперматозоиды) необходимы для оплодотворения. Без них развитие плода невозможно.

«Я не могу оторвать своего умственного взора, полного изумления, когда думаю о будущем, которое предстоит тому, что мною открыто и здесь описано» — говорит по поводу своего опыта Спалланцани.

Лишь в 1875 году Оскар Гертвиг непосредственно под микроскопом увидел слияние сперматозоида с яйцом морского ежа, за чем последовало развитие зародыша из такого оплодотворенного яйца.

В 1886 г. случайным опытом Тихомиров и в конце XIX и в начале XX века Леб, Делаж и другие планомерными опытами показали, что сперматозоид может быть заменен химическим реактивом: поваренной солью, масличной кислотой и тому подобными веществами. Яйцеклетка, предварительно не слившаяся со сперматозоидом, может начать развитие в зародыше, под влиянием этих химических веществ.

С таинственного, казалось, специфически жизненного процесса оплодотворения (слияния яйцеклетки со сперматозоидом), таким образом сорван полог мистики и столь же удачно, как и во многих других областях жизни, применен тонкий и точный анализ физико-химии.

Загадка оплодотворения получила почти что исчерпывающий ответ. Но осталась еще загадка развития зародыша из оплодотворенной яйцеклетки. Она стоит перед нами во весь свой рост до настоящего времени.

Бер показал, что представление, будто в яйцеклетке уже заложены будущие формы живого существа, не имеет никакой почвы под ногами. Бонье похоронил себя под тяжестью своей логики и Евы, носящей в своей утробе все произошедшее от нее человечество.

Всякая яйцеклетка представляет собою по внешнему виду несравненно проще построенную форму жизни, чем взрослое животное.

Органы возникают заново из почти однородной коллоидной среды.

Здесь расположены главные позиции современной биологии. Здесь же нашли убежище последние остатки еще воинствующего, но уже выродившегося витализма.

Твердая поступь научного анализа и здесь, однако, уже сделала свое дело.

Мы не знаем с исчерпывающей полнотой те силы, которые определяют развитие животного из яйцеклетки, но мы уже частично научились управлять этим развитием, ускоряя или замедляя его, или хотя бы превращая формы самца в формы самки и обратно.

Штейнаху удалось достигнуть превращения признаков пола у морских свинок и крыс, нам у кур

IV.

Выше мы остановились на трех основных потоках биологического исследования; один из них ведет к познанию функций живого организма, второй вскрывает пружины и пути развития жизни на земле, третий дает представление о причинах изменения форм и функций в процессе индивидуального развития.

Есть, однако, еще одна область биологических явлений, которую нельзя обойти молчанием. Я имею в виду сферу так называемой психической жизни. Ее исстари противопоставляют тем явлениям, которые были предметом рассмотрения на предшествующих страницах. И нас не может поражать подобное противоположение.

Когда мы наблюдаем дыхание организма или иную его функцию, когда изучаем последовательные стадии в индивидуальном развитии или в процессе образования пород домашних животных и видов, мы пользуемся впечатлениями, достигающими нашего сознания через глаз, ухо, тонко чувствующую кожу, орган обоняния или орган вкуса; другими словами, мы оперируем с впечатлениями, полученными через посредство наших внешних органов чувств.

Но на-ряду с этим миром впечатлений, черпаемых извне, мы каким-то особым путем, без участия органов чувств, особым «внутренним оком» сознаем себя. Пути познания себя без посредства органов чувств—совершенно особенные пути и совершенно не похожи на пути познания мира внешнего.

Замечательно, однако, то, что каждого из нас интересует не только своя собственная психическая жизнь, познаваемая через самонаблюдение. Мы имеем смелость утверждать, что подобная же психическая жизнь присуща и другим живым существам из внешнего мира.

Наблюдая Ивана Ивановича или Петра Петровича, я вижу лишь их физическую оболочку; я в состоянии, пользуясь своими органами чувств, изучить их строение, функции их органов и изменение последних в течение их индивидуальной жизни. Их же психическую жизнь я не могу не видеть, не слышать, не осязать. И, однако, я уверен, что она им присуща.

Уверенность эта покоится на заключении по аналогии. Он организован так, как и я, следовательно ему присуще то, что и мне.

Этот путь познания психической жизни по аналогии, казалось бы, совсем иной, чем путь непосредственного познания физических явлений окружающего мира при помощи органов чувств.

В пределах изучения человека путь этот шаток, но законен, так как мы хорошо знаем, что в сходных условиях процессы протекают сходно; поскольку один человек похож на другого, постольку мы вправе ожидать, что сходна в них и психическая жизнь.

Путь этот—заключения по аналогии—становится совсем опасным, когда мы переходим к изучению жизни животных. Иная организация собаки дает полное основание ожидать, что ей присущи иные формы психической жизни, но об их природе мы лишены оснований судить по аналогии с собой.

Последнего затруднения не знали древние века и мало культурный человек настоящего времени. По аналогии с собою человек щедро награждал душами не только живые, но и мертвые предметы и приписывал им человечьи черты, мысли, желания и чувства.

Однако и на путях изучения поведения животных, за которым как бы скрывается психическая жизнь, биологическое исследование неуклонно и с успехом двигается от наивного наблюдения и спекуляции к точному наблюдению, и от последнего к Гетевским «винту и рычагу», т.-е. к опыту.

Русский физиолог И. Павлов, изучая деятельность пищеварительных желез и среди последних, между прочим, слюнную железу, прибегал к следующему методу. Он хирургическим путем выводил проток слюнной железы наружу, на щеке. Когда собаку кормили, отделялся секрет слюнной железы, но попадал он не в рот, а наружу. По тонкой трубочке его можно было собирать в пробирку.

Отделение слюны при кормлении носит в физиологии название рефлекса. Вкусовое раздражение с языка по чувствующему нерву передается в центральную нервную систему, а оттуда по центральному нерву передается возбуждение в слюнную железу, которая и возбуждается к деятельности. Система же, состоящая из воспринимающего раздражение органа чувства, нерва, нервного центра, центробежного нерва и действующего органа получила название рефлекторной дуги.

Павлов в течение своей работы мог убедиться, что в иных случаях отделение слюны может последовать и без подкармливания. Например, уже при появлении кормящего лица, у собаки начинается секреция. На первый взгляд секреция беспредметная, в отсутствии первого звена рефлекторной дуги, подобно тому, как в памяти может возникнуть знакомый образ, хотя он и не действует в настоящую минуту на глаз.

При ближайшем рассмотрении вопроса, однако, оказывается, что отделение слюны у собаки совершается не случайно и не без первого звена рефлекторной дуги. Отделение слюны совершается при появлении кормящего лица и лишь после того, как это лицо предварительно многократно кормило эту собаку.

Выходит так, как будто зрительное впечатление от кормящего лица может заменить в известных условиях вкусовое раздражение с языка. И это только в том случае, если подкармливание продолжительное время перед тем сопровождается (или сочетается) соответственным раздражением, скажем, глаза.

Отделение слюны после вкусового раздражения языка следует у животного с момента его рождения. Это прирожденный рефлекс. Павлов его назвал безусловным рефлексом. Агент, вызывающий раздражение вкусовых органов языка, напр., мясо, может быть назван соответственно этому безусловным раздражителем. Тот же раздражитель, который после многократного сочетания (одновременного действия) с безусловным раздражителем, может затем его заменять, назван Павловым условным раздражителем. Весь же рефлекс в целом, когда первым звеном его является не безусловный (мясо), а условный раздражатель (образ кормящего лица), получил название условного рефлекса.

Многолетними систематическими исследованиями Павлов со своими многочисленными сотрудниками показал, что безусловный раздражитель может быть заменен разнообразнейшими условными раздражителями. При многократном кормлении собаки в сопровождении звука определенной высоты, или света определенной окраски (напр., красного) или почесывания спины в определенном месте, или даже нанесения раны в одной и той же

области, можно позднее вызывать слюноотделение без кормления, только заставляя звучать камертон, почесывая спину или нанося рану.

Этот-то загадочный и чудесный механизм Павлов и предлагает использовать для точного научного физиологического исследования психической жизни животных и их поведения.

Допустим—у нас возникает вопрос, в состоянии ли собака различать звуковые тона различной высоты. Например, может ли она отличить до от ре, или ми от ля.

Путь старой зоопсихологии, больной антропоморфизмом, идущей путем аналогии с человеком, бессилен дать ответ. Метод Павлова дает возможность ответить на этот вопрос.

Во время подкармливания собаки в течение некоторого времени подают звук определенной высоты, скажем—до. Позже этот звук—до—будет вызывать отделение слюны без подкармливания. Возникает вопрос, будет ли совершаться слюноотделение, если взамен до мы поддадим тон ре.—Ре не может заменить до. Собака различает эти тона. Тот же метод мы можем применить к анализу вопроса, отличает ли животное красный цвет от зеленого или один запах от другого и т. д.

Павлов ставит предметы на свои места. Нам доступно лишь поведение животных, слагающееся из простых и сложных рефлекторных актов. Их можем мы учитывать при помощи наших органов чувств, показаниями которых пользуется естествознание.

Применение в зоопсихологии понятий, выработанных на человеке в процессе самонаблюдения, по меньшей степени, рискованно с научной точки зрения и мало производительно.

Необходим по возможности строго-об'ективный физиологический учет поведения животных. Последний же учит нас тому, что животное представляет собою чудесной сложности механизм, в котором нет места душе и воле, как нет им места и в пределах человека.

Мы набросали пути, по которым развертывается научная биологическая мысль на протяжении веков. Если внимательно всмотритесь в эти пути, вы заметите:—какую бы область знания мы ни взяли, человеческая мысль, вначале опираясь на наивное наблюдение, бьется в тенетах мистики и фантазии, затем переходит к строгому наблюдению и наконец к точному научному опыту. Вот почему историю знания можно выразить кратко формулой: от фантазии и умозрения к строгому наблюдению; от наблюдения к опыту; от формы к функции; от внешних проявлений к глубокому физико-химическому и математическому анализу; от мистики и предубеждений наивного витализма к строгому анализу последовательного механистического толкования. И повсюду от качества к количеству. Мы можем смело сказать, что современная биология развивается под знаком цифры и эксперимента. «Винтом или рычагом» человек стремится исторгнуть ответ из живых и мертвых вещей.

Стройная картина развития биологической мысли, которую я пытался набросать на этой лекции, есть лишь схема,—костяк истории, продемонстри-

рованный на четырех основных потоках биологического исследования. Их можно видеть с птичьего полета в смелой исторической перспективе.

Живая жизнь нередко, или даже всегда, выглядит иначе. Когда мы подходим вплотную к исследованию какой-либо проблемы, спускаемся в гущу научной мысли, входим в лабораторию текущей работы, мы далеко не всегда находим стройные формы исследования, ясную формулировку проблемы, ясный взор в будущее.

Гораздо чаще кристаллическая форма достигается лишь в результате многочисленных исканий, неудачных попыток, случайных счастливых открытий.

Это работа ощупью, впотьмах.

Но не следует забывать, что лишь тот, кто работает с открытыми глазами и во тьме, может использовать внезапный блеск открытого факта или метода, чтобы из рассеянных, разрозненных частей построить целое.

Англия и признание С. С. С. Р. [1]).

М. Павлович.

I. Поражение консерваторов и кабинет Макдональда.

На декабрьских выборах 1923 года консерваторы, боровшиеся против ризнания Советской России, ведшие вызывающую политику против рабоче-рестьянского правительства. потерпели решительное поражение. Надежды ремьер-министра Болдуина на то, что быстрые выборы дадут ему победу развяжут ему руки как во внешней, так и во внутренней политике, рухли. После поражения консерваторов кабинет Болдуина должен был выйти отставку, и 24 января в Англии образовалось новое правительство, сформированное рабочей партией с членом II Интернационала, Макдональдом, к премьером, во главе. Уже на другой день после того, как выяснились зультаты выборов и поражения консерваторов, вся европейская пресса говорила о неизбежности признания де-юре Советской России Англией результате усиления влияния английского рабочего класса на внутрен-ю и внешнюю политику страны.

Десять дней колебалось английское правительство. сформированное ональдом, между противоположными влияниями и, наконец, решилось лелый шаг. То, с чем боролся до последнего издыхания лорд Керзон, что залось либералу Ллойд-Джорджу, выполнило правительство, выдвинутое ими, и выполнило под прямым давлением рабочих Англии.

Вместе с тем нельзя не отметить, что на декабрьских выборах контоpы получили 254 места (19 новых мандатов, 9 потерь), либералы— места (80 выигрышей, 35 потерь), рабочая партия — 190 мест ыигрыша, 15 потерь). Все города, за исключением Бирмингама, голошие на ноябрьских выборах 1922 г. за консерваторов, на этот раз овали против последних. Даже в таких традиционно-консервативных ах, как, например, Ливерпуле, крупная победа выпала на долю как лиов, так и рабочей партии.

Единственный город, оставшийся верным консерорам, это — Бирмингам, важнейший центр тяжелой

[1]) Статья представляет главу из подготовляемой к печати брошюры «Вопрос об . Р. в английской внешней политике», выходящей в издании Всер. Н. Асс. Востокоі.

промышленности, населенный наиболее привилегированным слоем пролетариата. Консерваторы рассчитывали сбалансировать свои голоса с помощью сельско-хозяйственных округов, но им и здесь не повезло: хотя либералы не добились почти никакого успеха в сельско-хозяйственных округах, однако, консерваторы встретились здесь с новым могущественным конкурентом—рабочей партией, которая провела там целый ряд своих кандидатов.

Как бы то ни было и на выборах 1923 г. консерваторы оставались самой сильной партией как по числу поданных за них голосов (5.162.000 голосов поданных за консерваторов против 4.435.000 голосов за рабочую партию вместе с коммунистами и 4.009.000 голосов за либералов), так и по числу мест в палате общин: 254 места против 190 мандатов рабочей партии и 152 мандата либеральной. Таким образом очевидно, что сформирование кабинета Макдональда и самый факт признания де-юре Советской России явился не в малой мере результатом тактики либералов, отказавшихся поддержать консерваторов. В отношении к России английских консерваторов, с одной стороны, английских либералов, с другой — проявляются две различные линии английской буржуазной политики.

2. Две концепции мировой политики.

В международной политике современных капиталистических держав борются, начиная с обнаружившегося уже давно банкротства Версальского мира, две концепции. Одна — хозяйственная концепция буржуазного большинства Англии, деловых кругов Италии и, начиная с конца 1922 г., влиятельных кругов французской буржуазии, заключается в признании той аксиомы, что экономический кризис, безработица, свирепствующие во всем мире и обостряющиеся с каждым днем, могут быть ослаблены лишь экономическим сотрудничеством между всеми европейскими странами и включением Советской России и побежденной Германии в европейский концерт.

Другая, чисто милитарная концепция французской военщины и реакционной буржуазии, держащей в своих руках бразды правления в III республике, заключается в идее необходимости в интересах использования Версальского договора и извлечения всех плодов из победы над Германией образования в Европе нового вооруженного лагеря под гегемонией Франции, включающего в свой состав, кроме последней, малую Антанту, Польшу, Финляндию, Румынию и, в случае свержения Советской власти, новую Россию, которая явится на место рабоче-крестьянского государства. Только этот новый союз обеспечит надолго, по планам французских империалистов, гегемонию Франции в Европе, улучшит экономическое положение III республики, сделает невозможным возрождение Германии, превратив последнюю в раба Франции, и одновременно даст силы последней для борьбы в ближайшем будущем с ее новым наследственным врагом. Великобританией, дипломатия которой, как выразился лорд Керзон

в своей речи от 7 февраля, ставит своей главной задачей недопущение образования в Европе снова, как это было перед войной 1914 года, двух вооруженных лагерей.

Между тем фактически осуществление французской концепции повело бы к образованию на континенте Европы одного вооруженного лагеря, находящегося под командованием французского генералитета,—лагеря, который господствовал бы над остальной, обезоруженной, связанной по рукам и ногам Европой, как над порабощенной областью, как над африканской колонией.

Аналогичная милитарная концепция разделяется и крайними английскими империалистами группы Керзона, которые не прочь были бы втянуть в орбиту великобританского влияния все эти малые державы: Польшу, Румынию, Латвию, Юго-Славию и т. д. и таким образом если не утвердить английскую гегемонию в Европе, то во всяком случае ослабить господство Франции на европейском континенте. И надо признать, что за последнее время Англии действительно удалось усилить свое политическое и экономическое влияние в целом ряде стран Европы за счет Франции. Но не в европейской политике лежит центр тяжести империалистических устремлений группы Керзона. Группа эта опирается прежде всего на представителей тяжелой индустрии, равно как промышленного и финансового капитала в колониальных предприятиях и вообще в заокеанских странах. Мы видели уже выше, что на декабрьских выборах, когда консерваторы потерпели поражение во всех городах Англии, только один Бирмингам, город железа и стали, столица металлургической Великобритании, остался верен партии милитаризма и захватнической внешней политики.

Естественно, что британские финансисты, купцы и промышленники, ведущие дела с Индией, Цейлоном, Малайским Архипелагом, Западной и Восточной Африкой, Китаем, поддерживали Керзона и более интересовались вопросом об укреплении Сингапура, чем о Руре, восстановлении Германии, признании Советской России и т. п.

Как формулировал тов. «Не-дипломат» в статье, напечатанной в «Известиях» (1 августа 1923 г.):

«Изменение, которое Керзон вносит в политику Биконсфильда, состоит в том, что эта восточная комбинация связана с отказом от попыток восстановления Центральной Европы.

«Идеи, содержащиеся в практических шагах Керзона, с одной стороны, и Болдуина, с другой — скрывают за собой интересы двух различных групп английского капитализма. За Болдуином стоит торговый и промышленный капитал, который не хочет терять европейских рынков, который считает, что рынки английской империи недостаточны, что китайский и южно-американский рынки, являющиеся об'ектом борьбы английского, американского и японского капитализма, также не смогут заменить европейских рынков; Керзон же представляет политику рантье, помещиков и отчасти промышленности, которая работает для колоний. К этим группам примкнули те представители торгового мира, которые хотят свалить монополию внеш-

ней торговли России, и те представители промышленного капитала, которые не соглашаются работать в России на условиях, предоставляемых им Советской Россией, и пытаются шантажировать ее поддержкой Керзона».

Группа Уркарта, поддерживавшая Керзона, с особой силой повела кампанию против Советской России, после того, как Совет Народных Комиссаров постановлением 6 октября 1922 г. отклонил предварительный договор, подписанный в Берлине 9 сентября 1922 г. Уркартом и Л. Б. Красиным»[1]).

Накануне и во время выборов английская буржуазия разбилась на два враждебные лагеря: фритредеров (сторонников свободной торговли) и протекционистов. Таким образом в Англии возобновился старый спор между двумя буржуазными партиями. Болдуин, Чемберлен и другие лидеры консервативной партии доказывали, что только введение покровительственных пошлин для иностранных товаров выведет страну из тупика. В одной из своих предвыборных речей Болдуин заявил, что необходимо принять «решительные меры», чтобы покончить с безработицей, продолжающейся четвертую зиму, и что нельзя дальше равнодушно смотреть, как «гибнет промышленность». Великобритания лишь тогда полностью ликвидирует безработицу, когда восстановит в прежних размерах свой экспорт, при чем все новые источники для английской торговли и промышленности лежат внутри пределов самой Великобританской империи. Болдуин, умерявший в качестве премьер-министра агрессивный империализм Керзона, выступил теперь в качестве пропагандиста самого последовательного империализма. Англия, доказывал он, стоит перед дилеммой: либо стать еще более агрессивной, еще более милитаристической, либо погибнуть.

Избирательная программа Болдуина сводилась к следующему: в области военной — постройка новых крейсеров, усиление воздушного флота, укрепление морских баз; а в области экономической—покровительственные тарифы, так называемое «предпочтение для колоний» и другие агрессивные экономические меры, направленные против других стран.

Один из сторонников Болдуина, министр торговли и промышленности, Ллойд-Грим, заявил на Британской имперской конференции (20 октября 1923 г.), что на Европу рассчитывать нельзя даже и в том случае, если условия европейских рынков станут наиболее благоприятными, ибо восстановление европейской экономики, во-первых, пойдет медленным темпом, а, во-вторых, индустриальные возможности многих европейских стран выросли настолько, что Англии придется считаться с сильнейшей конкуренцией.

Таким образом полное восстановление довоенных торговых сношений Англии с Европой не представляется Ллойд-Гриму возможным, а потому он придавал исключительное значение экономике внутриимперской.

---

[1]) О концессии Уркарта см. очень интересную брошюру В. Свердлова—«К вопросу о концессии Уркарта», изд. «Торгово-промышл. газеты», Москва 1923, стр. 38.

Мы видим, что часть английской буржуазии пыталась искать спасения от растущего промышленного кризиса и все усиливающейся безработицы в сооружении китайской стены таможенных протекционных тарифов, охватывающих все рынки стран, входящих в Британскую империю, в бегстве из Европы в собственные доминионы и колонии.

В связи с этим стали раздаваться в некоторой части прессы голоса за возвращение к старой политике «блестящей изоляции», за невмешательство, по примеру Америки, в европейские дела.

Это было уже возвращением к идеям отца английского империализма, знаменитого представителя Бирмингама, Чемберлена, который, вместе с Сесилем Родсом, был главным виновником англо-бурской войны.

Англия, главным источником существования которой была торговля с заграницей, считалась в общем в продолжение последних 70—80 лет классической страной свободной торговли. Но с появлением на сцене воинствующего империализма, особенно в лице Джозефа Чемберлена четверть века тому назад, в период англо-бурской войны, в Англии начало усиливаться среди буржуазии течение в пользу создания китайской стены, которая оградила бы Англию с ее доминионами и колониями от конкуренции других стран.

Либеральная партия во главе с Ллойд-Джорджем и Асквитом решительно выступила как «рыцарь свободной торговли», на борьбу с протекционистской программой консерваторов, доказывая, что Англия страдает не от излишка импорта из других стран, а от общего недостатка внешней торговли, что необходимо восстановить мир в Европе и расширить торговлю Англии, и тогда безработица исчезнет, которую Асквит считает «преходящим явлением».

Когда Англия, 66% экспорта которой идет в другие страны, а не в империю, вводит протекционизм, она сама для себя создает зловещие осложнения. Высокие пошлины направлены, главным образом, против Америки и Японии. Что Америка, а также и другие страны примут соответствующие меры, в этом сомневаться не приходится.

3. Мираж самодовлеющей империи.

В своей полемике со сторонниками протекционизма либералы ссылались, между прочим, на заключение специальной комиссии для выяснения вопроса о возможности существования замкнутой внутриимперской экономической системы. Эта комиссия, назначенная федерацией британских промышленников, рассеяла в умах сотен тысяч английских обывателей мираж самодовлеющей империи.

Потребность к самодовлеющей империи вызывалась безнадежностью быстрого восстановления мировых торговых связей, разрушенных войной. Британская промышленность обнаруживала все признаки хирения, и в поисках спасения федерация попыталась решить вопрос: нельзя ли эмансипироваться от гниющей Европы и замыкающейся внутри себя Америки и

противопоставить им замкнутую Британскую империю, разбросанную по пяти континентам и семи морям.

Доклад комиссии в существенной части сводится к следующему:

Мысль о том, что экономические затруднения английской метрополии могут быть всецело устранены быстрым развитием торговли с колониями и доминионами, должна быть оставлена. Пропорция между внутриимперской и международной торговлей за эти 10 лет ничуть не изменилась. Английское производство приспособлено для стран с белым, высоко цивилизованным населением. Между тем подавляющее большинство населения британских колоний принадлежит к цветным расам, находящимся на сравнительно низкой ступени развития. В силу этого торговля с колониями не может заменить собой торговли с Европой.

Одновременно с этим колонии, хотя и являются преимущественно источником сырья, стремятся, однако, развить самостоятельное фабричное производство. Эти стремления должны поощряться. Можно только рекомендовать британским капиталистам принять максимальное участие в этих нарождающихся производствах. Вывоз товаров из Англии должен смениться экспортом капитала.

Далее. Сырье, производимое колониями, не может быть полностью поглощено внутриимперскими потребностями и нуждается в международных рынках. Полное развитие имперской промышленности в целом зависит от восстановления нормальных условий в других частях мира, являвшихся в свое время крупными покупателями колониального сырья. Иными словами, империя не может замкнуться внутри самой себя в качестве самодовлеющей единицы; промышленность — всемирно переплетающийся акт, и до тех пор, пока Европа не будет восстановлена, нельзя ожидать быстрого роста внутриимперской торговли.

Сам президент федерации британских промышленников Джедз выступил со своей стороны с решительным заявлением, что Англия, как страна, живущая экспортом, «всего тяжелее страдает от настоящего положения дел в Европе». Безработица, — доказывал он, — является прямым следствием этого. Английские промышленники, купцы и банкиры должны проявить крайнюю настойчивость в указании правительству на то, что «самые трудные проблемы Англии растают, как туман от солнца, если Европа будет приведена в устойчивое состояние». Важно отметить, что эта задача представляется самой необходимой для тех, кто стоит во главе английских финансов и индустрии.

В своей бредфорской речи Джедз повторяет аргументы, выставленные Мак-Кенна еще в январе, о невозможности экономического самодовления Брит. империи вследствие того, что экономические интересы всех стран тесно переплетены между собой. Он иллюстрирует это примером, взятым у Мак-Кенна, о довоенных торговых отношениях между Индией, Германией и Англией: неблагоприятный баланс по торговле с Германией Англия покрывала за счет экспорта в Индию, превышающего ее импорт оттуда, последняя же

получала средства на покупку английских товаров, продавая свое сырье в Германию.

Программа политического и экономического ухода Англии из Европы и концентрации всех усилий на создании самодовлеющего хозяйства Британской империи потерпела на выборах 1923—1924 г.г. решительное поражение. Сторонники азиатской и заокеанской политики были разбиты и отступили перед натиском сторонников ориентации на Европу.

Эта точка зрения необходимости восстановления Европы, и в первую голову России и Германии, для спасения Англии от все обостряющегося кризиса и уменьшения количества безработных, число которых достигло цифры 1½ миллиона, нашла горячих сторонников не только среди многочисленной части буржуазии метрополии, но и в самих доминионах. Так, на заседании имперской британской конференции в октябре 1923 г. премьер Южной Африки ген. Сметс выступил с нашумевшей речью, в которой он, резко критикуя милитаристическую политику Франции, разрушающую хозяйство Европы, требовал от английского кабинета сильной и положительной политики в деле экономического восстановления Европы и решительной борьбы с мировым торговым кризисом. Выступление Сметса было поддержано остальными делегатами доминионов. Сенсацию вызвало выступление ирландского премьера Косгрева, который горячо поддержал требования Сметса.

Речь Сметса явилась лишь ярким выражением той точки зрения на «европейскую проблему», на которой стояли значительные круги буржуазии не только в метрополии, но и в английских доминионах и колониях. Экономическое благосостояние и мощь Британской империи, ее цветущая внешняя торговля в течение столетий покоились на двух гранитных столбах: с одной стороны, на товарообмене с европейскими странами, с каждым десятилетием пред'являвшими все больший и больший спрос на английские товары[1]), а в течение последних десятилетий и на английские капиталы, шедшие на создание различных предприятий, не только в Испании, Италии, Австро-Венгрии, на Балканах, в России, но даже в таких странах, как Франция, Голландия, Швеция и даже Германия, с другой стороны,—на экспорте товаров и капиталов в заокеанские страны. Само собой разумеется, что план «уйти из Европы» и наверстать потерянное на усилении торговли с заокеанскими странами являлся чистейшей утопией, и ни один здравомыслящий экономист не мог признать подобного решения выходом из положения. С потрясением одного из двух столбов, на которых держалось про-

---

[1]) Накануне мировой войны Англия экспортировала в одну Германию товаров в круглых цифрах на 41 милл. фунт. стерл., т.-е. на сумму, равную английскому экспорту в Китай (15 милл. ф. стерлинг.) Японию (15 милл. ф. ст.) и Египет (10 милл. ф. ст.). См. «Ежегодник Коминтерна», 1923, стр. 573.

мышленное здание Великобритании, последнее естественно должно было выйти из состояния устойчивого равновесия и очутиться перед опасностью полного разрушения.

4. Правительство Макдональда и английский империализм.

Поражение консерваторов на выборах 1923 г. и образование нового кабинета Макдональда, находящегося под сильным влиянием либеральной партии, обеспечившей «рабочему правительству» победу над консерваторами, должно повлечь сдвиг в английской внешней политике: перемещение центра тяжести великобританской мировой политики на европейский континент с сохранением старых позиций в Азии и Африке. Выше мы цитировали уже слова Макдональда, когда он еще не был премьером, во время керзоновского наступления на Советскую Россию, о необходимости борьбы с антибританской агитацией в Азии. Конечно, от деятеля II Интернационала было бы наивно ожидать сочувствия или, тем более, помощи борьбе угнетенных народов Азии или Африки за свое освобождение. Как мы писали уже в нашей работе: «Вопросы колониальной и национальной политики и III Интернационал»:

«II Интернационал по самой природе своей не был способен поддерживать революционное движение среди угнетенных народов в Марокко, Алжире, Тунисе, Малой Азии, Персии, Индии, Египте и т. д. Тем более, был неспособен он взять на себя инициативу в деле революционизирования черного и желтого континента и, даже, попросту в деле пропаганды освободительных идей среди многострадальных народных масс Азии и Африки. II Интернационал не хотел и не хочет знать Востока с этой стороны. Конечно, на словах деятели II Интернационала позволяли себе осуждать колониальную политику своих правительств и выпускали даже порой в Париже, Лондоне или Берлине книги и брошюры на эти темы, вроде книг Шарля Дюма и т. п., но никогда все эти господа не переводили все эти книги и брошюры на туземные языки и писали на колониальные темы просто для того, чтобы обратить на себя внимание в метрополии, в парламентских кругах вообще, или в социалистической партии в частности. На деле все эти ярые защитники туземцев поддерживали колониальную политику своих правительств. Когда получались известия об армянских погромах в Турции, социалисты европейские охотно устраивали демонстрации, организовывали грандиозные митинги протеста против кровавого султана. Но когда французское правительство год за годом посылало новые и новые войска в Марокко и вырезывало мусульманские племена, социалисты II Интернационала молчали. Так же поступали английские социалисты по отношению к зверствам в Индии, к удушению Персии, к порабощению Египта, к массовому избиению и кровавым оргиям английских войск на черном континенте.

«Более того, находились социалисты вроде Лагрозирьера и др. члены партии, делегаты всяких социалистических, национальных и интернациональных конгрессов, открыто защищавшие колониальную политику, оправдывав-

шие последнюю необходимостью приобщения туземцев к благам цивилизации и прогресса».

Совершенно неосновательно накануне образования в Англии рабочего правительства во главе с Макдональдом желтая «Дейли Мейль» пугала в передовой статье от 3 января 1924 г. английского обывателя гибельными последствиями для сохранения английского господства в Индии в результате перехода власти в метрополии в руки одного из виднейших представителей II Интернационала. Газета напоминает, что Макдональд 26 июня 1923 г. на конференции британских доминионов поддерживал проект об особом статуте для Индии, который повел бы за собой «индианизацию» армии и правительственных учреждений, лишив таким образом службы английское население в Индии. «В Индии,— говорит в заключение газета,— накопилось столько взрывчатого материала, что допустить к власти в нашей стране социалистическое правительство было бы то же самое, что бросить огонь в пороховой погреб».

Однако мы видим, что, как только Макдональд стал во главе правительства Англии, он счел долгом открыто выступить с прямыми угрозами по адресу индусских революционеров. В телеграмме, посланной им в Индию и напечатанной в «Таймсе» от 26 января 1924 г., мы читаем:

«Временами я с немалой тревогой слежу за ходом событий в Индии. В течение всей моей политической деятельности я основывался на твердом убеждении, что прочный базис для прогресса может быть обеспечен только конституционным путем. Наше поколение пережило разные виды революционного движения, на первый взгляд казавшиеся успешными, которые порвали было все узы с прошлым, но которым впоследствии, после многих тяжелых испытаний, пришлось восстановить расторгнутые узы и вернуться к тем же принципам, которые они сами отвергли.

«Я могу сказать, что для Индии не будет никакой надежды, если она станет ареной борьбы между конституционализмом и революцией. Ни одна партия в Великобритании не поддастся угрозам насилия или политике, которая желает привести правительство к параличу; если некоторые группировки в Индии находятся под ложным впечатлением, что это не так, то события их весьма горько разочаруют. Я настойчиво рекомендую всем лучшим друзьям Индии прийти к нам поближе, вместо того, чтобы оставаться в стороне.

«Я с горечью констатирую наличие отсталости во взглядах у некоторых групп, но пусть никто не смешивает причины и следствия. Обращение к революционным методам, будь это методы активные или пассивные, обычно влечет за собой реакцию, которая сметает со сцены людей и партии с самыми искренними намерениями, между тем, как обе борющиеся между собой формы реакции, левая и правая, грызут друг друга, покуда они обе не покажут свою полную несостоятельность.

«Я знаю, что сближение и благожелательность должны быть взаимными. Мое обращение направлено поэтому не только к индийцам, но также и к английским властям».

Заметим, что другой член «рабочего правительства», видный представитель и теоретик независимой партии, ныне канцлер казначейства (министр финансов) в кабинете Макдональда, Сноуден, еще до образования первого рабочего правительства в Англии пытался обосновать права Англии господствовать над Индией, африканскими колониями и т. д. В своей книжке «Если рабочие будут править» Сноудейн доказывал, что «Британская империя — это факт», а потому о расчленении империи могут говорить только экстремисты. Рабочее правительство должно обеспечить всем народностям, подвластным Великобритании, гуманное правление под руководством Англии до приведения их в культурное состояние, когда они смогут сами собой управляться.

5. Англо-французские осложнения.

Отказ от программы политического и экономического ухода Англии из Европы обозначает вместе с тем дальнейшее обострение англо-французского конфликта. Англия не примирится с планами французской гегемонии в Европе, с образованием германо-французского концерна тяжелой промышленности и будет бороться против сосредоточения в руках французских империалистов и пресловутого «Comité de forge» колоссальных железных и угольных богатств путем аннексии Рура и расчленения Германии [1]). Подобно тому, как накануне мировой войны, в эпоху Эдуарда VII и Сердечного Соглашения английская дипломатия вела политику окружения Германии, теперь та же политика будет применяться к главному ныне врагу Англии на европейском континенте, именно к Франции.

В данный исторический момент Англия стремится к восстановлению мира в центральной и восточной Европе. Именно так формулировал уже во время Генуэзской конференции задачи Англии дипломатический сотрудник «Дейли Телеграф», официоза английского министерства иностранных дел, в статье от 8 февраля, где подчеркивалась необходимость разрешить целый ряд политических и экономических вопросов в восточной и юго-восточной Европе.

Англия заинтересована в экономическом возрождении не только России, но и Австро-Венгрии. Целый ряд органов английской прессы, как, например, «Вестминстерская Газета», указывал на необходимость уничтожения экономических барьеров и проволочных заграждений между Австрией, Венгрией и Чехо-Словакией, препятствующих возрождению этих стран, и настаивал на отмене соответствующих пунктов мирных трактатов с Австрией и с Венгрией.

В соответствии с этой точкой зрения Асквит, говоря от имени своей партии на торжественном обеде в Кобденском клубе, выразил сожаление, что

[1]) Подробнее о борьбе за Рур см. нашу книгу: «Империализм».

союзники не остались верны принципу свободной торговли и не навязали в качестве основного условия государствам, родившимся из прежних монархий, обязательства организовать свою хозяйственную жизнь на базе полного экономического единства.

Итак, мы видим, что английская и французская концепции все более и более сталкиваются. Английские государственные деятели, выдающиеся представители английской буржуазии начинают все более и более ясно понимать все бессмыслие Версальского мира, обрекающего центральную и восточную Европу, и, стало быть, и самую Англию, на нищету и обостряющийся промышленный кризис. Английская буржуазия все более и более проникается сознанием, что блокированная, отрезанная экономически от Европы Россия, находящаяся под сапогом французского жандарма Германия, разбитая на части бывшая Австро-Венгерская империя—не могут являться выгодными рынками для Англии, как это было до войны. Россия должна быть вовлечена в мировой товарооборот, Германия должна быть освобождена от французского пресса, не дающего ей возможности свободно вздохнуть, государства, образовавшиеся на развалинах старой Австро-Венгерской империи, должны вновь образовать одно экономическое целое. Итак, во имя спасения самой Великобритании от полного экономического кризиса, Англия должна стремиться к уничтожению всех результатов Версальского мира, к восстановлению сильных экономических единиц на европейском континенте, которые могли бы составить солидную базу для воссоздания английской мировой торговли и промышленности, не могущей развиваться без прогрессирующего товарообмена с Европой.

Наоборот, Франция Пуанкаре и особенно Мильерана, представителя французской тяжелой индустрии с ее милитаристическими тенденциями, стремится к расчленению Европы на ряд враждующих между собой и слабых экономически государств, находящихся в финансовой кабале у Франции и связанных, по планам последней, друг с другом лишь в той мере, в какой подвластные колонии, имеющие одного господина, связаны между собой лишь волей и своекорыстными интересами последнего.

Послегенуэзский период отнюдь не улучшил англо-французских отношений. Оккупация Рура, поддержка Францией сепаратистского движения в Рейнской области возбудили против Франции широкие слои английской буржуазии. Речь Сметса и отклик, который она нашла в Австралии и Канаде, показали, что английские доминионы, в лице правящих классов, начинают относиться к Франции так, как накануне мировой войны они относились к Германии.

6. Борьба за признание С. С. С. Р.

Одновременно с кампанией против протекционизма в Англии и против французского милитаризма, душащего Европу, усилилась кампания в пользу признания Советской России. Целый ряд органов буржуазной прессы печатал статьи, в которых доказывалось, что восстановление европейского хо-

зяйства возможно только при условии возвращения России к той роли, которую она исполняла до войны в мировой хозяйственной жизни. Что если Россия нуждается в Великобритании, то не следует забывать и того, что Великобритания вместе с остальной Европой нуждается в России.

С каждым днем в течение последних месяцев 1923 г. все более и более намечался сдвиг в настроении английской буржуазии в сторону признания Советской власти. Между тем требования со стороны английского рабочего класса в пользу безоговорочного признания Советской России становились все громче, все настойчивее. Конгресс английских трэд-юнионов, собравшийся в сентябре 1923 г., на котором участвовало несколько сот делегатов от 4.000.000 рабочих, единогласно принял следующую резолюцию о признании Советской России:

«Конгресс повторяет заявления предыдущих конгрессов о необходимости возобновления во всей полноте дипломатических и торговых отношений с Россией. Далее, конгресс выражает мнение, что, ввиду невозможности установления нормальных отношений между Европой и Азией пока Россия остается вне семьи народов, должна быть безотлагательно созвана англо-русская конференция для урегулирования всех вопросов между русским и великобританским правительствами. Конгресс предлагает великобританскому правительству войти в переговоры с советским правительством по вопросу о скорейшем созыве такой конференции. Конгресс предлагает генеральному совету довести эту резолюцию возможно скорее до сведения правительства».

Резолюция принята без обсуждения.

Таким образом, когда в результате декабрьских выборов 1923 у власти стало правительство представителя II Интернационала Макдональда, не могло быть уже сомнений в том, что это правительство, желает ли оно этого или нет, вынуждено будет немедленно признать Советскую власть под угрозой в противном случае окончательной дискредитации «рабочей» партии и всего II Интернационала в глазах миллионов английских пролетариев.

В нашей книге «Советская Россия и капиталистическая Англия» мы цитировали уже слова, сказанные одним английским империалистом реакционному французскому писателю Эмилю Бюре: «Нам труднее вести внешнюю политику согласно нашим желаниям, чем вам. В Англии рабочие имеют большинство на своей стороне, и нам приходится считаться с ними». Если даже английские империалисты чувствовали на себе давление английских рабочих масс и вынуждены были умерять свои захватнические планы, тем более с волей рабочего класса оказалось вынужденным считаться правительство Макдональда, генерального секретаря II Интернационала.

Роль рабочего класса Англии в деле юридического признания С. С. С. Р правительством Великобритании правильно подчеркнута в резолюции Всесоюзного С'езда Советов, в которой мы читаем, между прочим, следующие строки:

«Заслушав сообщение о последовавшем полном признании де-юре правительства Союза Советских Социалистических Республик со стороны Вели-

кобритании и установлении между этими двумя государствами дипломатических сношений в полном об'еме, 2-й С'езд Советов с удовлетворением констатирует, что этот исторический факт явился одним из первых актов первого правительства в Англии, выдвинутого рабочим классом...

«Рабочий класс Англии являлся в продолжение всего этого времени верным союзником трудящихся масс С. С. С. Р. в их борьбе за мир. Народы Союза Советских Социалистических Республик помнят усилия трудящихся масс Англии и передовой части английского общества, направленные к уничтожению бойкота, блокады и вооруженной интервенции.

«Они отдают себе отчет в том, что последовавшее признание явилось результатом настойчивой воли английского народа».

Признание С. С. С. Р. Великобританией, одной из сильнейших мировых держав, явится несомненно началом нового периода во взаимоотношениях капиталистических стран и Советской Республики. Прежде всего, несомненно, что этот «исторический шаг», как охарактеризовал второй союзный С'езд Советов ноту английского правительства, содержащую юридическое признание Советской России, в необычайной степени усилит давление на свои правительства сторонников безоговорочного признания России во Франции, Италии, Швеции, Юго-Славии, Чехо-Словакии и т. д. и ослабит сопротивление противников признания С. С. С. Р. С английской нотой дипломатическая блокада Союза Советских Республик со стороны великих держав приходит к концу, и это должно будет отозваться на ослаблении враждебной к С. С. С. Р. политики некоторых пограничных с нами западных держав, равно как восточных, вроде Японии. Вместе с тем можно надеяться, что признание Англией С. С. С. Р. де-юре и крах восточной политики Керзона явится первым реальным шагом к водворению мира на Востоке, к прекращению провокационной политики английских империалистов по отношению к дружественным и сопредельным с Россией восточным странам, Персии и Афганистану.

Сближение между Россией и Англией в эпоху царизма было роковым ом для Афганистана, Персии и Тибета и повело к англо-русскому соглаю 18 авг. 1907 г. (см. выше), фактически уничтожившему суверенитет восточных государств. Англия Макдональда, вступая в соглашение ветским правительством по вопросам Востока, вынуждена будет счия с незыблемыми принципами советской политики по отношению стоку и уважать независимость Афганистана, Персии и Тибета, если не лает итти на разрыв с С. С. С. Р. Вот почему признание С. С. С. Р. ей встретило самый сочувственный отклик как в широких слоях насе- , так и в правящих кругах этих сопредельных с нами восточных стран.

* * *

Предыдущие страницы были уже написаны, когда появилось сообще- полном признании С. С. С. Р. Италией (а затем Норвегией).

Таким образом из великих европейских держав одна Франция ся на прежней позиции, более того, как правильно указывает т. Стеклов дововй статье от 9 февраля 1924 г.:

«Не зная, как теперь держаться, она пробует заострить прежнюю политику нагромождения помех и препятствий на нашем пути. Французское правительство все еще хочет нам вредить. С одной стороны, оно делает попытку договориться с английским правительством о том, чтобы в вопросе о старых долгах выступить против нас единым фронтом (после того, как ему не удалось добиться общей линии с британским правительством по вопросу о признании вообще). С другой стороны, накануне неизбежного признания Советского правительства Франция хочет пустить в нас парфянскую стрелу и в меру сил затруднить наше будущее международное положение.

«Об этом можно судить по статье Эрбета, напечатанной в «Тан» от 6 февраля. Выразив сначала сожаление по поводу того, что Франция не принимает участия в переговорах о признании Советского Союза, и даже считая вмешательство ее в настоящий момент несвоевременным, Эрбет, вместе с тем, предлагает Франции «покуда», т.-е. до вынужденного признания, ратифицировать Лозаннский договор и акт, касающийся Бессарабии. Другими словами, Эрбет предлагает французскому правительству окончательно санкционировать в высшей степени произвольный, противозаконный и возмутительный акт, совершенный совещанием послов, которое имело наглость подарить российскую территорию Румынии, не спрашивая об этом ни российское правительство, ни местное население.

«Мы не советовали бы Франции накануне восстановления нормальных отношений с Советским Союзом, которое теперь для нее не менее важно, чем для нас, пускаться в такие рискованные авантюры, которые перед всем миром засвидетельствуют непримиримо-враждебное отношение французских правящих кругов к интересам великой Советской Федерации».

Нетрудно было предугадать, что Франция Пуанкаре и Мильерана до последнего издыхания будет бороться за непризнание Советской России. Анализируя политику Англии и Франции по отношению к России, мы уже в 1922 г. писали [1]):

«Что касается Англии, каковы бы ни были результаты Генуэзской конференции, внутреннее экономическое положение Великобритании и вся международная кон'юнктура толкают английскую буржуазию к признанию Советской России. Не забудем, кроме того, что последняя может явиться самым опасным и грозным врагом Великобритании, и потому Англия особенно заинтересована в том, чтобы не иметь в лице России недруга.

«Наши советские дипломаты и государственные деятели должны учесть смысл и значение обеих концепций (английской и французской) и сделать соответствующие выводы.

«При сохранении нынешнего соотношения классов и политических группировок в Англии и Франции, внешняя политика обеих стран может испытывать лишь те или другие изменения, проходить через некоторые

---

[1]) См. Мих. Павлович, „Советская Россия и капиталистическая Англия", Москва 1922, стр. 85.

иногда, может быть, и очень крутые повороты и зигзаги, но основные ее линии будут развиваться по намеченным нами направлениям.

«В то время, как Англия будет стремиться к сближению с Советской Россией, Франция Пуанкаре, даже рискуя очутиться в изолированном положении, будет всеми средствами пытаться изолировать Советскую Россию, и только неизбежные тяжелые поражения на арене дипломатической борьбы и усиление влияния французского пролетариата на международную политику своей страны могут заставить правящую клику, держащую в своих руках судьбы III республики, отказаться от безумной системы провокации по отношению к великой рабоче-крестьянской державе.

«Советская Россия продержалась четыре года против воли буржуазной Франции, несмотря на все бесконечные козни и нападения последней; Советская Россия будет и в дальнейшем существовать и развиваться и без помощи III республики и, даже, несмотря на какие бы то ни было новые авантюры последней».

Можно не сомневаться в том, что голос французских рабочих масс, далее, интересы влиятельных групп французской буржуазии, руководимой де-Монзи, Эррио и другими представителями радикал-социалистической партии, наконец, самый факт признания С. С. С. Р. Англией и Италией, совершившийся несмотря на все усилия французской дипломатии в Лондоне и Риме помешать такому признанию, заставят правительство Пуанкаре и Мильерана отказаться от непримиримо и открыто враждебного отношения к С. С. С. Р. и волей-неволей вступить на путь безоговорочного признания последнего.

Землетрясение в Японии. Гибель Иокогамы.

А. Матов (А. Степной).

(Впечатление очевидца.)

Человеку, не пережившему землетрясения и последовавшего за ним пожара, трудно составить себе хотя бы слабое представление об этом грозном явлении природы. Никакое самое пылкое воображение не может нарисовать себе и тысячной доли ужасов! Да едва ли на человеческом языке найдутся слова и краски, при помощи которых возможно было бы набросать картину этой одновременно величественной и страшной катастрофы!

Военные бои ужасны. Но к ним готовятся, к ним в конце концов привыкают. Даже спят под уханье пушек, таканье пулеметов и разрывы снарядов. Не то — землетрясение. Оно неожиданно. Необычно. Человек теряется. Почва уходит из-под ног. Нет обычной точки опоры. Трескается и расходится земля. Валятся здания, как карточные домики. И нигде нет спасения... Неудивительно поэтому, что сильное землетрясение оставляет после себя не только груды мертвых, искалеченных, слепых, но и массу сумасшедших, нередко на религиозной почве.

Таково было землетрясение, постигшее Японию 1 сентября 1923 г.

Как очевидец, переживший в Иокогаме все ужасы гибели этого цветущего, населенного и жизнерадостного города, я постараюсь поделиться с читателем всем, что я видел, пережил, перечувствовал. Конечно, описание это — только слабая попытка бледным человеческим языком передать ряд отрывочных впечатлений. Их так много, что они не поддаются даже систематизации... Но они общи всем, пережившим эту ужасную катастрофу, и, как таковые, заслуживают внимания.

Землетрясения не новы для Японии. Район Токио, Иокогама и окрестности ежегодно испытывают по нескольку раз слабое сотрясение почвы. Оно обычно продолжается одну-две секунды. В комнатах вдруг закачается люстра, сползет с гвоздика картина, упадет какая-нибудь безделушка с камина — этим обычно и кончается землетрясение. И японцы так привыкли к таким явлениям, что не обращают внимания на слабые колебания почвы. Лишь европейцы на первых порах бросаются к дверям и становятся у притолки, где стоять считается безопасным в случае падения потолка или кусков штукатурки.

Япония испытывала и прежде землетрясения. Но это было давно и забылось. Сильное землетрясение постигло Токио в 1855 г. Оно разрушило весь город. Но Токио в то время не был столицей и представлял из себя маленький городок с деревянными небольшими домиками. А Иокогама тогда существовала только по имени: это была маленькая, бедная рыбачья деревушка, и землетрясение не причинило ей вреда. В 1866 г. она вся сгорела, но этот пожар не являлся результатом землетрясения, а следствием страшного тайфуна, уничтожившего все местечко.

Такого же землетрясения, которое постигло Японию 1 сент. 1923 г., еще не было, да история и не знает такой ужасной и грандиозной катастрофы. Считавшееся доселе самым ужасным Лиссабонское землетрясение 1755 г. совершенно бледнеет пред японским как по числу погибших человеческих жизней, так и по захваченному стихией пространству. Лиссабонское, Мессинское и Сан-Францисское землетрясения были, если можно так выразиться, местными: они разрушили только эти города. Между тем, японское землетрясение захватило громадный район, радиусом в 100 миль от центра Токио.

Центром землетрясения, как отмечено сейсмографом, является местечко в 10 милях от острова Осима, расположенного в 65 милях к югу от Токио. Причина землетрясения неизвестна. Сейсмология, хотя и сделала за последние годы громадные успехи, но она пока может лишь указать районы, где ожидается землетрясение, но сказать, когда оно случится, — этого она пока сделать не в силах. Попытка установить периодичность землетрясений еще ни к чему не привела. Возможно, что землетрясение может иметь место в Японии через 50 — 100 лет, но так же возможно, что оно случится и через год. Точных данных наука не имеет. Если бы жители Токио или Иокогамы хотя бы за 10 минут до землетрясения знали об этом — количество жертв было бы ничтожно. Именно неожиданность и была катастрофичной.

Первый день.

Утром, часов в 7 первого сентября, в день землетрясения прошел небольшой тихий дождь. Ходили тучки. Ожидался серый день. Но к 9 часам быстро стало разведриваться. Тучки рассеялись, выглянуло солнышко. Небо было ясное, голубое. Ни малейшего ветерка. На деревьях весело и задорно стрекотали цикады. День был исключительно тихий и ясный, какие редко бывают в Японии. Море спокойно нежилось в берегах. Ни малейших признаков катастрофы не замечалось. Даже животные, инстинктивно, говорят, чувствующие землетрясение, были спокойны. По крайней мере, собаки моего соседа беспечно спали на солнышке и не проявляли никакой тревоги.

Было жарко. Термометр показывал 86° Фаренгейта.

Я занимал небольшой деревянный европейский домик на Блефе, возвышенном месте, разделяющем город на две половины и населенном главным образом европейцами.

Было без десяти минут 12, когда я решил закончить свои письменные работы и одеться, чтобы итти завтракать к одному из своих знакомых.

Собрав бумаги и закурив папироску, я встал с кресла. Вдруг в это время все заколыхалось, и письменный стол немного сдвинулся с места. Последовал один горизонтальный толчок, за ним—другой. Одна секунда—и я очутился у притолки. Вдруг сильный толчок изнутри кверху! Все затрещало. Я бросился в дверь. Меня кидало из стороны в сторону. Совершенно бессознательно я очутился у калитки палисадника. В это время столб чугунной калитки, вырванный из земли, ударил меня в левое бедро и выбросил на улицу. Схватившись за упавшую наполовину решотку, я присел на корточки и держался: стоять было невозможно. Земля ходила под ногами и тряслась буквально, как мельничный лоток. Когда я оглянулся кругом—не узнал улицы. Вокруг, насколько хватал глаз, домов не существовало: вместо них лежала груда развалин и над ними поднималась густая коричневая пыль, совершенно скрывшая солнце. Наступили как будто сумерки. Вдали раздавались то пушечные удары, то звуки могучего водопада, то удары титанического молота. Это падали многоэтажные здания. От момента моих нескольких прыжков от стола до улицы прошло не более 3 — 4 секунд, и за это время разрушен был весь город. Половина моего дома свалилась под откос, а другая половина упала, образовав груду кирпича, черепицы, разбитых, изломанных досок. А над столом, где несколько секунд тому назад я работал, возвышалась груда кирпича от каминов и труб. Промедли одну секунду — и я был бы заживо погребен...

Пляска земли продолжалась 4 — 5 минут. Я крепко держался за решотку. Страха не было. В голове до осязательности реально стояла только одна мысль — «как бы не провалиться!».

Наконец, тряска прекратилась. Вместе с началом землетрясения подул сильный, подобный тайфуну, ветер. Очевидно, падение зданий целого города вызвало сильное воздушное течение.

Как только земля успокоилась, сосед мой — японец, доселе сидевший невдалеке от своего рухнувшего дома и державшийся за дерево, стремглав бросился к дому и быстро-быстро начал разбрасывать черепицу и обломки досок. Оказалось, что под развалинами дома были погребены его двое детей. Подошла мать и тоже принялась за раскопки. Я сидел у решотки и наблюдал. Голова моя кружилась. Я был ошеломлен и решительно не знал, что предпринять. Через несколько минут я увидал, что японец вынул из-под груды черепицы одного ребенка лет трех. Он был мертв. Мать взяла его на руки и начала качать, как закачивают в простонародьи ребят перед сном. Она делала это покойно, ни одной слезинки не видно было на ее глазах. Только бледность ее лица и расширенные зрачки глаз говорили о ее тяжелых переживаниях. Земля с перерывами 3—5 минут продолжала колебаться. Японец работал. Скоро он откопал и другого мальчика лет пяти. Он был в крови. Одна рука переломлена и грудная клетка разбита. Часа через полтора он умер.

Кругом, куда хватал глаз, лежала груда развалин. Крыши были нагромождены на крыши, стены на стены. Улицы не существовало: все было завалено, перевито телеграфными, телефонными и электрическими проводами. Поддерживавшие их столбы местами упали, местами накренились и ежесекундно угрожали падением. Часть деревьев оказалась вырванной с корнями.

Отовсюду бежал народ — грязный, запыленный, оборванный, некоторые полунагие. Слышались какие-то дикие и истерические вопли, стоны, крики. Невдалеке от меня группа японок сидела на подложенных под себя досках и, подняв руки к верху, хлопала в ладоши и дико кричала что-то, похожее на «хоци, хоци». Была ли это молитва или заклинание — не знаю. Откуда-то появились раненые, которых несли или на спинах, или на вырванных дверях. Бежать было трудно: земля тряслась, бросала бегущих из стороны в сторону, местами давала трещины, местами поднимала бугорки, как на вспаханном поле. Обломки домов, груды кирпичей, упавшие ограды и решотки преграждали путь...

Когда толчки ослабли, я встал и посмотрел с горы на город: его не было. Вся равнина представляла из себя развалины с остовами стен и фабричных труб, и над ними густые облака дыма, закрывшие солнце. Город горел со всех сторон. Языки пламени, подгоняемые ветром, бушевали и разливались, как море. Громадными толпами бежал народ, спасаясь от пламени. Мосты через каналы, которыми изрезана Иокогама, частью пали, частью горели, и люди бегали среди развалин из стороны в сторону, точно мыши в ловушке; и многие бросались в каналы. Мне стало страшно от этого зрелища: ясно было, что масса народу утонет или погибнет в пламени, так как не было спасения. А ветер увеличивал бедствие: он по-прежнему дул с страшной силой, разбрасывая огонь во все стороны, и уменьшал шансы на спасение. Временами в дыму слышались взрывы, и вслед за ними поднимался столб пламени и клубы черного, зловещего дыма. Местами по улицам били фонтаны воды от лопнувших труб водопровода и заливали нижнюю часть города...

Я бросился разыскивать жену. Она ушла в город за покупками и, по моим предположениям, была уже в огненном кольце. Едва я пробежал сажен сто, карабкаясь через упавшие дома и крыши, как страшный толчок и затем тряска начали меня бросать из стороны в сторону.

— Keep the fence (держитесь за решотку)! — услыхал я голос.

Автоматически я ухватился за уцелевшую решотку европейского домика и увидал, кто мне кричал. Это был англичанин средних лет. Он сидел на корточках у упавшего полицейского домика и держался за ручку двери. Он был весь в грязи, в разорванной рубашке, в коротеньких кальсонах и туфлях.

— I have lost my wife (я потерял мою жену!—продолжал он и показал мне на дом, над развалинами которого торчала только одна труба камина.

— Но, быть может, она жива? — спросил я.

— Нет, она мертва... Ее сразу убило балкой... она там... — и он снова показал мне на дом.

Англичанин говорил спокойно, как будто не произошло ничего особенного. Лишь зрачки его серых выпуклых глаз были расширены и казались как будто застывшими.

Колебания стали слабее. Я снова бросился бежать по грудам кирпичей и крышам.

— Куда, куда вы бежите?—услыхал я русский голос.

Вижу: у калитки японского садика сидит, крепко обнявшись с женой, писатель Скиталец (С. Г. Петров).

— Жена в городе... бегу искать! — отвечал я.

— Оставайтесь здесь! Куда вы? Видите, что́ делается кругом!

— Но я должен ее разыскать!

— Сидите здесь! Если она жива — она пойдет только здесь — больше для нее нет пути!

Я согласился. Скиталец был бледен. Губы его дрожали, и видно было, что он и жена его переживают тяжелые и страшные минуты...

— Как вы здесь очутились?—спрашиваю.

— Да мы наняли здесь квартиру и сегодня переселяемся из Омори. Только успели подняться на гору, как начало трясти. Вещи наши в садике, а рикша (извозчик пеший) сбежал!

В садике было полно японцев. Все они сидели на досках из опасения разрывов земли. Они нам тотчас набросали досок, и мы сели на них. Состояние всех было подавленное. Почти никто не говорил. Не было ни слез, ни криков, ни стонов. А город горел, и огонь уже подбирался к нашему убежищу. Из садика все было видно, так как не осталось ни домов, ни заборов.

Прошло минут сорок. За это время было несколько колебаний. Я уже хотел продолжать путь на поиски, как увидал повара управляющего Азиатским банком. Он подбежал ко мне и сказал:

— Ваша мадама жива, домой пошла. Наши в садике сидят! — и он показал мне на садик визави с нашим.

Я тотчас бросился к дому и по дороге встретил жену. Она шла обратно.

Я еле ее узнал. Она была вся в грязи, оборванная, с трудом передвигающая ноги. Оказалось, — на одной из улиц ее завалило обломками.

Она так рассказала о своем спасении:

— Мне оставалось купить только два лимона. Я направилась в фруктовый магазин и лишь вступила на порог, как земля зашаталась подо мной. Я стремглав бросилась на улицу и едва успела лечь лицом к земле, как магазин развалился. На меня упала вывеска и прикрыла голову. Затем посыпалась черепица, обломки досок, кирпичи. Я оказалась наполовину заваленной. В это время мимо бежал какой-то молодой англичанин без шляпы, с засученными рукавами рубашки. Увидав меня, он спросил коротко:

«— Живы?

«— Жива! Но не могу встать!

«Он тотчас бросился меня раскапывать. Быстро разбросал обломки досок, черепицу и кирпичи, взял меня под руку и вывел в безопасное место.

«— Теперь идите,—сказал он,—а я побегу узнать что̀ с моей женой!

«— Но почему же вы вели меня так долго? — спросила я.

«— Вы — живая, а жена, может быть, уже мертвая! До свидания!

«И он побежал, и я не знаю даже имени моего спасителя. Промедли он десять минут—я сгорела бы!

«Не чувствуя сгоряча своих ушибов и поранений в ногах, я побежала по развалинам улицы Мотомаци. Она была вся разрушена, и часть ее горела.

«Я бежала по крышам, по трупам и обломкам. Я слышала стоны, крики, мольбы о спасении, я видела придавленных балками, старавшихся выбраться, и захваченных пожаром. Ужас охватил меня. Я бежала бессознательно и не могла помочь несчастным, ибо все живое, подгоняемое огнем, стремительно бежало в паническом страхе то к морю, то на Блеф.

«С трудом я добралась до дома управляющего Азиатским банком Ларева, оборвав платье и ботинки. Дом еще не упал, он раскачивался, и из окон летели стекла, хлопали двери, и стеклянная веранда представляла из себя груду стекла и деревянных обломков. Крыша провалилась. Рядом, через группу деревьев, пылал красивейший в Иокогаме отель Temple Court Hotel, построенный в строго выдержанном японском стиле. Жена управляющего, совершенно голая, сидела на небольшой площадке газона, прикрытая одним купальным полотенцем. В момент землятресения она принимала ванну и выскочила раздетая. Пока она бежала со второго этажа, ее поранило дверью. Кровь ручьем лила из ее руки. Я обмыла ее руку из собачьего тазика, в котором сохранилось несколько воды, и обернула рану полотенцем. В это время прибежал ее муж, по пояс мокрый, грязный, так как нижнюю часть города, где помещался банк, залило водопроводной водой. Я предложила немедленно бежать в нашу сторону, где было близко к полю, так как пожар становился опасным. Китаец-повар горячо начал убеждать остаться близ дома, окруженного деревьями, считая это место самым безопасным. Но я категорически заявила, что здесь не останусь, так как видела, что пожар уже охватывает наше убежище кругом. И действительно, едва мы ползком спустились с откоса (лестницы были разрушены, и стенки откоса обвалились), как дом запылал. Кругом горело. Мы пробивались сквозь дым и пламя. Распущенные волосы жены управляющего загорелись. Я сорвала с ее руки полотенце и окутала им ее голову. Кой-как, местами ползком, мы наконец выбрались из огненного кольца...»

Лучший с'езд с Блефа Джизозака, по которому жена бежала, как оказалось потом, был настоящей ловушкой: из него немногие спаслись, так как огонь отрезал путь отступления многих беглецов. На другой день, когда пришлось побывать на этом с'езде, там и сям валялась масса обгоревших трупов.

— ...Когда я подошла к нашему дому,—продолжала жена,—я увидела картину полного разрушения. Рядом с дверью и грудой обломков лежали твои белые ботинки и соломенная шляпа. Над письменным столом, где ты работал, возвышалась гора кирпичей. Я решила, что ты погиб. Прислушалась, нет ли стона. Тихо. Я несколько раз окликнула. Ответа не было. Тогда я бросилась разбрасывать кирпичи и обломки досок. Через пять минут я убедилась, что сделать ничего не могу—оборвала только ногти. Земля в это время тряслась, и нависшая одна из стен грозила падением. В отчаянии, точно пьяная, я пошла назад. Я ничего не соображала: какое-то состояние животной апатии и безразличия охватило меня. Я уже не боялась ни пожара, ни землетрясения. Мне просто хотелось умереть, и я шла — куда, сама не знаю...

На Блефе.

Мы направились с женой в питомник—садик крупной акционерной компании Иокогама Нерзери, где укрывались управляющий банком с женой. По дороге у разрушенного дома американца Картера бродила европеянка с распущенными волосами и в оборванном японском кимоно. Вид у нее был безумный. Она ходила по развалинам и что-то выкрикивала дикое и несвязное.

— Она ищет мальчика! — сказал мне проходивший в это время японец. — Его задавило в колясочке, — продолжал он, — я видел, — вся стена упала на него!

Я попробовал заговорить с ней по-английски, но она замахала руками и снова начала бормотать что-то несвязное. Очевидно было, что она сошла с ума.

По крышам домов и развалинам мы добрались до питомника. Он был переполнен беглецами. Здесь искала спасения половина населения Блефа. Там и сям сидели встревоженные группы японцев. Под многими были подложены доски. В каждой группе ходило по рукам несколько бутылок с водой или лимонадом. Было жарко. Временами налетал удушливый дым.

Красивый питомник, содержавшийся с поразительной чистотой, представлял из себя печальную картину: многие ценные деревья были вырваны с корнем, горшки с карликовыми растениями были перевернуты, бассейны для воды исковерканы, крыши оранжерей провалились и испортили тысячи воспитываемых пальм-арек. Дорожки были взрыты и изломаны, как будто по ним только что прошли плугом, обложенные камнем спуски оползли и завалились. Одним словом, из редкого по красоте, чистоте и аккуратности питомник превратился в место хаотического разрушения...

Собравшийся здесь народ был тревожен и молчалив, но ни слез, ни плача, ни стонов не было слышно. Всё было чутко напряжено, все как будто чего-то ждали, к чему-то прислушивались. Это было ужасно тягостное состояние. Такое состояние испытывает, вероятно, солдат на войне в ночное время, прислушиваясь к каждому малейшему шороху неприятельской разведки. Нервы у всех были натянуты, как струны. У некоторых в глазах светился огонек не то безумия, не то безотчетного ужаса: они были или неестественно расширены или бессмысленно смотрели в пространство. Чувствовалась кругом какая-то жуть, какая-то гнетущая придавленность, печальная. безвыходная покорность судьбе...

В восточном уголке питомника складывались искалеченные и раненые. Но и здесь сравнительно было тихо, и здесь мы не слыхали ни плача, ни стонов. Удивительно, люди как будто на время замерли, стали бесчувственными, окостенели.

Наконец мы разыскали управляющего банком. Мой первый вопрос был:

— Не видали ли Антонова? [1]).

---

[1]) В. Г. Антонов—представитель Роста в Японии, с которым я был в постоянных сношениях.

— Не видал. Здесь никого из знакомых нет!

— Вероятно, он погиб! Отель Черри Маунт стоял на откосе и, несомненно, сполз с него после первого же толчка.

— По всей вероятности, так и было! Повар мой говорит, что весь Блеф страшно разрушен и горит...

— Кроме нас, есть здесь европейцы?

— Есть, кажется, две семьи американцев или англичан. Европейцы, по-видимому, спасаются где-нибудь в другом месте.

В это время пожар с северной стороны стал настолько опасен, что японцы начали мало-по-малу покидать питомник. Мы тоже решили бежать в поле, опасаясь быть окруженными пожаром.

Бежать?! Но как бежать, когда дом лежал на доме, крыша на крыше? Когда время от времени земля колебалась, давала трещины, а улицы горели? Все же с большим трудом мы прорвались через пламя.

И вот мы в поле, среди японских огородов. Везде и всюду по огородам расположились беглецы и образовали настоящий лагерь. Некоторые уже успели из досок и циновок выстроить шалаши, в которые уложили больных, раненых и искалеченных, чтобы укрыть от палящего солнца.

Было очень жарко. Эта жара усиливалась струями горячего воздуха, приносимого ветром с мест пожара. Страшно хотелось пить. Некоторые японцы запаслись ведрами и несли в них чистую воду. Мы останавливали их и просили воды, как милостыни. И нам охотно давали. Необходимо было и нам запастись каким-нибудь сосудом. Пошли на розыски и добыли несколько пустых бутылок. Невдалеке было два колодца, но около них толпилось так много народу, что пришлось долго ждать очереди. К вечеру вода была вычерпана и пришлось добывать только жидкую грязь.

Часов около шести я решил пойти на розыски Антонова. Блеф догорал. Близ разрушенного полицейского участка на улице Накамура-мачи был небольшой садик. Я заглянул в него в надежде встретить кого-либо из знакомых. Едва я вошел в него, как моим глазам представилось ужасное, отвратительное зрелище! Под крышей из циновок стояло несколько полицейских, и бамбуковыми палками они били двух корейцев. Кругом стояла густая, злобно настроенная толпа и с каким-то сладострастием смотрела на побоище. Удары сыпались по ушам и головам несчастных. Кровь ручьями текла с них. Они не кричали, не пробовали бежать, и только руками защищали места, на которые падали удары. Но удары сыпались, и на руках избиваемых уже виднелись куски висящего мяса.

— За что их бьют? — спросил я одного японца.

— Это корейцы... Они грабят дома, а потом поджигают их!

— Но зачем же бить? Надо их арестовать!

Японец посмотрел на меня не то с удивлением, не то с презрением, как на невежду, не понимающего полезности такой расправы. Я протискался чрез толпу и увидел, что еще четверо корейцев, уже убитых, лежали на земле, прикрытые циновками. По всему было видно, что толпа симпатизировала расправе. Я с ужасом убежал от этого омерзительного зрелища. Для меня

было ясно, что выступить на защиту избиваемых — значило бы самому подвергнуться избиению за свои симпатии к корейцам.

Сейчас же за питомником Иокогама Нерзери дорога была совершенно загромождена: на ней лежал отброшенный в сторону деревянный дом, а дом с противоположной стороны целиком сполз под откос и здесь развалился. С большим трудом удалось перебраться через развалины. Далее на протяжении сажен около 200 улица была сравнительно сносной для прохода. Здесь пожара не было, и дома, хотя и упали, но не загромоздили улицы: они просто осели и развалились. Миссионерская школа для японских девочек была полуразрушена, но не упала, но от высокой ограды не осталось и следа, ее как будто и не существовало. Садик, прилегающий к школе, весь был битком набит беженцами — они буквально сидели друг на друге. Вся эта масса была молчалива, как будто приговоренная к смерти.

На повороте с Накамура-чо к с'езду Джизозака стоял дом Гриффин. Он не упал, а наклонился под углом 45 градусов и ежеминутно грозил падением. Приходилось далеко обходить его. Невдалеке от него в здании гаража приютилось несколько семей англичан, с детьми и спасенным скарбом. Все они были грязны, оборваны и закопчены, как были в этот день все грязны и оборваны, кого только приходилось встречать. Вся сторона, противоположная дому Гриффин, догорала, и здесь виднелись страшные разрушения. Местность вокруг Мексиканского консульства была совершенно неузнаваема: деревья вырваны с корнем, все искалечено, взрыто, камни выломаны, и на месте дома возвышалась только груда кирпичей. Над всем пространством к северо-востоку, куда только хватал глаз, висел синеватый дым. Здесь пожар, видимо, потухал. Но зато на восточной стороне Блефа клубились черные тучи дыма.

С'езд Джизозака представлял из себя груду тлеющих развалин. Там и сям валялись обгорелые трупы с вздувшимися животами и скорченными ногами. Некоторые из них дымились среди горящих балок и издавали какой-то приторный запах жареного. Спуститься по с'езду было трудно: там, где ранее существовала улица, проход был завален камнями от облицовки с'езда, перевит проволокой и загроможден массивом скатившегося цементированного фундамента от отеля Temple Court Hotel. Здесь же валялись повозки рикш, хозяева которых, видимо, сгорели на с'езде.

Улица Блефа также была непроходима: земля потрескалась, была взрыта и приподнята, местами виднелись, точно выкопанные, канавы с высоко насыпанной по краям их землей. По улице догорали телеграфные и электрические столбы, и все это было перевито тонкими и толстыми проводами. Приходилось итти по развалинам догоравших домов, перепрыгивать дымящиеся балки и доски. Удушливый дым и жар заставляли то-и-дело закрывать рот и нос смоченным носовым платком, сильно наклоняться и бежать.

Невдалеке от с'езда Джизозака жила семья знакомого Бермант. Я решил посмотреть, что стало с его домом. Он стоял под откосом, укрепленным перпендикулярной стеной из дикого камня. Оказалось, что с первым же подземным толчком эта четырехсаженная стена обрушилась на дом вместе с оползшей землей и буквально расплющила его. Под развалинами погибло

трое детей Берманта, которые как раз в этот момент играли у стены. Пятнадцатилетняя дочь его была придавлена балкой. Около часу она была жива, молила о помощи и на глазах у матери сгорела. Некому было помочь освободить ее из-под балок. Среди дымящихся развалин я увидал обуглившийся костяк несчастной Тоси...

Отель Фермонт, расположенный по соседству с домом Берманта, был сплошной грудой кирпича и угля. Прекрасный парк сгорел. Часть деревьев лежала с вырванными корнями, и откос, на котором этот парк был насажен, сполз вниз на улицу Мотомачи. И здесь валялись обгорелые трупы, которых я насчитал восемь. На пароходе, куда я попал через три дня с женой, мне передавали, что в Фермонте погибло около 30 человек.

Пройти по Блефу к отелю Черри Маунт, в котором жил Антонов, было почти невозможно: улица была загромождена большими упавшими домами и догорала, а под'емы с улицы Мотомачи оказались настолько разрушенными и оползшими, что я вынужден был взбираться наверх на четвереньках. От отеля, конечно, ничего не осталось: часть его сгорела, а другая упала под откос с высоты около 15 сажен. Подход к отелю был загроможден упавшими деревьями и оградой, превращенной в кучу беспорядочно наваленных досок. Где были комнаты Антонова, — валялся остов пишущей машины и искалеченная, свернутая огнем ванна. Трупов здесь не было, и я пришел к заключению, что Антонов спасся. Действительно, на третий день я узнал, что он попал на пароход «Донгола» и выехал в Кобе.

Почти рядом с отелем Черри Маунт стояло прекрасное и массивное здание англиканской церкви, построенной в выдержанном готическом стиле. От нее остались только громадные, навалившиеся друг на друга каменные массивы. От католической церкви остались только груды мелких кирпичей, и с трудом можно было определить место, где эта церковь стояла. Одним словом, все кругом представляло из себя что-то совершенно незнакомое: долго-долго всматриваешься в окружающее и не можешь определить, что же здесь было до землетрясения? Настолько стихия изменила вид красивейшей в Иокогаме улицы!

Я прошел далее, к дому № 179, где жила многочисленная колония русских. Это было пятиэтажное каменное здание. Я рассчитывал встретить здесь груды кирпичей, но вместо этого предо мной лежало пустое пространство. Оказалось, что вся эта каменная громада обрушилась под откос и завалила проезд на Блеф. Здесь погибло несколько русских семей. Спаслись очень немногие, главным образом дети, игравшие на площадке перед домом. Здесь жила знакомая семья Свидерских, и для меня ясно было, что она погибла. Гнетущее впечатление от домов Берманта и № 179 так расстроило меня, что я не в силах был продолжать свой путь и решил возвратиться в поле.

Первая ночь в поле.

Уже вечерело. Ветер стих. Красное, багровое солнце, словно раскаленная сковорода, безучастно смотрело на пылающий город. Временами слышны были взрывы керосиновых, угольных и химических складов. Дым еще более

густел и становился удушливее. Толпы японцев стояли на горе и спокойно, бесстрастно смотрели, как огонь все далее и далее пробирался к предместью Явата Баси. Со стороны главного японского военного порта Иокосука надвигалась черная зловещая туча. Вначале ее приняли за дождевую, и некоторые беженцы начали устраивать для себя прикрытия от дождя из подобранных с пожара листов железа и циновок. Но скоро оказалось, что это дымовая туча. В Иокосука взорвались нефтяные баки, вместимостью около миллиона пудов, и страшное зарево всю ночь освещало с юга окрестности Иокогамы.

Наступили сумерки, и ужас, которым охвачено было все живое, еще более усилился. Колебание земли, хотя и слабое, продолжалось с перерывами. Кругом на всем видимом глазом пространстве стояли огненные столбы, небо было раскалено до-красна и дышало жаром. Временами налетал горячий ветер, приносивший удушливые газы каменного угля. Гора, на которой спасалась масса народу, после каждой тряски, сопровождаемой подземным гулом, понемногу оползала, и это вносило в толпу страшную тревогу. Казалось, что вот-вот почва опустится, и все будут поглощены бездной... Женщины ложились лицом на землю и не плакали, не кричали, но с каким-то тупым равнодушием ожидали смерти. Нервы были напряжены до того, что как будто бы утратили способность реагировать. Ни о пище, ни о питье никто не думал: одна только мысль была у всех в голове — скорей бы тот или другой конец!..

Когда наступила освещенная заревом ночь, состояние сделалось еще более тяжелым. Кругом пламя. Искры. Вихри ветра, налетавшие пред каждым колебанием земли, взрывы. По полям там и сям раздавались жалобные, хватающие за сердце выкрики: «Омиесан, Накано-о, Хоци-са-ан и т. п.». Это родственники пропавших бродили по полям и разыскивали своих дорогих. Они шли с бумажными фонариками, надетые на высокие бамбуковые палки. На каждом фонарике светилась надпись имени пропавшего. Эти жалобные, гнетущие звуки еще более увеличивали тяжесть душевного состояния. Хотелось забыться, умереть, лишь бы не видеть, не чувствовать окружающего. В эту ночь у многих нервы не выдержали, и они сошли с ума. О сне, конечно, не могло быть и речи! Земля колебалась с промежутками от 15 до 40 минут. Для многих европейцев эта ночь казалась началом светопредставления, описанного евангелистом Матвеем. Картина была настолько ужасна и потрясающа, что даже в головах людей-рационалистов бродила мысль о кончине мира. В самом деле: кругом все горит, земля трясется, небо раскалено до кровавого цвета и по нему иногда пролетают громадные искры, похожие на падающи звезды. Эти искры, поднимавшиеся вверх после каждого взрыва каменно угольных складов, летели так долго, до 3-х минут, что у нас возник спор аэроплан это или падающая звезда? При виде этой картины оставалось ждать трубных звуков ангелов, «собирающих избранных от края до края небес»!.

Около 12-ти часов ночи я встретился с двумя екатеринбургскими тата рами-разносчиками, пробиравшимися с пристани в поле. Они рассказали о ужасах, которые там творились. Во время землетрясения они были в нижней части города на европейской улице Мейн-Стрит. Она вся развалилась в несколь ко секунд и через 15—20 минут была охвачена пожаром. Они бежали к при

стани (Бунд), где рассчитывали найти спасение в море. Масса народу заполнила пристань. Страшный ветер дул со стороны города, и не было возможности стоять от жары и удушливого дыма. Тогда народ начал бросаться в море на лодки, баржи, сампаны, на обломки досок, балок и т. п. Но в это время загорелись прибрежные баки с нефтью и керосином, и весь этот горючий материал вылился в море и вспыхнул. Началась паника. Люди бежали, давя друг друга. Запылали суда. Океанские пароходы, стоявшие в порту, начали отходить на рейд из опасения стать жертвой пламени. Лодки, баржи, сампаны, на которых тысячи людей искали спасения, были охвачены пламенем. Страшные вопли и крики наполнили воздух... Многие бросались в море и тонули. Море горело на пространстве двух миль...

Второй день.

Утро второго сентября было тихое и ясное. Солнце поднялось еще кровавым от продолжающихся пожаров. Нижняя часть города, примыкающая к предместью Явата Баси и к Накамура-чо, догорала. Здесь уже копошились японцы, вытаскивая из-под пепла и кирпичей листы железа и сооружая временные сарайчики. Часов в семь утра, мы, утомленные за ночь, заснули на траве. Но ненадолго: часов около девяти снова начался подземный гул и толчки, но уже слабые. Первой нашей заботой было достать пищи и питья. Но где достать? Проходивший мимо японец нес в шляпе несколько галет. Поравнявшись с нами, он дал нам по галете. В это время мы увидали, что соседи-японцы таскают из огородов лук, морковь, кукурузу, свеклу. Не долго думая, и мы отправились на охоту за овощами, так как желудок настойчиво давал о себе знать. Все огороды были заполнены японцами: кто рвал лук, кто копал морковь и картофель, кто очищал головки кукурузы. Часть огородов уже представляла из себя свеже-вспаханное поле, ибо охота за овощами началась с рассветом. Набрав незрелой кукурузы и выкопав моркови и свеклы, мы с аппетитом взялись за истребление этих овощей. Хотелось пить. Но воды не было. Временами мимо нас проходили японцы и на веревочках несли откуда-то добытые куски льду. Мы попросили поделиться с нами, и они откалывали нам маленькие кусочки, и мы сосали этот драгоценный напиток. Бывший с нами повар-китаец отправился на поиски воды. Часа через полтора он возвратился и принес нам бутылку чистой и хорошей воды, а также бутылку прекрасного вермуту.

— Лю-хо, где это ты достал вермут? — спросил его управляющий банком.

— Купил, платил иена пятьдесят. Японский люди ящик несли. Японский люди из склад Кодрилье много ящик тащил! Я просил продать, они соглашался. Хо? (Хорошо).

— Хорошо, Лю-хо!

— Дорого, нет?

— Совсем дешево!

— Чифань (кушай)!—И китаец хитро подмигнул.—Вода нет,—продолжал он,—там одна грязь. Эта бутылка японский мадам мне дала. Хороший мадам!

Пожевав сырых овощей и почувствовав себя бодрей, мы начали обсуждать — что же дальше предпринять? Было 10 часов утра. По всему полю кипела работа: японцы тащили откуда-то обгорелые циновки, доски, старое кровельное железо и, как муравьи, быстро строили себе навесы, чтобы укрыться от дождя и солнечных лучей. Женщины копались в огородах и таскали запасы овощей. Мы решили также сделать запасы из опасения остаться голодными. С большим трудом нарвали луку, накопали моркови и немного картофеля, добыли несколько капустных кочерыжек и молодой кукурузы. Этот запас давал нам возможность, хоть и в проголодь, но два дня перетерпеть. Обеспечив себя таким образом овощами, мы с управляющим банком Ларевым решили отправиться на разведки к пристани в расчет сесть на какой-нибудь пароход, или даже добыть пищи. Мы направили через Блеф. Здесь еще ничего не изменилось. Валялись обгорелые труп улицы были загромождены обломками, которые местами еще курились. Всюд стоял страшный смрад: приторно пахло жареным, и это кружило голову застилало глаза каким-то туманом. Впечатление при виде скрюченных о горелых трупов было тяжелое; оно еще более усиливалось контрастом т плого ясного дня, сияющего над этим кладбищем смерти. И как-то невольн напрашивался вопрос: «Зачем? Для чего эти ужасы?»...

Идем. Впереди нас двигается высокий седой человек без шляпы. Ег ведут двое японцев. На нем дешевенькое, короткое кимоно, грязная порванна сорочка и коротенькие кальсоны-трусики. Ноги его пишут мыслете. Он пр изводит впечатление пьяного. Поравнялись. Я вижу, что это знакомый англ чанин Смит. Еще позавчера я его видел гарцующим по Блефу на прекрасно английской лошади. Ежедневно перед обедом он делал прогулку верхом.

— Добрый день мистер Смит!—сказал я, поравнявшись со старико Он посмотрел на меня какими-то оловянными, тусклыми глазами и ничег не ответил. Голова его тряслась, и весь он представлял из себя какую-т развалину.

— Не говорите с ним,—сказал один из японцев,—он сумасшедший: него убило жену!

Я еще раз посмотрел на этого, еще несколько дней тому назад бодрог жизнерадостного и крепкого старика, и мне стало до боли жалко его.

— Очень богатый человек!—сказал Ларев,—но теперь, кажется, потерял!

Мы спустились на улицу Мотомачи. Эта шумная, наиболее посещае европейцами улица представляла из себя какое-то ужасное кладбище. С была узенькая и, видимо, моментально пала после первого толчка, зада массу людей. Там и сям валялись обгорелые трупы во всевозможных поз одни ползли, вцепившись скрюченными пальцами в землю, другие—в полу дячем положении, очевидно, придавленные обломками, третьи лежали на сп со страшно вздутыми животами, некоторые в полустоячем положении, за

тые грудой кирпичей и черепицы. От некоторых трупов на поверхности видны были только ноги, все остальное было засыпано сползшей с Блефа землей. Несчастные, видимо, пытались подняться на гору и здесь искать спасения, но гора осыпалась и задавила их. Зрелище было ужасное. Сотни трупов обгорелых, обезображенных, с оскаленными зубами и вытекшими глазами были рассеяны здесь и там. И над этой равниной смерти и ужаса кружились с хищным отвратительным клекотаньем коршуны...

Мотомачи тянулась вдоль канала. Он был неузнаваем. Каменная его облицовка обвалилась, мосты пали, всюду обломки, обгорелые лодки, сампаны и трупы, трупы без конца!.. На лодках, на берегу, на сампанах, на береговой насыпи! Часть их плавала в канале, некоторые еще в обгоревших кимоно. Один, видимо, женский труп, сжимал в руках ребенка лет трех. Невыразимо тяжелая картина!.. Мы поскорее прошли вдоль канала к французскому консульству. Здесь было людно. Железный мост через канал был цел и опустился футов на семь, и по нему теперь двигался неиссякаемый поток людей. Тащили раненых, тюки обгорелого шелку, какие-то мешки, ящики, обгорелое тряпье.

Близ холодильника по соседству с консульством шумела толпа: здесь брали с боя лед. Мы тоже протискались, работая руками и боками, и нам удалось добыть кусок льду весом фунтов пять. Здесь же мы подобрали две пивных бутылки без горлышек и запаслись водой.

От прекрасного французского здания консульства остались только две наполовину развалившиеся стены — северо-восточная и юго-восточная. Все остальное было разрушено и представляло из себя гору кирпичей, перемешанных с железом. Пред зданием у разрушенной ограды лежал труп французского консула Дежардена, прикрытый простой циновкой. Здесь мы узнали, что в момент замлетрясения он в кабинете беседовал с двумя сослуживцами. Они спаслись, а он был убит упавшим на его голову кирпичем. Его маленький сын был спасен нянькой-японкой, которая с трудом вытащила его из-под обломков.

Через мост мы перешли на пристань (Бунд). Она была запружена массой японцев. Все они, видимо, ожидали пароходов, но ни один из них не подходил с рейда. По дороге какой-то японец дал нам горсточку вареного неочищенного рису, а другой протянул нам несколько дешевеньких конфект и пару папирос. Весь Бунд был разрушен. Здесь выднелось несколько автомобилей с сгоревшими в них шофферами. Очевидно, жар был настолько силен, что не было возможности спастись от пламени. Сама пристань была разрушена, местами оползла, а новый мол, стоивший казне около 90 милл. иен, ушел в море. Остались только по бокам его ворот (входа в порт) два маяка, наполовину тоже опустившиеся в море. Таможенные склады, заваленные товарами, оказались также разрушенными, а причалы провалились в море. Склады еще жарко горели, и к ним трудно было подойти.

Близ лучшего в городе Ориенталь-отеля толпился народ — грязные полураздетые англичане и японцы. Развалины отеля еще дымились, и из средины их несся сильный запах жареного мяса. Здесь, как потом нам передавали

погибло много американцев-путешественников, лишь накануне высадившихся в Иокогаме. Печальное зрелище представлял из себя этот богатый отель, в котором еще так недавно кипела шумная жизнь с танцами и музыкой.

По всей пристани валялась масса спутанных электрических проводов, толстых и тонких; и там и сям разбросаны были обгоревшие трупы. Над всей этой картиной, освещаемой ярким горячим солнцем и смягченной бирюзой неба и моря, висел все тот же пряный, вызывающий тошноту и головокружение запах. В устье канала, близ моста Банкоку баси прибило морем массу трупов, перемешанных с обломками досок, тюками ваты, бочками, чайными ящиками... Здесь стоял такой отвратительный запах разложения, что вся публика затыкала носы платками. Английский катер, пробовавший подойти к берегу, бился более часа, пробивая себе дорогу среди этой каши из трупов и обломков.

Близ парка сталкиваюсь с русским Ш., представителем одной харбинской фирмы. Он, босиком, с палочкой, в каком-то белом не то кимоно, то мешке и в купальных трусиках. На черной голове видны клочья се[illegible] волос.

— Живы? — спрашиваю.

— Как видите! Еле-еле...

— Где вы были во время землетрясения?

— В отеле Натори. Я собирался ехать в Токио. Переменял бе[illegible] Вдруг толчок, другой. Я ухватился за кровать и вместе с ней начал тан[illegible] вать по комнате. А затем, вместе с наружной стеной полетел вниз и [illegible]вершенно голый очутился на улице. Удивительно! Хоть бы где царапи[illegible] Весь отель рухнул сразу — жидкая японская постройка! Убито, кажется, легек до ста и все больше русские рабочие из Харбина[1]).

— А потом?

— Потом... видите, седой стал! Ужас! Нагишом я бросился бежа[illegible] Кругом пожар. Не знаю, как я добрался до городского парка. По дор[illegible] из лопнувших водопроводных труб хлестала вода, и там, где разрывал[illegible] земля, на несколько секунд образовывались настоящие водяные буруны. [illegible] колено в воде я добрался до парка. Все живое стремилось сюда. Хоро[illegible] еще, что ограда пала, иначе пропасть было бы задавленных и искалеченн[illegible] Парк уже был переполнен. Пожар усиливался. Ветер крепчал. Под его на[illegible]ром так крутилось пламя, что листья деревьев начали свертываться. А [illegible]женцы все прибывали. И вот скоро началась отчаянная паника. Как то[illegible] ветром нанесет горячую удушающую струю дыма, от которого захваты[illegible] дыхание, толпа в ужасе шарахалась в сторону. Начиналась давка, ст[illegible] крики, вопли! Вы не можете себе представить, что это был за ад?! Ходы[illegible] Люди задыхались одновременно от жара и давки... Временами я чувств[illegible] что из меня буквально кишки вылазят и мозги горят. Счастье мое, ч[illegible]

[1]) В 1923 г. рабочие Китайск. Восточн. ж. д. получили пенсионные, которы[illegible] добивались несколько лет. Получив их, они решили ехать в Америку. Америка[illegible] правительство дало разрешение на в'езд 15.000 чел., и из Иокогамы ежемесячно отпр[illegible]ось 3.000 чел.

выше японцев. Я вылез на головы их и по головам сажен с пять пробирался, пока не упал у камня близ пруда. Многие упавшие уже не вставали: они умерли не от жары и не от давки, а оттого, что, упав, захлебнулись в воде, залившей парк. Нет... я никогда не воображал, что люди такие звери!.. Но здесь были настоящие хищные звери; боровшиеся за свою жизнь. Сумасшедшие... Описать, что здесь творилось, как ломались руки, разбивались головы, с остервенением рвались кимоно — невозможно! Вы видите... седой ведь! — И Ш. провел рукой по своей голове.

— И много там погибло?

— Не знаю, не знаю! Когда я отдышался у пруда, в котором масса людей стояла по горло в воде, я бросился бежать к морю, а потом вдоль пристани к Хоммоку [1]). Здесь вот японцы и дали мне этот мешок и трусики. Франтоватый костюмчик? А? — Ш. показал на свой костюм. — А вы?

Я рассказал ему, как мне удалось спастись.

Поговорив еще немного, мы разошлись. Я направился к Явата баси, чтобы отсюда выйти в поле, где был наш лагерь.

По дороге, на Оги-мачи, я наткнулся на ужасную картину: земля разорвалась, затем, видимо, сдвинулась и защемила японца, и он, зажатый, сгорел. Местами разрывы земли доходили до сажени шириной, но были неглубоки. По северо-восточному берегу канала еще продолжали гореть угольные и шелковые склады. Горевший шелк издавал отвратительный запах. Здесь же я встретил большую толпу народа. Молчаливая, подавленная, она стояла и слушала похоронную службу. Буддийские священники в своих ризах, угрюмые и мрачные родственники погибших и рядом с ним подсвечники, позолоченные лотосы, — все это представляло трогательное зрелище среди дымящихся развалин! Молчаливая толпа, казалось, думала глубокую думу о судьбах погибшего города: от Иокогамы осталось только одно название. И мне, по аналогии, вспомнилась судьба Помпеи. Но там, в пепле сохранился город, а здесь ничего не осталось!..

Там и сям на развалинах копались японцы, добывая себе из заваленных подвалов пищевые продукты и лимонад. Вода в эти дни была дороже хлеба. Уже к вечеру второго дня трудно было найти пустую бутылку, так как все уцелевшее было разобрано жителями, из которых каждый нес с собой одну, две бутылки пустых или наполненных водой.

(Окончание следует.)

---

[1]) Хоммоку — северо-восточная часть Иокогамы, чисто японская, с массой зелени и с прекрасным пляжем. Здесь обычно протекает купальный сезон. Летом Хоммоку служит дачным местом.

Малиновый звон.

Вит. Федорович.

Очерк одного дня.

Чудаковатая рукопись эта пала мне на долю в селе Чебаркуль, на У после шестидесятиверстной ломки по горным россыпям; добрых чувств к я не питал уже по причине усталости. А тут еще эта «одежка». Не бе: сады расправил почти бумажный жмых—тетрадку, порядком закопче со скрученными слоеными углами. Расплывшиеся чернила заголовка «За Расшивкина», сальные пятна, ржавые помази—по ней, видно, только н дили. Благодарение богу, это не были стихи. Плохие стихи читать невыно а в провинции еще сплошь толкутся с—«гнусными царями—крови мор Тетрадка была в прозе. Строчки не обгрызались в скобку долгой и кр ливой думой, шли, выпячивались, наскакивали друг на друга, растрепыв приписками снизу, сверху, перепутанными, нечесанными лохмами покр белое лицо листков.

Первые страницы буйно исполосованы чернилами. Зачеркнута змея линией каждая строчка. Потом целиком страница решительным крес крест. В самом начале, за тонкой раздумчивой чертой—было жаль черк погуще—читалось:

«С семнадцатого года я пошел в сознательные, а в то... (два-тр разборчивые слова)—маляром на Самаро-Златоустинской...»

В следующих строчках упорные фиолетовые чернила слепили все с На пяти замученных страницах, там, где линия прохлестнула мимо, по шей части в концах строчек, уцелели обрывки фраз:

«...у них пять телег с винтовками...», «...с револьвером над те фистом...», «...завозились в Челябинске чехи...», «...хромым я был от ной раны...», «...попыхах разберешь ли Шахматинский мост...».

В конце седьмого листка синим карандашем, не поддавшимся чер нацарапано как бы сведенными судорогой буквами:

«Жена Люба, прощай. Что худое и что хорошее—не от ме партии. Не забывай дело. Осип».

Это не конец рукописи. На обороте листа, смежная страница и дал пять ли, шесть страничек—исчеркань. Было заметно, что почерк отде слов изменился—стал острым почерком почти грамотного человека. Слу

покинутый подзаголовок «Мои страдания» не был чрезмерным—в нем равнодушное определение прошлого простым человеком, умиление перед эпопеей, как бы перенесенной на третье лицо. Даже разобранного вскользь было достаточно, чтобы почувствовать напряжение борьбы:

«...Любили они из пулемета расстреливать...», «А Любашу жаль, товарища Расшивкину...», «...сказал: «Ах ты, хромой чорт, комиссар...», «...К чему жить—места живого не было...», «Чечик генерал молча крутил ус...», «...Ну, завтра поведут...». «...Проскочим. Тебя прикрою юбкой...». «Расклеила?» «Расклеила». «Сколько?»—«Шестнадцать...» «...а ты меня, случаем, не выдашь?..». «...выкопал Сидор погреб под сараем и две кровати...»

В конце шестой страницы были еще две спасшиеся фразы:

«...мне говорят: «Ильич». А я не знаю... Я знал—Ленина, который...». «...говорит мне (глазам не верю!): «Садитесь, товарищ, и все...».

Следующая вымаранная страница совсем неожиданно упиралась в пачку вклеенных красных, желтых листков и телеграфных бланков—все в копиях. Это—самые разнообразные приказы по транспорту, сообщения о засеве каких-то пятисот десятин, отчет о раздаче продовольствия беднякам, просьба о субсидии в пятьсот рублей, адресованная СТО, чертежи изобретения новых подшипников слесарем Снегуровым, с припиской «дельный парень», смета со штемпелем: «Комиссар Волго-Бугульминской ж. д.» и факсимиле—«Осип Расшивкин».

Бумаги окунали в новый мир борьбы, о котором автор хотел сказать самому себе не частным словом, а документом, сухим, резким языком официальной бумаги и цифр. Именно это и должно было итти после смертельного безбережья, отчаяния, побегов, крови,—всего, что скорее чувствовалось, чем читалось в рваных словах и фразах измызганных листков.

Ниже страницы не тронуты. И опять примечательно: второй раз перелом в почерке. Он похож и непохож. Графика букв нова, почти неуловимо-родственна прежней. Алфавит сокращен упразднением многих особенностей букв: «и», как «н, к, п, ы»; «ш», как «т, ж»; «а», как «о»; «е, с»—одинаковы. Простые палочки и кружки, крепко связанные, устремляются линиями вкось, кверху, широко начатые, сжимаются к концу, похоже на пук лучей в фокусе.

Рассказывал Расшивкин также о борьбе, но уже в иных формах.

«Запись майская 1922 года.

«Первым делом, как приехал в Чебаркуль, а не был я тут два года, вижу—станция неумытая стоит, сопливая, просто сказать: наводит тень. Вертится кругом пропасть народа, либо сидят до полдня с цыгарками, коленка на коленку, а не догадаются. «Почему бы вам не выбелить здание?»—говорю тому-другому. Смеются: «Э, как ты, Расшивкин, стал выражаться. Образованность!»—«Ну, что ж, вежливым стал с вами, бузотерами».—«А почему, почему...—Смет нет—вот почему».—«А жены у вас есть?»—«Жены имеются»...—«Дома приборку держат, а тут не могу прибрать для своих мужей?» Смеются, руки в бок, отходят: «Буде, Расшивкин, почудил свое...»—«Что ж, будем чудить, если так». Рядом—овраг перейти—горы белой глины. Тут до

войны каолин подымали. Молчком выпросил бочку, наносил того каолину, растворил. На утро из Чебаркуля принес инструмент свой. Заломил чортом шапку, белю одну наружную. Охряной глины еще добыл—не глина—солнце— карнизы, плинтуса подвожу. Нет лучше дела, как к которому рука с малолетства приставлена. Песню хватишь под самой крышей, на душегубке, под пятым этажом. А внизу, как придавленные, люди на брюхах ползают. Голос у меня был ладный, теперь ни черта не осталось—могу котом муркать. Белю таким манером вторую, а служба станет поодаль, шутит: «Ай, да хромой комиссар!» Проходят поезда, слезает народ. Встречается—слезут знакомцы. Посмотрят, узнают, пошепчутся, обойдут подальше. Будь ты проклят—тоже лазят на брюхах, только в другом роде. Вижу, трое слезают, мои же подчиненные бывшие. Блыкнули — узнали — молчок. И проходят со спехотой такой путанной в ногах. Ах вы,—думаю себе,—гады! Кричу с лестницы: «Мое вам—ваше нам! Ужель Расшивкина нет возможности в маляре обнаружить?.. Принатужьтесь, братушки!»

«Один тогда говорит мне: «Здравствуйте, т-р-щ». У меня этого не бы чтобы на—«те». Что было, все поровну, а тут на—«те», да еще не—товар а «т-р-щ». И притом же все тишком на станцию и тишком обратно в ва Подвожу, однако, охрой низ. Вижу, идет Кашигин из Чебаркуля. Ну, по закону обходит т-р-ща Расшивкина,—вон куда, за нужник—боится, мает, буду отомщать. Иду после буфетом, с ведром, со всей мурой, как пс бает маляру. Слышу, у стойки разговор такого сорта: «...ведь был началь ком дорог!»—«Что ж его—из партии?..».—«Будто, сам просился, в предсе тели сельского совета прошел, в здешние». Это про меня так. Ну, быть посе да и ладно. С лестницы малярной Расшивкину виднее. Но вышло как будт немного в себе ущемлен, хотя и раньше видал таких: харя меняется от одн того, что пересядут со стула на кресло—натужливой делается. Но не ст того... Станционные курослепы тем временем послали по телеграфу зап в высшее—можно ли частному, хотя бы и партийному, частно производить монт станции. Пока телеграф терпит, мурчу, охрю. А через два дня зап обернется — снаружи кончу. И совсем другая картина от того получитс

«Запись того же мая.

«Чебаркиль подрастает. Купил у цыгана двух башкирок для сове Пять тысяч отдал за всех, да еще по десяти мер овса накинул за кажд Выдержим! Кооперация подтянется, поможет. Я-то ей помог встать ноги. Лошади же...—ну, не могу определить какие! Вчера выстоял г ними пол-ночи. Ай, степняки! Ай, башкирята! А не свел ли бородатый эфис вольного башкирского табуна? Бельмы у него ходили, как хвост у ко Пускай отстоятся неделю, другую. Придет мой черед, поставлю на обе воды колокола с Вознесенья и повезу в трест к Заикину делать запродаж Положим такой расчет:

Трест—худо, бедно—даст . . . 5 тысяч руб.,
принатужу где-нибудь . . . . 4 „ „ (кооперация, продадим общественный
Итого . . . 9 тысяч руб. — полная стоимость трактора с достав пересылкой в Европейскую Россию.

«Внешторгу моментально—телеграмму и—пожалуйте—весною в Миассы выгружать трактор. Да чтоб к его приезду было все на чеку, на местах! Нет, стой, Осип! Остынь! Врешь, как водой бредешь. Остынь малость, хоть и есть надежда на бенефис».

«Записано в июне.

«И поп Кирилл привалил на сход. Симпатяга! Взирает на хромого чорта Расшивкина, как на икону. Вот-вот акафистом начнет восславлять! И кричит под многолетие протодиаконское: «Про-о-сить О-о-сип Ми-хай-ло-ви-ча!..» Узнал имя и отчество—каких чудес не навидался Расшивкин!—«Просим, товарищ Расшивкин!»—галдят и нашенские жуки.—«Просим!..» «Нет, товарищи, постой. Почему именно Расшивкина? Есть имена вождей, писателей всякого веса, политичных, погибших за народ, святых, наконец (это специально для Кирилла пустил),—что такое Осип Расшивкин? Неловкое дело. Снимите, прошу». А Кирилл свое: «Про-о-сить!»... С досады я, конечно, махнул: «Тут, говорю, отец преподобный, не обедня, нечего изображать благоденственное и мирное. Нетрудовым элементам голос на сходе утверждать незаконно». Он, конечно, не понял. «Если,—говорит,—на мой счет, то я живу трудами рук—хлебопашествую, а культ властью не воспрещен—хощу и священствую от духовного усердия». Угу! Это он именно мне находит возможность доказывать. «Культы,—говорю,—одно, а молебен Чечику, генералу чешскому, другой разговор». Позеленел, отошел. (А служил, действительно, молебен на этой же площади. А Кашигин подойдет, хлобыстнет—раз!—Расшивкина по скуле. Упаду, встану, а он опять—рраз!—силу пробовал, как человек крутится с одного удара. Чечик же там, где теперь школа, на порожке стоял. От смеха туго завинчивал шею в золотой воротник.) «Нет,—говорю, — окончательное мое слово: имя мое со школьной вывески снимите. Хромое оно и — ни к чему». Тут выступил вперед тот самый Кашигин, что кулак имеет увесистее всего Расшивкина. «Прими согласие. Народ тебя простит. Красная армия здесь проходила, утвердила, чтоб было так». Посмотрел я на Кашигина, на его огненную бороду, в глаза. Сам я — оренбургский, вижу, когда глаз по - казачьи виляет, а у него в глазу — слеза. Осип Расшивкин давно забыл, откуда берутся слезы, а то бы пожалуй, усилил настроение. «Быть, — говорю, — прославим хромого на весь Чебаркуль!» Как они подхватят, как ахнут меня вверх, вверх, вверх. В конечном счете не оказалось, что последнюю ногу оторвали — приятно было на душе. Идет! Быть! Только на повестке ставлю—трактор. Историю с колоколами взбунчу. Невозможно мне более терпеть такое унижение человечества. Из башки ни день, ни ночь не вылазит, как сейчас вижу: Чечик, зверь, сволочней самых допотопных, с размасленой головой, умиленно лобызает крест, рядом пала на бочок тоже масляная головка Кирилла, колокола же восторгаются из последних сил. Слово завернуть — бумаги совестно... Но колокола пускай исповедуются мать-сырой земли. Буде выть в небеси — всю расшивкинскую хибарку расшатали...»

«В средних числах июля.

«Оно, может, и апостол Павел сказал—«не трудивыйся, да не яст»—мне вникать и рыться некогда, а дискуссии с вами вести тоже не время, не охота. Значит, все-таки не усмехаться тебе надо—ужахаться, как так большевик, безбожник, неумытый маляр на земле проводит вопросы к порядку дня священного писания. Спор этот и насмешки—дело несущественное. Им не место в обществе Самопомощи—председатель здесь неподходящий, надо нового. (Есть на примете комсомол Островерхий Порфирий—его обязательно провести.) *Не одобряю также, что пришелся тебе, Расшивкин, по сердцу* земной поклон старушенки Фатеихи. Благодетелем себя почувствовал! Не наследство ли подлых времен все это—как она при этом перекрестилась—и гордость твоя также? И не своими тоже руками засеял девять десятин и получил, что всем полагалось получить, — 15 пудов пшеницы, 7 — гречи, 5—капусты, 5—брюквы, 3—морквы, 5 мешков картошки. Тебе принадлежит организация, за организацию получай плату. Чего еще? Почету? Преклонеı Мечтай о двадцати десятинах на будущее, о тракторе,—о чем хочешь грудь колесом не выпячивай. В любовании от малого до большого далеко Распалишь ты тоже самолюбие этим своим портретом в школе. Да к Марксу тебя присоседили, к самому его правому боку, — один стыд».

«Запись в конце месяца.

«В среду колокольное собрание. Каюсь, колокола вчера запродал : кину в трест, а слово Заикина крепко. Да и ухватился он за предложені особенно нужна заводу медь с серебром. Итого получается за весь в пять тысяч рублей золотом. Сумасшедшая сумма, а только—пол-тракт Свое бы слово по-настоящему провести через массу... А какие поля ст Поля не вылазят из головы, как бы в первый раз вижу. До чего звон до самых гор идут, хоть бы где запнулись о бугор. Метелкой некоше заросли, поклонами частыми тебе треплются вслед. Подумать, не с сотню лет кланяются метелкой. Допустим, здесь мало—у башкирят заце Прямо подмывало выскочить из тележки, дуром по степи кататься. От радо спирало, от Заикинского слова терпения не было. Эх, матка, так бы сам зари до зари и крыл тебя узорами пашни! Вот это—малярное дело! Это—: А там будут и двойни, и тройни—обезьянлив народ. До собрания—два Все ли учтено? Как чебаркульцы? Не будет ли осечки? Хоть говорит смелость мед пьет и кандалы трет, но тоже случается...»

«В августе месяце.

«Завтра—насчет колоколов. В докладе своем выучил все полож наизусть, но на языке вязкость. Не иначе, как молитвы отца Кирилл: моту наслали. И товарища Расшивкину заставил слушать не раз. I даже сказала с досадой: «Отстань, полоумный». Наши по отдельност снятие, а душа растревожилась—третью ночь верчу глазами. А ну, взбод Осип, сила—в бодрости».

«В сентябре записывал.

«Садил кедры и листвень вокруг церкви. Ничего, еще не все вы из мешка, на засев хватит. Кедр стоит сумный, как—все одно—чел

которого точит забота, сделанное вкось дело, промашка. Но опять говорю: поддержись—сегодня разбили в пух, а завтра победа. И в самом поражении вспомни, Расшивкин, для поддержки, что никакой мысли для себя не имел, вспомни, что так было и раньше, когда жил среди дураков, кусающих себя по-песьи за собственные хвосты. Частная мысль еще пришла в голову, когда садил листвень. Как про кедр, что он нахмуристый, так и про листвень, что она вся легкая, словно жена Любаша. И хороша листвень, как жизнь в борьбе: у нее и ветки легки-то, легки, а искручены весьма. Любашу жизнь тоже не миловала. Как она тогда, вся в слезах, совала мне узелок с лепешками: «Возьми, тебе лепешки иль яиц?..» А у меня глаза слиплись от крови и видится мне ее лицо в радужно-красном кручении. Хочу сказать — «пить!»— а сил нет—и только кручу головой. Эх, Любаша-листвень, житье мое и нынче не благоденственное: слышал, грозят уральским угощением — кайлом в спину. Но все вещи страховиты в отдалении. Дневники же пишут гимназисты, да графини — бросить надо это дело. 'Либо для проверки собирать одни важные документы. Вот что. Именно так должно быть».

«Записано на другой день.

«Досадку делал, пятьдесят три корня посадил. Слышу такой ехидный рип:

« — Здравствуйте, Осип Михайлович.

« — Мое вам...

«(Это я так с главарем попом Кириллом разговаривал.)

« — А я смотрю, что это ямки понарыты. Благоукрашаете святое место?

« — Что — верно, то — верно: в нашу веру бы перейти... поповскую...

« (Он проморгнул мои слова, справляя свое торжество.)

« — А правильно сход постановил. Действительно, колокола снять — един миг, а трудовая копейка шла на божье дело со всей округи. Соседей-то деревенских и бог велел спросить...

«(Молчу. Что же сказать, если подмывает несказуемое, зашпаклевать его по-малярному.)

« — Не клеится у вас с посадкой — ямка мала, сноровки нет. Вы больше привыкли по малярной части.

« — Ничего, на привычку есть отвычка.

« — Конечно, силой возможно все. И корни скарежите. Но только жизни не будет в вашем деле.

«Не вытерпел я, сказал с сердцем:

« — Колоти, колотило, за горою, ..с тобою...

«По крайней увидел в его глазах всех бесов, какие пропагандировал он на этом свете, в ногах ходили путаным шагом, в полах рясченки, в кресте, коим ткнул поспешно на улице в лицо Кашигина. (Рыжебородый тоже глядит неблагосклонно—новость.) Не одобряю, конечно, себя за несчастную дурь— нет во мне выдержки, не могу видеть все это... Однако, перед этими деревами, что будут стоять века, пообещался я про себя крепко: тут будет другая жизнь, молодой улей поставлю, земная сила полетит из него во все концы. Что с того, что грозятся!»

«Конец месяца сентября.

«Народный дом закончен. Имеет теперь 24 на 32. Пока хватит. Толі стоит пустыней. Хоть бы залучить лектора. Положим, на первое — ребята сцены охочи. Надо бы их насобачить по актерской части. Но не малярн это ума дело. Ехать мне в Миассы — слабизна и там. Ихние ребята став в неделю просвещения «Княгиню Капучидзе». Ну, на кой чорт сдалась про тарию «Княгиня Капучидзе»! А преподаватель второй ступени Преполов ский читал лекцию: «Ода Державина в истинном свете поэзии». Таких н в Чебаркуле не надо. «И так, без од, все спят по двенадцати часов в сутки» сказала товарищ Расшивкина. Она — ученая и правильная баба».

«Записано в сентябре.

«Лысков из Миасс проводил у нас ликвидацию. Чего они вздумали по войны кулаками махать? Нечего проводить агитации, когда на практ среди подростков неграмотных не имеется. Но не прогонишь человек под сон кровать отвели, сами с Любашей легли в сенцах, на полу. Не Разболелась нога. Еще раз откроется бедро — не выдержу. И опять — того раза свихнулся, или от раны — напало дурацкое томление попи ничего иного, как квасу. На манер помещика Афанасия Ивановича в с нии Гоголя. Вот, как мы зажили! О чем ни думаю — все сворачивает н А квас — внизу, подо мной, в погребце, но сами с Любашей лежим п ляды. Вот до чего хочется — чую запах, застит все положительно. Т было, как гнали нас белые через татарские столбы, по тракту. А у меня запой — от папаши достался — с кваса перейду на кумышку? нас под осень в карьер из Чебаркуля в Миасс. И был такой слух: по под побег, расстреляют. Тогда, как сейчас вижу, вышла женщина, фартук был подсолнушками-цветиками крыт, а юбка—красная вязанная тулилась у крайнего тына, в руке кувшин, а другой завернула фартук, вытирает. Правильная баба в России — сердце у нее скорое до чужого дания. Ну, и уперся я перед ней: «Дайте, — говорю, — напиться квасу не сойду, стреляйте на месте!» Казаки остановились, дали напиться но потом засовестились — люди за это дело по службе кормятся — плашмя колотить. Одного — не политичный был — рубанули шашкой, в погнали бродом через речку, а на другом берегу, когда зуб на зуб падал, слезли с коней: «Отдыхай, ребята!» Насобачили собаки людей. мнил дела прошлые, жжет еще более, подступает к горлу. Спать скруч и так, и этак — нет сил. Бессонница выела и скрутила глаза, а старс тается звонким боталом. Будто лежу так же, как сейчас, на землян стахеевского магазина, в керосиновом духу, и чуть слышу, кричат: «а врача... а-а-а...». И в другой голос: «Сволочи... а-а-а-а... врача а-а лыснут из пулемета... а-а-а-а...». Это в голове таким «а» отдавало. П почище, под утро, слышу над головой сап и скулят. Открыл через силу слиплись — верно, скулят. Один — Федор Рыжков — сейчас начальни ции в Троицке, другой—Степан Справов—их тогда за литературу взял вам»? «Скажи, что мы не при чем—семью не оставим». То-есть, един товарища Расшивкину. Чудак народ! «Пить!»—говорю. Оба вперебої

кувшин — как рай увидел, клацал, клацал зубами. Цветет утро. Вижу, открывается широко на улицу дверь, офицер входит. Привстал я — и не думал, как сделать, само сделалось, — руки сложил, как хороший герой, кричу: «Вот они, звери! Что с того что не виноваты ни в чем—им бы под пулемет кого, да кого не воткнуть! Взгляните последний раз на солнце!» Прямо, как в книжках! И солнце — видно — вылазит на подмогу из-за вывески мучного магазина Седеева. Офицер осмотрел меня: «На лошадь этого!» Все это лезло в башку, как второй раз проходил, и скручивало от бедра, и квасной дух, главное, сверх силы донимал. Вправду, не притти бы к отцовскому концу... Под утро уставился в окно, но не корежился, терпел. Еще было, может, часов пять-шесть утра, и Чебаркуль-озеро играло под луной. Окошко небольшое, высоко над землей. Вижу, в нем встало что-то непонятное, застило озеро, будто человеком, но — одна секунда — промелькнуло. Думаю, Чечик еще мерещится в квасную ночь. Но перетомило желание, отошел ко сну. Однако не Чечик и не тень. Жена — она рано встает к корове, к поросенку — утром подала письмо. Говорит, а сама бледная сделалась: «Нашла под окном, на заваленке». Написано в нем: «Хромой комиссар, вешал тебя Чечик за ноги — сорвался ты, так повесим за другое место — не сорвешься».

Говорю после прочтения жене: «Не без присутствия у нас духа. Надо раздоказать не на силе,—на уме». Жена прочла, долго сидела, зажав хлеб во рту, через силу проглонула, сказала: «В Миассы едем вместе».—«Ну, что ж! Быть! А не найдется у нас в хозяйстве лишков выменять тебе на валенки? Старые годятся ли?»—«Ничего подобного,—отвечает,—на подшивок верха. А лишков—одна брюква».—«А маслица не набила?»—«Губа больно у тебя толста, Осип. Молоко пьешь, а дает три кружки в день».—«Вот беда, как же без валенок?..» Словом, зажали мы это послание, ходу ему ни в мыслях, ни в разговоре не дали. Хоть и подумал я с сердцем: «Когда ж мы с тобой бенефиснем, товарищ Расшивкина?» Но это боле относилось к картошке— одной картошкой душим голод».

Чтению очень мешала напряженная тишина, стоявшая в Чебаркуле. Село ахнуло на добрую милю, обхлестнув горное озеро. Но толпа изб была в этот час необитаемой, как бы прислушивалась, надвинув соломенные шапки до радужных оконец. У самого леса, а может быть, и дальше, возникал лай, смутно напоминавший человеческий гомон. Лай то поднимался до хора, который месили отдельные крики, то ник одиноким, в'едливым отголоском.

Я хотел встать, выйти, но раздумал, опять взялся за чтение, хотя и не мог не прислушиваться к далекому буйству голосов, к ближней, казалось, тревожной тишине.

«Того же месяца.

«Все в Миассах с насмешкой величают Осипа Расшивкина — «фанатиком капусты». Было, — полгода смеялись, что сам выбелил станцию, даже спрашивали друг друга: «Это—тот самый Расшивкин?» Верно, верно,—тот самый. Что же мне после этого—вскочить в бричку, пороть на вороном по улицам, пьяно вихляться от кумышкиного удовольствия? Либо, как у них в горсовете, на одной двери воздвигнуть еще дверь: «без доклада не входить»,

«секретарь принимает от и до», «соблюдать строгую запись у дежурно Сидеть пузырем, тешиться, как по кнопке вскакивают в дверь дежурный, очередной старатель. Через дни протаскиваю по разумению, что могу капусту тоже, и ликвидацию, и вот агрономические курсы. Оно, положе с курсами, вышло вроде «оды Державина в свете истинном»—ни черта поняли наши. Только расстилали бороды до пупов да щурились. Один земле упивался крутыми поворотами. Виноват-то я, не отрекаюсь. И как бы вторник с колоколами тоже не вышло поворота? О человечьих же фоку что толковать? — много их разных, но не в этом вес жизни».

«Конец октября.

«Кашигина доконало то, что я взялся его девчонку провести во вто ступень, в уезд. Девчонка, правда, выйдет надежная. (Чудно, если посмотр на добро правильно. В ином скоплении факта оно окажется хуже злого з Значит, грызла рыжебородого совесть. А тут новое дело: Расшивкин вл почти год, а не душит, не сживает, оказывает поддержку. Того не п старый хрыч, что Расшивкину нет резона считать хлебороба Кашигина рого загрызла земля, родственником генералу Чечику. Расскажу все рядку. Вечером вчера кончал крестить табличками улицы — всего-то штук. Кашигин живет на самом углу. Приколотил на его тын табл «Тракторная»—улица идет со стороны железной дороги. На стук в сам старик:

« — Просим тебя в избу, на дело.

« — Быть. Иду.

«И взял он меня даже за руку, так не терпелось.

« — Одни мы, Осип Михайлыч, всех услал...

« — Ну, что ж, замуж за тебя все одно, не проси, не пойду—хр

« — Брось шишлиться с этим делом, Осип Михайлыч!

« — С каким? Что замуж?

« — Чудаковат. Брось—с колоколами. Без колоколов сделаемся— три года осилим трактор и чего пожелаешь...

« — Сам ты—чудак. Расшивкин помирать собрался, а ты—«чер три года».

« — Осип Михайлыч, точат на тебя... Есть слух по селу. Осте

« — Так тебе-то что? Не ты точишь?

« — Веришь!..—Он даже буцнул себя под горло кулаком с тряс жей бороде.

« — Ну, быть! Чего вспоминать? Глупость наша...

« — Осип Михайлыч... Тебе говорю: брось шишлиться. Беда!

« — Своих не стращай, а наши и так не боятся.

« — По крайности, не езди на прииска, в Миассы не езди один.

« — Да кто грозил? Родственник? Все вы тут перепутались в

« — Слыхал стороной. Было сказано: «Упредим».

« — Наше дело петушиное—кукурекнул, да и с тына. Во втор собрание. Ваше дело: как постановите, — так и будет.

«В сенцы выводил сам. Долго шарил щеколду. И рука дрожала—видно, очень ему меня жалко. Все шептал: «Упреждаю, упреждаю». На улице стало как-то не по себе. При месяце табличка отливает глянцем — «Тракторная». Очень хорошим, увесистым словом написано. Не вышло бы насмешки более увесистой».

«Н о я б р ь.

«В сельско-хозяйственной книжке прочел я на этих днях об'яснение про перекрестное опыление. А по-нашему перекрестное опыление—вот что: кооперации отдал все семена и деньги общества Самопомощи, а весной кооперация бросит долг и все деньги обществу на посев. Осенью же Самопомощь опылит наоборот. Смотришь, от такого перекрестного опыления родится трактор. Сосет меня это колокольное собрание во вторник. Пора эту глупость кончать. Слукавил я, назначил сход в будний день в расчете, что чужих, дикого элемента из деревень, напрет поменьше. Свои же чебаркульские поддержат. Надо агитнуть пообширнее. Товарища Расшивкину пустить по бабьей части».

«Н о я б р ь.

«Старик Кашигин упредил правильно. Через день ехал я падью с приисков. Думал, вот проеду еланку, сверну к полям. Посмотрю, проеду мимо тех «коммунаров», что закоммунарили на хозяйство не одну тысячу трудовых крестьянских денег. И откуда взялись на нашу голову эти «коммунары»! Рассыплются — и пыль дорога не примет. Только повернул от пихт, вижу чья-то брошенная надья курится. Подумал: вот, пакостники, бросают огонь в лесу, куда ни кинь — паленое и паленое. Тут в поспешности буцнули из ружья. Раз — мимо свистнуло, другой — мимо. Дурак, в хромоногого не попал! Хлястнул башкирят...»

Тетрадка вздернулась у меня в руках, но не от расшивкинского «хлястнул башкирят». Неожиданно над самой крышей ударил колокол. За первым—второй удар, третий, срочно, решительно. Вблизи было слышно, как, бросив звук, металл старчески шипел, тужился, хрипел медью боков. Бросал новую волну,—бежала она за озеро, в даль, где темные кедры приподымали головы над стеною голых берез. Рядом с хриплым натужливым хеканьем с сопеньем возник тонкий, просительный тявкающий колоколец; к нему поспешно подбегал другой, захлебывались третьим—и трезвон впивался в хребет хибарки, усиливаясь, теребил, доставал до самой заслонки на шестке.

На небольшом дворике — от него отделяли сенцы — все пришло в сильное беспокойство. Петухи, куры истошно вопили, корова мычала нетерпеливо и беспокойно. Мирно похрюкивавший до сего поросенок взбесился, как будто в него воткнули рождественский нож.

Резко щелкнула калитка. В комнату вбежала Любаша Расшивкина. Она — хоть и были кумачевы щеки — видимо, расстроена. Тяжело переводя дух, перебросала на столе все бумаги, повытрясла книги — их было немного.

— Вот провалилось! — сказала она растерянно, на секунду бессильно уронив руки.

Вдруг увидала голубой конверт, который все время лежал на самом виду, на плетушке с красными петухами, покрывавшей комод, сунула в карман. На

ходу, придерживая карман рукой, ткнулась плечом в притолоку, мелькнула полами кацавейки в окнах, оставив в комнате беспорядок, тревогу.

Я встал, вышел.

Трезвон, как победоносное войско, пышно плыл по широкой улице. Навстречу, справа, слева, выходили крестьянки, крестясь, озирались на церковь: «Чего-то в буден день раззвонились?» Ребятишки с лихим приплясом неслись впереди. Перед исполкомом стена плотных, литых крестьянских спин, оскобленных затылков. Взброшенные кверху, на помосте стояли Осип Расшивкин и писарь. Расшивкин заметил жену, когда она протискалась, взял голубенькое письмо, отрицательно качнул головой, спрятал конверт в карман. Писарь считал вслух, вдумчиво тыкая огрызком зеленого карандаша:

— Сем-де-сят се-ем... — Несколько раз протыкивал молча. — Во-семде-сят раз... Во-сем-де-сят две... — Умолк, как бы поперхнувшись этим — «две», косо взглянул на председателя совета.

Осип Расшивкин, просторно покосившись на плечо, улыбнулся, сказал:

— Больно свято звонят, аж на небе слышно! Девяносто три — обратно. Стало быть...—Он махнул рукой в сторону церкви:—Отвяжись, у меня не протодьяконский!.. Стало-быть большинством двадцати восьми — верно, писарь? — Писарь тряхнул бараньей шапкой.—Большинством двадцати восьми— против снятия колоколов. С тем и поздравляю!

— То-то!.. — крикнули в толпе не без злорадства. — Не ты становишь веру!

Расшивкин наклонился, развел руками, кому-то об'ясняя. Спрыгнул с помоста. В передних рядах произошло движение, но необычное — толпа подалась назад, вперед, треснула перед Осипом Расшивкиным. Он стоял теперь на виду, небольшой, одетый, несмотря на ноябрьский холод, в рыжий пиджачок, шляпченка не подходящего фасона — сзади с бантом. Сложил руки понаполеоновски — «как хороший герой». Любаша бросилась наскоком в толпу, но навстречу ей чей-то голос вдруг заверезжал:

— Граждани-и... православныи-и... — голос срывался, сдавленный и визгливый настолько, что с первых слов нельзя было понять — женщина голосит или до срыва орет мужчина.

— Перестали бы трепаться! — сердито вытягивая голову, отмахнулся от звона стоявший рядом мужик.

— Я... — продолжал выкрикивать голос: — Я... тре-ти-вод-ни-ись... стри... стри-лял... — И зачастил в одно слово: — Внеговрасшивкина-восипмихай-ло-ви-ча-а-а... — Потом приостановился, грузно кончил: — Я! В тебя! Два раза!

Крутом загромоздились слова:

— «Вот!» «Да кто?»—«Да рыжий Кашигин».—«Кто?..»—«Кашигин, вот кто».

— Ви-жи-ти ми-не-е-е!.. — взвился решимостью отчаяния голос Кашигина.

Даже мужики вздрогнули от ножевого крика.

Головы обернулись к Осипу Расшивкину. Он покрутил головой и засмеялся:

— Да, вчера мне снилось... Вижу, трактор чешет по полям. Вот здорово! — Он дурашливо махнул рукой: — Сон не в руку. А Кашигину в ту же ночь пригрезилось — стрелял в меня. Да еще два раза. Брось, Кашигин! Лучше расчеши бороду, чисто всю спутал.

Качнувшись на хромую ногу, он прошел по рядам расступившихся крестьян. За ним сзади мелькнул на коленях Кашигин с застывшим бараньим оком. Да кто-то еще крикнул:

— Вота случай, едрит...—

но стух в тишине.

Мужики — неподвижны, как давняя россыпь с Ильменского кряжа.

Расшивкин шел, припадая на простреленную ногу, широко ловя рукой воздух. Любаша-листвень шагала рядом, упершись взглядом в землю. Колокола вызванивали ядовито, заливисто, ритмично — под расшивкинскую хромоту.

— Вот стерва вызванивает!—воскликнул Расшивкин, улыбнувшись.— А, его рыжую бороду я узнал в пихтах. Вот так бенефис!.. Дилинь-бом! Дилинь-бом! Слышишь?—хромой чорт, хромой чорт... Специально сделано!

Он остановился, запрокинув голову, посмотрел на колокольню. Снял шляпченку с бантом, мотнул невидимому звонарю, засмеялся:

— С бе-не-фи-сом вас!

Веселый бенефисный смех Расшивкина под малиновый звон подмыл рассмеяться и нас с Любашей-листвень.

Голубиная книга.

М. Пришвин.

Было высказано скромное желание оживить общественную жизнь вопросами быта, и по всему литературному фронту пошло: Троцкий сказал, Троцкий сказал...

Я слышал от писателей, которые называют себя «бытовиками», что будто бы и нет никакого еще у нас быта: милиционера, например, нельзя теперь описать, как раньше городового: сегодня он милиционер, а завтра заведующий отделом МКМ (Московское купоросное масло). Я бытовиков этих никогда не понимал; мне казалось всегда, что чем дальше писатель от быта, тем он лучше может, если захочет, и быт описать; мне казалось, что сам писатель-бытовик является категорией быта, подобной городовому... Единственное, что присуще писателю, рисующему быт, — это наличие в душе его некоторой доли уверенности, что данное явление есть на самом деле, а не только его писательское представление; это, с одной стороны, а с другой—писатель не должен быть, как фотограф, и просто переносить на бумагу то, что он видит и слышит обыкновенными глазами и ушами. Сейчас у нас господствует именно это последнее ложное представление, и потому мы в газетах видим невозможные для чтения огромные точные отчеты без всякой попытки со стороны самого автора между ее угловыми фактами жизни провести свою волшебно сокращающую диагональ.

Один «вопрос быта» меня сейчас очень занимает. Раньше я очень интересовался русским человеком в отношении его к церкви, с одной стороны, и той природной религиозности, которую называют «язычеством». Теперь тот же простой русский человек становится перед лицом науки, противостабляемой религии; в существовании такого бытового типа я имею полну[ю] уверенность, встречаю его на каждом шагу...

Вот, например,—я ехал из деревни в Москву на конференцию по вопрос[у] хозяйственной организации центрально-промышленной области; рядом с[о] мной сидел в вагоне кустарь-скорняк, напротив—молодой человек в военно[й] форме, восточного типа, армянин или грузин — политический работник,- остальная публика—все кустари-башмачники. У меня есть работа по изучению производственного быта кустарей, и я, не теряя времени, занялся скорняком и скоро выудил у него ценные для меня сведения, что скорняки, изго

товляющие ценные меха, вообще развитее других кустарей, и это очень понятно: они имеют дело с модными магазинами, с франтихами-женщинами и научаются особому тонкому обхождению. В то же самое время, оказывается, что ни один вид кустарного промысла так не пострадал от революции, как скорняческий, именно потому, что в те годы исчезла модная женщина.

— А как теперь?—спросил я.

— Теперь, славу богу,—ответил кустарь,—понемногу оправляемся, ведь мы живем исключительно от бабы! она загуляла, и мы с ней; соболей, правда, еще мало, но каракуль пошел, а ведь мы от каждого сака по две овчинки выгадываем—понимаете? Темное наше дело, и все, я вам скажу, исключительно зависит от бабы.

— Женщина, — вмешался политраб, — такого типа со временем должна исчезнуть.

— Да что вы?—испугался скорняк.

— Ну, конечно, вы же знаете, что новая женщина не носит дорогих мехов.

— И вы думаете, что со временем все женщины будут ученые?

— Со временем, конечно. Взять пример с нашего быта и деревенского: вы знаете, например, как теперь в деревне ценится жених, какое, пользуясь нашим временем, он заламывает приданое с невесты.

— Но как же и быть без приданого?

— Как быть? вот у меня пустая комната, привожу к себе жену и говорю: будем жить, как я живу, так и ты...

— Вам хорошо, у вас пустая комната, и, так сказать, голова, а ежели изба, хомуты и прочее, а женщина у печи и на скотный двор ходит, и я всякую вещь должен завести для совместной жизни, то как же я стану на хозяйство без приданого?

С этого момента я стал решительно на защиту хозяйственного быта в избе с вещами, с приданым, против жизни головой в пустой комнате, знаю я это житье—довольно!

— А почему?—резко спросил меня политраб.

Это было совершенно особенное почему, не то обычное научное в смысле детерминизма, холодное, бесстрастное, а совершенно такое же, как в Голубиной книге и у детей, источник чего—моральная или эстетическая и вообще желанная качественность.

Я вооружился терпением ученого и решил, заключив вопрос о приданом в цепь исторических причин, увести политраба в бесконечность прошлого и, возвратясь оттуда, вдруг представить дело в таком виде, что вся совокупность наших знаний о приданом не даст нам троим—скорняку, политрабу и мне—согласно решить в данный момент, следует брать приданое или не следует. Я не рассчитал того, что цепь причин бесконечна, и политраб загонит меня своим «почему» в беспредельность и никогда не даст возможности вернуться к приданому в настоящий момент. Дело осложнилось еще и тем, что скорняк понимал нас по-своему, вмешивался и все перебивал примером из жизни какого-то купца Василия Ивановича. Я, например, говорю:

— Когда между враждующими славянскими народами явились базары, кончаются воинственные набеги за женщинами, прекращается умыкание жен.

— А почему?—спрашивает политраб.

Я хочу ответить, но скорняк перебивает:

— Позвольте, вы говорите, кончилось умыкание, а как же Василий Иванович умчал себе жену?

И рассказывает подробно весь эпизод такими яркими красками, что увлекает весь вагон за собой, и нам долго приходится ждать.

Так мы едем, едем, и, наконец, Москва, а цепь причин все не кончилась. Идем по улице и все говорим, говорим, на манер Голубиной книги, отчего зачался свет и т. д.; где-то на углу политраб меня уже спрашивает:

— А что было в начале: речь или мысль?

Я ответил:

— Думаю, что речь, т.-е. не логическая, а вот, — как галки говорят.

Он очень обрадовался и пожал мне руку. Я спросил его, почему же так он обрадовался.

— А этот вопрос,—ответил он,—у меня пробный камень, вы сказали «речь», и я понял, что вы стоите на марксистской платформе.

После этого оказалось, что ему прежде всех дел непременно надо посмотреть могилу Ильича, мне же надо было итти в Госплан на конференцию по хозяйственной организации Центрально-промышленного района.

Хозяин линий прямых.

Я возвращаюсь к вопросам быта, ставшим в моем сознании, как вопрос печати. Читатели «Известий» и «Правды», помнит ли кто-нибудь из вас две-три сухие заметки, притом помещенные на последней странице, о привлечении ученых десяти стран, каждой, как Бельгия, по своему пространству, и называемых губерниями, для работы вместе с Госпланом над организацией хозяйственной жизни всего центрального района? Вам, конечно, известно, что центральный район в составе десяти губерний с Москвой в сердце являлся в русской истории организующим началом всей огромной бывшей Российской империи, и в настоящее время этот центральный район, заключающий в себе величайшее богатство против других районов страны—человека с его культурными навыками, является основным в деле грядущего восстановления производительных сил всей страны?

Прибавьте к этому отмеченное мною «бытовое явление»—наличие среди рабочих, крестьян, служащих очень большого числа лиц, определяющих свой желанный и волевой мир согласно с достижениями науки, и вы поймете, почему я вопросы быта попросту называю вопросом печати.

Взяв цепь причин, я, конечно, отвечу, что печать сама является «надстройкой», не она виновата, а сама конференция, имевшая такие, казалось бы, блестящие условия, чтобы стать бытовым событием и праздником организующей человеческой воли; да, почему такая конференция прошла незамеченной общественным сознанием?

Я сидел на ней девять дней, бывая утром и вечером, материалов у меня накопилось очень много, изложить их не хватит места во всей книге журнала; моя задача теперь—только выяснить, какие же в конце-то концов недостатки в организации конференции не позволили сделаться ей бытовым событием и общественным праздником.

Приходится начать издалека.

Творческий процесс, являющийся в моральном сознании борьбой добра и зла, в моем сознании является как борьба хозяина линий прямых и линий кривых. Известно, например, что хозяин прямых линий местом своего постоянного пребывания избрал науку, а в искусстве он бывает только гостем. Там, в искусстве, засел хозяин линий кривых, и ему совершенно наплевать, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. А, между тем, успех всякого творчества является исключительно вопросом мирных добрососедских отношений между этими двумя хозяевами. Теперь это уже и официально признано: смычка города и деревни есть не что иное, как смычка городских линий прямых с деревенскими кривыми.

Вот я и думаю, что конференция плохо удалась именно потому, что хозяин линий прямых, Москва, несколько подавлял хозяина линий кривых—провинцию. Вы скоро увидите, когда будет изготовлена фотография, снятая с конференции, что центральным лицом на ней является тов. Егоров, представитель в Госплане наркома внутр. дел. Этот замечательно активный человек, вышедший, по всей вероятности, из трудящихся, прежде чем взяться за такое огромное дело, как плановая организация центрального района, сначала основательно поработал над плановым хозяйством в своем родном Егорьевске. Стоит зайти в Областной музей (М. Грузинский, 15), чтобы посмотреть, какое чудо картографии представляет собой экономическая карта родного тов. Егорову уезда Егорьевского. Я вполне соглашаюсь с тов. Егоровым, назвавшим свое дело «революцией в области картографии», но я выскажу здесь и свое отдельное мнение, что революция в области картографии только при том условии является революцией, если карта, план находятся хоть в каком-нибудь живом взаимодействии с действительностью. Так, например, на той же самой областной выставке, где я видел карту Егорьевска, я заметил тоже мастерски сделанную карту заповедника Московского Лесного Института с его образцовым охотничьим хозяйством. Представьте себе лист бумаги с квадратиками, и в каждом чистенькими мордочками-силуэтцами отмечено замечательно симпатично, где сколько зайцев, лисиц, лосей, медведей, разных охотничьих птиц. Увидав такую любезную моему охотничьему сердцу карту, я бросился искать проф. Житкова, чтобы попроситься у него посмотреть на охотничье хозяйство в действительности. И что же оказалось, когда я нашел проф. Житкова? Оказалось, что в действительности в заповеднике нет ни одного лося, медведя и вообще ничего, а это только план будущего. Еще хуже было со мной недавно в одной школе второй ступени на выставке карт, диаграмм и тому подобного. Я был еще более приятно тут поражен чем охотничьей картой, но когда поговорил с одним учеником, автором замечательной диаграммы о движении населения, то оказалось, что он вычертил карту без

всякого понимания и ничего о движении населения не знает. Воистину, это был язык, показанный жизнью хозяину прямолинейных планов.

Но мне, тем не менее, очень понравилась энергия, с какой тов. Егоров, открывая своей речью занятия конференции по плановой организации десяти центральных губерний, сумел поставить вопрос на должную высоту, и человек центрально-промышленного района с своей организующей волей выдвинут был им во весь рост.

После этого начались доклады высоких специалистов Москвы. Было представлено множество картин разрушения промышленной жизни в первые годы революции, но, в конце концов, указывалось, что человек, основной фактор производства, тот исторический человек промышленного центра России, остался и он сравнительно скоро восстановит все.

Нужно себе представить всю трудность работы конференции, имеющей дело с совершенно новым предметом, целой огромной страной из десяти губерний административных центров, слитых в одно хозяйственное целое. Каждому специалисту нужно было проработать над установлением признака целого с точки зрения своей специальности. Нужно знать еще, что Россия вообще-то страна неизученная, и оттого моментами мне казалось, что вот мы, конференция, группа ученых людей, высадились в неизвестной стране и ощупью бродим в ней.

Иногда, слушая какой-нибудь очень специальный доклад, я уносился воображением во времена Калиты, и его дело собирания русской земли в мешок сравнивал с делом этого коллектива ученых, выдвигающим идею собирания не так земли, как самого человека. В этом плане и прошлое вставало передо мной без обычного чувства горечи, и так я решил: в наше время мы будем собирать человека, как землю собирали цари[1]).

Хозяин линий кривых.

Я совершенно искренно изложил здесь свое почтительное отношение к делу хозяина прямых линий, но я уже сказал, что творческий процесс непременно является борьбой с другим хозяином, оканчивающейся мирными добрососедскими отношениями. Если бы все творчество можно было бы отдать хозяину линий прямых и совершенно бы устранить хозяина линий кривых, то на земле бы в короткое время был создан рай, и все бы в нем ужасно заскучали. Так случилось и здесь. День, два, три мы, провинциалы, терпеливо сидели внимательно следили, как московские профессора, по правде сказать, очень неуверенно, выводили свою прямую линию. Теперь-то я очень хорошо понимаю, как надо было устроить, чтобы не убить духа: каждый из профессоров должен был вначале кратко наметить программу вопроса и потом предложить высказаться представителю с мест; в конце же диспута, проверив и себя самого, снова взять слово и выпрямить всю кривизну. Тогда бы не получилось

[1] Тезисы докладов отпечатаны, и их можно достать в Орг-бюро Ц. П. О. при Госплане (Воздвиженка, 5, комн. 46).

того, что люди, десятки лет поработавшие в медвежьем углу в своей специальности, должны были на старости лет превратиться в студентов, и вся конференция—в скорые курсы для стариков.

Царство скуки началось во мне страстным желанием покурить. Я пробовал выходить в буфет, но там нарочно приставленная женщина меня строго останавливала, заявляя, что курить воспрещается. Курительной не было. Уборная же действовала, как водится, очень плохо, и вообще, там курить, пыхая быстро, как гимназисты, я не решался. Возвращаясь в зал неудовлетворенный, я плохо мог следить за докладами, они стали мне пролетать, не оставляя следа в сознании. Наконец, я решился итти в уборную и там встретил множество курящих людей; курили и говорили:

— Чорт знает что! Все обдумали, все распланировали, а курительную комнату и забыли, мы даже не студенты, мы гимназисты...

Так я попал в резиденцию хозяина линий кривых, и тут везде слышалось: чорт, чорт, чорт...

И чорт, тот воин хозяина линий кривых, показался...

Вы знаете, как у нас в России распространено одно скверное ругательство святым именем, но все-таки нужно сказать, что это ругательство локализировано в известном кругу неразвитого народа и, если даже интеллигентный человек попытается иногда ругнуться по-народному, у него как-то выходит не так. Зато уж чорт в России равно у всех на устах, так что иногда приходит в голову, нет ли за этим словом какой-нибудь специфически-русской реальности.

И вот мгновенно обежало всю конференцию, что этнограф Василий Иванович Смирнов привез из своей Костромы чорта. Тетрадки с легендой о чорте (Труды Костромского научного общества, 3-й сборник) из уборной перекочевали в зал, всюду возбуждая веселье. Вскоре конференция разбилась на секции, провинция подняла голову, начались всякие эксцессы, показались нежданные частности, всякие случайности, и работа закипела полною жизнью.

Получилось такое впечатление, будто чорт Василия Ивановича спас положение, и вот почему я считаю необходимым кратко изложить здесь содержание этого памятника.

Чорт родился.

Из вступления В. И. Смирнова.

«В глухих, заброшенных в лесах и занесенных в снегах деревушках крестьянская масса, в толщу которой с трудом проникает политическая и общественная мысль, где неизвестна наша изящная литература, в значительной степени продолжает жить чертовщиной, колдунами, рассказами об огненных змиях и т. д. Изменилось лишь направление народных вкусов и направление творчества, но последнее продолжает жить, притом нередко в старых, привычных для народа формах. Замечательно это свойство народной памяти твердо хранить приемы эпического склада; у нее всегда имеется богатый запас

готовых выражений и сюжетов, и в эти готовые рамки легко уже потом укладывается неустанно творимое фантазией сказанье, нередко дающее об'яснение новым явлениям жизни.

С особенной любовью наше народное творчество, как и наша художественная литература, разрабатывает тему о чорте. Одно время, весной 1920 г., можно было наблюдать процесс такого творчества одной легенды, примеривание, так сказать, различных старых сказочных и повествовательных рамок. Может быть, потом где-нибудь будет записана окончательно развившаяся стройная легенда, отдельные варианты которой и попытки народной разработки ее удалось нам записать в Костроме».

Первый вариант.

«Не у нас это было, где-то тут близко, в Ярославской губернии. Жили мужик да баба. Мужик, коммунист он был, изрубил иконы, побросал их печку. Знала ли, нет ли про то баба, стала она растапливать печь, — не тс пятся дрова, да и только. «Что, — говорит баба, — за чудо!» А из печки гс лос: «Это чудо еще не чудо, а вот через три дня будет чудо». Испугалась баб побросала все, а через три дня и разродилась, да и родила чорта — мохнать весь. Народ прослышал про это, собираться стал смотреть на чорта. Чт делать? Думали, думали мужик да баба, взяли да отнесли чорта в лес и брс сили там. Приходят домой, а чорт сидит на лавке, смеется. «Вот так чудо»,- говорят. «Нет, это еще не чудо, а вот через двадцать дней будет чудо»,- говорит тот. Не знают мужик с бабой, что им и делать, отказываются от чорт и соседи никто не берет. Узнало начальство и арестовало чорта».

Легенда не говорит о том, что́ случилось через двадцать дней. Но в эт время легенда еще далеко не завершила своего развития — никто еще не ук зывал точно, где именно родился чорт — «где-то близко, но не у нас», неи вестной оставалась еще судьба родившегося чуда».

Второй вариант.

«Было это в деревне Сольникове, Костромского уезда. Мужик-комму нист бросил образа в печь. Горят они каким-то особым огнем и не сгораю Рассердился он, изругался и расколол образа. Через три дня жена его, бывш на последних сносях, родила чорта. Тужат мужик с бабой, а чорт и говори им: «Это за то, что вы жгли образа и кололи, родился я чортом. Не бойте молитесь и день и ночь, через шесть дней будет чудо».

Дальнейшая судьба родившегося чорта все еще неизвестна. Зато в с дующем варианте легенда окончена, и вся она обработана иначе.

Третий вариант.

«Знаешь Дуняшкина деверя? — рассказывал кровельщик М. Н. Е нов, — так вот он ходил к себе в Ярославскую губернию. У них это бы говорят, в Романово-Борисоглебском уезде — бросил мужик иконы в печ

все сгорели, одна только и осталась. «Вот,—говорит баба,—чудо-то!». А в брюхе у ней отвечает (брюхатая она была): «Нет, через три дня будет чудо, так чудо». Через три дня и родила баба чорта — как есть чорт: мохнатый, с хвостом и с рогами. Баба померла от страха, а чорт как родился, так сейчас и убежал под печку — чорт свое место знает. Достали его оттуда и отправили в музей».

Законченная в своем творчестве легенда становится актуальной: по словам газеты «Красный Север» перед Вологодским музеем стоял целый хвост людей, желавших посмотреть чорта.

Подробности.

Легенда понеслась по всей стране, докатилась до Украины, где передавали, что чорт родился в Пермской губернии, а в Подольской губернии одни указывали на Ярославскую, другие на Костромскую, как на родину чорта. Но особенно интересна обработка легенды в Ржеве, Тверск. губ., появившаяся здесь значительно позднее, где рассказывали, что родился поросенок с человеческой головой, — поросенок родился живым, но был убит мужиком, и этого мужика будто бы расстреляли за то, что он загубил человеческую душу. Говорили, что после появления на свет поросенка был расстрелян священник, арестованный раньше за то, что он раньше предсказал рождение получеловека-полусвиньи. Вся легенда в деталях с неизбежными остротами и сплетнями носила явный характер сатиры на некоторые общественные явления того времени. Досадная молва волновала настолько, что осенью 1921 года особое ветеринарное совещание составило акт.

Акт.

«Акт 1921 года 14-го октября, согласно телефонограммы Уисполкома, комиссия в составе врача Филатова, Иоссель, Кринского, ветеринарного врача Волкова, под моим председательством осматривала препарат (формалин) поросенка, доставленного из рассадника Зеленкино, при чем оказалось: что поросенок приблизительно шести вершков, мужского пола. Конечности развиты нормально, имеются копытца; туловище никаких ненормальностей не представляет. Черепная коробка недоразвита и неправильной формы. Лицевая сторона представляет из себя род складок, происшедших вследствие складки ушных раковин (дающих впечатление глаз), под ними имеется хрящевое образование, предназначенное, очевидно, для нижней челюсти, под которым имеется слепое отверстие (создающее впечатление носа). Под этими, т.-е. складками, на расстоянии двух сантиметров имеется бородавчатое возвышение с волосами по бокам. Впечатление лица происходит исключительно вследствие случайно происшедших складок, вследствие недоразвития хрящей и вообще черепной коробки. Никаких оснований предполагать, что поросенок имеет человеческое лицо и голову, не имеется. Предком Сахаров». Далее подписи членов.

Заключение.

Теперь от себя скажу, что легенда о родившемся чорте, конечно, не миновала и моего слуха, я, например, знаю и такие подробности: в деревне Следово, Смоленской губ., жена б. военного комиссара, Петра Васильевича Ермилина, Акулина, потихоньку от мужа повесила на рожденного ею ребенка крестик, чтобы предохранить его от превращения в чорта; знаю, что Смоленский чорт был заделан в ящик и отправлен в Москву в музей... Знаю, что и вот эта кустарная деревня Тверск. губ., где я сейчас переписываю свою работу,— такая же: в любой избе стоит мне только заикнуться о родившемся чорте, как мне откликнутся новыми бесчисленными вариантами. Но я ничего не хочу больше рассказывать, потому что, кажется, уж и так хозяин линий кривых в моей работе начинает перевешивать хозяина линий прямых. Удивительно, как легко и занятно писать и читать о чорте, но как трудно возбудить интерес в той области, где прямая считается кратчайшим расстоянием между двумя точками. Вот почему надо всемерно использовать отмеченный мною в начале широкий интерес в народных массах к науке, к этому «почему» Голубиной книги. Не нужно только узко понимать задачу и ограничиваться изданием «популярных книжек». Таких конференций, всякого рода с'ездов, в Москве бывает сколько угодно, хватило бы только людей, умеющих интересно писать о них. Секрет же интересного описания я, кажется, уже здесь довольно ясно открываю: писатель добрых начал человечества не должен очень сердиться на чорта, напротив, он должен так увлекательно писать о пользе науки, чтобы и сам чорт записался в студенты. Вот, когда это случится, только тогда недоказуемое положение, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками, будет воистину доказано и перейдет из отдела аксиом в теоремы.

С х о д.

Ив. Вольнов.

1.

С каждыми лаптями—лишний комок грязи,—пол в школе чавкает.

— И за каким чортом по этакой погоде наряжают на сходку, какие-такие дела безотложные, чтобы вы пропали!..

Зло, с брызгами, отряхиваются.

Присмотревшись к незнакомцам в переднем углу, угрюмо нахлобучивают шапки, сторонятся,—один к одному.

— Небось, о новом налоге... Вот, брат,—а?

— Д-да...

— Э-э...

— Т-твою в жилу!..

К незнакомцам, с локотками о парту, голова умильно на бок:

— Из города, поди, товарищи?

— Из города.

— Да, тоже—служба-матушка... как говорится... По этакому дожжишшу-те!.. да... Кобель и тот конуру ищет...

— Прямо, стало быть, к нам, в нашу деревню?

— К вам.

— Да, раз уж такая ризорюцыя: в сёло Бугороцкое, тут уж, конешно... Как там озимые?..

Отойдя от незнакомцев, в своем кутку:

— Помоложе-то—ничего, разговаривает, а тот, как зверь... Штоб я пропал — переодетый барин!.. Разорили их, сволочей, а они теперь над нашим братом орудуют... Я и так, и этак, а он — аж зубам скрипит...

— Нащот налогу?

— А то нащот чего же!..

— Т-твою в Христа!..

Наряд был: сей секунд, позавтракавши, комиссия. А собралось человек 25 — 30, хотя на дворе сумерки.

Сизыми кольцами по классу плавает махорка. Хвалятся, чья крепче.

— От моей индо звон в голове: томленая.

— Похвалился звоном! Саданул оглоблей по голове—вот и звон. Ты вот курни мою: очумеешь, как от самогона. Меня домашние в сени выгоняют курить: гусенята дохнут.

— А я не люблю чижолой: в грудях хрипит... мне штобы посредственная...

— Фабрики «Чужого»?

Сбиваются на хозяйственные разговоры. Мирно, тихо, хорошо говорят. Но — зыкнут глазами на незнакомцев, опять пугливо:

— Должно, налог!.. И чего они молчат!..

А незнакомцы жуют хлеб.

Удивленно:

— Простой хлеб едят!..

Наконец, терпенье лопается. Возясь, сплевывая, стуча кулаками о парты, набрасываются на председателя сельского совета:

— Тебя зачем выбирали — пуды брать? Это, что за порядок? Дьяволы, сукины дети, собаки!..

Пошла писать! Забыли и про незнакомцев.

— Мы еще и не таких лупили под Ростовом!..

— А мы на Волге,—помнишь, Сергей? — пуза-то потолще!.. Бывало: б-бах!—готов!..

— Все они, сволочи, сабатажники... На тебя бы буденновцев!

— Али Махну!..

— И раньше кровь пили, пиявки, и теперь порядку в обществе нету!.. Что глаза-то вылупил?.. Сменить председателя!..

А председатель—тощенький, рыжий, оборванный—виновато моргает.

— Вот управься с ними, — шепчет незнакомцам: — того гляди, в зубы заедут... И шут меня дернул в такую большую должность лезти!

Смерклось. Сквозь потные стекла просачиваются ржавые огоньки изб. Двери школы все чаще хлопают, грязь на полу чавкает звучнее. Плотной колыхающейся массой толпа ближе напирает в передний угол, к столу, где садится «призидиум».

— Ну, все? — кричит председатель.

— Все-е!

— Значит, можно открывать собрание?

— Открывай.

— Ну, я сейчас пошлю за ланпой.

— Тот-то бы тебя взял, чорта плешивого!—взмывает сход:—об че раньше думал?

— Об чем думал, не ваше дело, — огрызается председатель. — Мен одна волость замотала: приказ за приказом, — вам хорошо! А намедн исполкон Калугин... Кто согласен бежать за ланпой?

Пререканья продолжаются минут пятнадцать. Появляется «ланпа» — грязная плошка с конопляным маслом, в котором плавает кусок бумазеи вместо фитиля, и несколько тараканов. Председатель чиркает спичкой.

— Спички — шведские, головки — советские, сперва — вонь, потом — огонь!.. У вас, товарищи, не говорят этак?—обращается он к незнакомцам...

Те смеются.

— Я одному коммунисту этак-то сказал, к-как он долбанет меня по башке!—одобренный улыбками незнакомцев с восхищеньем говорит председатель. — На вашего брата — на какого чорта нарвешься!.. Ну, товарищи, прошу: тихо!.. Как?.. Не вам что ли говорят? Максим!.. Иван Федотыч!.. Фу, бестолочь!.. Максим!..

— Его нету!

— А кто же это там зявит?.. Прошу — тихо!.. Ну, теперь тихо?.. Выбирайте призидиум!..

— Да выбирай сам: созвал, так и выбирай!..

Председатель укоризненно глядит на мужиков, потом на незнакомцев.

— Разве это народ? — спрашивает он черноволосого, помоложе, с узелком в коленях. — Товарищи, хочете на вас составлю бумагу?

Зло, с задних парт:

— Ну-ко, составь!..

— И составлю!.. Думаешь, не знаю, кто кричит?.. Выбирайте призидиум!..

— Нам он не надобен!..

Председатель опять к незнакомым:

— Ну, каждый раз вот такая история!.. Помогите, пожалуйста, товарищи... Разве это народ?..

Незнакомцы переглядываются. Высокий, пожилой крутит цыгарку. Черноволосый с минуту мнется, потом передает пожилому узелок, снимает шапку. Пожилой что-то ворчит. Черноволосый решительно опускается на скамью. Заинтересовавшиеся передние ряды смолкают.

Когда черноволосый сел, передние — локтями друг друга, оторопело:

— Обиделся!..

В это время в класс вошла уездная комиссия по из'ятию церковных ценностей.

И все прижухли.

В тишине:

— Здравствуйте, товарищи.

— У вас что-то крепко гвозди забивают, — говорит председатель волисполкома, провожатый комиссии.

— Да нет, это мы так, шутейно, товарищ исполкон, — жмется председатель сельского совета. — Вот товарищи, например, приехавши из города, ну—сход, комиссия...

Председатель кивает на незнакомых.

— Я уж доложил комиссии...

Один из них пытается что-то сказать.

— Комиссия приехала со мной, — говорит волостной председатель. — Вы свою приберегите до завтра. Избрали президиум?

— Так точно, налажен. Василий Лаврентьич! Василий Васильич! Дядя Никанор, к столу!..

Примолкшая толпа следит.

— Ну, поживее, скоро там, што ли? — начальнически кричит председатель.

— Чичас, дюжо горячий, али стукает? — отвечают ему.

Среди класса происходит возня, угрожающий полушопот, толпа перед столом быстро, на обе половинки, распахивается и тотчас же смыкается позади двух древних стариков и мальчика с завязанной головой.

— Вам что? — сердито спрашивает их председатель.

— А в эту, — говорит один старик, тыкая пальцем в стол.

— Товарищ исполком, меня вотчим избил, — говорит мальчик с завязанной головой.

Председатель разводит руками. Всхлипывая, мальчик тащит тряпицу с головы.

— Вот по этому самому месту... мантачкой... кэ-эк буэнет!.. аж инд у меня огонь из глаз...

Старики, протискиваясь меж членов комиссии, садятся за стол.

— Куда вас чорт занес? — сердито шепчет им председатель: — ну, разв вы призидиум?

— А кто же? — спрашивают старики: — стало быть, мы это... как т называешь... Поди-к поспорь с молодяком, — швыткий!..

— Да уж сидите, шут с вами. Один срам перед уездом. Другие бы н печи грелись, кабы совесть была.

Выведенный из терпенья член уездной комиссии, молодой, с смуглы румянцем, паренек, в гимназической шинели, спрашивает:

— У вас постоянно так?

— Постоянно, деточка, — печально говорит старик: — по-прежнем време за это бы по рылу, а чичас — как раки в ведре: елозят, таращатс а кой прок?..

— Ну, ладно, — прерывает гимназист. — Товарищи, я, как член уез ной комиссии по из'ятию церковных ценностей, должен сообщить вам, чт ваши товарищи Поволжья ясно и определенно голодают. В общем это явлен недопустимо, но ваша святая обязанность всемерно притти на помощь стр дающему брату. Прежде же, чем коснуться этого стихийного вопроса, я, тс варищи, обязан доложить вам о международном положении Советской Росс а потом перейти к местным нуждам. Товарищи, буржуи всего мира, ополч шись в бессильной и яростной злобе на рабоче-крестьянскую власть, века спаянную в кровопролитных подвигах...

— Вы сперва, товарищ - начальник, об налоге, — говорят собравшие

— Да, сынок, вычитай, например, с кого сколько приходится, и мы п дем домой, — шамкают старики: — что ж теперь делать... видно, н тянуться, не впервой... Там, небось, похлебка простыла... Про во не слыхать?..

Громкий хохот в темноте заставляет всех насторожиться.

— В чем дело? — раздраженно кричит председатель. — Тут у нас игрище? Выходи к столу кто безобразит!

— Да тут, Иван Митрич, дьякону мешок на голову надели.

Председатель — к гимназисту, — тряся бороденкой:

— Разве это народ? — Теперь видите?..

К волостному, — на шаг подвинувшись вперед:

— Та-варищ исполкон, помните, вы мне угрaживали: в случае чего — первый под арест, — а?.. Это называется — порядок?..

Членам комиссии:

— Видите?!.

Гневно, — в пространство:

— А вы, товарищи-граждане, голову с меня сняли!.. Все слышали? Больше я ничего не скажу.

В жестах упрек:

— В каком вы государстве озоруете, — а? А еще мужики называетесь!.. Что дьякон, так в мешок надо? А на каком основании дьякон на сходке?..

Три молодых парня, бывшие красноармейцы, с хохотом выталкивают к столу длинного, черного взлохмаченного дьякона.

— Сам спроси его!

Председатель спрашивает, топая лаптем:

— Ты, дьякон, зачем сюда?

Перепуганный дьякон дико озирается по сторонам. Хохот растет. Дьякон тоже начинает смеяться, обнажая белые, крупные, прекрасные зубы.

— Бесстыжие твои, бессовестные глаза! — говорит ему председатель.— А еще тебя духовным сделали!.. Курощуп ты несчастный!

...Доклад о международном положении России затянулся на несколько долгих часов. Он коснулся всех стран света и народов, населяющих земной шар, попутно разбирая антропологические особенности рас и племен.

Слушатели примолкли. Кто мирно храпел, склонив головы в колени, кто — на руки, на подоконник; иные — разметались, иные — сжались в комочек или крендель; одни свистели фистулой, другие — ноткой пониже, погуще, с причмокиванием.

В классе проветрился табачный дым. Стало яснее. Но зато к столу так потянуло переварившимся ржаным хлебом с картошкой, огурцами, редькой, пшенной кашей и прочими дарами орловского черноземья, что светец с конопляным маслом стал смущенно млеть, трещать, бессильно прыгать и — перед цитатой из Зиновьева — сразу погас.

2.

На рассвете, когда еще только молочнеет утро, и дым из труб тянется лишь у рачительных хозяек, праздный наблюдатель мог бы видеть превеселую картину.

Отругиваясь, хрипя сырыми голосами в сыром и свежем воздухе, мужики месят грязь, возвращаясь со сходки. Лица измяты, как на похмельи,

поступь нетверда. Скользя, прыгая через лужи, обдают друг друга брызгами. Останавливаются, чтобы подвязать оборвавшуюся лапотную веревку, или выбрать тропку посуше, закурить. Замахиваются пустыми руками на потревоженных собак. И время от времени сыро, отрывисто, опасливо смеются. Как напроказившие школьники.

— Ну, и наслушались!..

— Послания к рымлянам!..

— Головища трещит от ума!..

Осторожно ступают перед избой председателя, в которой ночует комиссия.

Смельчаки заглядывают в окна.

Но там тихо.

— Вот так Хранция да Аглия...

— Прасковья да Степанида...

— И чего он, дьяволенок, мудрил!.. Ну, мол, старики, охота — не охота, а по пуду с двора везите: мы тоже пить-есть хочем. А то — у епонц с негрой губы толстые, у поляка — кишка тонкая... на что нам это?

— А как же зубы-то заговаривают? Они как начнут пасалтырь, да только потшшытывай, сколько в анбаре хлеба!..

— Сколько себе, сколько чужому дяде!..

— Твое—мое—богово!..

— Как в люльке укачал!..

По загумнами ползут старички из «призидиума».

А часом-двумя позднее тот же праздный наблюдатель увидел бы неистового председателя сельского совета на рыжей клячонке с подвязанным хвостом, кричащего на всю деревню. Сам—рыжий, в лохмотах; лошадка—рыжая, с репьями в гриве; рыжие лохмотья...

— Спасибо!.. Удружили!.. Поддержали совечью власть!.. Эх, вы, алмань не нашего бога!.. Как никономию разбивать — три ночи не спали!..

Оброть — пеньковая, повод — мокрый, хлестнет кобыленку мокрым поводом по пузу, она хвостом — круть! круть! круть!

— Но, дьявол!.. Застоялась!..

Мужики по избам уписывают горячие картошки.

— На сходку!—кричит председатель.—Вы меня не на смех выбирали... Одна нога тут, другая — там!..

Мир усовестился, поддержал председателя: одна нога тут, другая — там На ходу подпоясывались.

Шепчутся, лопошат, а сами опасливо, как жулики, глядят на двери.

— Обязательно накинут фунтов по десять с души!

— Десять-то—заплясал бы! Кабы пудом по спине не шарахнули!..

— А може простят по нашей бедности, — говорит пастух Ульяныч.

И когда входит комиссия, все с невыразимой любовью глядят им в лиц Гимназист недоволен, жмурится. Глаза его спутника поблескивают.

— Здравствуйте, товарищи! — кричит сход.

Гимназист удивленно поводит глазами.

— К сожалению, мне не удалось вчера коснуться желтого амстердамского профинтерна, — вяло говорит он.

— Касайся, товарищ, просим! — гремит сход.

— ...Созданный соцпредателями под видом защиты профинтересов рабкласса Запевропы...

— Тише, вы, дьяволы, через вас ничего не разберешь! — оборачиваются передние.

— Валяйте, валяйте, товарищ, очень нам интересно!..

— Эх, кабы почаще приезжали к нам вот этакие соколы!.. А то — серь, темнота... Ну, что мы хорошего слыхали на веку!..

— Хуже тюрьмы!.. Там только, бывало, и делов: кто больше вшей наловит...

— ...В корне отвергнув принципы соглашательства с наймитами буржуазии, мы избрали прямой путь...

— Куда кривая вывезет!—восторженно подхватывает председатель.

— Нет, товарищ, вы глубоко ошибаетесь,—терпеливо поправляет его оратор: — наши конечные цели и задачи нам ясны. Они должны быть ясны и вам.

— И нам, товарищ, ясны, не слушайте его, дурака.

— На других глотку пялит: не так! а сам буровит, хуже пьяного!— набрасываются мужики на председателя. — Молчал бы, затычка!..

— Вы меня напоили! — огрызается он.

— ...Это как раз и делают, товарищи, волки в овечьих шкурах...

— Спасибо, у нас таких нет, а то бы сейчас морду наколотили.

— ...Это они вас тянут в сети лжи и предательства...

— Ну, брат, нас тоже без рукавиц не схватишь!..

— Занозишься!..

Речь гимназиста течет стройно и живо. Ободренный вниманием, он оправился, повеселел. Он забыл, что ему уже двадцать лет, что он очень ученый и что его долг — сообщить темным мужикам все, что он знает, что вычитал, слышал на рефератах, митингах. Просто и искренно он призывает собравшихся крепко стать на страже интересов революции.

— А што нам, али долго! — отзывчиво кричит сход.

— Раз, два — и готово!

Под рукоплескания, — этому давно уж научились, — принимается резолюция.

— Видно, сыночек, сбросишь с нас фунтиков по пятнадцать, — ласково говорит гимназисту вдова: — ты уж не скупись, милый... ишь мы как тебе дружно...

— Да, уж, пожалуйста... мы—тебе, ты — нам... взаимное уваженье.. мы бы тебя на лето в исполком взяли...

— Да я же не об налоге, граждане, — оторопело говорит им гимназист.

— Не об этом?.. А мы —все про это сердце болит...

— Я, товарищи, член уездной комиссии по из'ятию церковных ценностей...

— Уж, пожалуйста, напиши, что, мол, дюже бедные, — не унималась вдова, — что, мол, всей бы душой радехоньки, да гайка ослабла...

— Да нет, бабка, мне налог не нужен!

— Совсем?

— Совсем не нужен!—Гимназист в сердцах стукнул папкой по столу.— Товарищи! В церквах — золото, серебро, драгоценные ризы...

— Это уж — как исстари водится...

— У мужика — лапти худые, а поп не наденет...

— ...А между тем, на Волге умирают с голода дети...

— При такой жизни умрешь!..

— ...А если на это золото купить хлеба да накормить голодных...

— Разлюбезное дело!..

— Шут их всех накормит!..

— ...Я не за вашими пудами приехал...

— Не за пудами?!.

Восторженно:

— Согласны!.. Согласны!.. Согласны!.. Накормить голодных!.. Все чтоб были сыты!..

— И ребятишки, и большие!.. И бабы!..

— А попа арестовать, да в волости полы подметать!..

— ...Поп мне не нужен...

— Согласны!.. Согласны!.. Пишите приговор... Все — как один!.. Что это, на самом деле, пропадать что ли людям!..

— Качать товарища!..

Голова качаемого гимназиста мотается, как открученная. Задранные выше головы ноги описывают самые фантастические круги.

Вспотевшие, веселые мужики осторожно опускают его на стол, спрашивая:

— Ну, что — не испугался? У нас как возьмутся, только трешшит.

Ласково хлопают его по костлявому плечу.

— На-ко, вот, пуговицы-то оторвались: мать дома пришьет...

Быстро пишется резолюция.

— Вот это — особь статья!..

— По хорошему-то — хорошо и на сходку ходить!..

Веселые, довольные, громко перекликаясь, переругиваясь, мужики расходятся по домам.

— Ну, теперь, друзья, за вами черед, — сурово говорит председатель двум незнакомцам. — Кто вы такие есть у нас в республике?

— Шорники, — отвечают незнакомцы.

Глаза председателя становятся круглыми.

— А комиссия? — спрашивает он.

— Комиссия уехала. — Незнакомцы пожимают плечами. — Чего кричишь? — спрашивает старший.

— Ага, комиссия уехала? А вы — не комиссия? — Председатель—весь гнев и возмущение. — Вы — самозванные белогвардейцы после всего, — поняли?

Он хватает молодого за плечо.

— Граждане, будьте свидетелями: только что поймал двух белогвардейцев!..

— Уж никого нету, Иван Митрич, разошлись, — говорит школьная сторожиха:—надо закрывать училищу... Это нанимаются которым шлеи связать... Они у меня ночевали. Это — рязанские.

— Мы — прохожие мастеровые, — поддакивают незнакомцы: — мы этим кормимся...

Сбитый с толку председатель опускается на скамью и бормочет:

— И шут меня дернул в такую большую должность лезти... Тому — не угодил, другого — прогневил, третьему — не с той строчки бумагу написал... Дорого берете за шлеи-то?..

— Сойдемся.

— Вы все этак: сойдемся да сойдемся, а я в ответе... Слыхали, что начальник-то вычитывал?.. Вам — в одно ухо впустил, в другое — вылетело... А ты — ночей не спи, думай: что он сказал? на что намекнул?.. какую козявку подпускает тебе под рубаху?.. Ну, собирайтесь, я вас поведу в милицию за озорство... Ко-миссия!..

Поэт.

В. Вересаев.

(Комментарии.)

> Но лишь божественный гла
> До слуха чуткого коснетс

I.

Нереида.

(1820).

1.

Зеленые и лиловые полосы тянулись по матовому утреннему мор Тепло было, сухо. В прибрежной маслиновой роще, прижавшись к серо стволу, молодой человек с курчавою, в крутых завитках, головою стоя жадно глядел вправо: меж двух невысоких лавровых кустов голубел широк выгиб бухты, мелкие волны, вдруг становясь белыми, поспешно выбега одна за другою на пепельно-серую гальку. В бухте купалась девушка.

Она стояла спиною к нему. Белели наклоненные плечи, вздымал тихо зеленоватые волны, и в них вздымались концы распущенных черн волос. Девушка повернулась, робко окинула взглядом берег. Молодой чело еще теснее прильнул к стволу. Она наклонила голову на-бок и стала жимать из волос воду. Видел он молодую, девическую грудь, прелест тонкие руки. Звенело в ушах, сердце билось крепкими толчками. Пол губа оттопырилась. Выпуклые глаза налились кровью и с свирепою похо дикаря впились в нагое, худощавое тело с недоразвитою грудью.

Если бы она увидела, если бы увидел его один из ее братьев,—к был бы позор! Какой позор был бы! Он жил в их семье, с ними, и м цветник этих прелестных девушек-сестер ароматом небывалой поэзии на нял его жизнь в Гурзуфе. Если бы увидели!..

Но мысли об этом не было, ни о чем не было мысли. Тайная кра девического тела, неожиданно открывшаяся глазам, горячим трепетом полняла пьяную от страсти душу. Щелкнул под ногами сучок—он сж воровато оглянулся и опять вонзился взглядом в нее. А она уж выходил

воды. И все больше открывалась запретная красота, ни разу еще не тронутая мужским взглядом.

Он задергался, как припадочный, и слабо застонал в бешенстве бесстыдного желания.

2.

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж олив, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

II.

Бахчисарайский фонтан.

(1820).

1.

Разговаривая по-французски, они вошли в тихий, полукрытый двор с темно-красными четырехугольными колоннами. Раевский молодцевато шел, шпоры его звякали по каменным плитам. Рядом вяло брел Пушкин, с желтым, осунувшимся лицом, зябко кутаясь в плащ.

Раевский звучным своим голосом сказал:

— Вот фонтан, о котором мы вам рассказывали. Сестры назвали его— «фонтан слез».

— Это?—безразлично спросил Пушкин и взглянул грустными, больными глазами, затуманенными лихорадкою.

В сумрачном углу двора, сбоку, безвкусно была вделана в голую стену мраморная плита, ярко расписанная вверху. На плите были мраморные чашечки; из заржавой железной трубки по каплям падала вода, вниз от чашечек тянулись по мрамору черно-зеленые пятна плесени; капли вяло ползли, смачивая плесень.

Пушкин брезгливо оскалил белые зубы, от которых еще желтее показалось его лицо.

— Что за безвкусие! Как можно было запихать фонтан в этот угол!

Раевский ответил:

— Он раньше был там на горке, у мавзолея Керим-Гирея. Сюда его перенесли при Екатерине.

Пушкин выругался сквозь зубы.

Стояла сыроватая прохлада, как в подвале, желтые листья валялись на плитах, в щели меж плит пробивался матово-зеленый, узорчатый чистотел. А над крышею дворцового крыльца, в зное синего неба, зеленели вер-

хушки двух пирамидальных тополей. От сырости, от неуютной некрасивости двора, похожего на пустую оранжерею, потянуло под горячее, греющее солнце.

Пушкин сказал:

— Довольно. Уйдем.

Раевский с неумолимою улыбкой взял его под локоть.

— Ну, уж нет! Раз пришли, нужно осмотреть все.

И почти насильно потащил Пушкина по ветхой лестнице вверх.

(*Письмо Пушкина к бар. А. А. Дельвигу в декабре 1824 г.)*

2.

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю номолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадной!
Журчи, журчи свою мне быль...
Фонтан любви, фонтан печальной!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной,
Но о Марии ты молчал...
Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

Гений чистой красоты.

(1825).

1.

После вечернего чая они сидели вдвоем на приступочке деревенс террасы. К вечеру слаще пахли левкои. Серебром поблескивал пруд, и гл грохотали внизу возы со снопами по бревенчатому мосту. Очень было т

Каждый день он был другой, совсем непохожий на прежнего. На - д *он читал им новую свою поэму,—и как будто молодой бог пришел к*

нездешним светом лучились ясные звезды глаз, и нечеловеческая красота была в лице. А сейчас сидел он,—застенчивый и колючий, такой необычный в смуглом безобразии горбоносого, полногубого лица, с крутыми кольцами волос. Обезьяна или чорт.

Она говорила по - французски задушевным своим голосом:

— Завтра я уезжаю от тетушки. И никогда, никогда я не забуду вас, никогда не забуду вашего чтения и этих очаровательных «Цыган», и даже этой большой черной тетради, по которой вы читали. Никогда я никого не слушала с таким восхищением.

Его губы передернулись, и он нетерпеливо ответил:

— Ах, оставьте! Не говорите мне о восхищении. Что это за чувство— восхищение! Говорите мне о любви,—вот чего я жажду. И, во всяком случае, не говорите мне о стихах!

— Но почему же, если они мне так нравятся? Я думаю, всякий поэт должен быть рад и горд, что его стихи восхищают слушателей.

— M-me Керн, не наивничайте.

— Не понимаю вас.

— Зачем вы прикидываетесь наивной? Ведь вы вовсе не наивны.

Она лукаво спросила:

— Вы уж так хорошо узнали мой характер?

— При чем тут характер! Не хочу его и узнавать... Разве хорошенькие женщины должны иметь характер? Существенное, это—глаза, зубы, руки и ножки; я бы еще прибавил,—сердце, но ваша кузина Анетта слишком опошлила это слово.

— Пушкин, не представляйтесь таким циником. Я о вас гораздо лучшего мнения.

Он злился и жадно смотрел на ее прекрасное лицо с девически чистым овалом, на трогательный, полуоткрытый ротик, на карие глаза; в них была тайная грусть и в то же время волновавшая душу тревожная, неутоленная страстность. Злило его, что в глазах этих, когда она смотрела на него, было что-то лукаво-ускользающее, и в ласковых, задушевных речах—осторожная граница, за которую она не переступала.

А полная грудь над тонким станом дразнила. И он хорошо знал, что она вовсе не недоступна: молоденькою шестнадцатилетнею девочкою была она выдана отцом за старого генерала, грубого, развратного и пошлого, и уехала от него, и жила теперь с приятелем Пушкина, хорольским помещиком Родзянком, большим циником и плохим поэтом. Эту зиму у Пушкина была игривая переписка с ним и с нею, и еще в мае он получил письмо от Родзянки, с приписками г-жи Керн, перерывавшими письмо, где он жаловался, что она вздумала мириться с мужем. «Снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью, а теперь чем? Ради бога, будь посредником». И Анна Петровна, отняв у него перо, продолжала: «Ей-богу, я этих строк не читала!» А он следом: «но заставила их прочесть себе десять раз».

Пушкин спросил:

— Вы будете писать Родзянке?

— Да.

— Тогда перешлите ему и мой ответ на ваше с ним письмо.—Он протянул ей сложенный вчетверо листок и прибавил с странною улыбкою: — можете прочесть — здесь и про вас.

Она развернула.

— Ах, стихи!

Глаза загорелись тщеславным любопытством. Она стала читать:

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских Муз поведать тайны,
А пишешь лишь о ней одной!..
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны!

Анна Петровна, прищурившись, читала вполголоса, а он с тою же стра ною улыбкою следил за нею.

Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной,—
Поговорим опять об ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту...

Она запнулась и покраснела. Дальше стала читать молча и все боль краснела, а он с острым, озорным наслаждением смотрел на ее милое, дев чески - смущенное лицо.

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу.
Не наведет она зевоту.
Дай Бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту.
Но несогласен я с тобой,
Не одобряю я развода;
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А, во-вторых, замечу я,—
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы;
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы...

Она растерянно взглянула,—и показалось ей, как будто горбон сатир похотливым взглядом смотрит на нее из кустов во время купанья.

Звякнула дверь террасы, из гостиной донесся голос тетушки Прасковьи Александровны. Анна Петровна поспешно сложила записку и сунула за корсаж, к которому приколота была веточка гелиотропа. Они встали.

* * *

Отужинали шумно и весело. Лунный свет был за окнами, в них широко вливался запах спелой ржи. На потолке чернели стаи заснувших мух. Босые девки толпились в прихожей.

Анна Петровна пела, а дочь хозяйки, Анна Николаевна, аккомпанировала на рояли.

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной...

Голос у нее был небольшой, но нежный, и звучала в нем та же задушевность, как и в речи. И губы при пении не складывались в смешное о, как у заправских певиц. Пушкин сидел глубоко в диване, не отводил от нее глаз, как влюбленный мальчик.

Все вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир;
Сердце бьется; мчится младость
На любви весенний пир.

Сухой блеск лунной ночи за окнами; посеребренные вершины дерев с черными тенями; и милый, чистый облик женщины, как будто пришедшей из другого мира, где все красота, свет и радость—и целомудренная чистота. «Чувствам снится дивный мир...» Мир этот спускался в жизнь и всю ее преображал, и гармонические волны, колыхавшиеся в душе, ширились, разливались вокруг, все претворяли в светлую, чистую и легкую радость.

Не мила ей прелесть ночи,
Душен свежий ветерок,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Все шумно аплодировали. Только Пушкин смирно сидел в уголке, опустив курчавую голову. Сын хозяйки, дерптский студент Алексей Вульф, ленивою походкою подошел к Анне Петровне и своим особенным, уверенным во власти над женщинами голосом похвалил ее пение. И ее глаза, когда она смотрела на студента, засветились радостно-покорным, отдающимся выражением, и улыбка была особенная, с какою она не смотрела на поэта. Но Пушкин этого не видел.

Хозяйка Прасковья Александровна, маленькая женщина с красивым лицом и сильно выступающею нижнею губою, захлопала в ладоши.

— Mesdames et messieurs! Мне пришла в голову мысль. Посмотрите, какая божественная ночь! Велим запречь лошадей и проедемся в Михайловское, к Александру Сергеевичу... Пушкин, вы нас примете?

Пушкин вскочил с дивана, запрыгал и в бешеной радости захлопал в ладоши.

* * *

У крыльца позвякивали бубенчики двух экипажей. Пушкин подсаживал Анну Петровну в тарантас. Над черными липами стоял яркий месяц. Прасковья Александровна сказала дочери:

— Annette! Ты сядешь с Анной Петровной, и Пушкин с вами. А мы с Алексеем в пролетку.

Пушкин досадливо прикусил губу: попечительная Прасковья Александровна не хотела оставить его наедине с Анной Петровной.

Подросток Зизи с золотыми волосами говорила обиженно:

— Maman! Позвольте же и мне ехать. Вот видите, есть лишнее место

Но Прасковья Александровна властным голосом, которого дочери при выкли слушаться, ответила:

— Ты останешься дома. Тебе пора спать.

— Трогай!

Весело звенели бубенчики, тарантас плавно катился по накатанно дороге. Пушкин сидел на узенькой передней скамеечке. Широкий запа спелой ржи плыл навстречу, пахло кожей, дегтем и конским потом, это го ворило о дороге и далях. На жнивьях темнели копны.

Пушкин, блестя глазами, наклонился к Анне Петровне и сказал впол голоса:

— Я торжествую. Я воображаю себе, как будто Александр Полто рацкий остался на крыльце у Олениных, а я вас увожу... Помните нашу первук встречу в Петербурге? Когда вы после ужина уезжали в карете с вашим ку зеном,—как я ему завидовал, что с вами он... Вы были слишком блиста тельны!

— А вы были довольно смешной и дерзкий мальчик.

— Да? — Пушкин засмеялся своим раскатистым, звонким смехом. — Я и теперь остался таким же... Посмотрите кругом,—как хорошо! Как пре красна луна!

Анна Петровна протянула с лукавым удивлением:

— Луна—прекрасна? Вы же ее постоянно называете глупою!

— Что она глупа, это бесспорно,—вглядитесь в нее...—И он ласк ющим голосом сказал тише:—но я люблю ее, когда она освещает прекра ное лицо.

Из-под смутной тени шляпы на Анну Петровну близко смотрели свер естественно-живые, упоенно-радостные глаза.

Сердце бьется, мчится младость
На любви весенний пир...—

продекламировал Пушкин.

Спутница их, Анна Николаевна, молчала, прижавшись в угол тарантаса, и, по привычке часто помаргивая страдающими глазами, глядела в сухо-серебристые дали полей. Между нею и Пушкиным было так много! Больше, чем кто-нибудь мог знать. А он ее совсем не замечал и не думал, как ей должно быть больно. Он так ничего не хотел знать и помнить, что все эти недели эгоистически делился с нею своими восторгами по поводу ее кузины.

Колеса шуршали в песке дороги. Лошади во весь дух мчались в гору. Проскакали через молчаливый крестьянский поселок и вкатили в широкий двор Михайловской усадьбы. Два огромных волкодава с густым, грозным лаем бросились навстречу.

Маленький, крытый соломою барский дом, а по другую сторону двора— вековой парк в лунном сиянии, черный внутри.

Анна Петровна воскликнула:

— Ах, какая прелесть!

— Пойдемте, я вам покажу парк!

Они пошли к калитке, с черною крапивою у плетня. Волкодавы неуспокоенно лаяли, махая хвостами, и ласкались к Пушкину. Анна Николаевна осталась стоять у тарантаса.

Пушкин с Анной Петровной вошли в парк. Лунные узоры дрожали на аллее, поперек тянулись корни. Анна Петровна спотыкалась и невольно прижималась к спутнику, он вздрагивал и молчал.

Со стороны двора донеслось:

— Ау!!

По аллее шла под'ехавшая Прасковья Александровна с сыном и дочерью. Она вздыхала и в сантиментальном восхищении повторяла:

— Боже, как очаровательно! Как божественно!..—И вдруг сказала:—Мой дорогой Пушкин, окажите честь вашему саду, покажите его мадам Керн.

Она в душе ревновала Пушкина, но завтра Анна Петровна, все равно, уезжала, и у Прасковьи Александровны был хитрый расчет: чтобы дочь ее, Анна Николаевна, почувствовала, как мало думает о ней Пушкин.

Пушкин поспешно подал руку Анне Петровне, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Они пошли быстро, быстро. Пушкин, наклонившись, зашептал взволнованно:

— Вот, я увез вас от Александра Полторацкого, а он там остался на крыльце...

И он говорил, говорил, она слушала, подняв брови, с глазами, тщеславно улыбавшимися про себя.

— Всегда я буду помнить ту нашу первую встречу. С первого взгляда вы тогда поразили меня, как только вошли к Олениным с вашим мужем. С вашим мужем... Как можно быть вашим мужем? Я никак не могу себе этого представить, как не могу представить себе рая... И у вас был тогда такой девственный вид! И неправда ли, вы несли на себе какой-то тяжелый крест,—да?

— Да. Это правда.—Она вздохнула.—Я и теперь его несу.

— Я знаю. Но вы смелы... Да, да, вы смелы в действиях, хотя и робки в манерах. Вы сбросите этот крест... Вы молоды, вы прекрасны, еще целая жизнь перед вами...

Она опять споткнулась о тянувшийся поперек аллеи выступ корня, ее бедро, обжигая, коснулось его бедра, он крепко прижал ее локоть к своему боку. И, продолжая прижимать, повернул в темную боковую аллею, поросшую снытью. Темнота радостно сближала, телю мучительно-сладко ощущало прикосновение полного, прелестного женского локтя.

Блестящими глазами он вглядывался в ее смутно улыбавшееся лицо.

— Как к вашей красоте идет запах гелиотропа!—Он наклонился к ее груди и стал нюхать цветок. В разрезе платья белела полная шея с чуть обозначавшимся вторым подбородком. Она стыдливо отстранилась.

— Подарите мне на память эту веточку!

— Не слишком ли это много?

— Даже это—много? Даже это? Мучительница вы!

— Ну, хорошо...

Он, задыхаясь, сказал:

— Позвольте, я сам сниму...

Она, улыбаясь, отвела его руку, протянувшуюся к ее груди.

— Господин Пушкин!.. Нате, и будьте скромны.

Он жадно целовал цветок и жадно смотрел на нее глазами, светящимися, как у кошки на добычу.

— Через цветок я целую ту прекрасную грудь богини, которую о украшал, и завидую, почему я сам не был этим цветком...

(Письма Пушкина к А. П. Керн в 1825 г. — Воспоминания А. П. Марковой-Виноградской. Л. Н. Майков. «Пушкин» 1899.)

2.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

IV.

Счастливец с первых дней.

(1825).

1.

Не успел еще казачок доложить, как сейчас же вслед за ним в комнату бурно ворвался Пушкин и стиснул товарища в об'ятиях. Молодой князь, в малиновом шлафроке, поднялся с дивана, на котором лежал с французскою книгою. Пушкин прыгал, сыпал вопросами, хохотал и тормошил приятеля. Крутился по комнате вихрь, звенящий смехом, сверкающий ослепительными улыбками.

Красавец-князь благодушно улыбался, оправлял с'ехавшие на середину носа золотые очки и говорил по-французски:

— Все тот же! Всегда неизменно тот же!

Пушкин торопливо раскрыл на столе одну книгу, другую, заглянул в газету,—он все время был в движении, как ртуть, только что вылитая на стол. И в то же время говорил:

— Узнал, что ты у нас здесь, в Псковской губернии,—прискакал. Чего это ты лежал? Болен, что ли?

— Был довольно сильно болен. Лечился в Спа. Утомление. А здесь вот заехал к дяденьке,—немножко прихворнул. Пустяки.

Угомонившийся Пушкин сел по-турецки на диван, в ногах князя, и сказал любовно:

— Ну, рассказывай, моя радость, что ты? Как? Преуспеваешь на службе?

— Пожаловаться не могу.

С тем наслаждением, с каким удачливые и самолюбивые люди говорят о себе, князь стал рассказывать о служебных своих успехах. Пушкин кивал головою и радостно улыбался.

— Шагаешь, моя милая! Молодец! Двадцать шесть лет—и надворный советник, камер-юнкер, Анна на шее, Владимир.

— Это что! Не это важно. Важно, что я назначен первым секретарем при лондонском посольстве,—вот это, дорогой друг, редкая удача.—Красивое лицо его озарилось светом приятных воспоминаний.—В Лайбахе встретил меня на улице его величество, государь-император. Подозвал к себе. «Ты просишься, Горчаков, в Англию. И прекрасно. Я отправлю тебя туда секретарем нашего посольства».—Он с вескою раздельностью повторил эти незначащие слова,—видно, дорожил в них каждым звуком.

— А не все равно,—в Лондон, или еще куда?

— Нет. В наше посольство в Лондоне посылаются только самые талантливые и избранные чиновники. Это была моя давнишняя, затаенная мысль, но я не смел и мечтать о ней.

В живых глазах Пушкина мелькнула язвительно-добродушная насмешка.

— Ну, раз сам просил царя,—значит, смел мечтать и не очень за ивал свою мысль.

Князь усмехнулся и сказал по-русски:

— Милой друг! Дитя не плачет, мать не разумеет...

Как воспитанный человек, князь понимал, что нельзя говорить только о своих делах, и от интересных разговоров о себе, он перешел к интересным разговорам о приятеле.

— Ну, а ты как?

Лицо Пушкина потемнело.

— Вот уж второй год вынужден сидеть у себя в деревне...

— Знаю, знаю. Слышал от дядюшки. И князь Петр Андреич с зывал в Москве... Охота тебе, братец! Велика радость, что мальчишки-п порщики рукоплещут. «Гонимый властью...» Нам ли в России этим гордит и любоваться?

Пушкин раздраженно возразил:

— Из чего ты заключил, что я любуюсь? Кто это тебе вбил в голову Вяземский? Ох, душа моя, меня тошнит, но—предлагаемое да едят... Ес чему радоваться! Гонят пять лет сряду, замарали по службе выключкою, слали в глухую деревню за две строчки перехваченного письма...

Князь неодобрительно качал головою.

— Любезной друг! Без вины этого бы делать не стали. Сам знаеі что виноват. Было бы тебе заняться серьезно службою, как я тебе да советовал. С твоим пером...

— Мое перо не для этого. И я рад, что оно хоть малость слу другим целям.

С ненавистью Пушкин стал говорить о царе, о всеобщем возмуще которое вызывает его двуличность и дружба с Аракчеевым. Кипящая з прибойными волнами выплескивалась из души. Князь морщился и пс дывал на дверь.

— ... Терпение приходит к концу. Везде растут тайные общества, честные граждане вступают в них...

Горчаков холодно возразил:

— Благие цели никогда не достигаются тайными происками. И чего я уже совсем не могу себе представить, это того, чтобы кто-нибудь из питомцев нашего лицея позволил себе поступить в такое общество.

Вспомнился Пушкину приезжавший к нему этою зимою Пущин, строгие глаза его, светившиеся сосредоточенною готовностью на жертву. Он спросил с едкою насмешкою:

— Почему ты этого не можешь представить?

— Питомцам лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает ни прямо, ни косвенно итти против августейшего основателя того заведения, которому мы всем обязаны.

Пушкин вскочил с дивана и пружинистою своею походкою быстро зашагал по комнате, прикусив дергающиеся губы.

И этот сухой, самодовольный чиновник, этот двадцатишестилетний старичек был когда-то его кумиром! Как Пушкин восхищался в лицее его красотою, светским изяществом и остроумием, успехами у женщин, даже эгоизмом его,—уверенным в себе эгоизмом неизменного удачника. И как он весь теперь ссохся, выдохся!

Позвали обедать. Облик Пушкина резко изменился: он с'ежился, осел, потускнел. Дядюшка Горчакова, предводитель дворянства Пещуров, любезно разговаривал с Пушкиным, а он отвечал неловко, напряженно усмехался, краснел, как мелкопоместный недоросль, попавший в хорошее общество. Он злился на себя, но не мог справиться: маленький какой-нибудь душевный толчок,—и вдруг настроение резко менялось у него, и он уж был над ним невластен.

После обеда ему хотелось уехать, но неловко было: при приезде он сказал Горчакову, что приехал к нему до вечера. Они пошли назад в комнату, отведенную для Горчакова. Князь извинился и прилег по нездоровью на диван.

Пушкин привез с собой несколько сцен из начатой им большой драмы.. Чтоб заполнить время, он предложил Горчакову их прочесть и сейчас же разозлился на себя, зачем это он.

— Драму? вот как! Это весьма интересно. Пробуешь себя в новом роде?

Такой был противно-снисходительный тон, что Пушкину захотелось запустить в него свертком. Чувствовалось,—себя и свое дело Горчаков считал неизмеримо выше тех пустячков, которыми занимался Пушкин. Настолько выше, что охотно даже готов был унизить себя в этой области.

— Прочти, прочти!—покровительственно говорил он, примащивая подушку себе под голову.—Как Мольер читал свои комедии кухарке своей, так вот и ты мне.

Кусая губы, Пушкин стал читать,—вяло, монотонно, без под'ема. Одну сцену прочел. Другую. Постепенно начал разгораться.

Баба (с ребенком).

Ну, что ж? Как надо плакать,
Так и затих! Вот я тебя!.. Вот бука!

Плачь, баловень! *(Бросает его об земь. ребенок пищит.)* Ну, то-то же!

Один.

Все плачут;

Заплачем, брат, и мы!

Другой.

Я силюсь, брат,

Да не могу.

Первый.

Я также. Нет ли луку?

Потрем глаза.

Другой.

Нет, я слюной намажу.

Что там еще?..

Князь зашевелился и приподнялся на диване.

— Погоди... Что это? Любезный друг! Что это у тебя тут? Слю... э: слю - юни?

— Ну, да! А что же?—с нетерпением возразил Пушкин.

— «Слюни»... Фи! Разве же можно! Какая изысканная грубость! Д чего это? Такая искусственная тривиальность довольно неприятно отде. ется от общего тона и слога, которым писана сцена. Вычеркни, брат эти слюни. Ну, к чему они тут?

Пушкин смотрел в сторону, быстро барабаня пальцами по столу.

— А посмотри у Шекспира,—и не такие еще выражения попадают

Горчаков сказал учительным тоном:

— Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени.

Совсем пусто и скучно стало в душе Пушкина. И драма его показал: ему серой, бездарной, ненужной... Но он все-таки возразил:

— Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если мож избежать грубостей. Если же нет, то зачем стараться заменить их чем-ниб) другим?

Князь горячился и продолжал доказывать ненужность и неприли‹ слюней. Пушкин помолчал и устало ответил:

— Хорошо. Я переделаю... Ну, мне пора.

Он встал прощаться.

(Письма Пушкина к кн. Вяземскому в сентябре 1825 г. — Канцлер к·· Горчаков о Пушкине. Рус. Арх., 1883, II, 205 — 206.)

2.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе,—фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.

Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись;
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

(«19 октября 1825 г.».)

V.

Живая грамота.

(1826).

1.

Он вложил письмо в конверт, надписал адрес. Зажег шипящим серничком сальную свечу и стал топить сургуч.

Няня медленною своею походкою вошла и сказала:

— Батюшка Александр Сергеич, пойди, простись с девкою. Сейчас уезжает.

Он поспешно встал от стола, виновато поглядел на няню. Ее лицо было важно и непроницаемо. Он был рад, что на нем не видно было осуждения.

— Где она?

— В горенке у меня.

— Сейчас приду.

Дрожащею рукою он прибавил на остывающий сургуч горячего, приложил печать. Побледнел, потом покраснел, опять побледнел и, с письмом в руке, легкою своею походкою быстро вышел в коридор.

Феклуша, в коричневом зипуне и теплом платке, стояла одна среди пяльцев в няниной горнице. За окном ярко зеленела под весенним солнцем бузина у погреба.

— Ну, Феклуша, вот тебе письмо. Приедете в Москву, Прошка сведет тебя по адресу. Спросишь князя Вяземского, Петра Андреича, ему отдай письмо. Он тебя устроит...

Говорил он деловым, фальшивым тоном, и милые, черные глаза отчужденно смотрели на него. И вся она была такая странно-чужая в этом зипуне с непомерно - длинными рукавами, в поношенном сером платке, по-бабьи окутывавшем голову, выступающим слегка животом. Как будто не та совсем веселая, стройная девочка, которая под осень, при потухавшей заре, с блестящими глазами прибегала на его свист за ригу, а зимою прокрадывалась по ночам к нему в комнату. Быстрый шопот был, и стыдливо-ласковая противка бесстыдным ласкам, и горячая нагота.

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...

Это было у него уже не с первой белянкой, для которой ее младой поцелуй кончался так неудачно.

Пушкин положил свою красивую, маленькую руку с длинными, поли рованными ногтями на грубое сукно ее плеча.

— Феклуша, не горюй! Я тебя не оставлю. И ребенка твоего при строим, я пишу князю. Может быть, как-нибудь приеду, проведаю тебя... Да вот. На память возьми от меня...

Он вынул из жилетного кармана золотые сережки с лучистыми брил лиантиками. И вдруг улыбнулся детской, яркой улыбкою.

— Дай, сам надену!

Оттянул платок и стал вдевать сережку в маленькое розовое ушко Белая шейка открылась, знавшая столько его поцелуев. Он крепко поце ловал ее под ухом и привлек к себе. Девушка вдруг слабо всхлипнула, при жалась головою к его плечу и прошептала:

— Барин мой жадóбный!

Жадóбный, это на псковском говоре—желанный. Пушкин гладил ее го лову и целовал в висок. А она овладела собою и, закрыв глаза, тихо с валась его грустной ласке. И только в поджатых ее губах он читал глу запрятанное отчаяние.

— Ну, Феклуша, надо ехать. Вон телегу подают... Вот что: во на дорогу себе.

Он сконфуженно достал из кармана триста рублей ассигнациями и тянул ей. Она с недоумением смотрела.

— Возьми же, Феклуша. Мало ли что понадобится на новом ме

Взяла—и с тем же деревянным недоумением продолжала глядет бумажки. Он поспешно ушел, а она все стояла так.

(Письма Пушкина к кн. Вяземскому в апреле — мае 1826 г.)

2.

Она.

Да!.. вспомнила: сегодня... у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

Князь.

Несчастная! Как быть? Хоть для него
Побереги себя; я не оставлю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Современем, быть может, сам приеду
Вас навестить. Утешься; не крушися,
Дай, обниму тебя в последний раз.
(Уходя.)
Ух, кончено! Душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо.
(Уходит; она остается неподвижною.)

. . . .

Дочь.

Видишь ли, князья не вольны,
Как девицы, не по сердцу они
Берут жену себе... а вольно им,
Небось, подманивать, божиться, плакать...
Им вольно бедных девушек учить
С полуночи на свист их подыматься
И до зари за мельницей сидеть!
Им любо сердце княжеское тешить
Бедами нашими, а там сказать: прощай,
Ступай, голубушка, куда захочешь,
Люби, кого замыслишь. . . . .
. . . . И мог он,
Как добрый человек, со мной прощаться
И мне давать подарки,—каково!
И деньги! Выкупить себя он думал,
Он мне хотел язык засеребрить...

(«Русалка»).

VI.

Тебе один остался друг.

(1828).

1.

Она уже не так была ослепительна, как три года назад,—эта милая мадам Керн. Но все же была прелестна. Теперь она окончательно порвала с мужем, переехала в Петербург и жила в бедной квартирке с девушкой-сестрой, хорошенькою Лизою.

Судьба вела Анну Петровну дорогою, все больше переходившею в извилистую и топкую болотную тропинку. Шестнадцати лет ее выдал отец за старика-генерала, грубого и пошлого солдафона. Как многие женщины, у которых великий акт выхода из девичества был грубо загрязнен и опоганен, Анна Петровна шла через жизнь с неутолимым, как у Дон-Жуана, исканием любви. На ее чистом лбу брови были слегка приподняты с тем ожидающим вопросом, который всегда есть в бровях девушки, а в алых, чувственных губах горела сладострастная тревожность. Вечно она кого-нибудь любила, безоглядно и страстно, а бывало,—любя одного, влюблялась еще и в другого, и в третьего. Годы беспрерывных неприятностей, уничижения, потеря всего, чем женщины дорожат в обществе, не могли разочаровать Анны Петровны. При каждой новой любви сердце ее вспыхивало как бы в первый раз. И, вдохновленная своею страстью, она всем рассказывала о ней и повелевала благоговеть перед святынею любви!

Знакомые мужчины льнули к ней, сыпали комплиментами, писали ей в альбом мадригалы, но глядели на нее с игривыми огоньками в глазах, позволяли себе говорить ей то, чего не сказали бы другим дамам своего круга, а за глаза отзывались с пренебрежением и цинизмом; Пушкин называл ее «вавилонскою блудницею». Знакомые дамы, хотя и не порывали с нею знакомства, но старались держаться от нее подальше, принимать пореже. И говорили о ней: «c'est une malheureuse femme, elle est à plaindre—voilà tout». Анна же Петровна ничего этого как будто даже не замечала, ни от кого не скрывалась и открыто шла, куда ее велю вечно горевшее и никогда не перегоравшее сердце.

Пушкин был теперь в самом ярком блеске своей славы. Анна Петровна упоенным облачком истаевала в лучах сверкающей этой славы, в обществе видела одного только Пушкина, с суетным тщеславием старалась дать всем заметить близость их знакомства. У Пушкина давно уже прошла к ней страсть, которая три года назад воспалительным ядом жгла его кровь и взры вами огненного безумия мутила голову. Но Анна Петровна все еще была с блазнительна, и все еще больно ныло в душе оскорбленное мужское самолі бие: страстные искания его были тогда отвергнуты, а студент Алексей Вуль тогда же добился всего. Вульф, окончивший университет, и сейчас жил Петербурге спокойным и пресытившимся обладателем красавицы. Пушкі иногда заставал его у Анны Петровны, спящим после обеда на ее посте. в одной жилетке.

И случилось это однажды вечером. Алексей Вульф уехал кататьс Лизою, за которою усердно ухаживал. Анна Петровна была в кварти одна. Завлекающе белела полная шея, захотелось дерзкою рукою проникну за корсаж и ласкать высокую грудь, захотелось утолить давнишнюю оби, отказа. И легко, просто, почти мимоходом, Пушкин взял то, что когда- дало бы ему радость неповторимую, а теперь было только легким развлеч нием.

Он был у нее еще несколько раз. Однажды, держа ее на коленях и л ская, Пушкин увидел на письменном ее столике письмо с знакомым почерк приятеля своего Соболевского.

— Что это, в любви об'ясняется тебе?

Анна Петровна прижалась щекою к его щеке и, радуясь возможнос сказать ему «ты», ответила:

— Прочти.

Письмо было недвусмысленно-игривого, совершенно циничного свойс За подобное письмо к честной женщине близкий к ней человек почел себя обязанным отхлестать обидчика по щекам. Пушкин звонко рассмея

— Животное! Влюблен в тебя. Недавно я получил от него письмо все полно одною тобою... Эдакий Калибан! На стенку готов лезть страсти!

И вдруг ему бросился в глаза девически-чистый ее облик, тай робко спрашивающая грусть, спрятавшаяся в глубине прекрасных ее гла И на короткую секунду письмо Соболевского показалось ему чудовищн

И огромнейшим, вонючим болотом представилась жизнь, способная создавать такие письма.

На завтра Пушкин сидел у себя в номере гостиницы и писал деловое письмо Соболевскому. Встало перед ним массивное, жирное лицо приятеля,— и захотелось Пушкину подразнить его своей удачей, захотелось представить себе, как завистливо и похотливо загорятся его маленькие глазки. Пушкин написал:

«Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2.400 р., мною тебе должных, а пишешь о мадам Керн, которую с помощью Божией я на-днях...»

И в циничной фразе, под стать жаргону Соболевского, он осведомил московского сплетника о полном своем успехе у Анны Петровны.

(Письмо Пушкина к Соболевскому в марте 1828 г. — Дневник А. Н. Вульфа, «Пушкин и его современники», XXI—XXII, стр. 134, 136 и passim.)

2.

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права,
Один, среди толпы холодной,
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.
Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья:
К забвенью сердце приготовь;
Не пей мутительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг.

VII.

Арфа Серафима.

(1830).

1.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум.

— Вчера я была у владыки. Между прочим, он передал мне стихи свои, — ответ на ваше стихотворение «Дар напрасный, дар случайный».

Пушкин встрепенулся и живо спросил:

— Вот как? Филарет пишет стихи!.. Это интересно. Покажите.

Елизавета Михайловна достала из секретэра листок и благоговейно подала Пушкину. Он стал читать.

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал...

Глаза заблестели самолюбивой обидой. Так и зазвучал в ушах учительский, сурово-отчитывающий голос. Как, бывало, гувернер Пилецкий в лицее. Виделось Пушкину сухое лицо владыки с глазами, как черные гвозди, с тонкими, недобрыми губами. Старый лукавец, карьерист. Великосветская дама а не владыка: ряса, как юбка, в обращении какое-то кокетство, все врем словно роль играет... И тоже—в позе пророка - обличителя, напоминающег о Боге!

Вспомнись мне, забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,—
И созиздется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкин закатился звонким хохотом.

— Созиздется тобою... Созиздется, созиздется... Браво!

Вынырнули из глубины и быстро побежали в голове звонкие, задорные созвучия, заостряясь в колющую эпиграмму. Глаза блеснули хищно.

— Ну, отвечу же я его высокопреосвященству!

Елизавета Михайловна с болью слушала его смех над тем, что в ней вызвало такой благоговейный восторг. Эти два человека,—владыка и поэт,— были для нее самыми дорогими людьми в мире. Беспощадная, аскетическая суровость владыки вызывала в ней экзальтированное его обожание, желание молитвенно склониться к его ногам. А поэт... Все в жизни отдала бы стареющая женщина, чтоб быстрые глаза его загорелись к ней блеском страсти, чтоб можно было прижать к плечу эту милую, курчавую голову...

Елизавета Михайловна ласкающе положила свою пухлую руку на маленькую руку Пушкина.

— Пушкин, я вас прошу,—не отвечайте!

Он нервно отдернул руку. Елизавета Михайловна прикусила губу. Со скорбью она ощущала, что вызывает в нем трепет почти отвращения физического. И, как всегда при ее попытке переступить границу, он озабоченно взглянул на часы, быстро встал и взялся за шляпу.

— Пора ехать!.. «Созиздется тобою», «созиздется»... Нет, уж я ему отвечу!..

И он вышел, громко смеясь.

(Письмо кн. П. А. Вяземского А. И. Тургеневу 25 апр. 1830. Остаф. Арх, III, 192.)

2.

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

VIII.

Все, даже счастие того...

(1830).

1.

С ним это всегда бывало, когда черным вихрем на душу налетало сильное чувство,—какое бы ни было: являлось яростное стремление к достижению цели, неподавимая энергия—и, рядом с этим, полное безволие перед налетевшей страстью. В ее вихре, как осенние листья березы, бессильно уносились в мутную темноту всякая осторожность, все мысли о безумности и опасности того, к чему он рвался так неоглядно.

Так было и теперь.

Год назад он просил руки Natalie, и получил от матери отказ. Недавно он повторил просьбу. На этот раз ответ был поощрительный. И вдруг сомнения, колебания, боязнь темными призраками обступили душу. Жениться... Легко сказать! Пожертвовать независимостью, своею беспечною, прихотливою независимостью, своими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Удвоить жизнь и без того неполную, начать думать «мы». Никогда он не хлопотал о счастии: он мог обойтиться и без него. Теперь ему нужно его на двоих, а где взять его?

И он понимал, что эта красавица - девочка не может любить его, что между ними нет ничего общего. Вспоминались слова приятеля: «не понимаю, каким образом можно свататься, если не знаешь наверное, что не будет отказа».

Но вставала перед глазами высокая, тонкая девушка с выпуклою грудью, с тенью тайного, недоумевающего страдания на божественном лице Мадонны. И острая, повелительная страсть обжигала душу, трепала ее, как осенний ветер гибкие ветви березы; и уносились вдаль все сомнения и колебания.

В стареньком серебристом халате, с голою грудью, он ходил по неопрятному номеру гостиницы,—быстро ходил легким своим шагом. Хотелось много сказать этой очаровательной девушке,—но ей он еще не имел права писать.

Сел к закапанному чернилами столу и стал писать—ее матери. Черствая, властная, холодно-богомольная старуха; ему чувствовалось,—она его не выносит. И он взволнованно писал ей,—наивно, как малый ребенок матери; писал ей по-французски о всех своих сомнениях, чернил себя, изливал самые тайные чувства, как в дневнике. Нет, больше, чем в дневнике. Это было сумасшедшее письмо,—он, скрытный, никогда не писал так даже в дневнике. Он писал о проступках своей молодости, о неравенстве возрастов, о том, что не рассчитывает на любовь к нему ее дочери.

«Во мне нет ничего, чтобы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я в этом увижу только доказательство спокой-

ного безразличия ее сердца. Но, окруженная удивлением, благоговением, соблазнами, долго ли она удержит это спокойствие? Ей скажут, что только несчастный случай помешал ей завязать связи более равные, более блестящие, более достойные ее,—может быть, эти слова будут искренни, но уж наверное она-то их сочтет таковыми. Не будет ли она испытывать сожаления? Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на обманщика - грабителя? Не стану ли я ей противен?»

Новая мысль обожгла его душу. Он застонал сквозь зубы, вскочил и заметался по комнате. Губы дергались, выпуклые глаза налились кровью и загорелись дикой ревностью. Если бы сейчас неожиданно увидела его невеста,—она в ужасе схватилась бы за свою прекрасную голову, ахнула бы и бросилась прочь от страшного этого человека.

И эту свою самую тайную, самую мучительную свою мысль,—и ее он написал:

«Бог мне свидетель,—я готов умереть за нее; но умереть для того, чтоб оставить ее блестящею вдовою, свободною выбрать завтра нового мужа, эта мысль—ад!»

(Письмо к Нат. Ив. Гончаровой в апреле 1830 г.)

2.

Аполлон Григорьев: Невозможно в кратком очерке обрисовать всю глубину и нежность пушкинского чувства любви. Одно стихотворение „Я вас любил"—уже целая поэма, на которую можно сочинять комментарии:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то нежностью томим,
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Последний стих несравним ни с чем; он—высоко-человеческий. Нежная мысль, в нем являющаяся, еще определеннее сказалась в заключительных стихах другого стихотворения Пушкина, в желании любимому существу всего:

Все, даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст названье супруги.

Это самоотвержение чувства встретите вы только у Пушкина... Долго должен перегорать и очищаться человеческий эгоизм для того, чтобы дойти до этой светлой мысли. Скорее готов был каждый из нас взывать, как Гейне:

Страдаешь ты,—и молкнет ропот мой:
Любовь моя, нам поровну страдать...

Нам известно, до чего дошел этот больной эгоизм в Лермонтове, еще сильнее, чем Гейне, страдавшем язвами века:

Ты не должна любить другого,
Нет, не д лжна!
Ты мертвецу святыней слова
Обручена!

(Сочинения Ап. Григорьева. Том I. Спб. 1876. Стр. 281, 91.)

IX.

Тришка бит по погоде.

(1834).

1.

Дребезжали дрожки по тихой Пантелеймоновской. В прозрачном сумраке белой ночи ясны были спящие громады пустынных улиц. Сидел он в дрожкам, сгорбившись, с желтым лицом, нижняя губа брюзгливо отвисла. В Английском клубе проиграл он сегодняшнею ночью тысячу двести рублей: хотелось отвлечься от тоски и бестолочи жизни,—но только еще больше разволновалась желчь.

Запуталась жизнь, как моток серой шерсти, которым долго играл котенок. Это для самого неожиданное письмо его к царю,—слишком вдруг невыносимым стало тяжкое его благоволение и высокомерная опека генерала: захотелось подать в отставку, плюнуть на Петербург, да удрать в деревню, да зажить барином. Не удалось; пришлось извиняться, унижаться... Почта вскрывает письма его к жене, хамы-почтари, ухмыляясь, читают то, что тайно между собою говорят муж и жена. Вспомнил—и весь задергался от бешенства. И денег нет, и долги, свои и чужие. А братец Левушка, тридцатилетний шалопай, беспечно проигрывает в домино у Дюме по четырнадцать бутылок шампанского, и потом с виноватым лицом приходит к нему. «Дражайший» то самодовольно сыплет своими каламбурами, то плачет, как баба, и не понимает, что он на два пальца от полного разорения. И все эти милые родственнички беззаботно собираются усесться на его шею,—мало у него и своих забот!... Мутным сном проходит перед глазами жизнь, и дремлют в душе колдовские чары творчества, способные претворить эту безразличную жизнь в блистающую красоту.

Слез с дрожек, отпустил извозчика. Толкнулся в дверь, — заперта. Подскочил он, как будто босою ногою наступил на горячий уголек. Оскалил белые зубы и бешено стал дергать звонок,—часто, без перерыву, чуть не обрывая его. Трезвон пошел по двору, а он все звонил, колотил в дверь кулаками и ногами.

Сонно кашляя, шел со двора дворник, отпер дверь. Пушкин, с нервно дергающимися губами, шагнул через порог.

— Опять, сукин сын, запер дверь? Я тебе что сказал?

Дворник пятился.

— Простите, барин! Что ж мы можем? Хозяин приказал двери запирать в десять часов.

— А я тебе что приказал? Прежде моего приезда не запирать! Боитесь,—лестницу, что ли, украдут воры?

Сжав кулак, он наступал, а дворник все пятился.

— Смилуйтесь, барин! Не моя же воля. Обязан я хозяина слушать.

Выкатив глаза, Пушкин заорал бешено:

— Плюю я на твоего хозяина! Сказал, чтоб не запирать,—и не будешь у меня запирать!.. Мало от меня получил? Получай еще!

Отмахнулся плащ, и маленький, крепкий кулак с размаху ударил дворника в зубы. Дворник втягивал голову в плечи и пятился и слабо заслонялся локтем, Пушкин прыгал перед ним, бил в лицо то с правой, то неожиданно с левой руки, голова дворника моталась, а барин сыпал матерными ругательствами и приговаривал:

— Еще? Еще хочешь? Я тебя переупрямлю с хозяином твоим!.. Получай!

(Письмо к Н. Н. Пушкиной, вторая половина июня 1834 г.)

2.

История села Горюхина: Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным: она отличается ясностию и краткостию слога: например, 4 мая—снег. Тришка за грубость бит. 6—корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8—погода ясная. 9—дождь и снег. Тришка бит по погоде.

А. С. Исков (вводная статья в брокгаузовском издании Пушкина, IV, стр. 245, 241): „История села Горюхина" проникнута тем глубоким юмором и т ю великою жалостью к человеку, которые так характерны для всепрощающей и любящей души Пушкина... В этой ужасающей правде, рассказанной простодушным тоном Белкина,—в гнетущей своей безысходностью прав е, служащей самым грозным осуждением крепостному праву, и заключается, несомненно, главный смысл и значение „Истории села Горюхина".

X.

Опять на родине.

(1835).

1.

Шершавая лошаденка,—не понукаемая,—шла медленным шагом. Он задумчиво сидел в седле, бросив поводья. Солнце грело почти по-летнему, теплый ветерок ласкал душу родным запахом осеннего листа и сосновой хвои, нити золотой паутины тянулись по придорожным кустам. Но тяжко было на душе и неспокойно.

И все думал он, думал об одном: чем жить? Царь обещал было разрешить ему газету, а там запретил; заставляет его жить в Петербурге, а не

дает способов жить своими трудами. Отец мотает имение без удовольствия и расчета; имение тещи на волосок от гибели. У него самого—ни гроша верного дохода, а верного расхода—тридцать тысяч. Писать книги для денег он никогда не мог. А милой женке ни до чего и дела нет. Ей дело работать только ножками на балах и помогать мужу мотать... Ах, скверно!

Вырвался он в деревню на осень, чтоб писать. И душа ушла бы в светлый мир, где все—гармония и красота, где облагораживаются движения души, где сами печали жизни углубляются и просветляются, как серый туман, пронизанный солнцем. Но для этого нужно вдохновение, а для вдохновения—сердечное спокойствие, а он был совсем неспокоен. А не было творчества,—и не было жизни. Сердце погружалось в вялую дремоту, душа остывала и черствела. Жизнь тускло текла, как помойный ручеек из подворотни,—в денежных заботах, в хозяйственных дрязгах, в припадках грязной похоти. А год за годом бежит все скорее, не за горами и старость.

Пушкин очнулся, устало поглядел вокруг. Лошадь остановилась и обрывала губами листья с придорожного орешника. Дорога с размытыми и засохшими колеями шла в гору. Над низким, песчанистым обрывом сухим своим шумом шумели под ветерком сосны. Три давние знакомки, к которым так привык глаз. Одна, поодаль, была, как прежде. Под двумя другими густо разросся сосновый молодятник, неприятно изменяя вид милых знакомок. Стройные сосенки разной толщины наперебой тянулись вверх, тонкие стволы их рыжели засыхающей хвоей, а побеги последнего лета поднимались, как легкие и пушистые зеленые свечи. Вершинами они уходили в мохнатые лапы материнских ветвей и заслоняли серые стволы и желто-рыжие суки старых сосен. На земле ярко зеленели кожистые листья брусники.

Он угрюмо сидел в седле и с досадою смотрел. Так бывало ему теперь досадно на балах, где он давно уже не танцовал и скучающе стоял у стены, и смотрел на молодых, в красных бальных мундирах, кавалергардов, несшихся в мазурке по паркету с тем же упоением, как и он когда-то. Всё кругом говорило ему, что он стареет, что жизнь назади...

Лошадёнка стояла, понурив голову, и как будто тоже думала о чем-то. Пушкин сердито оскалился, дернул поводья, хлестнул лошадь плеткой, ударил каблуками в бока и рысью поехал в гору.

(Письмо к Н. Н. Пушкиной 25 сентября 1835 г.)

2.

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят, одна—поодаль, две другие—
Друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо
Я проезжал при свете лунной ночи,
Знакомым шумом шорох их вершин

Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять; они все те же,
Все тот же их знакомый слуху шорох,
Но около корней их устарелых,
Где некогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семьей кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полн,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет...

P. S. Конечно, не для дешевого „обличения" Пушкина эти рассказы. Бессмысленно обличать человека, который сам так настойчиво указывал на несовпадение поэта с человеком в плане реальной жизни. „Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он". Несовпадение это остро интересовало Пушкина,— именно потому, что, очевидно, близко касалось его самого. Он в „Египетских Ночах" отмечает совершенно несоизмеримое различие импровизатора — в жизни и в минуту творческого вдохновения. И эпиграфом ставит: „Я царь, я раб, я червь, я бог". Он рисует в „Пророке" полное перерождение человека в минуты, когда он становится поэтом,— перерождение зрения и слуха, языка и сердца. Он стал теперь другим, он теперь поиному видит и слышит, по-иному чувствует.

Таков и был Пушкин, — и это составляет характернейшую черту его творческой натуры. Мало есть поэтов, у которых Dichtung (поэзия) их так бы отличалась от Wahrheit (правды), как у Пушкина. Для нас так привычно представление, что поэт в лирике своей просто отображает то, что непосредственно чувствует. Если поэт восхищается журчанием Бахчисарайского фонтана или перед тремя соснами благословляет идущую на смену новую жизнь, то мы уверены, что так именно поэт, действительно, это и переживал, и живописцы с чистою совестью рисуют Пушкина перед Бахчисарайским фонтаном, Пушкина перед тремя соснами, а на лице его — соответственное стихотворение. У Пушкина впечатления жизни не выливались в его поэзии непосредственно. Наступали часы творчества,—в пылающий огонь вдохновения валилась темная руда непосредственных переживаний, и из нее выплавлялся блистающий металл поэзии, который, может быть, составлял только маленькую частицу первоначальной руды. И то, что в жизни, в непосредственном переживании человека было затемнено страстью или пристрастием, что было мелко, серо, нередко дрянно, пошло и даже грязно,—все это у поэта претворялось в божественную незатемненность духа, глубочайшее благородство и целомудренную чистоту. И притом — ни единого фальшивого звука. Величайшая из загадок художественного творчества.

Пролеткульт и пролетарское искусство.

(О журнале „Горн".)

А. Лежнев.

1. „Горн" и „Леф".

Первый—официальный орган Пролеткульта. Второй—журна группы поэтов, критиков, художников, теоретиков искусства, кот сейчас сохранила кличку и традиции футуристов. Казалось бы, какая быть между ними связь? Но стоит только раскрыть последние книги «Г чтобы почувствовать всю праздность этого вопроса. Отношение межд фом» и «Горном» такое же, как между большой ежедневной газетой и черним изданием. С одной только разницей. Обычно вечернее издание мысленнее, веселее и бойче утреннего. Тут же—наоборот. То, что в « излагается громогласно, безапелляционно, с гиканьем и свистом,— ряется потом «Горном» в длинном ряде серых, резонерских, томит страниц. В этом отношении поспорить с «Горном» могут разве толь домственные отчеты. Для того, чтобы показать, что тесная идеологи связь между «Лефом» и «Горном», доходящая до полного совпад взглядов по основным вопросам,—не выдумка, и что в словах нет никакого преувеличения, я позволю себе привести следу длинную цитату:

«1. В условиях классового общества искусство является одним из ных орудий классового господства буржуазии. Для пролетариата оно яв орудием его классовой борьбы и подчиняется по своим задачам и ме общей системе строительства пролетарской культуры.

2. Искусство буржуазно-капиталистического общества хар зуется следующими признаками:

а. Художественное творчество в своей с тенденции фетишизируется, как «свободное новение», бесконтрольное и ненаучное (и ция) [1]) и считается самодовлеющим (искусство для искусства), на-ряду с этим узко-кастовой монополией.

[1]) Курсив в этом отрывке всюду мой. *А. Л.*

б. Вместе с тем художественное творчество в буржуазном обществе является украшающим, добавочным, в противоположность созидающему материальные ценности производительному труду. Оно пассивно изображает природу, застывшие или упадочные социальные формы без творческого устремления к строительству новых форм социальной жизни.

в. Техника искусства, как техника индивидуалистического мастерства (кустарничество, ремесленничество), всегда не только отставала, но и противопоставлялась машинной технике общественного производства.

г. Продукты искусства или существуют вне быта, или уводят из быта в иллюзорное созерцание (стилизация, камерное и станковое искусства) или внешне прибавляются к быту (прикладничество, украшательство).

д. Искусство в целом является производством на рынок, товарным производством художественных ценностей.

3. Буржуазное искусство в указанных выше формах действует на психику расслабляюще, приучает к созерцательной пассивности, прививает массам навыки, привычки, вкусы, идеологию,—выгодные господствующим классам.

4. Задача пролетариата в области искусства заключается в том, чтобы сознательно сделать его непосредственно и активно действенным орудием социалистического строительства.

Для этого необходимо:

а. Подчинить художественное творчество научно-осознанным приемам и методам. Заменить фетишизированный принцип «искусство для искусства» принципом социально-технической целесообразности, используя все приемы и методы художественного творчества в меру их социальной значимости. Итти по линии достижения максимально пролетарского классового воздействия, одновременно отвергая буржуазно-фетишистическое деление искусств на «высокие» и «низкие».

б. Поднять художественную технику от ремесленничества, кустарничества до высших форм техники.

в. Искусство должно являться неот'емлемой частью быта как в активно-изобразительных формах (плакат, реклама, агит и проп, театр, кино), так и в формах материально-организующих (психофизическая культура, организация массового действия, праздники, шествия в демонстрации, материальная обстановка быта, строительство вещей).

г. Художественное производство в конечном итоге в социалистическом обществе должно стать производством ценности для созна-

тельно регулируемого удовлетворения общественных потребностей, натуральным художественным производством».

Длиннейшая эта цитата взята из тезисов, принятых на заседании Ц.К. Всероссийского Пролеткульта 25 мая 1923 года [1]), т.-е. представляет собой официальное изложение принципов программы Пролеткульта по вопросам искусства. Всякий, кто хоть немного знаком с «Лефом», увидит в этих тезисах довольно полную формулировку основных положений так называемого «производственного искусства», т.-е. как раз того направления, глашатаем которого и является «Леф». «Производственное» же искусство есть не что иное, как прямой результат, следующая ступень развития футуризма. Можно, конечно, многое сказать по поводу того удивительного обстоятельства, что основателем пролетарского искусства оказываются таким образом фашист Маринетти и мистик Хлебников [2]). Но об этом после. А пока перейдем к анализу тезисов Пролеткульта.

2. Пролеткультовские верблюды. Караван первый.

«Леф» может себе позволить роскошь парадоксов. Он—пока еще- официальный орган и никакой ответственности не несет. Но и он все - т старается протащить самые неудобные свои принципы контрабандой, грудой общих положений и покровом «марксистских» фраз. Для «Гор такие маневры становятся необходимостью: как-никак чистота идеологи прямая его обязанность и даже, можно сказать, специальность. И вот видим, как он то-и-дело оцеживает комара малейшей ереси (часто тол кажущейся), но—увы!—лишь для того, чтобы проглотить верблюда. Но п глотить верблюда не так уж легко, и накануне каждого такого приема п леткультовцы делают страдальческое лицо,—операция, что и говорить, из самых приятных,—и; мужественно проглотив верблюда, запивают сладким сиропом общих мест. Общие места — они не выдадут!

Так в тезисах Ц.К. Пролеткульта чередуются несомненнейшие обі места с идеологическими «верблюдами». Начнем с 1-го пункта: «в услові классового общества искусство является одним из мощных орудий классов господства буржуазии». В такой общей форме это верно, хотя и недос точно: мы не узнаем главного, каким образом буржуазия делает иск ство орудием своего господства. За этим общим местом следует, как и лагается, «верблюд» — и даже не один, а сразу несколько (впрочем, н самых крупных):

«Искусство буржуазно-капиталистического общества характеризу следующими признаками: а) художественное творчество... фетишизиру как «свободное вдохновение», бесконтрольное и ненаучное (интуиция считается самодовлеющим (искусство для искусства)...»

---

[1]) „Горн", № 8, стр. 3—4.

[2]) Что Хлебников был мистиком и к тому же вряд ли психически вполне здор доказывают воспоминания его друга Петровского („Леф", № 1).

1. «Свободное вдохновение». Оно не может быть характерным для буржуазно-капиталистического общества уже потому, что взгляд на художественное творчество, как на продукт свободного вдохновения, заимствован этим обществом от античного мира; характерными же признаками какого-нибудь общества мы называем те, которые отличают его от других обществ, а не те, которые общи у него с другими. Далее, в какой степени и почему взгляд на худож. творчество, как на продукт свободного вдохновения, свойствен бурж.-капиталистическому обществу? Возьмем Тэна. У него художник рассматривается как продукт определенной исторической среды. Иначе говоря, это значит, что творчество его обусловлено тем или иным состоянием общества в тот или иной исторический период. А раз оно обусловлено, значит не свободно.

Но ведь Тэн типичный представитель буржуазного мировоззрения. Выходит, стало быть, что буржуазия не всегда считала худож. творчество продуктом свободного вдохновения. Она считала его таковым до тех пор, пока состояние науки, в частности общественных наук, не позволяло ей делать выводов о социальной обусловленности творчества. Правда, и вступив на этот путь, она остановилась на пол-дороге. Развить дальше положения Тэна пришлось уже Плеханову. Но это другой вопрос.

2. Интуиция. «Свободное вдохновение» можно рассматривать с двух сторон, смотря по тому, ставим ли мы ударение на слове «свободный» или на слове «вдохновение», т.-е. или как учение об абсолютной свободе, необусловленности художественного творчества, воли «творца» (об этом мы уже говорили), или как мысль о преобладании в художественном творчестве начала бессознательного, интуиции. И во второй формулировке положение это не является характерным для буржуазного общества; не говоря уже о том, что оно, подобно первому положению, заимствовано из античной древности, оно встречается и в работах такого, например, выдающегося теоретика марксизма, как Плеханов. Теперь перейдем к этому положению по существу. Заметим прежде всего, что дело не в том, хорошо или плохо, нравится нам или не нравится положение о роли интуиции в художественном творчестве, а в том, соответствует ли оно действительности. Но такие вопросы решаются не голыми утверждениями или голыми отрицаниями, а научным исследованием. Насколько известно, ни пролеткультовцы, ни деятели «Лефа» такого исследования процессов творчества пока еще не произвели, а потому их отрицание роли интуиции в художественном творчестве не может быть квалифицировано иначе, как голословное и бездоказательное. Конечно, «der Wille war der Vater des Gedankens», но нельзя же этим положением злоупотреблять. Но, может быть, таким же голословным является и признание роли интуиции? Нет, не таким. Не таким, потому что за этим признанием имеется большой фактический материал, потому что оно возникло не произвольно, а именно, как результат целого ряда наблюдений. Я уже не буду говорить о самонаблюдениях поэтов: их могут отвести на том основании, что поэты мол, как жрецы, старались показать, что на них почиет «благодать божия», что они не из того же теста, что все прочие и т. д. (хотя я отнюдь

не считаю этого рода возражения убедительными; среди поэтов, говоривших об интуитивном характере худож. творчества, имеются такие правдивые, внутренне-честные свидетели, как Пушкин и Гёте). Но есть ряд данных, которые говорят о роли интуиции и в науке. Выражение «вдохновение нужно и в математике» подтверждается многими учеными. Кто читал очерк Оствальда, посвященный Роберту Майеру, помнит, вероятно, каким путем, похожим на поэтическое вдохновение, пришел знаменитый германский ученый к своему великому открытию (принцип сохранения энергии) [1]. Но если интуиция может играть известную роль и при научном творчестве, характеризующемся точностью своих методов, то ясно, что роль ее в искусстве должна быть еще более заметной. Не надо только пугаться этого термина и придавать ему мистическое значение. «Вдохновение» указывает лишь на то, что в творчестве играет известную роль бессознательное, что часть внутренней работы, происходящей в художнике или ученом, протекает незаметно для него, скрыто, и, наконец, что в известные моменты (обусловленные, конеч вполне реальными, материальными факторами: физиологическими, окру ющей среды и т. д., напр., степень физического и умственного утомления и д работа, труд, «творчество» происходят с гораздо бо́льшим под'емом, охот продуктивностью, чем это бывает в другое время. Это последнее обстояте ство могут легко проверить на себе не только «гении», но и рядовые раб ники литературного, художественного и иного труда.

Но пролеткультовцы ставят знак равенства между интуицией и не учным творчеством. Это неправильно: мы уже видели выше, что научн творчество не исключает вдохновения. Но в этих словах (о ненаучном тв честве) заключается еще особая путаница, в высшей степени характер для Пролеткульта и «Горна». Для того, чтобы показать в чем дело, п дется несколько забежать вперед и привести небольшую цитату из 4-го зиса: «Необходимо (пролетариату для социалистического строительства. *А.* подчинить художественное творчество научно-осознанным приемам и ме дам». Итак, мы имеем: 1) осуждение буржуазного искусства за ненаучно его методов, 2) требование ввести научные методы и приемы в худож. тв чество пролетариата. Правда, второе положение выражено несколько определенно. Что такое «научно-осознанные методы и приемы»? Обознач ли это с о з н а т е л ь н о е пользование прежними приемами и методами кусства, которыми до сих пор пользовались б е с с о з н а т е л ь н о? И внесение в искусство методов, которые до сих пор были свойственны о науке? Судя по упреку в ненаучности, брошенному буржуазному искус а главное по тому, что пишут в «Лефе» (а ведь мы уже видели, что «Г этот «Леф» № 2 — издание для меланхоликов, — является лишь бледн скучной копией с «Лефа» № 1 — для сангвиников), мы думаем, что прави второе предположение. Стало быть, Пролеткульт стоит на той точке зр что необходимо господствовавшие до сих пор в искусстве методы, нето и интуитивные, заменить методами научными. Но что такое искусство? М

[1]) Вот уж где действительно можно было бы сказать: мысль „озарила" голов

ление при помощи образов. Что такое наука? Мышление при помощи понятий. Заключается ли разница между ними в содержании? Нет, «поэзия есть то же, что мышление, потому что имеет то же содержание» (Белинский) [1]). (То, что здесь сказано о поэзии, может быть применено и ко всякому другому искусству.) Разница между ними в методе. Стало быть, заменяя специфические методы искусства методами науки, мы уничтожаем искусство как таковое. Уничтожение искусства — неизбежный логический вывод отсюда, и от него не отвертеться теоретикам Пролеткульта. Могут возразить: искусство отличается от науки не только методом, но и сферой воздействия. Искусство воздействует на эмоциональную сферу, наука обращается к интеллекту. Совершенно верно. Но искусство только потому и может действовать сильнее науки на эмоциональную область, что у него свои, отличные от науки, методы.

3. «Искусство для искусства». Пролеткульт упрощает действительность, утверждая, что для буржуазного искусства характерен господствующий в нем принцип: искусство для искусства. Это неверно в двух отношениях: 1) названный принцип проявлялся в известные моменты и в искусстве других классов и, стало быть, не составляет исключительной особенности буржуазии, 2) он далеко не всегда господствует и в буржуазном искусстве и, значит, не может быть характерен для него в целом. Это блестяще доказано Плехановым в одной из его лучших статей. Выводы, к которым пришел, в результате своего исследования, Плеханов (напоминаю их очевидно запамятовавшим товарищам из Пролеткульта, у которых, на-ряду с необыкновенной чуткостью ко всем—даже подземным—течениям «Лефа», поразительнейшая глухота на одно, плехановское ухо) таковы: принцип «искусство для искусства» не составляет непременной особенности какой-нибудь конкретной классовой идеологии, но появляется каждый раз, когда между художником и окружающей средой намечается разлад. Так, его противниками (иначе говоря, сторонниками утилитарного — в том или другом понимании искусства) были: революционно-настроенные—Лессинг и молодой Шиллер, роялист—Гюго и реакционный буржуа Дюма, и даже — шеф жандармов Бенкендорф. Наоборот, держались этого принципа: Пушкин и Флобер, Готье, наши символисты, т.-е. представители разных идеологических лагерей и по разным мотивам. Словом, Пролеткульт здесь сильно «упростил» положение вещей. Обыкновенно такое «упрощение» называется вульгаризацией марксизма. Конечно, Плеханов (как и всякий другой теоретик или исследователь) не является непререкаемым авторитетом, которому мы должны верить на-слово. Но ведь его работы — не общие рассуждения на общие темы. В них собран и об'яснен большой фактический материал. И если вы с его выводами несогласны, то вы прежде всего должны доказать, что он неправ, что неверны приведенные им факты или что они неправильно об'яснены, произвольно сгруп-

---

[1]) Могут возразить: формулы Белинского для нас необязательны. Напомним, что это не только формула Белинского, но и Плеханова, и что другой, лучшей, формулы искусства мы пока еще не имеем.

пированы, что можно об'яснить их иначе, проще и т. д. Но здесь нельзя отделываться голословными отрицаниями или снисходительными фразами — сквозь зубы — на манер Вик. Б., заявляющего («Горн», № 9, стр. 154): «Очевидный факт: плехановские формулы, в свое время резко революционные (спасибо, не обидел старика. *А. Л.)*, и по сейчас не потерявшие верной общности, все же так и закостенели в этой своей общности». Докажите это, тов. Вик. Б., что вам стоит! Если Плеханов действительно так закостенел, то не только ваше право, но и ваша обязанность это доказать. Ведь дело идет не о своем же брате, фельетонисте или рецензенте, который если и соврет, то большой беды не будет, а о выдающемся теоретике, об одном из виднейших марксистов, о котором Ленин выразился, что его работы по вопросам идеологии — лучшее из того, что написано в этой области, о человеке, труды которого изучаются в наших университетах и школах! И вдруг вы правы, и никакого гениального теоретика нет, а есть только устарелый автор закостеневших формул, и напрасно, значит, заставлять нашу молодежь изучать этот вздор. Докажите. тов. Вик. Б., не стесняйтесь! Подумайте, какую услугу вы окажете Советск России!

Но т.т. из «Горна» и «Лефа» и не думают открыто высказывать против Плеханова. Так только, где-нибудь незаметно, в каком-нибудь библи графическом кутке лягнут покойника. Плеханов — слишком крупное крепкое препятствие на их пути, и они боятся при прямой атаке расшиби о него лбы. И потому стараются его незаметно обойти. Мы дальше увиди как, не называя Плеханова по имени, выступают против тех или друг его положений то тот, то другой из «горнистов» и «лефов» (правда, пре усмотрительно не в порядке аргументации, а прокламирования).

3. Караван второй.

Теперь мы подходим к основным позициям «производственного иску ства» и, вместе с тем, к основному клубку теоретической путаницы проле культовцев.

«Художественное творчество в буржуазном обществе является укр шающим, добавочным... Оно пассивно отображает природу, застывшие и упадочные социальные формы без творческого устремления к строительст новых форм социальной жизни... Продукты искусства или существуют в быта, или уводят из быта в иллюзорное созерцание (стилизация, камерное станковое искусства), или внешне прибавляются к быту (прикладничес украшательство)... Буржуазное искусство действует на психику рас бляюще, приучает к созерцательной пассивности, прививает массам навь привычки, вкусы, идеологию — выгодные господствующим классам».

Все эти утверждения можно свести к двум основным: 1) искусс бурж.-капиталистической эпохи пассивно и созерцательно, 2) оно являе украшающим, добавочным.

Рассмотрим сначала первое. «Буржуазное искусство,—говорят про культовцы,—прививает массам навыки, привычки, вкусы, идеологию, выгод

господствующим классам». Совершенно верно. Но и... слишком обще. Попробуем конкретизировать. Кто является потребителем буржуазного искусства? Конечно, прежде всего буржуазия и буржуазная интеллигенция. Как и всякое классовое искусство, искусство буржуазии организовывало прежде всего сознание собственного класса. Лессинг и Шиллер, Руссо и Дидро, Диккенс и Теккерей — все они писали для буржуазии и читала их преимущественно и почти исключительно буржуазия (и обуржуазившаяся — в той или иной степени — аристократия). В массы, т.-е. в «низшие» классы населения — и, в частности, в гущу пролетариата, буржуазное искусство стало проникать лишь в последние 30 — 40 лет. Потому-то одним из лозунгов русской революции и стала так не нравящаяся Третьякову «демократизация искусства», т.-е. стремление сделать доступным широким массам все накопленные веками богатства буржуазного искусства.

Далее, мы знаем, что буржуазия проделала определенный цикл развития: сначала медленный культурный под'ем, упорная борьба за господство, затем победа, зенит могущества и культурного расцвета, — наконец, нисходящая часть кривой, декаданс, упадок. Теперь, как думают т.т. из Пролеткульта: было ли выгодно буржуазии времен под'ема, революционной буржуазии, вызывать посредством искусства в потребителях этого искусства, т.-е. в самой же буржуазии, созерцательные, пассивные настроения, расслаблять их психику?[1]). Или же, быть может, наоборот — революционный класс нуждался в интересах своего дела, своей борьбы в таком искусстве, которое бы вызывало в нем чувства активные: резко-отрицательное отношение к старому, «стремление к строительству новых форм социальной жизни», революционный энтузиазм и т. д.? Конечно, на эти вопросы не может быть двух разных ответов. Конечно, если уж говорить о «выгоде», то революционный класс создает такое искусство, которое ему «выгодно», т.-е. революционное. Так дело обстоит с точки зрения элементарной логики, здравого смысла. Но, конечно, наши вопросы являются в значительной мере реторическими. Достаточно просто фактической справки о том, чем было на деле искусство революционной буржуазии, чтобы убедиться, насколько далеки от истины утверждения Пролеткульта о пассивности, созерцательности, расслабленности искусства буржуазии в целом, как такового. Можно как угодно относиться к искусству Лессинга и молодого Шиллера, Давида и Бетховена, Шелли и Байрона, Гейне и Фрейлиграта, но нельзя ведь отрицать, что меньше всего их произведения вызывали в читателе, зрителе, слушателе чувство пассивности, расслабленность, вялую созерцательность.

Точно так же не подходит под формулу Пролеткульта и искусство буржуазии, уже победившей, но еще не начавшей нисходящей части своего ис-

---

[1]) Я намеренно ставлю вопрос в такой формулировке („выгодно“), хотя она и грешит упрощенностью,—ясно, ведь, что в вопросах искусства, как и в вопросах идеологии вообще, сознательный расчет („выгода“) отходит на второй план, и художник или философ совершенно искренно считают себе абсолютно бескорыстными, хотя об'ективно и выполняют ту работу, которую требуют от них задачи и интересы класса,—ставлю потому, что так вопрос формулирован в тезисах Пролеткульта.

торического пути. Конечно, нельзя сказать про Бальзака, например, что он отображает лишь застывшие или упадочные социальные формы и что его романы действуют на психику расслабляюще. Бальзак прекрасно понимал и динамику общественной жизни. По крайней мере, существовал один читатель, который иначе и гораздо выше, чем Пролеткульт, оценил социальное значение и роль Бальзака-художника, — и этот читатель был Карл Маркс.

Тезисы Пролеткульта более или менее верны лишь относительно одного периода буржуазного искусства: периода декаданса. Теоретические построения Пролеткульта (как и «Лефа») основываются главным образом — мы это увидим и в дальнейшем, на перенесении свойств упадочного буржуазного искусства на искусство буржуазии вообще, и не только буржуазии, но и всего прошлого искусства.

Я уже выше указал — мельком — на упрощенность этих построений. Это сказано слишком мягко. В самом деле, согласно Пролеткульту дело обстоит так: буржуазия, желая держать массы в повиновении, привив им посредством искусства такие психологические черты и навыки, та идеологические особенности, которые убивают в массах стремление к бор делают их покорными, вялыми, расслабленными. Нечего и говорить, что та картина чрезвычайно проста, наглядна и удобна. Роль и сущность буржу ного искусства обрисовываются очень выпукло и понятно. Беда только в т что она не совсем соответствует действительности. Я уже указал главные этих несоответствий. Конечно, нельзя отрицать, что в последнее время, кс круг потребителей искусства чрезвычайно возрос (культурный под'ем прс гариата), буржуазия стала сознательно выбрасывать на рынок так литературу, главное назначение которой заключается в притуплении кл сового чувства пролетария. Этой же цели служат в значительной мер очень многие из фильм. Но не надо забывать, что эта литература, англ ского и американского изделия, является суррогатом, что больш столбовая дорога литературы (каковы бы ни были ее недостатки) прохо мимо и вне ее.

Не говоря уже о прошлом буржуазной литературы (а тем бо других искусств), даже и в последнее время, даже и в настоящем ход развития, форма, содержание определяются преимущественно вкусами, требностями, идеологией, психологией самой буржуазии. Мы ничего не п мем в этом развитии, если будем смотреть на него с той точки зрен на которой стоит в своих тезисах Пролеткульт, т.-е. как на результат знательного[1]) стремления буржуазии привить массам выгодные для нее ч и особенности. Творчество Ницше, Ибсена, Гамсуна может быть прекр об'яснено и выведено из состояния буржуазного общества того периода, к действовали эти писатели; мысль о сверхчеловеке, не считающемся с о

[1]) Я говорю: сознательное, потому что бессознательным оно не может быть. сознательно можно выразить такие тенденции, которые полезны моему классу, чужому, потому что в первом случае я выражаю свои чувства или стремлени осознавая только их полезности, во втором же случае выражаю чувства, чуждые с намерением обезвредить другой класса, это невозможно делать несознательно.

ными нормами морали, о праве сильного и так далее, прекрасно соответствовала идеологическим потребностям буржуазии, предчувствовавшей грядущие бои с пролетариатом и создававшей новую, господскую, враждебную массам мораль. Но было бы нелепо рассматривать ее как отравленную стрелу, пущенную буржуазией в сознание пролетариата, как идеологический кураре, имеющий целью психологически обездвижить рабочий класс, обезвредить его. Именно для этой цели идеи Ницше годятся меньше всего: нельзя идейно разоружать противника, добиваться его духовной пассивизации при помощи проповеди права сильного и аморализма. Эту проповедь, ведь, можно повернуть и в другую сторону. О праве сильного ведь может заговорить и рабочий (так это и бывало на деле, из чего, конечно, вовсе не следует, что ницшеанство было пригодным для пролетариата орудием).

Итак, мы видим, какова ценность пролеткультовского упростительства в вопросах искусства. Это — снова — не марксизм, а вульгаризация марксизма. Выше, говоря один из тезисов пролетариата, я отметил, что он верен, но неопределен. Прошу извинения. Это неточно. Следовало сказать: в нем очень много неопределенного и очень мало верного.

Пассивность буржуазного искусства ставится пролеткультовцами в тесную связь с «иллюзорностью». «Продукты искусства,—пишут они,— уводят в иллюзорное созерцание». В дальнейших статьях «Горна» мы встречаем уточнения этого положения, понятие об «эстетическом перерыве». Станковое и камерное искусства, картина, соната, стихотворение, роман, драма, порочны как таковые, несут злое («буржуазное») начало уже в своей форме. Они могут действовать на зрителя или слушателя не иначе, как отрывая его от действительности (эстетический перерыв) и унося в действительность другую, выдуманную, иллюзорную. Дело заключается не в том, чтобы наполнить эти формы — картину, сонату, стихотворение — другим содержанием, а в том, чтобы разбить их, как непригодные для пролетарского искусства.

Посмотрим, насколько правильны эти утверждения. Искусству буржуазии, утверждают лефы, а за ними пролеткультовцы, свойственна иллюзорность. Это и верно и неверно, смотря по тому, как понимать такое утверждение. Если понимать его так, что буржуазное искусство непременно уводит в мир волшебных вымыслов, грез, фантастики («иллюзий») — то, конечно, неверно. Если же под этими словами подразумевать ту особенность искусства, которая заключается в воспроизведении им действительности, и притом возможно более точном (до «иллюзии») — то, в общем и целом, верно. Но только в этом случае мы должны будем прибегнуть к расширительному толкованию. Изображение, отражение, воспроизведение действительности свойственно не только буржуазному искусству, но всякому [1]), по край-

---

[1]) Конечно, когда мы говорим о воспроизведении жизни, то речь идет лишь о тех областях искусства, которые по своей природе могут воспроизводить жизнь, давать иллюзию (т.-е. не касается архитектуры и мало касается музыки).

ней мере всему тому искусству, которое нам известно. Чернышевский, а вслед за ним и Плеханов, считает его основным свойством искусства.

Но если это так, то тем самым падает бо̀льшая часть возражений пролеткультовцев. Дело идет не о наших вкусах, не о том, нравится ли нам или не нравится «изображательство», а о фактах. До сих пор, — и этого не смогут отрицать и товарищи из Пролеткульта, — мы еще не знаем искусства, которое бы так или иначе не воспроизводило жизни. Воспроизведение жизни (действительности) в искусстве, как принцип, не является ни в какой степени следствием его буржуазного или иного классового характера, так как оно существовало задолго до возникновения буржуазии и даже до образования классов вообще; мы его находим и в примитивном искусстве народов, не знающих классового деления. До какой степени точности, верности, подражания природе и жизни, до какой степени «иллюзии» доходит это воспроизведение — не имеет в данном случае принципиального значения. Судить о будущем (в искусстве, как и в других областях) мы можем, тол делая выводы из того материала, который нам дает прошлое и настояш Этот материал дает нам право заявить, что воспроизведение жизни, «изоб жательство», а значит и «иллюзорность», является основным неот'емлем ствойством искусства, без которого, вне которого оно не мыслимо. Разгов об «эстетическом перерыве» нелепы. Почему бы тогда не говорить о «на ном перерыве»? Ведь и занимаясь наукой, работая в лаборатории, над кроскопом, мы тоже отрываемся от целого ряда отношений действительнос от политики, от личных, семейных, профессиональных и иных дел и инте сов. Отрываемся для того, чтобы погрузиться в действительность иную, та, которая нас окружает обычно [1]). Слова о перерыве (эстетическом, учном или ином) могут выражать лишь ту бесспорную истину, что, когда чем-нибудь заняты, мы уделяем предмету наших занятий время и вниман т.-е. простую тавтологию, из которой высосать можно еще меньше, чем пальца. Вопрос не в «перерыве» — он неизбежен при всяком занятии; а в том, **чем** этот перерыв занят. Но если это так, то мы не вправе вергать ту или иную художественную форму только потому, что она о зательно должна вызвать «эстетический перерыв», и отрицать à priori в можность наполнения ее новым содержанием.

Итак, мы видим, что и в вопросах о пассивности буржуазного иск ства, об «изображательстве», «иллюзорности», «эстетическом перерыв этих центральных, боевых вопросах «левого фронта» — теоретические зиции Пролеткульта (т.-е. того же левого фронта) слабы, ненадежны, состоятельны. Держаться на них, довольствоваться ими можно лишь большой теоретической нетребовательности.

Перейдем ко второму утверждению тезисов: «Искусство буржуа капиталистической эпохи является **украшающим**, добавочным». В

[1]) Ясно, что то же самое можно сказать про любую другую специальную р

фразе закон и пророки «производственников», потому, что она составляет лишь первую половину, отрицательный момент, некоей священной формулы, другая половина которой, утвердительный момент, гласит: «А наше, производственное, искусство будет формирующим, определяемым лишь целесообразностью, назначением вещи».

«Искусство буржуазии является украшающим». Верно. Возражать против этого не приходится. Но можно поставить два добавочных вопроса: 1) является ли оно только украшающим? 2) является ли только искусство буржуазии украшающим?

Начнем со второго. Его можно поставить и шире: не является ли искусство, вообще, украшающим — по природе своей? В самом деле: что является предварительным необходимым условием для возникновения искусства? Наличие эстетических потребностей общественного человека [1]). Что такое искусство? Деятельность, направленная к удовлетворению эстетических потребностей человека. В своем развитом виде искусство представляет собой чрезвычайно сложное явление, общественная роль и значение которого выходят далеко за пределы удовлетворения эстетических потребностей, — и потому может показаться, что приведенное нами определение неправильно. Однако нетрудно показать, что это не так. Что значит: удовлетворить эстетические потребности общественного человека? Это значит создать нечто, отвечающее тем или иным понятиям его о прекрасном [2]). Теперь: в чем состоит сложность явлений искусства? В том, что в каждое произведение искусства вносится огромная масса представлений и идей (общественно-политических, религиозных и проч.), не имеющих прямого отношения (как будто) к чисто эстетической стороне произведения. Это дало основание Чернышевскому, напр., утверждать, что произведений, созданных единственно лишь идеей прекрасного, нет, и что они обусловливаются в такой же мере, как и идеей прекрасного, нашими стремлениями к правде, к переустройству быта [3]) и т. д. Плеханов прекрасно показал несостоятельность такого воззрения. Те или другие стремления человека получают свое выражение в художественном произведении только посредством его понятия о прекрасном. Они сами входят в состав этого понятия. «Задача научной эстетики,—пишет он,—состоит главным образом в обнаружении того, каким образом эти другие стремления человека находят свое выражение в его понятии о прекрасном». Таким образом мы и в этих (сложных) случаях имеем право рассматривать произведения искусства, как выражающие (то или другое) понятие о прекрасном, т.-е., опять-таки, как деятельность, направленную к удовлетворению эстетических потребностей общественного человека. Но, повторяю, удовлетворить эстетические потребности человека и значит

[1]) Я пока беру только этот фактор, отвлекаясь от других.

[2]) Само собой разумеется, что эти понятия относительны, изменяются в зависимости от эпохи, класса и т. д., но в каждый данный историч. момент у каждого данного класса они представляют собой величину вполне определенную.

[3]) Привожу по изложению в статье С. Вольфсона „Плеханов и вопросы искусства“, „Красн. Новь“.

создать нечто такое, что кажется ему прекрасным, красивым, — сделать кра сивую вещь, сделать вещь красивой. С этой точки зрения всякое искусств является украшающим. Конечно, термин «украшательское искусство» можн толковать разно (так разно его и толкуют на деле): можно понимать ег как бесполезное, бесцельное, барское искусство, служащее лишь для за бавы бездельникам, изготовляющее «эстетские» игрушки — тогда оно н характерно даже для буржуазии в целом, а только для буржуазии эпох декаданса (как и для всякого, сходящего с исторической сцены класса, сравн. например, французскую аристократию XVIII века). Можно противопоста влять его, как добавочное, формирующему искусству, что как будт и делает Пролеткульт в своих тезисах. Но и здесь недоразумение. Поскольк дело касается вещей, нет искусства, которое не было бы также и фор мирующим. Вопрос только в том, имеем ли мы право противопоставлят украшающему, добавочному началу — формирующее, как недобавочное. В од ной из своих статей по искусству, помещенной в «Молодой Гвардии» 1923 год (и, к сожалению, неоконченной), т. Луначарский правильно зывает на то, что роль искусства заключается в придании вещам некото добавочных свойств, повышающих сумму получаемых нами от них впеча ний. То же относится и к формирующему началу. Формируя вещи, искус вносит (в форму вещи) некоторые добавочные элементы (как и при у шении). Красивыми нам кажутся только целесообразно построенные ве Это так. Но не всякая целесообразно-построенная вещь кажется нам сивой. У нас в быту мы имеем целый ряд таких целесообразно построен вещей, которые нам, однако, красивыми не кажутся. И это вовсе не пот что мы испорчены буржуазным дуализмом («высокие» и «низкие» ве Эстетические оценки, а значит и деление вещей на красивые и некраси свойственны всем известным нам эпохам и классам (как и этические оцен Целесообразность вещи не исключает возможности широкого варьирова ее формы. Поскольку в этом варьировании принимает участие искусство, руководствуется соображениями эстетического порядка. Оно вносит в ве в ее форму, то (добавочное), что диктуется общественным вкусом. Ме «ампир» и мебель «Louis XV» были одинаково целесообразны (для того щества, которое ими пользовалось), и, однако, в каждом из этих слу общественный вкус сумел варьировать общую целесообразность формь внести в нее то своеобразное (добавочное), что диктовалось обществен вкусом.

«Искусство буржуазии было дурным. Зло заключалось в «украша стве», рассуждают «производственники», — мы создадим хорошее иску которое будет делать вещи и руководствоваться исключительно сооб ниями целесообразности, требованиями науки, назначением вещи».

Рассмотрим, насколько это исполнимо.

Заметим сперва следующее: в известном смысле эстетические по ности шире области искусства. Они могут удовлетворяться не только п ведениями искусства. Не говоря уже о природе, эстетическое удовлетво могут нам доставить и такие вещи, в создании которых искусство вов

участвовало. Например, я знаю немало людей, которые находят красивыми физические приборы, микроскопы, т.-е. вещи, форма которых продиктована исключительно соображениями целесообразности, требованиями науки. Так что в этом смысле утверждения производственников имеют под собой известное основание. Иначе говоря, мыслимо общество, в котором эстетические потребности его сочленов будут удовлетворяться исключительно индустрией, техникой и в котором специфическая деятельность искусства окажется излишней. Возможно даже, что наша эпоха с ее лозунгом «производственного искусства» является до некоторой степени провозвестницей этой эры, этого гипотетического общества. Подчеркиваю, — это всего лишь предположение. И еслиб спросить моего мнения, я бы ответил словами одного осторожного французского ученого: «C'est possible, mais peu probable» — это возможно, но мало вероятно. Теоретически отвергать эту возможность мы наперед не можем, но у нас нет никаких оснований ее принимать. Но, ведь, в сущности «производственники» говорят не это. Они считают, что при делании вещей надо руководствоваться исключительно соображениями целесообразности, но в то же время уверены, что и при таком подходе к делу искусству остается огромная область работы, что и при этих условиях оно сумеет участвовать в производстве. Это — огромное заблуждение. Если производство вещей обусловливается одними только требованиями целесообразности, данными науки и техники, то для приложения специфических методов искусства не остается места. Для такого производства вполне достаточно науки и техники, и нельзя понять, что может здесь дать художник, мастер искусства, — дать такого, чего не дал бы техник или ученый. Микроскоп нам может нравиться, но ясно, что в его производстве, в его изготовлении — искусство (художеств. творчество) не при чем. Уничтожение искусства — еще раз необходимое следствие из теорий «производственного искусства».

Это смутно понимают и сами «производственники». «Искусство есть временный метод жизнестроения», пишет т. Чужак. Можно понять и общественно-психологические корни тех настроений, которые приводят к такому выводу. «Производственное искусство» есть лишь один из этапов развития футуризма. Футуризм явился направлением, доведшим разложение форм буржуазного искусства до крайних пределов. Дальше итти было уже некуда. Разложившееся искусство могло продиктовать своим эпигонам одну только мысль: о гибели, смерти, уничтожении.

Но если у футуристов, последних представителей буржуазного искусства, мысль о его гибели естественно связалась с мыслью о гибели искусства вообще, — то какие причины побудили притти к такому выводу Пролеткульт, организацию пролетариата, класса молодого, победившего, не несущего на своих плечах тяжести умирающей, разлагающейся культуры? Далее, если уж Пролеткульт стоит на точке зрения «производственного искусства», то почему же он свои задачи не формулирует так же ясно и отчетливо, как «производственники», зачем впадает в неопределенность, в противоречия. «Задача пролетариата в области искусства, — говорится в его тезисах, — за-

ключается в том, чтобы... подчинить художественное творчество научно-осознанным приемам и методам. Заменить фетишизированный принцип «искусство для искусства» принципом социально-технической целесообразности, используя все приемы и методы художественного творчества в меру их социальной значимости». Мы уже видели выше, что «подчинение» искусства методам науки обозначает, в сущности, уничтожение искусства. Искусство имеет собственные, специфические методы, и заменить их методами науки нельзя, так же, как и наоборот: методы науки—методами искусства. Но предположим все-таки на минуту, что т.т. пролеткультовцы правы, и такую замену надо действительно произвести. При чем тогда «использование всех приемов и методов художественного творчества»? И как это всех? Значит, и приемов буржуазного искусства? Но ведь нам только что доказывали их принципиальную непригодность для пролетариата. Негладко, товарищи!

Я так долго остановился на тезисах Ц.К. Пролеткульта, во-первых, потому, что это официальная программа Пролеткульта по вопросам искусс во-вторых, потому, что в ней сконцентрированы все основные мысли, кото разрабатываются порознь в руководящих статьях журнала («Горн»), и нам дают наглядное представление об его общей линии. Мне кажется, мне удалось показать несостоятельность главных теоретических положе пролеткультовской программы. Но можно поставить такой вопрос: хоро пусть это так, пусть теоретически неправильны те или иные положе или утверждения Пролеткульта. Каково практическое значение этих тео тических ошибок и зачем их надо было вскрывать? Значение вот как Одна из основных задач переживаемого нами периода есть задача культ ничества, культурного под'ема пролетариата. Эта задача требует всемерн использования того культурного наследства, которое оставлено буржуази в том числе и литературного, художественного и проч. наследства, усвое всего ценного, что там имеется. Между тем единственным выводом из те сов Пролеткульта по отношению к буржуазному искусству является от цание какой бы то ни было его пригодности для пролетариата. Я знаю, в ответ на это замечание пролеткультовцы в один голос воскликнут: правда! Тем не менее это совершеннейшая истина, и в этом может ле убедиться всякий, кто внимательно прочтет тезисы. А если нужны дальн шие доказательства, то мы их найдем хотя бы в статье Чужака в № «Горна». В ответ на замечание «старых большевиков» (письмо «О-ва ст б-ков», «Раб. газ.», № 246): «Речь идет не о великих буржуазно-дворян писателях прошлого, изучение которых необходимо», т. Чужак пишет: варищи роковым образом оступились, выдав себя сразу с головой и зицией». «Речь идет не о великих бурж.-двор. писателях»... Почему? Пот что на «великих бурж.-дворянских писателях прошлого» мы сами восп вались? Потому, что в нас самих, вопреки нашей идеологии, сидят дрожжи? Потому, что посягнуть на них — все равно, что «наплевать» в «душу»? Не приветствуем. К этим словам Чужака редакция не сделала какой оговорки.

И еще вот почему важны теоретические ошибки Пролеткульта. Ведь это организация, цель которой — помочь выработке пролетариатом собственной культуры. Не станем вести сейчас теоретической дискуссии о возможности пролетарской культуры. Допустим, что она — вне сомнения. Но почему же эта культура, как две капли воды, похожа на то, что пишут и делают футуристы? Откуда это совпадение? Если лозунг «производственного искусства» является для футуризма большим шагом вперед — в смысле изживания асоциальных, антиобщественных особенностей его первого периода (заумь и проч.), — то ничего прогрессивного, да и просто положительного, для пролетариата в нем нет. Для пролетариата это — просто плохо обоснованная теория, истинные психологические корни которой уходят в до-революционные течения буржуазной литературы.

Но каким же образом могло случиться, что на одной из вышек пролетариата оказался поднятым чуждый ему футуристический флаг? Как могло произойти, что в «Правде», центральном органе партии, «Лефу» дается суровая отповедь и выдвигается требование общепонятности искусства, а в «Горне», центральном органе Пролеткульта, отлучается все, что не «Леф», и высокомерно высмеиваемой общепонятности противопоставляется лозунг «преодоления материала» [т.-е. чем ты меньше поймешь, читатель, тем для тебя же лучше (тренировка), — а посему читай Крученых], — как будто мы не живем в стране, в которой чуть не половина безграмотных, как будто нашего (массового) читателя не надо прежде всего приучить, приохотить к чтению, а не отпугивать тарабарщиной, как будто не смешно и не нелепо догматическое высокомерие Чужака, в десятый раз самодовольно повторяющего тяжеловесные формулы великих открытий, сделанных им еще в его бытность в Чите (к сведению биографов)!

Чита! Город на 5.000 верст удаленный от России! Ты не только географический термин, и не только деталь в несравненной биографии Чужака! Ты символ. О, вечные читинцы российской словесности! о чудаки, от которых живая действительность русской жизни всегда отстоит на тысячи верст!

(Окончание следует)

О группе писателей „Октябрь" и „Молодая гвардия".

А. Воронский.

(А. Безыменский. «Как пахнет жизнь». Александр Жаров. «Ледоход». Семен Р(«Стальной строй». Иван Доронин. «Гранитный луг». «Стихи». Михаил Голодный. «С: «Земное». М. Светлов. «Рельсы». «Стихи о ребе». А. Ясный. «Каменья». Николай Ку цов. «Стихи». «Под знаком комсомола» № 2. «Молодая Гвардия» за 1923 год.)

I.

О литературно-художественных кружках и группах теперь стало пис куда трудней. На наших глазах разделилась «Кузница». Рассыпалась в своем давнем составе «Молодая гвардия». Разбрелись фактически «Серапион братья». Перманентно «реорганизуется» и производит чистки «Октябр в поте лица своего отделяя овец от козлищ. Меняет свое лицо Всероссийс союз писателей. Параллельно и одновременно возникают и растут но: кружки и об'единения, прочность которых отчасти прямо эфемерна, отча неопределенна. Подобные перетряски и перегруппировки являются нагл ными показателями, с одной стороны, нездоровой кружковой атмосф в нашей писательской среде, с другой—они указывают на серьезные ид логические и литературные брожения и искания. Будем надеяться, что сов менные литературные «распады» и новообразования приведут к более ч кому оформлению и к дальнейшему росту молодой советской литерату Пока же никогда не следует забывать относительности и условности те решних литературных группировок.

Об «Октябре» и «Молодой гвардии» писалось уже немало. Часть тиков и не критиков прокламировала эти группы как единственные, за живающие того, чтобы их поставить в центре литературы, руководимой шей партией, не в пример разным попустителям, наводнившим литерату рынок произведениями подозрительных и явно-реакционных попутчиков всей этой шумихе было много пустяков, элементарного непонимания, стого чванства, и возвращаться к этому изжеванному и пережеванному с решительно нет никакой надобности. Но несомненно, что за последние тора-два года у нас появилась поэзия, которая пытается отразить нас

ения нового поколения, вошедшего из рядов комсомола в коммунистическую партию. Под этим углом зрения — мы и намерены здесь рассмотреть «Октябрь» и «Молодую гвардию», оставив в стороне их кружковую политику.

II.

В области прозы, занимающей сейчас в литературе главное место, ни «Октябрь», ни «Молодая гвардия» пока не дали в целом ничего сколько-нибудь художественно-ценного и значительного. Несомненно свеж и интересен Артем Веселый. У него сильный и сочный язык и, повидимому, богатый художественный материал. В напечатанных вещах ему не достает четкости в композиции и мешает склонность к художественным выкрутасам; но как раз Артем Веселый ни к «Октябрю», ни к «Молодой гвардии» отношения не имеет и стоит особняком.

Большой шум был вокруг «Шоколада» Тарасова-Родионова благодаря остроте темы. Об этом уже писалось и говорилось. Другая вещь, повесть Ю. Либединского «Завтра», является шагом назад по сравнению с его «Неделей». Тов. Правдухин отметил художественные бреши «Завтра», но повесть, как и «Шоколад», весьма сомнительна и в идеологическом отношении. Так как эти идеологические шатания Ю. Либединского, в известной мере, характерны для всего «Октября», то на них следует несколько остановиться. У Либединского темные стороны нэпа совершенно заслоняют Советскую Россию. Нэп только разлагает испытанные кадры коммунистической партии, он разбазаривает также наше советское хозяйство. Ничего творческого, положительного, экономически оправданного в нэпе нет. Отсюда другой естественный и неизбежный вывод, к которому пришел автор: республика советов, подорванная нэпом, погибнет, если во-время не спасет ее германская, европейская революция. В этих положениях только видимость коммунизма: заученные, затверженные фразы — и полная беспомощность при их применении к сложным условиям конкретной обстановки. Русская революция, конечно, носит интернациональный характер, она победит мировую буржуазию только в том случае, если произойдет победоносная социальная революция на Западе, — но отсюда еще не следует ни того, что наша республика, сама по себе, лишена творческих, созидательных начал, ни того, что нэп только дезорганизует и разлагает нас. Нэп есть только часть, входящая в целое экономики нашей страны. Нэп имеет не только темные, отрицательные стороны. Наша промышленность, правда, черепашьими шагами, но двигается вперед благодаря нэпу: «а все-таки она движется». Нэп учит, воспитывает, обучает, приучает к экономному, расчетливому хозяйничанию. За время нэпа появился, вырос новый слой работников, не похожих ни на военных коммунистов, ни на старых саботажников-спецов. Не в обиду нашим товарищам из «Октября» будет сказано — недурные художественные намеки на этот новый тип хозяйственника имеются у Бор. Пильняка в его «Повестях о черном хлебе» (Архипов и Форст). Ю. Либединский не приметил этих новых людей; он не в меру перепуган темными сторонами нэпа; перепугался же

автор «Завтра» потому, что он живет романтикой военного коммунизма, который, также как и нэп, имел свою шуйцу и десницу. В новой советской действительности Либединский подмечает только отрицательное. Поэтому отрицательное ему сравнительно удалось, а когда автору потребовалось перейти к положительному, наметить выход, он живую конкретную образность подменил шаблонными, штампованными описаниями манифестаций газетно-хроникерского характера, сдобрив все это досадной и несносной слащавостью. В этой патоке он совершенно утопил свою повесть.

С нэпом неблагополучно не только у Либединского. Писатели «Октября» очень рьяно нападали на «Кузницу» за неправильную оценку нэпа, допущенную некоторыми из «кузнецов». Но и сами они не всегда благополучны. — И когда Лелевич пишет:

Пусть рядом—кабарэ и смятая перина!
Лишь содрогнется мир, встревоженный гудком,
И грозно заглушит гнилое слово «рынок»
Названья звонкие «краском» и «военком»...—

в нем романтик военного коммунизма берет перевес над коммунист трезво учитывающим «pro и contra» этого периода и нового. Некото «кузнецы» романтизировали военный коммунизм, впадая в «электропсалм некоторые из «Октября» тоже романтизируют эти годы, противопостав эпоху краскомов «гнилой», «рыночной» действительности сегодняшнего Воскрешать в памяти *героические моменты и периоды эпохи краскомов* мерно следует, но видеть из-за этого в наших днях прежде всего гни рынок, как это увидел автор «Завтра», решительно нет достаточных ос ваний. Кроме того, если теперь есть много гнилого, то ведь и в эпоху крас мов было много ненормального, отрицательного, о чем живое напоминани Кронштадт.

Из сказанного, между прочим, следует, что, имея такие вещи, как « втра», «Шоколад», рассказы вроде Рахилло, следовало бы соблюдать «ок бристам» некую скромность и осторожность в заушениях Всев. Ивановы прочих попутчиков за их сомнительную идеологию: «врачу, исцелися са И еще сказано: «не уклони сердце мое в словеса лукавствия».

Мы нисколько не сомневаемся, что коммунистическая молодежь в дущем перешагнет настоящий период идеологической перепутаницы и ху жественной незрелости. Повидимому, этот момент не так уже и далек, с по тому, что наша молодежь усердно пишет. Нужно еще сказать, что чительная доля вины падает на редакции и на критиков, нередко прокл рующих вещи ученические, как новое и свежее художественное слово.

III.

Поэзия «Октября» и «Молодой гвардии» содержательней, богач самостоятельней их прозы. Попадается и здесь немало случайного, не о мившегося, сырого, перепетого, подражательного, но есть и свое, главное

есть материал, позволяющий делать некоторые выводы о современной рабфаковской, комсомольской молодежи.

Прежде всего ряд общих замечаний критического порядка.

Когда читаешь и перечитываешь эти по большей части небольшие сборники и книжки стихов (а также и прозы), встает один настойчивый вопрос: о нашем старом большевистском революционном подполье. М. Н. Покровский, по поводу мемуарной и исторической литературы белых, заметил однажды, что нам грозит опасность уйти в страну отцов, не оставив своего освещения революции, как живых творцов ее. Это справедливое замечание еще более верно, если его обратить в сторону художественного освещения нашего подполья. Художественно большевистское подполье до сих пор остается совершенно нетронутым. То, что появилось в период 1907—1914 г.г. принадлежало почти исключительно перу интеллигенции, откатывавшейся от революции на полном ходу: Винниченко, Андреев, Арцыбашев, Олигер, Ропшин занимались главным образом ликвидаторским развенчанием подполья. Кое-что есть у Горького («Мать»), но одна-две ласточки, как известно, не делают весны. За годы революции есть вещи, но мемуарного преимущественно характера. Теперь старая гвардия молча сходит со сцены и, надо полагать, своих художников она не выдвинет уже по одному тому, что весь свой ум и все свое сердце она отдала политической борьбе. Современные беспартийные литераторы — попутчики тож — вполне естественно обходят темы о подполье, как им чуждые, незнакомые. Но и подрастающее молодое коммунистическое поколение в лице своих юных поэтов и прозаиков этих тем не касается. Дело, однако, не в том, что оно не касается, а в том — и это гораздо серьезней, — что на вещах, которые они пишут, в целом не отражается дух, «аромат», сердцевина, атмосфера революционного подполья. Написаны и хорошие, и посредственные, и плохие стихи, есть рассказы, повести, очерки. В них то-и-дело склоняется всячески Стальной строй, Р. К. П., но той закваски, тех дрожжей, на которых взошла наша партия,—нет. Я не чувствую этой настороженной, сутулой, тревожной походки старого подпольщика, этой немного волчьей повадки, этой сухой деловитости, этого скрытого пафоса, этой атмосферы особого содружества, семейности, за которое крестили нас в свое время ленинскими молодцами, этой спокойной уверенности, что активный работник больше трех-четырех месяцев не держится и проваливается, этой за спиной и над спиной стоящей всегда ссылки, тюрьмы, каторги, наконец, этой холодной, раз-на-всегда решенной и выверенной, но предельной ненависти к эксплоататорам всего мира, и этой спаянности с трудовым коллективом человечества. Это — не упрек: другие времена—другие песни. Нельзя требовать, чтобы наша партийная молодежь 1917 — 1924 годов стала копией старого подпольщика-большевика, да едва ли это своевременно и нужно; важно и нужно, чтобы она в текущей, нынешней действительности разбиралась, имея при себе и в себе органически воспринятый и переваренный революционный марксизм. Для этого в частности нужно, чтобы наша молодежь впитала в себя лучшие традиции революционного подполья. Вот этого органического марксистского

революционизма в поэзии и в прозе коммунистической молодежи не видно, не заметно. Наш охват молодежи чре... йно широк, но пока очень не глубок. Нет основания не верить ... ому, когда он пишет о себе:

Не понять с... ме,
Пятнышку в н...
Что ношу партб... —
В себе...

Это очень хорошо сказано. Но как ... стихов «Как пахнет жизнь» показывает, что плакатное, митинг... усвоение коммунизма у поэта преобладает над органическим, ... ей сосредоточенностью, над «нутром». Конечно, это подлинное к...мунис...ческое настроение, перелитое в форму стиха, но оно усвоен ... инговому, а не добыто в упорной, тяжкой борьбе. Отсюда так ... внешнего: тезисы, книги, цека, комсомол, субботники, винтовки. Петр С... ...ован при помощи этих рифмованных строк о тезисах и лекциях, ... рисова... но по-плакатному: живого образа тут нет. Мы видим по... ...но н... поминающего о себе, «дерзко» и «мощно» разгуливающего ...рикам ячейкам, но подлинную жизнь ни фабрики, ни ячейки чита... воспр... нимает. И это характерно и для Безыменского, и для Жарова, ... Мал... хова, и для других поэтов «Октября» и «Молодой гвардии». У ... из ни... от митинга и плаката меньше, но тогда выступает хотя и св... ...ческ... нутро, но не слитое с коммунизмом (например, в некоторых ст... ...х. Г... лодного, в прозе Герасимовой и т. д.).

Лучшей иллюстрацией к сказанному может послужить ...ние м... лодых коммунистических писателей к трудовому человечеству. Т... я ... лжі... прямо сказать, хотя и уверен, что будут изобличения в интелли...ско... н... родолюбии, в литературной и всяческой иной реакционности, ... чт... ния их стихов меня властно тянет к Некрасову.

Я жалею в о т э т и х бабенок,
Я люблю в о т э т о г о мужика...
(*Безыменский*).

К сожалению, эта любовь и эта жалость поэтом нам н... ...а приходится верить ему на слово. И дальше: «в о т э т и х» ба... ...о э т о г о» мужика ни у Безыменского, ни у «Октября» нет, как общее пр... вило. Опять-таки: есть слова «вот эти». Несколько лучше с ра... ... тут довольно слабо. Песни о в о т э т о м рабочем чаще всего ... барабанным боем:

Бей тревогу, старый,
Бей, барабан,
Соединяйтесь, пролетарии
всех стран.
(*С. Родов*).

Либо тут преобладает «поступь железных отрядов», «станк... сердце», мощное «я» Безыменского и «коммунэры о комиссарах. В... «бабенку» и в о т э т о г о мужика лучше до сих пор видишь у Некрас... У него они страдают, радуются, видна их нищета, грязь, убожест... и ...

Конечно, старенек Некрасов, но по нужде и он пока сойдет. Верно, что мы далеко ушли от мотивов: «спой ему песню о вечном терпении», но время для «музы мести и печали» еще далеко не отошло в прошлое. Еще сотни миллионов «бабенок и мужиков» белых, краснокожих, чернокожих, коричневых находятся на положении рикш, еще свистит бич над ними и плеть, еще сдавлены в железных лапах рабочие Германии, Франции, Англии, Австрии, еще слепо, голодно, измордованно, холодно выглядят исконные избы наших бабенок и мужиков, еще тяжел труд и быт нашего рабочего. Соединить «железную поступь» с этим бытом, дать читателю не слова «вот эти», а действительно **вот этих** — задача, может быть, и наверное, более трудная, но уж во всяком случае назревшая. Ни в поэзии, ни в прозе нашей коммунистической молодежи **реального** рабочего-производственника нет, нет и **вот этих** бабенок. Много слов о фабрике, но настоящей фабрики нет. «Муза мести и печали» подменена плакатом. Не даром Мапп («Октябрь» тож) вошел «в деловое соглашение» с нашими футуристами. У футуристов много свежести, литературного бунтарства и иных полезных качеств, но есть один роковой из'ян: трудовое человечество они не знают и не любят. Потому при всех их талантах они идеологически бесплодны, как библейская смоковница.

Сказанное нельзя понимать слишком буквально. У Доронина, Мих. Голодного, Кузнецова и других есть стихи, дающие право надеяться, что **вот эти** рабочие и крестьяне в конце концов займут подобающее место в литературе коммунистической молодежи, но пока такие стихи не являются характерными. «Лицо» поэзии, о которой здесь пишется, определяется больше Безыменским, Лелевичем, Родовым, Жаровым.

Интересно сравнить эту поэзию с поэзией «Кузницы». «Кузница» была организацией писателей, вышедших, действительно, из рабочей среды. Большинство их оставалось вне партии. Поэты «Октября», кажется, сплошь коммунисты. Естественно, что их поэзия стоит ближе к партии по темам, хотя мы видим пока больше газетное усвоение коммунизма. Поэты «Кузницы», стоят дальше от нашей партии, но, являясь в прошлом рабочими, они выросли в пору между 1910—1914 годами; им хорошо знакома ссылка, тюрьма, прежний царский и капиталистический гнет. При уклонах в космизм, в «заводскую» метафизику, в символизм их стихи больше «пахнут» рабочим потом, машинным маслом. В них есть от рабочего поселка, от рабочей околицы, от того рабочего, который хорошо испытал все тяготы прошлого. В некоторых стихах Обрадовича, Кириллова, Александровского, Герасимова, Полетаева эта связь с прошлым житьем-бытьем нашего рабочего проглядывает довольно ясно (см., например, последнюю автобиографическую Кириллова). У Василия Казина сквозь тютчевскую призму видно рубанка пахучую свежую стружку, ремесленника портняжку-дядюшку. И очень хорошо это сказано у него:

Так вот и кладу я песни—сети...
Многим и не вздумать никогда,
Что живет в искуснике поэте
Сын водопроводного труда...

У «Октябристов» этого нет. Почему?

С Октябрем и после в период гражданской войны в нашу партию влилась огромная масса партийного молодняка. Социальный состав его самый разнообразный: тут были и молодые рабочие, но больше преобладали выходцы из мелкого городского мещанства, крестьянства, из наиболее демократических слоев интеллигенции (конторский труд и т. д.). Они прошли жестокую школу гражданской войны, многому научились в рядах коммунистической партии, но прочной связи с рабочим бытом они не имеют. Старой школы подполья—прекрасной школы для упрочения этих связей—у них нет. Учиться по-настоящему марксизму раньше было некогда: воевали; это начинают делать только теперь. Так о разовались кадры новой коммунистической инте лигенции, вышколенной в боях с Антантой, с Дени киным, получившей уже известный опыт в сове ском строительстве, но недостаточно связанно с бытом рабочего и фабрики, усвоившей коммуниз не в корешках, а в вершках. Чем меньше этой п длинной связи, тем легче поэзия принимает бар баный, плакатный характер [1]).

Очень любопытен в этом отношении т. Родов, изобличающий и дающий никакого послабления попутчикам и их попустителям. Родов пр шел к «Стальному строю» от «Моего сева». «Мой сев» — это Игорь Север нин, Блок, плюс Бальмонт не только по форме, но и по содержанию:

Я стал перед нею на колени
В порыве—юноша победный,
Я жаждал радости смирений—
Печальный мальчик, мальчик бледный...

Или:

Молитвы смутные слова,
Полузабыв, я бормотала
И четки скользкие рука
Замедленно перебирала...

И так далее. Словом, поэзы Северянина о мальчике бледн... имности. Конечно, быль молодцу не в укор, и очень хорошо, что ... поэз перешел к воспеванию стального строя. Но вспомнив и пере... сев», вышедший в 1918 году, начинаешь понимать, почему в «... строе» так много барабанного боя и так мало «вот этих бабенок, мужика» и вот этого рабочего: от Игоря Северянина и Бальмонт аполитанского залива и «каприйского венка» переход к тарану и

[1]) Из сказанного не следует, что в старой гвардии, которая была и ос ком нашей партии, все благополучно.

тоже не лишен трудностей, но во сто крат трудней перейти к изображению настоящего живого коммуниста, живого рабочего: тут для бледных мальчиков препятствий гораздо больше. И еще вот что: стихи т. Родова «Мой сев» при всей их некоммунистичности несравнимо талантливей «Стального строя». Положительно есть в этой книге не плохие стихотворения. Не потому ли, что тут было больше своего, нутряного, и поэт не становился на ходули? Воспевать стальной строй похвально в высшей мере, но только в том случае эти гимны доходят до сердца читателя, когда они идут от сердца поэта.

Выше говорилось, главным образом, о том, чего не хватает поэзии писателей из «Октября» и «Молодой гвардии». Перейдем теперь к вопросу, что у них есть. Несомненная их заслуга в том, что они постарались приблизить и прозу и поэзию наших дней к жизни и к быту Коммунистической Партии. Конечно, в утверждениях Безыменского, Лелевича и Родова, что они впервые заговорили о живых людях революции живым языком, есть, выражаясь очень мягко, много преувеличений. О живых людях революции задолго до «октябристов» заговорили столь ненавистные им попутчики: Всев. Иванов, Шишков, Н. Тихонов, Орешин, Пильняк, Малышкин и т. д., а из коммунистов и пролетарских писателей: Демьян Бедный, Неверов, Гладков, Аросев, Семенов, Александровский, Казин и др. Но верно то, что «октябристы» попытались ударно сосредоточить внимание на жизни Комм. Партии. Пусть первые попытки в этом направлении не всегда и далеко не во всем удачны, пусть непомерно растрезвониваются вещи, где достижения—скромны и такие, в которых нет никаких достижений, пусть преобладает пока штамп, газета, трафарет, плакат, общие места, но уже самая постановка задачи как ударной заслуживает внимания. Значительное влияние здесь оказали баллады и стихи молодого поэта Н. Тихонова «Брага» и творчество Вл. Маяковского. Тихонов дал конкретизацию тем, наметил художественные вехи дней наших: «коммунэры» Лелевича и Родова, правда, в большинстве своем неудачные, от Тихонова, от него и баллады. Дух же Маяковского почил на творчестве Безыменского, Жарова и некоторых других—не всех—поэтов комсомола.

Собственно о Коммунистической Партии мы узнаем не много, но о нашем партийном, комсомольском молодняке в их стихах есть ценное. Поколение это целиком, как уже отмечалось, вышло из революции. Оно таскало винтовку на плечах, поставляло политруков, полковых командиров, дралось под Питером, под Орлом, Ростовом, во всех краях нашей советской родины, перебрасывалось, перекидывалось с места на место, вело бивуачную, кочевую жизнь. Обветрилось, охрипло, сделалось как никогда подвижным. Оно «галдело», ходило «гужем» на митинги, а теперь «вместо винтовки тяжелой держит бумагу, перо». Оно—крепкое, выносливое, привыкшее к голоду и к холоду, задорное, ржущее, самонадеянное, с твердой верой в себя. Оно привыкло брать все приступом: даешь Орел, даешь Европу, даешь школу, даешь науку, даешь искусство. В этом много чисто юношеского задора, нежелания трезво подсчитать свои силы, найти меру,—но ведь юность, но ведь много здоровой, алой, свежей крови, той, что набухает человек как

весенняя почка, когда не знает еще необходимости в методах омоложения по Штейнаху, ни кокаинной, изнеженной, растленной, упадочной культуры уходящих классов. Это оттуда, снизу, от масс. Это омоложение России по Ленину. Грубовато наступают на ногу, плюют, говорят, наверное, нередко самонадеянный вздор, но это ничего, перемелется, хотя это совсем не рыхлая, рассыпчатая мука, а действительно, тут есть от стали, от железа. И Безыменский, и Светлов, и Голодный, и Жаров пишут прежде всего об этом поколении, и оно у них в стихах такое.

Вредно и опасно петь лишь одни дифирамбы этому поколению, что у нас делают постоянно, закрывая глаза на тревожное. И не в том дело, что «Петр Смородин» «плюнет, заржет матерщиной». В конце концов — это пустяки. Мы уже отмечали это тревожное; оно в том, что новое поколение усвоило пока марксизм поверхностно, внешне, что оно растет без традиций революционного подполья,—в том, наконец, что ослаблены связи с многомиллионной массой рабочих. «Плевки и матерщина» при этих недостатк ведут в известной части нашего комсомола к созданию особой богемск среды. У Безыменского и у других поэтов отражения этих сторон комсомол ской действительности нет, но такая среда есть; кое-что о ней уже прос чивается в печать. (Например: «Узел» Рахилло, «Ненастоящие» Герасимовой Но в основе тут—крепость, бодрость, энергия, свежесть, расправленн крылья. Молодого задора, конечно, было много и раньше, у дореволюционн молодежи. Но эта самоуверенная окрыленность, полевая св жесть, ощущение настоящей свободы, не формальной, а по существ когда новому демосу открыты широчайшие пути—это впервые в России, у м лодежи этого не было раньше до революции. И это не только у комсомол ских поэтов,—то же самое вы найдете в стихах Орешина, Тихонова и други Поборниками чистой, «настоящей» демократии, если бы они не страда слепотой, очень не мешало бы присмотреться к тому, как сознает и чу ствует себя наша молодежь в свирепой «Совдепии». В этом смысле сти этой молодежи очень показательны.

В стихах этих освещается, далее, и выясняется характер и направлен пафоса нынешней наиболее передовой юной интеллигенции. Он — в стро тельстве, в технической, хозяйственной, культурной перекройке России.

Мира властитель жестокий,
Уголь копаю, выпиливаю доски,
Сам же везу их по рельсу и тракту,
Делаю трактор,
Делаю ложки,
Сам у ссыпного пункта стою,
Рыбу ловлю,—и каждой рубашке,
Каждой ложке
Точный веду я, хозяйский счет.
Хочется мне и еще, и еще
Взять,
Чтобы спрятать
В жадном, заводском, младенческом зеве.

(Безыменский).

Комсомольский поэт Жаров мечтает: «мастерами и инженерами выйдем скоро, скоро выйдем в жизнь»! Николай Кузнецов рассказывает: «Когда нас душили за горло, мы строили радио-башни», а Михаил Голодный ищет стальную Жар-птицу.

Растет новое поколение, жадное до переустройства старой, избяной, деревянной, глухменной России. Годы разрухи, эпоха диктатуры пролетариата, открывшая широчайшие возможности для новой демократии, создали эту алчбу, эту тягу к техницизму, к строительству. Наша будущая интеллигенция будет по преимуществу техническая, технологическая, инженерная, агрикультурная, практическая, без чеховщинки, без старой покладистости, без обсасывания «вечных», проклятых вопросов. У нас будут свои паладины, апостолы, романтики, фанатики строительства, как раньше были паладины революционной подпольной борьбы, как были борцы с народом и за народ. Пафос инженерии—в этом новое поколение имеет преимущество пред лучшими людьми прежнего интеллигентского поколения. Растут новые реалисты. По-базаровски они смотрят на вселенную не как на храм, а как на мастерскую; Базаров вместо проклятых вопросов выдвигал естественные науки,—новый интеллигент выдвигает строительство, хозяйство; Базаров утрированно резко выступал против поэтических и иных чарований; так же утрированно склонна выступать и наша молодежь.

Безыменский пишет:

Кто боится за девичьи губы,
А я—за дымящиеся трубы...

На него не действует, подите вы, даже весна. Он спокоен. Солнце пышет жаром, а поэт думает все об одном:

А я иду, иду и думаю упорно
Про себестоимость
Советских товаров...

Конечно, и это бывает, но вообще это—гипербола. По истории с Базаровым мы знаем, как «девичьи губы» ловят трезвых реалистов, как создается трагедия, но тот же Базаров являет собой пример человека, который умеет бороться и умирать в этих и подобных обстоятельствах. Безыменский еще не почувствовал поэтически и потому ни в какой мере не отразил этой трагедии новых реалистов. Может быть, потому он так самонадеян и так легко аттестует себя то дерзким, то солнечным, то мощным, то гордым. По этой же причине у него нет динамики душевной жизни. Он еще не заглянул в то горнило, где куется новая сталь. Но как выражение нового пафоса, утверждения, что «девичьи губы» и «любовное зелье» ему ни по чем, могут быть отчасти оправданы и приняты.

Растут новые реалисты. Разумеется тут еще бабушка на-двое сказала. Что выйдет в итоге из этих новых реалистов в конечном счете, зависит от социальной революции на Западе и в России. При неблагоприятном обороте все это может выродиться в узкий американизм, в делячество без всяких «измов», в грюндерство худшего сорта. Отсутствие склонности к рефлексии

при этом может превратиться в свободу от всякой идейности, а некоторое равнодушие к «музе мести и печали»—в черствое, жесткое отношение к «бабенкам и к мужикам». Впрочем, это не о Безыменских, а вообще о новом поколении. Во всяком случае, старая Русь кончена. Нужно только, чтобы наши реалисты послужили коммунизму, а не капитализму. Так оно, надеемся твердо, и будет.

IV.

Переходя к отдельным поэтам «Октября» и «Молодой гвардии», остановимся на творчестве А. Безыменского, А. Жарова, И. Доронина, Михаила Голодного, Мих. Светлова, А. Ясного и Николая Кузнецова. Лелевич и Родов представляют несравненно бóльший интерес как критики, занявшие в вопросах современной литературы яркую анти-попутчикскую позицию, о чем читатели нашего журнала достаточно наслышаны. Как не относиться к этой их позиции,—во всяком случае, удельный вес их в области крити значительней, чем в области поэтики.

В поэтическом творчестве нашей молодежи в общем нетрудно разл чить два направления: одно—Безыменский, Жаров,—связано с футуризмс так что соглашение Лефа с Маппом имеет не только тактическое значен Дело не только в формальной зависимости, но и в том, что у Безыменскс преобладает пока внешний, плакатный и в е щ н о́ й подход к теме. Друг направление—Голодный, Светлов, Ясный, Кузнецов, Доронин (не всюду) тяготеют к классицизму. Тяга к простой, плавной форме классическо стиха, правда, далеко не выдержанная, соединяется у них с бо́льшим л ризмом, с интимностью, со стремлением внутренне осознать себя, нащупа свое индивидуальное нутро. То расхождение, которое определилось сейч в среде молодых писателей комсомола, расхождение, закончившееся факт ческим расколом в «Молодой гвардии», имеет по силе сказанного не сл чайный, а поэтически закономерный характер: оно соответствует этим дв *направлениям.*

О Безыменском уже в сущности говорилось достаточно. Следует толь прибавить: А. Безыменский—даровитый писатель. Он по преимуществу по новой коммунистической молодежи. Он умеет схватывать то, что носит в воздухе, умеет представить читателю отчетливо, бойко и, так сказа ударно. В книге стихов «Как пахнет жизнь», в напечатанных отрывках его поэмы «Комсомолия» он рассказал нам много интересного о комсомо ской молодежи. Лучшими вещами пока остаются «Петр Смородин», «П билет», «О шапке», «Весенняя прелюдия». Но до подлинного художества еще далеко. Безыменский вместе с критиками из «На посту» и своими ратниками по «Октябрю» очень грозно обрушился на «Кузницу» за то, они «воспели идущих по баррикадному пути», но не попробовали «в о лении милиции революцию найти». Он призывает:

Откиньте небо! Отбросьте вещи!
Давайте землю
И живых людей!

Поэты «Кузницы», действительно, грешили отвлеченным подходом к революции. Переборщили они и своими «железопсалмами». Но по сравнению с «октябристами» у них есть и свои преимущества. Речь сейчас, однако, идет не о «Кузнице», а о Безыменском. Безыменский приблизил к читателю комсомольскую молодежь, он заговорил о ней раньше и содержательней других. В этом его заслуга. Но он сделал только первый шаг. Живых, настоящих живых людей нового покроя в их динамике, в художественном образе он не дал. Если «кузнецы» слагали гимны стали и бетону—«железопсалмы», то ведь и Безыменский в конце концов, по его же признанию, слагает «только гимн комсомольской весне и стальной большевицкой породе». Конечно, он слагает не только гимны. Он хороший, знающий рассказчик о молодежи, но о Смородиных он именно рассказывает, говорит, но не показывает их читателю:

Вот он пылающий речью
Старый ворочает мир,
Миг—и винтовку на плечи,
Он—полковой командир.
В Пскове ли, Ямбурге, Нарве
Белогвардейцев бьет,
Миг—и в заводском зареве
Снова тачает болт... и т. д.

Как пылающий Смородин ворочает мир, как таскает он винтовку на плечах, как он бьет белогвардейцев—об этом мы ничего не знаем. А ведь в этом как и заключается все художество. У живого человека всегда так-то и так звучит речь, он так-то и так выглядит, он носит винтовку таким именно образом, а не другим. И это так-то должно быть типичным в то же время для миллионов других. Здесь же только статья, повествование, бойко срифмованные. Чтобы быть художником, Безыменскому нужно очень подумать над этим как. Безыменскому не хватает художественной интуиции, дара внутреннего воссоздания образа. Поэтому образ подменяется у него такими хроникерского характера приемами: «Вот заседаний сотни. Тезисы. Книги. Листки. Митинг. Ячейки. Субботник. Фабрики. Села. Полки». По этой же причине он внешен, плакатен, в природу вещей и людей он не заглядывает.

Живой человек революции т.т. «октябревцами» и Безыменским понимается слишком по-сегоднешнему. Они пытаются схватить его налету, не прибегая к большому синтетическому обобщению. Этим недостатком страдают и многие молодые «попутчики». Прав Алексей Толстой, когда указывает, что у нас есть свежие, крупные таланты среди литературной молодежи. Их беда—в ложном методе. У них боязнь «монументального реализма». Его метод—создание типа, чувственное познание человека. Безыменскому не хватает, прежде всего, этого чувственного, интуитивного познания, а злободневность заслоняет у него монументальность.

Безыменский вышел из Маяковского. Его стих так же ломок, свеж, громок, свободен от бальмонтовской плавности, упруг, местами грубоват.

По Маяковскому Безыменский склонен к гиперболизму, и если у Маяковского «грузовичище», то у Безыменского «статьища», «коммунистище». Маяковский любит прежде всего вещи, Безыменский—тоже. В стихах Маяковского на первом плане «я»; книга «Как пахнет жизнь» переполнена до краев этим «я». Но у Маяковского с этим легче миришься, чем у Безыменского. Поэт умеет заключить, закончить стихотворение хлестким, свежим и неожиданным оборотом. Таковы концы стихотворений «О шапке», «Партбилет», «О валенках». Рифмовка у Безыменского однообразна и однотонна. Это грозит превратиться в заученное, в штампованное, в привычный техницизм. Книга стихов «Как пахнет жизнь» и «Комсомолия», судя по напечатанным отрывкам, уже замкнули основные, избранные поэтом темы. Дальше будут перепевы, если поэт не сдвинется с колеи и не попытается шагнуть дальше. А ему есть что рассказать о новом поколении, он знает его и уже дал нам о нем свежее и ценное, хотя и поверхностное. Во всяком случае, в творчестве его есть родное и близкое нам по темам и по на строению. Может быть, потому у него не замечают крупнейших недостатко как это случилось с тов. Троцким.

В поэзии комсомольских поэтов, тяготеющих к классицизму, нет за силия **вещности**. На виду, на первом плане тут человек, не челове вообще, а человек в его исторической, социально-психологической, бытово конкретности. Пафос строительства, производства, переустройства мир при помощи науки и техники, не заслоняет, не застит этого человека, если эта позиция дальше стоит от кипучего потока жизни Комм. Партии, т эта «человечность» ее дает ей известные преимущества пред футуристич скими уклонами других поэтов комсомола. Человек есть мера всех вещей— это не в релятивистском, не в солипсистском смысле, а в другом, в нашем когда человек, преобразуя мир, создавая вещи, не забывает, что все эт исключительно для него и для его потребностей.

Этого человека мы видим прежде всего у Ивана Доронина. Доронин поэт-рабочий. У него больше, чем у других поэтов «Октября» и «Молодо гвардии», пахнет копотью фабричных труб и чувствуется рабочий. Но эт не рабочий вообще, а наш, русский. Огромное подавляющее большинств наших рабочих до сих пор остается связанными с землей, с полем, с де ревней. Там проходит их детство; туда тянет их вон из душных и дымны корпусов фабрики. Недаром поэт говорит про себя: «я рабочий, певец полей я певец полевой машины», а деревенская девушка у него поет: «я сего[illegible] девушка полей, завтра буду девушка-ткачиха». Вешние воды, запах че[illegible] мухи, кудряво-зеленые леса, полевое раздолье то-и-дело властно вторгаю[illegible] в душу, постоянно напоминают и манят к себе:

И в каменных толщах
Я вижу сады,
Виноградов гибкие змеи
У входов в заводы...

Для этих садов, для нашей деревни у Доронина есть легкие песен кудрявые, как белые березки, звонкие и весенне-пахучие. Он знает, ч

в каменных толщах—погибельный, непосильный труд, что там «без слов и поворотов в стороны стоят, будто прикованы, невольники труда».

Но он знает также: если гнетут человека каменные толщи, то есть и другой гнет, гнет и темь деревенских потолков. Главное же в том, что «рьяная», «капризная» природа, которую нельзя не любить за ее буйность,— она слепа, глуха, зла, непослушна, она бессмысленно уничтожает произведения своего собственного творчества и результаты кропотливого человеческого труда. Каменные толщи надобно раздвинуть в сады и виноградники, но и рьяную природу надо подчинить властно человеческой воле. И поэт готов погнать воды вспять, чтобы не быть «послушным пленником» необузданных, буйных стихий. Но Доронин знает меру. У него город, мотор и станок подчиняют природу, но не стирают с ее ланит свежие, пахучие краски. Его стальной соловей не ставит чучелом на полку живого. С работой мотора, со свистом приводных ремней у него продолжает «бить» живой соловей. Велики и необ'ятны равнины, бескрайна и бездонна голубая бездна, слишком полновесна, полнозвучна природа «рьяная». На широком, неиссякаемом материнском лоне ее станок и мотор, каменные толщи и корпуса, как полевая машина в море ржи. Ведь даже сама машина грустит и рвется к раздолью:

Мотор загрустил о просторе,
В полевое раздолье
Мотор норовит.

И также люди труда, рабы машин, напоены до краев соками жизни:

Ведь недаром
В душе у меня
Весенние воды.

Оттого поэт не боится, что каменные толщи скуют в каменном плену поля, леса и деревни и у него за шипом, за свистом машины все-таки на первом плане девственная сила природы и человек.

Поэтическое мировоззрение Доронина яснее и его стихи легки и песенны. Лучшей вещью поэта мы считаем его поэму «На войну», еще не напечатанную. Поэту удалось передать в ней пустынность, нищету, мрачную беспомощность, измученность, худобу, унылость нашей старой до-революционной деревни. Доронин вообще часто прибегает к повторениям строк, слов, чтобы прочнее запечатлеть образ в памяти. Это его, Доронина, прием. В поэме «На войну» этот прием нашел себе наиболее удачное применение:

Под стон
Измученного ветра
В сараях гнутся переметы,
В сараях гнутся переметы.
Стропила гнутся,
Валятся стропила... и т. д.

Весенние, кудрявые песенки здесь сменились углубленным восприятием жизни. Поэт не стоит, не топчется на месте. Но и в «Рабах машины», и в «Капризах природы», и в поэме «На войну» есть длинноты, растянутость.

Доронин не бережет слово. Ему не хватает упругости, сжатости, расчетливой скупости.

Поэтическое лицо Мих. Голодного еще не оформилось. Он еще—в исканиях, но они плодотворны уже по одному тому, что Голодный серьезно стремится познать себя и преломить окружающее через свое, индивидуальное. Из молодых комсомольских поэтов он, пожалуй, больше других подвержен терпкой горечи рефлексии, думам о человеке. Может быть, это потому, что он знает:

Что было вчера, не будет сегодня
Ни завтра, ни чрез тысячу лет!

Он чуток к боли. Он чувствует ее в машине, которая износилась и должна пойти на слом: «мне машина поведала о боли, о горе негаданном своем»,—в гибели паровоза, не выдержавшего состязания с аэропланом,—в лошади, «грохнувшей на земь» от двух фордов. Предполагаемый приезд к матери на родину во время гражданской войны заставляет его писать:

Солёной мукой брызнет мать,
И, перегнувшись над кроватью,
Я долго не смогу разнять
Ее костлявые об'ятья.

Оставшись с ней наедине,
Замкнусь в молчании тяжелом,
Она же спросит о войне,
И дрожью оборвется голос.

Я брошу ложью,
Разве мне
Рассказывать ей о войне?..

Он «поперхнулся тоской» потому, что любимая отвернулась от песен его о крылатой борьбе и стала чужой и не любимой. Эти мотивы переплетаются с другими, с песнями о новой жизни, когда «в взорах-зорях комсомолки расцветут вдруг города», когда сказочная Жар-Птица обернется и станет стальной. Он призывает даже ветер за работу: «довольно, путаясь в тумане, гонять испуганную тень»; настало другое время: «и я, и ты—мы на учете освобожденного труда». Переход от тоски и боли к бодрым песням о грядущем происходит потому, что поэт знает Бахмут, пыльный и душный, где «уголь хмур, а я угрюм», где человеческая жизнь гаснет в темных недрах шахт. От этой угрюмости один шаг к песням борьбы за долю шахтеров и безработных.

Стальную Жар-Птицу Голодный готов ловить и добывать, но живого человека он видит прежде всего. Отвечая Асееву на его «Стального соловья», он говорит, что по мостам стальных стихов придут другие поэты:

Но и у них, но и у новых
Потребуют, как у тебя,
Или несказанного слова,
Или невиданного соловья.
И будет так от века и до века,
Покуда вместо соловья
Нам скажут: «нате человека»..

Безыменский над этим вопросом не задумывается, он—безапелляционен. Доронин решает вопрос легко, ибо верит в вечную силу океана жизни. Мих. Голодный сомневается. Для него тут далеко не все решено окончательно. И если у него вселенная грустит потому, что стала нашей «неотвратимо навсегда», то вместе с ней готов грустить иногда и поэт. Здесь несведенность его поэтических настроений, их двойственность: поэт за стальную Жар-Птицу, но порой начинает бояться, не превратится ли все в сплошную сталь и камень, и уж во всяком случае он против того, чтобы живого соловья ставить чучелом на полку. Книга стихов Мих. Голодного «Земное» свидетельствует, что автор—в пути, это—переломная книга. В ней есть «нутро», пока еще далеко не прощупанное самим автором, и только разбереженное им. По искренности и художественном правдолюбии она выгодно отличается от барабанного боя, от заученного и затверженного, чего в поэзии комсомола, как и следует, еще достаточно. Автору нужно стремиться не потерять своей бодрости, нужно суметь найти стык все углубляющихся раздумий со стержнем эпохи. Внешне стихи Голодного не всегда свободны от погрешностей, есть прозаизмы, перебивки в рифмовке, но все это есть и у других комсомольских поэтов. Мих. Голодный больше других из них тяготеет к простой классической форме стиха.

У М. Светлова есть очень показательные и характерные для нового поколения «Стихи о ребе». В поэзии комсомола вообще видное место занимает тема о полном разрыве нашей передовой молодежи со старым бытом, со всеми пережитками, еще прочными в своей инерции и косности, но уже безнадежными, неотвратимо одряхлевшими. О живом трупе этого уклада есть в стихах Безыменского, Мих. Голодного и других. У М. Светлова тема о старом и новом, об отцах и детях легла в основу его «Стихов о ребе»:

Старый ребе говорил о мире,
Профиль старческий до боли был знаком...
А теперь мой ребе спекулирует
На базаре прелым табаком...

Было, когда ребе твердил про народ свой «у разрушенных израильских твердынь»:

За горами, на востоке дальнем
Ту стену господь сберег,
И велел еврею быть печальным,
И велел молиться на восток...

А теперь:

Вижу уж не детским глазом
Хедера незатейливую дверь,
Сразу выросший и постаревший сразу
На восток гляжу я и теперь...

Но этот восток новый, иной: восток Ленина, восток восставших народов. Светлову удалось передать тишину и запустение синагоги; спит она, как убитая, а около нее совсем другое: «я стою с прикладом рядом часовым порохового склада». Ни он, ни его товарищ не жалеют о прошлом: «смотрим мы

и нам не жалко, и рука прилипла у затвора». Вместе с тем комсомольский поэт нашел мягкие, человечные, добродушно иронические слова для своего ребе. Так пишут о том, что перестало трогать сердце и ум, что уже давно потухло и покрылось холодным пеплом, на что можно смотреть со стороны: как-то еще живет, но уже «все в прошлом». В этой добродушной иронии, в человечной обрисовке старого ребе—главное достоинство стихов Светлова. Следовало бы избегать таких безобразных мест: «знаю: мне с востока замаячат моя партия, мой светлый комсомол»; хорошие строки о востоке расплылись в общем месте, не дав заключительного образа.

У А. Ясного «тоскуют пальцы по курку». В его стихах еще звучит гулко эхо гражданской войны, партизанщины, зловещих, багровых половецких ночей Украины, посвиста и мести врагу. Ему даже сейчас хочется: «чорт подери, а с кем бы подраться?». Хорошо «в руки нож бы и наган за пояс» и пройтись «по европам». Но это—не простое озорство, поножовщина, непутевость, отпетость и забубенность, тут другое: «брата—немцы рас стреляли, отца ухлопали так». «Ухлопали так» и многих других рабочи Вот отчего растет «мальчишка отпетый, шестнадцати лет большевик», ко торый копит и хранит в себе злобу к врагу и не хочет с ней расстаться:

Кто сказал, что надо быть добрей?
Кто сказал, что так нам будет лучше?

И, может быть, в легкости, в спокойствии, в равнодушии, с которым молодой комсомолец говорит о том, как «ухлопали» отца, больше от этог нежелания быть добрым, не поддаться размягчающим настроениям, чтоб уметь, когда потребуется, щелкнуть «зловещим курком». Стихи Ясног приподнимают уголок завесы над теми настроениями среди «большевико 16 лет», которыми питается «тоска по курку», обесценивание своей чужой жизни, крови, всеравношество и отпетость. С другого конца с фабричного поселка, с заводского двора, оттуда, «где матом гудок кричит как зарезанный к ночи купчина», подает свой голос Ник. Тихонову комсомольский поэт о времени, когда «огонь, веревка, пуля и топор как слуг кланялись и шли за нами». Конечно, это слабее, чем у Тихонова, но об этом же. И также комсомолец подтверждает правду других тихоновски строк: «тогда впервые выучились мы словам прекрасным, гордым и жестоким».

Поэт рассказывает, что с ним упорно на странице «спорит упрямый Ленин». Надеемся, что переспорит.

Стихи Николая Кузнецова о заводе, о работе, о фронте, несложн по своим мотивам, устанавливают связь части нашего комсомола с дер венско-фабричным бытом:

Рос парнем славны простым,
Телом в городе—в деревне сердцем,
Я любил поля, тропинки и кусты,
Так любил, что даже и не верится.
На заводе говорливом, черном,
Где гремит машинная гроза

Зацелованный огнями горнов,
Потерял я синие глаза.
Да не долго о потерянных тужил,
Дал завод мне—серые, стальные:
Умер в сердце у меня мужик
И увидел зори я иные...

Конечно, эти и подобные мотивы мы встречали уже у поэтов «Кузницы», и комсомольскому поэту нужно уточнить и усложнить их, чтобы сказать о старом на свой лад, а так—свежо, здорово, но примитивно пока. Форма стиха у Кузнецова—простая, новейшая изощренность, повидимому, его привлекает мало.

Александр Жаров очень близок к Безыменскому и по форме, и по содержанию. Если Безыменский озабочен себестоимостью товаров, то Жарова очень беспокоят судьбы нашего червонца:

Вот теперь, теперь,
Когда сердце тревогу трезвонит
Мозг зудит:
Ст рожит и шу дверь
Золотой
Простой червонец.

Помимо червонца «мозги» комсомольского поэта заняты «Бухариным», «Капиталом», Пушкиным, фабзавучем, лекциями, комсомолом, комячейкой. Перо Жарова значительно тверже некоторых его поэтических соратников по комсомолу, но «Бухарин» и «Маркс» находятся еще исключительно в процессе учебы: органически в юное творчество Жарова они не вошли. Формальные ссылки на «Нищету философии» и «Капитал» еще не дают читателю представления о том, как все это вобрано в глубь, но в бытовом разрезе они представляют интерес: «Бухарин» и «Маркс» действительно только в одной нашей Республике занимают подобающее им место: это наше бытовое, этим мы можем законно гордиться, об этом следует писать даже в стихах. Жаров пишет, что «Александр Сергеевич Пушкин разговаривает» с ним. Это очень хорошо, но, кажется, его стихи больше «разговаривают» с Маяковским. Отдавая должное таланту Маяковского, мы все же думаем, что преклонить ухо к Пушкину нашей поэтической молодежи очень и даже очень не мешает. Не помешает это и Жарову.

Отмеченные выше поэты «Октября» и «Молодой гвардии» далеко не исчерпывают всего их художественного списка, но достаточно полно знакомят с основными мотивами их поэтики, посему можно без особого ущерба закрыть список молодых «ораторов» от поэзии.

Об «Октябре» и «Молодой гвардии» было много крику и шуму. Били в барабаны, трубили в трубы. Были всяческие славословия, и некоторые критические статьи больше походили на оды. Утверждалось и говорилось, что в этой поэзии и в этой прозе «Закон и пророки» современного художества, ибо поэзия и проза эти—единственно коммунистические и единственно по настоящему достойные Республики Советов. Происходило это не только по-

тому, что чаемое и ожидаемое принималось за настоящее, но и оттого еще, что недавним руководителям комсомольских кружков, остающимся теперь все больше в горестном одиночестве, надо было учинить суд и расправу над попустителями попутчиков. В действительности, дело обстоит гораздо сложней. Наша новая коммунистическая интеллигенция, выходящая из рядов комсомола, начинает завоевывать и занимать некоторые позиции и в науке, и в искусстве. Завоевания эти ни в какой мере еще не являются пролетарским искусством. Формальные достижения еще скромны, а в прозе ничтожны. Что же касается содержания, то тут нужно сказать следующее. Одна часть нашей поэтической молодежи старается «вгрызнуться» в жизнь и в быт Коммунистической Партии, но делает это пока по-плакатному, по-газетному, по-митинговому. Другая часть тяготеет к темам, выдвигаемым от «нутра», при чем тут еще много, как и следовало ожидать, не оформившегося, находящегося в периоде брожения, неизвестного, неопределившегося. И то и другое указывает на то, что по части *органического* усвоения коммунизма у нас рядах нашей молодежи далеко не все благополучно, в чем, разумеется, п винна не она, а наши общие условия. Тревожно то, что в этой поэзии и прозе, как и вообще во всем современном художестве, как общее правил нет рабочего-массовика, он присутствует, но не занимает надлежаще места. За всем тем, поэты и прозаики комсомольцы вносят весенн звонкую струю в литературу. У них есть пафос строительства; они дак материал для характеристики нашей современной молодежи. Часть из ни ударно старается сосредоточить внимание на Коммунистической Парти Правда, часто это сопрягается с совершенно нелепым и вредным походом пр тив таких писателей, как М. Горький, Всев. Иванов, Пильняк и т. д. Н в этом повинны больше критики, чем художники.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Недра. Литературно - художественный сборник. Книга четвертая. Из-ство „Мосполиграф". Москва 1924 г.

Бо́льшую половину книги—сто шестьдесят четыре страницы из двухсот девяносто шести—занимает „Железный поток" А. Серафимовича.

Это произведение нельзя назвать повестью или романом, это, если уже подыскивать для него название, которого не дает сам автор, скорее всего героическая эпопея. Сюжет эпопеи очень несложен. Описывается поход голытьбы, которую начало вытеснять и истреблять после первого падения Советской власти на Кубани богатое, старожильческое казачество.

И вот эта голытьба, иногородние квартиранты казачьих станиц, „бисовы души", „чига гостропузая", а с ними беднота казачья, сливаются под угрозой окончательной гибели действительно в железный поток,—своеобразную, кочующую социальную монаду, и устремляются в центр России, туда, где, они это смутно ощущают, бьется большое и новое сердце—„их ридна власть".

Они идут по берегу Черного моря, среди скал, теснимые с одной стороны казаками. С другой стороны их стремятся задержать грузины, кроме того, их с моря громит немецкий броненосец. Их поход—новая, своеобразная Одиссея, где героем является эта, социально ставшая во время похода цельной, громада—войско-голытьбы, идущей со своими семьями и со всем своим скарбом.

Писателю удалось на этом, казалось бы, однотонном, однолинейном фоне создать большой, живой, своеобразный мир, современную Запорожскую сечь, социально совершенно своеобразную и внутренне новую, на которой лежит яркий отпечаток нашей стремительной и революционной эпохи. Внутренней силой данного произведения является то, что автор жизненно, без малейшей идеализации нарисовал эту людскую лаву, где каждое лицо, начиная от их атамана Кожуха и кончая бабой Горпиной со своим знаменитым самоваром, нарисовано с полновесной художественностью. Каждая капля отчетливо видна в этом волнующемся людском море.

И в то же время эта отдельная капля, всякий мелкий факт, как и вся эпопея, являются отображением нашей российской революции, доказательством огромного социально-жизненного роста отдельного человека и всей громады.

Эту художнически - большую задачу отображения в малом лике и характера всей величавой громады революции Серафимович достигает совершенно об'ективной, порой суровой манерой изображения новых людей. Никакой идеализации, прилизанности, славянофильской слащавости при зарисовке их автор не допускает. Расстрелы, жестокости описаны с той подлинной жутью, какую и вызывают эти действия, кто бы их ни совершал. Автор ни в какой мере не ищет оправдания революции в фразе, пафос ее не заключен для него в самодовлеющем, красивом звучании слов или во внешней импозантности его героев, чем грешит временами А. Малышкин в своей, сюжетом несколько сходной, эпопее „Падение Даира". У Серафимовича в этом отношении оказался бо́льший запас конкретно-жизненного материала, чем у Малышкина, который вынужден был прибегать к созданию несколько искусственных легендарных сказаний. Серафимович грешит обратным: он сильно загрузил произведение лишними подробностями, длинными описаниями природы и пафосно-публицистической лирикой, напоминающей местами лирику Гоголя. В конце автор нарушает художнический

метод „мышления в образах“ и берется за роль истолкователя смысла своего произведения, чем, конечно, ненужно отяжеляет его.

Таких педагогических наставлений у Серафимовича не мало. Он прибегает к ним и в тех случаях, когда ему художественно не удается оправдать описываемого им эпизода. *Таким неудачным, художественно* недоказанным, недостаточно показанным в его жизненной правдивости, является случай драки на кулачки вместо сражения оружием между казаками и солдатами. Не удалась автору вполне фигура грузинского полковника: она сделана механически, без достаточного художественного вчувствования и выглядит довольно мертво, как некая бутафорская принадлежность в пьесе. Но все эти недостатки не мешают всей эпопее быть интересным и органически выращенным художественным произведением. И особенно радостно видеть эту победу, победу не малую для художника, который празднует свой 35-летний литературный юбилей.

Совершенно иного характера произведение Сергеева-Ценского „Рассказ профессора“. Окончательного суждения о нем вынести еще нельзя: это—всего лишь две главы из рассказа. Написаны они с обычным для автора талантом, с каким были написаны его лучшие вещи, как „Медвежонок“.

Повествование ведется от лица профессора, который передает рассказ командира Красной армии Рыбочкина о том, как последний убил человека. Убил совершенно бессмысленно, неоправданно, подчиняясь внушению тифлисской пифии-хиромантки, которая нашла у него на руке роковую „линию убийцы“. Герой рассказа, командир Красной армии, белогвардеец, перешедший к красным из-за карьеристских соображений, человек во всех отношениях ничтожный. Ничтожный прежде всего физически; „глаза у него не настоящие, а сняты с какого-либо негра-манекена в старом столичном магазине сигар и папирос“, щупленький, ниже среднего роста, с птичьим хохолком на голове. Совершенно ничтожен он и духовно, занимающийся постоянно самолюбованием, он „подчиняется без всякой проверки и борьбы глупой и ложной идее“, навязанной ему первой попавшейся бабой. Человек без единого грамма собственной правды, моральной сопротивляемости. И его рассказ простой и в то же время жуткий рассказ производит очень сильное впечатление. Да, такого человека не воскресит к жизни никакая революция, настолько он уже „биологически“ ничтожен, дрябло-пуст. Но этот командир даже в данном отрывке, где его *рассказ занимает центральное место, является лишь художественным материалом* для утверждения мировоззрения самого профессора.

Какова же правда самого профессора? К сожалению, в данном отрывке она целиком не раскрыта. Для тех, кто не знаком с художническим мироощущением прежнего, дореволюционного Сергеева-Ценского, с некоторым основанием может показа этот отрывок попыткой обосновать ф софию контр-революции — проповеди точного квиетизма, непротивленства, росветского пантеизма. В самом деле, фессор говорит, что „солнце неторопл а человек спешит. Куда? Неизвестно. К моотрицанию, к самоупразднению, к т что совершенно непонятно с точки зр здоровой природы“ и т. д.

„Начиналась роковая эпоха истории, которой все люди были нужны и хор. одни, как убийцы, другие, как жер обреченные на заклание“...

Если так характеризуется империали ческая война, то это вполне правил И с точки зрения последовательного циалиста война есть вопиющая бессмы ца, есть концентрация и обнаружение выс степени рабства, самого оголтелого и бе разного, подчинение фатуму империали ческой хиромантки. Здесь мы готовы с а ром воскликнуть при виде вагонов с жи мясом, отправляемым на бойню:

„Ах, если бы несколько больше со было в составе слишком человече мозга,—история пошла бы гораздо пр Но именно потому, что солнце вытра с корнем из многих людей извилин ухабами прошлой, уродливой хиром истории, — во имя этого солнца и н необходим капитальный ремонт, ре ционный взрыв, чтобы решительно ве потерянное солнце, внедрить, ввернут в человека. Притом, конечно, совер верно, что командирам Рыбочкин никакими средствами уже не привит

нечно, было бы фарисейством отрицать, что в революционном катаклизме не было людей, подобных Рыбочкину, но насколько подобные люди типичны для капитализма, настолько они случайны в революции. Они в революции, по Гегелю, не действительны.

Наконец, в сборнике имеется произведение молодого автора М. Булгакова— „Дьяволиада". Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя.

Повидимому, это его первое, значительное по размерам произведение: до сих пор в печати приходилось встречать лишь его фельетоны. Повесть написана в тонах гоголевского „Носа", сочетание бытового реализма и фантастики, смешение, сплетение жизненного узора с чертовщиной. Эту манеру письма мы видим еще в немецком романтизме.

Булгаков обладает многими данными: хорошим, крепким и ясным стилем, острой наблюдательностью, способностью к выдумке,—чтобы создать современную бытовую фантасмагорию. В первых четырех главах он умело рисует фантастически-карикатурную нелепость быта советских учреждений, умеет втиснуть в эту нелепицу реальных людей, и читатель с нетерпением ждет конечного разрешения начавшейся по-гоголевски трагедии делопроизводителя. Но, к сожалению, в дальнейшем автор совершенно неразборчиво и художественно бесцельно запутывает клубок событий, создает мелочную, бытовую конан-дойлевщину, в которой читатель с трудом и напряжением распутывает этот запутанный узел. В повести нет ясного сюжетного разрешения, отсюда не получается желанного и большого художественного впечатления. Не то это попытка высмеять человеческую никчемность, безличность, нивеллировку его в сложной машине бюрократического аппарата, не то это попытка создать драму современного Макара Девушкина—Короткова,—это трудно понять. У Булгакова нет ясного внутреннего фона, подпочвенного мироощущения, поэтому читатель не сможет разыскать его художнической цели. Многое в повести построено на случайности, на анекдоте, как случай с фамилией Кальсонер. Художественный юмор, как и сатира, требуют от художника, как и величайшая трагедия, крепкого и ясного мироощущения: своеобразный узор, который создает Булгаков, остается без необходимого полотнища-фона, поэтому и узор этот не имеет законченности, повисает в воздухе. Повесть, конечно, своеобразна и безусловно талантлива, но дать ей конечное художественное завершение автору не удалось.

В конце сборника помещены новые письма И. С. Тургенева к В. Ральстону и к А. Ф. Онегину.

В них есть кое-что любопытное и интересное для читателя. Это, напр., несколько строк Тургенева об его отрицательном отношинии к толстовскому роману „Анна Каренина", указания Тургенева на его взаимоотношения с Достоевским, но все же мы думаем, что в подобных сборниках не следует печатать всех писем писателей, хотя бы и знаменитых. Этот материал имеет значение лишь для специалистов литературы. Имеются в сборнике и стихи. Отрывки из лирической повести В. Кириллова—„О детстве, море и красном знамени", поэма Ел. Полонской—„Кармен" и стихи П. Орешина и Д. Кнута.

Читатель нисколько, конечно, не удивится, что и на этот раз и Кириллов, и Полонская, и Орешин написали хорошие стихи. Можно было бы, пожалуй, говорить об интересном замысле Полонской, о недурных картинах детства, данных Кирилловым, и о четком портрете, сатирическом силуэте мужика, который дает Орешин. Можно не плохие строчки и капельки настроений найти и у неизвестного еще поэта Д. Кнута, но нам хочется как по поводу этих, так и вообще по поводу множества современных стихов сказать следующее.

Сейчас очень многие пишут хорошие, вернее, не плохие стихи, но странное дело—за редким, редким исключением эти стихи проходят мимо читателя. В этом отношении поэзия определенно отстает от прозы. Можно было бы думать, что читатель вообще устал, но мы думаем, что устал стих. Поэтому хороший четырехстопный ямб Кириллова, Полонской и Орешина читаешь, а в голове невольно получается отзвук:

„Деревня, где скучал Евгений" и т. д.

И темы у стиха современного не должны быть столь „литературны", книжны. Нужна революция стиха, иначе он безнадежно застынет и превратится в привычное „эстетическое" кушание для специалистов.

Какая революция?

Откровенно скажу—не знаю. Пусть поэты на этот раз простят мне мое „бездоказательное“ настроение.

В. Правдухин.

„**Наши дни**“. Альманах, № 4. Москва — Петроград 1924 г. Стр. 354.

Альманах почти полностью, за исключением рассказа С. Боброва „Мальчик“, посвящен *революции*.

Революция, во всех ее фазах, — с орлиных крыльев гражданской войны и до великой, хотя и будничной работы над восстановлением хозяйства, все еще ждет своей, огромной, как орлиные крылья, летописи. Все, написанное о революции, пока нужно рассматривать как подготовительный, в значительной части отрывочно-черновой материал для будущего писателя. Но, пока летописца революции нет, первичное начало будущей летописи заслуживает не только особенного внимания и осторожного, тщательно-изучающего подхода, но и бережной, спокойно-учитывающей все данные, оценки.

Именно так, с лабораторной детальностью, трезвым учетом и спокойным анализом, надо подходить к каждому новому литературному произведению, зеркально, хотя бы и с изломами, отражающему современную эпоху.

Каждое такое, конечно, художественно-значительное, произведение, уже в силу своей общественной и исторической значимости (революцию будут изучать и по ее, даже „черновой“, „литературе“!), имеет свою безусловную ценность. Как художественно-значительный, как безусловно художественный, ценен и рецензируемый альманах.

Лучшими вещами в альманахе являются повести Вяч. Шишкова и Н. Никандрова.

Шишков—писатель, во многом соприкасающийся с современными народобытовиками (Чапыгин, Вольный, Касаткин и т. д.), но во многом и отличающийся от них. У Шишкова живой, глубоко-естественный, без малейшей утрировки, народный язык, солнечный юмор—вспомните „Торжество“ в 3-ей книге „Наших дней“—и острая наблюдательность. Он, прежде всего, прекрасно владеет диалогом, т.-е. умеет рассказывать. Но, умея рассказывать, он, в то же время, щедро, часто слишком щедро, пересыпает свой рассказ полевыми цветами лирики, иногда переходящей в сентиментальность. В этом—его недостаток: земляная крепость рассказа несколько разрыхляется и распадается. Одна из его крупных вещей, „Тайга“, немного испорчена именно лирическими отступлениями, органически не связанными с повествованием.

В „Ватаге“—повести жуткой, страшной и *обнаженно-натуралистической* — *местами* проблескивает та же голубая лиричность, но уже оправданная разматыванием сюжетного клубка, вплетенная в этот клубок как художественная необходимость. „Ватага“— лучшая в творчестве В. Шишкова вещь.

Повесть захватывает эпоху партизанс[...] войны в Сибири. Формально нескол[...] напоминает Вс. Иванова. Но „Партизан[...] Иванова — стихийная крестьянская си[...] *твердо и, в известном смысле, организован[...]* обрушившаяся на белую броню и б[...] оговорочно поддерживающая красных.

„Партизаны“, обрисованные в пове[...] Шишкова,—кучка фанатиков старообрядц[...] „кержаков“, значительно прослоенная у[...] ловными каторжанами. Предводительств[...] ими атаман Зыков; ближайшим помощник[...] Зыкова состоит отвратительный горбу[...] Наперсток, уголовный, главный участн[...] производимого „партизанами“ погрома [...] освобожденном от белых городе. Бессмы[...] ленный погром, на первый взгляд, име[...] как будто, не только „идейное“ классо[...] начало, но и формальное оправдание, в в[...] прочитанных Зыковым и принятых [...] чистую монету сообщений колчаковск[...] газеты о беспощадной расправе красных [...] своими врагами. Однако иначе держа[...] себя отряд не мог: это логически вытек[...] из социальной сути как Зыкова, так [...] основного ядра отряда, состоящего из [...] односельчан. Они, прежде всего, собст[...] ники, приобретатели, люди без какой-[...] общественной спайки и единомыс[...] аморфная масса, лишенная скрепляю[...] звена. Зыков, долженствующий быть т[...] звеном, на самом деле, несмотря на ч[...] вищную силу воли, скорее играет [...] дезорганизатора, ибо он не может ди[...] циплинировать идущую за ним толпу: у [...] нет ни цели, ни отчетливых задач, ни в[...] Единственная, движущая им вера—ф[...]

тичная религиозность, опять-таки, проистекающая из собственнических, нетерпимых, слепо подчиняющих начал. Отсюда ненависть Зыкова к официальному православию и его представителям, отсюда, как защита угнетаемых самодержавным строем сектантов, и его своеобразная революционность. В известной обстановке, при необходимых организующих и коллективизирующих условиях, Зыков—прекрасный горный богатырь—был бы настоящим революционером. Зыков—натура сложная: фанатизм он соединяет с безудержным, почти былинным разгулом, жесткость—с нежностью. Влюбленный в дочь казненного им купца—Таню, он, охмелевший от крови, говорит ей:

— Поедем со мной в наши скиты. У нас в горах озера, быстры реченьки, сосны гудят...

Зыков, внешне чуть идеализированный, кое в чем напоминающий Пугачева, и бледная, милая, мечтательная Таня, очарованная лесными разбойными сказками, особенно удались автору. Главы, посвященные им: пир в доме Перепреева, путь в горах, над сияющим ущельем и картина расстрела Зыкова и Тани—лучшие в повести. Не менее жизненны и другие, даже второстепенные персонажи: отвратительно-чудовищный в своей кровожадности Наперсток, предавший Зыкова, жулик и бабник Гараська, жеманная, изнасилованная Гараськой, попадья.

Повесть, особенно в жутких, натуралистически-подробных местах, изображающих погром, глубоко волнует.

Не будет преувеличением отнести ее к первоклассным современным вещам: ее „маленькие недостатки“ (неожиданность и бегло-обоснованность любви Зыкова к Тане, нарочитость появления, в заключительной части, брата Тани, как начальника красного отряда и т. д.) целиком покрываются стройной сюжетностью, густотой красок, прекрасной языковой выдержанностью, непрерывным сохранением колорита и равномерно-сохраненной художественностью.

Повесть выгодно отличается и своей монументальной крепкостью—эпичностью, т.-е. тем качеством, которых так не хватает нашей молодой, в большинстве зарисовочно-поверхностной, бессюжетной литературе. Пора „записных книжек“, отрывочных наблюдений и „моментальных снимков“ прошла. Читатель ждет крепкого, спокойного рассказа, эпического, насыщенного содержанием, повествования. Перелом в этом отношении, кажется, уже замечается. „Наши дни“, по крайней мере, в лучших своих вещах (Шишкова и Никандрова)—его подтверждение.

В рассказе Никандрова „Рынок любви“, как и в повести Шишкова, набросаны картины той же, только буднично-обывательской, современности.

Имя Никандрова не нуждается в рекомендации. Его достаточно рекомендуют как старые, ныне переизданные вещи („Лес“, „Береговой ветер“ и т. д.), так и вещи позднейшие, хотя бы повесть „Проклятые зажигалки!“ („Красная Новь“, №№ 6 и 7), в которой он касается злободневнейшего вопроса об „отцах и детях“, в применении к быту рабочего-кустаря.

Злободневно-острую тему развивает он и в „Рынке любви“. „Рынок любви“—рассказ о современной проституции, художественное выявление и обнажение одной из глубоких ран современности. С проституцией ведется посильная, в меру возможностей, борьба. Борьба с проституцией должна непрерывно усиливаться. „Человеческий документ“, каким, в первую очередь, является рассказ Никандрова, должен привлечь всяческое внимание. Это—очень тяжелый, перебитый зыбью горького сатирического смеха, рассказ. Действие рассказа развертывается в Москве, на тихих снежных бульварах, где, в поисках „любви“ сталкиваются советский бухгалтер Шурыгин и Валентина Константиновна, жена эмигрировавшего за границу врача и мать трех—голодающих—детей. В лице Валентины Константиновны автор зарисовал образ „проститутки по необходимости“, отразив таким образом нашу другую рану: безработицу, ибо именно безработица вывела на вечерний бульвар тихую, очень заботливую и любящую мать. В лице Шурыгина и его друзей—сослуживцев—Никандрову очень удался портрет современного среднего чиновника—скопидома и хладнокровного, рассудочного развратника. Удалась и акварельная зарисовка курсистки—Наташи, новой, после пресыщения Валентиной Константиновной, „любви“ Шурыгина. Правда, Шурыгин потерпел здесь неудачу, ибо Наташа неожиданно вышла замуж за „земляка“, „старого друга“, впрочем, даже не зная его имени.

— Алеша, или, как вас там, Андрюша, что ли...

Образ Наташи, между прочим, ценен и тем, что писатель (к сожалению, случайно и бегло) коснулся здесь современного студенчества, глубоко интересного и в литературе не оттененного пласта советской общественности.

С формальной стороны рассказ Никандрова очень целен, крепко замкнут несложной, но объединяющей фабулой и, безусловно, языкозвучен. Со стороны общественной значимости—необходим, ибо глубоко своевременен.

Своевременен—и, следовательно, интересен—и остальной материал альманаха. Из него необходимо отметить „Крушение Антенны" Н. Огнева—молодого, талантливого, но слишком и слишком „оригинального" писателя. В рассказе описывается современная деревня—старая, избяная, и новая, совхозовская.

Тема нужнейшая, но и особенно трудная.

Огнев в своем рассказе не справился с ней. В обрисовке мужика у него слишком много нарочитости и искусственности (в частности, фальшив ярко-утрированный народный язык), в обрисовке шкрабов—сумеречной туманности и недоговоренности. Мара—крестьянская девушка, ушедшая в коммуну (ведь, это—отображение проснувшейся деревни),—у него, прежде всего, барышня, своеобразная модница. „Барышня-крестьянка". В ней больше карикатурности, чем жизненности. Лучше у Огнева зарисовки детей.

Что же касается его, размотанной и перебитой, формы, то, право, после Пильняка (как у Пильняка после Белого и Ремизова) нового здесь слишком мало. Она не скрепляет, а, в большинстве, разбивает сюжет. Или, еще лучше, „остраняет" его. Против же „остранения сюжета", как и против бесполезного (но очень забавного) жонглирования с л о в о м—надо в конце концов решительно протестовать. За жонглированием обычно скрывается бессюжетность. А там, где она есть, до нее очень трудно добраться. В рассказе Огнева сюжет скрыт в глубинах неизвестно зачем вкрапленных отрывков из дневника Стремоухова и в бумажном шуме совершенно излишних радио-волн, вконец раскачавших его, крепко задуманный и интересный, рассказ.

Хотелось бы посоветовать Н. Огнев· бо̀льшей словесной тренировки, бо̀льшей скупости („слово—золото") и бо̀льшей сосредоточенности на основном: он талантлив. Отдельные места в его рассказах („Евразия", „Павел Великий" и, все-таки, „Крушение Антенны") – хороши.

Хороший литературный язык—большое и сложное искусство. Блестящим владением языка (учитесь, учитесь у Н. С. Лескова!)—восхищает, например, Бабель. Радует всегда и Н. Ляшко, давший в „Наших днях" стильную повесть о больном художнике-коммунисте, продающем „знатным иностранцам" любимую картину. Повесть (кстати, с маловразумительным заглавием: „Стремена") трогает искренностью и органической лиричностью. Хорошо дан проц творчества художника. Хороша, как сле женщины—любви, Феля. Единственн недостаток повести—некоторая растя тость.

Два остальные рассказа—„О девять девятнадцатом" К. Федина и „Какая ни есть" А. Насимовича, пожалуй, не воз шаются над „обычной" беллетристикой. у Насимовича, несмотря на искусственно и преднамеренность противопоставле интеллигентской дряблости пролетарс стали (сцена с появлением волков), под пает легкая, жанровая живость. „О девя сот девятнадцатом" Федина нельзя нич сказать уже потому, что это только отры из романа. Но в отрывке есть колорит фигура советски-перерождающегося проф сора. Если этого профессора, проведя че полосу „гредескулизма" и сменовехиз довести до всероссийского съезда научн работников,—получится современнейши глубоко интересный тип честного инт лигента. Пожелаем Федину успеха.

В заключение—об открывающих кн стихах. Они значительно бледнее про хотя, по сравнению с ней, иногда и ритмичны (поэма Г. Санникова „Ме восстали"). Но стихи, особенно если нять во внимание общую бледность и дость современной поэзии, решающего чения при оценке альманаха не имеют

Альманах „Наши дни", в о с н о в выполняющий свою задачу, относится условно к числу лучших литератур дожественных изданий.

Ник. Смирно

Возрожденный лубок.

1.

Всего каких-нибудь 10 — 15 лет тому назад русская деревня, не имевшая иных книг для чтения, кроме изделий издательств Никольского рынка, была наводнена лубком. И находил этот лубок себе широчайший сбыт, проникая буквально во все медвежьи уголки России потому, что заключалось нечто невольно притягивающее к нему внимание и деревенского школьника, и мужика-грамотея в его красочной, яркой, резкой обложке. Бойкие офени — эти замечательные русские книжники-книгоноши— умели показать товар лицом — расхвалить и сделать книжку особенно заманчивой. Но под цветистой обложкой находил деревенский читатель отвратительное содержание. С этой дурной и гнилой литературной пищей вступил в энергичную борьбу ряд „идейных издательств": „Посредник," „Вятское Земство", „Книжка за Книжкой", „Донская Речь" и т. д. Стоящие на большой высоте в чисто литературном отношении, книги „Посредника", идеологически служившие (хотя и в замаскированном виде) целям пропаганды толстовства, не находили широкого сбыта. В деревне, во всяком случае, были они не популярны. На их внешности лежало что-то серое, будничио-скучное, и наивный читатель деревни по-прежнему тянулся к сытинскому лубку, в котором была та видимость радости, которой он интуитивно искал от книги.

„Донская Речь" проникла, в особенности после 1905 года, в читательскую толщу, но, в силу цензурных условий, издательство это, народническое и даже правоэсеровское по тенденции, должно было в годы реакции захиреть так же, как захирели издательства „Вятского Земства" и „Книжки за Книжкой".

В годы империалистической войны „Книгоиздательство Некрасова в Ярославле" также приступило к выпуску лубка. К. Ф. Некрасов, один из культурнейших русских издателей дореволюционной поры, выпуская лубок, верно вспомнил об опыте своего знаменитого дяди — поэта Некрасова, предпринимавшего в 50 х годах XIX столетия выпуск лубочных книг под названием „Красная книжка",—выпуск, прекращенный тотчас же по требованию цензуры. Ярославское издательство Некрасова на ряду с отличными образчиками нужной для деревни литературы (переделки и сокращения романов мировой литературы, а также научно-популярные брошюрки) дало не мало образчиков и махровой военно-патриотической беллетристики, в этом отношении не слишком отличаясь от любого анонимного издательства с Никольской.

Февральская революция хлынула потоком исключительно политических брошюр о „войне до победного конца", „о земле и воле", „об Учредительном Собрании" и проч. На армию, которая без остатка поглощала в себе читателя-мужика, брошюры эти не оказали, как известно, никакого воздействия. На призывы о войне до победного конца мужик ответил своеобразным голосованием против войны: армия, по крылатому слову В. И. Ленина, голосовала ногами за мир, а в октябре 1917 года была окончательно ликвидирована и идея Учредительного Собрания

В первые грозные годы октябрьской революции и гражданских фронтов листовка и плакат—и плакат главным образом со стихами Демьяна Бедного—вытеснили все остальные виды литературы. И только теперь, за эти последние два года, создались условия, позволившие протолкнуть в деревню литературу в самом широком понятии этого слова.

Три крупнейших издательства—Госиздат, „Красная Новь" и „Круг" предприняли выпуск особых серий как беллетристической так и научно-популярной литературы для деревни. Нельзя не приветствовать этого полезнейшего начинания. Однако огромна ответственная задача, стоящая перед издательствами в трудном деле просвещения широких народных масс. Мало выбрать подходящую литературу, — надо найти и наилучшие способы продвинуть ее в деревню, заставив деревню заинтересоваться книгой.

„Красная Новь" (точнее сказать секция крестьянской литературы этого издательства) и Госиздат (серия „Изба-читальня") правильно учли опыт с изданием лубка. Они остановились на книге, внешний вид которой напоминает прежний лубок, с его яркой красочной обложкой. Но содержание этого советского лубка ни мало не напоминает изделия Никольской: идеологически книги для деревни, выпускаемые „Красной Новью", Госиздатом и „Кругом", соответствуют тем задачам просвещения, которые поставлены перед ними партией.

2.

Наш обзор современного лубка начнем с оценки того, что сделано „Красной Новью", а ею сделано не мало. По сегодняшний день выпущено: 45 названий беллетристики; 11— истории; 5 — политической литературы; 8— медицинской; 18 — по сельскому хозяйству; 7 — научных брошюр; 4 — юридических книг; 1 крестьянский календарь и 1 (но почему только одна?) антирелигиозная брошюра.

Таким образом в самом подходе издательства, стремящегося охватить весь круг чтения, начиная от беллетристики и кончая справочником, отвечает основным указаниям, диктуемым методами современной внешкольной работы. Эти методы говорят нам, что работу с мало-развитым читателем надо начинать с художественной литературы и прежде всего с беллетристики: богатые настроением и яркие образами произведения художественного слова захватывают читателя и привлекают интерес к книге вообще. На-ряду с ознакомлением читателя с беллетристикой должно дать деревне знания практические, необходимые для удовлетворения ее жизненных потребностей, — знания хозяйственные и общекультурные.

Разумеется, самым трудным вопросом в деле выбора нужной книги для деревни является выбор беллетристики. Совершенно понятно, что „Красная Новь" включает в свой каталог произведения русской классической литературы. Нельзя возразить ни против рассказов Короленко („Сон Макара", „Чудная"), ни против Льва Толстого („Поликушка", „Первый самогонщик", „От ней все качества". Кстати сказать, две последние книжки служат отличнейшим средством агитации против самогона); вполне приемлем и для современной деревни Чеховский рассказ „В овраге"; но уже несколько устаревшими, и именно для деревни наших дней, кажутся произведения Успенского, Мачтета, Лескова („Тупейный художник") и даже Тургенева, но уже совершенно излишне включать Салтыкова-Щедрина, „Сказка о двух генералах" и „Юбилей землепашца", которого абсолютно непонятны современному читателю и требуют расшифровки.

Не плохо представлена поэзия. Даны избранные стихотворения Пушкина, Никитина, Кольцова, Некрасова, Сурикова, Шевченко. Несколько бедновата сатира: а она— могущественнейший фактор агитации в художественной форме. Хотелось бы видеть больше Демьяна Бедного, который представлен только тремя книжками („Про поповские враки", „Про житие о. Ипата", „О попе Панкрате"); очень кстати издан Маяковский: его „Ни знахарь, ни бог", „Вон самогон" и „Дезертир" несомненно найдут читателя хотя, быть может, некоторые особенности синтаксиса Маяковского и делают не совсем понятным его речь для неискушенного читателя. То же самое приходится отметить и в отношении поэмы Асеева „Буденный" Переход к Маяковскому и Асееву тотчас же после Никитина и Сурикова бу[...] несколько резковат. Но вообще же гово[...] не следует отказываться от изданий сов[...]менных поэтов, как не следует замыкат[...] в рамках старой беллетристики.

Бросается в глаза сравнительная б[...]ность в книжках, рисующих новый б[...] деревни. Вряд ли уж так интересно сов[...]менному читателю получать лишь лите[...]туру, говорящую о тяжелых днях прошло[...] Следовало бы обратить самое серьезн[...] внимание на издание рассказов, ярко вскр[...]вающих строительство новой жизни в [...]ревне. Думается, что война, революция [...] гражданские фронты могли бы дать не ма[...] подходящего материала для создания зах[...]тывающей по своему содержанию и ид[...]логически чрезвычайно ценной литератур[...] Точно так же упущены беллетристами, [...]ботающими в издательстве такие темы, к[...] электрификация и вообще завоевания [...]учной мысли, а между тем именно эти те[...] и являются особенно привлекательными д[...] читателя новой деревни. Следовало [...] давать и переводы иностранной литератур[...] разумеется, в необходимых сокращ[...]ниях, а может быть, и в соответствую[...] переложении.

Почти безупречно поставлены „Кра[...] Новью" отделы литературы по сельск[...] хозяйству и по медицине. Такие брошю[...] как „Уход за лошадью", „Уход за дом[...]ней птицей", „Пернатая красная армия", „[...]тофель", а в серии медицинской—кни[...] о болотной лихорадке, о дифтерите, чахо[...] женских болезнях и сапе,—чрезвычайно [...]лезны и нужны. Почти все они излож[...] вполне доступным языком.

Несколько бледно представлен отдел политический, а книжки по законодательству и советскому строительству написаны, к сожалению, слишком сухо и отвлеченно: в них больше ссылок на статьи закона и даже подлинных цитат из соответствующих законоположений и декретов, чем популярных объяснений о применении этих декретов и законов.

Несомненно, нуждаются в развитии и два очень важных отдела: научный и исторический. В первом мы находим семь книжек, отвечающих на необходимейшие проблемы знаний: о земле, о первых людях, о воде, о растениях и проч. Судя же по тому, что среди книг исторического отдела уже стали появляться книги, рисующие русское революционное движение, надо полагать, что и в дальнейшем на выпуск именно такого рода брошюр будет обращено особое внимание. Очень хорошо составлена биографии Радищева (Первая книга о горе мужицком) и Ломоносова („Сын рыбака"). Следует приступить к изданию целой серии таких биографических очерков. В очерках же, посвященных истории революционной борьбы, сугубое внимание должно быть обращено на изложение событий. Оно должно быть ярким, действенным. Уж если бороться с дурной пинкертоновщиной и детективом, то нельзя найти лучшего способа, как дать в форме почти авантюрного романа рассказ о героическом прошлом и настоящем русской революции.

3.

„Изба-Читальня" (Госиздат) включает в себе также несколько циклов: беллетристика—главным образом произведения современных писателей о деревне; переводные романы и переделки русских исторических романов и повестей.

Менее доступные по цене, чем издания „Красной Нови", книжки „Инзбы-Читальни" в своей чисто беллетристической серии несколько сероваты по качеству литературы. Произведения Чернышева, Шкулева, Рязанцева, Завражного, Семенова, идеологически вполне приемлемые, заставляют желать много лучшего в отношении чисто художественном. В конце концов это только второй сорт, а хотелось бы дать деревне прежде всего нечто первосортное. Именно с этой точки зрения следует приветствовать полезнейшее начинание Госиздата — переработку романов выдающихся европейских писателей: Жорж Занд („Солдат революции"), Эркмана-Шатриана („История крестьянина" и „Парижские баррикады"), Ф. Гра („Марсельский батальон"), Француза („Мститель Карпатских гор"), К. Тетмайера („Горные орлы").

Разумеется, все дело в том, насколько переводчик, он же и „переделыватель", сумеет в своем переложении сохранить аромат подлинника. Должно отметить, что из тех переработок, с которыми я успел ознакомиться, лучшими являются те, которые (как, например, переработки романов Жорж Занд и Э.-Шатриана) вскрывают главным образом интригу повествования, в сжатом, но четком виде развертывая сюжет произведения и отбрасывая излишние как бытовые, так и психологические подробности. Думается, что это является наилучшим методом при работе по сокращению оригинала. Хотелось бы, однако, видеть эти романы в сопровождении хотя бы небольших вступительных очерков, рисующих биографию писателя и раскрывающих значение данного произведения.

4.

„Дешевая библиотека Круга"—несколько иного, так сказать, тона, чем серии „Красной Нови" и „Избы-Читальни". Эта библиотека предназначена не только для деревни, но рассчитана и на того городского читателя, который, не имея материальных средств для приобретения обычно недоступной для него по цене литературы, сможет приобрести эти довольно изящно изданные книжки действительно дешевой библиотеки. Она состоит из рассказов Чапыгина (Наследыш, Чемер), А. Неверова (Новый дом), С. Подъячева (Голодающие, Болящие), Федорова (Байтас), В. Тамарина (Пустыня), К. Тренева (Вихри), А. Сигорского (Плюшевая головка), А. Яковлева (Порыв), А. Новикова-Прибоя (Зуб за зуб) и поэмы Н. Асеева (Буденный). Все эти произведения, в свое время появлявшиеся как в наших периодических журналах, так и в сборниках и альманахах, достаточно хорошо известны, чтобы возвращаться сейчас к их оценке. Разумеется, они вполне соответствуют тем задачам, которые были поставлены „Кругом", но хотелось бы, однако, в его „дешевой

библиотеке" видеть переиздания и более ярких и сильных произведений наших современников. Почему бы, например, не выпустить рассказы Пильняка, Сейфуллиной и др.? Думается также, что нашла бы хороший спрос и небольшая антология, составленная из стихотворений, печатающихся как в альманахах „Круга", так и номерах „Красной Нови".

С внешней стороны, как уже отмечено, книжки изданы довольно изящно. Однако хотелось бы видеть более четкую печать и более крупный шрифт. Если книжки „дешовой библиотеки" дойдут и до деревни, а они и там вполне уместны, то деревенский читатель не без основания будет претендовать на них за то, что печать их для него неразборчива.

Юрий Соболев.

„Каторга и ссылка" историко-революционный вестник. Изд. Об-ва бывших политических каторжан и ссыльно-поселенцев. 1923 г., кн. 7, стр. 306. 1924 г., кн. 1 (8), стр. 301.

„Каторга и ссылка" буквально с каждым номером становится одним из интереснейших наших исторических журналов. В отличие от „Былого", превратившегося в историко-литературный журнал обычного типа, „Каторга и ссылка" обнаруживает здоровый рост как в смысле подбора материалов, так и интереса помещаемых статей. Каждая книга „Каторги и ссылки" состоит из пяти постоянных отделов: 1) история революционного движения, 2) каторга, тюрьма и ссылка, 3) лики отошедших, 4) библиография, 5) хроника.

7 книга журнала носит в значительной степени „плехановский" характер. В первом отделе мы имеем целых четыре статьи, так или иначе касающихся Г. В. Плеханова. Интереснейшая статья Л. Дейча рисует отношение Плеханова к тем разногласиям, которые возникли среди „Земли и Воли" по вопросу о терроре и которые привели к распадению этой революционной организации на „Народную Волю" и „Черный Передел". Отношение Г. В. Плеханова к идейной борьбе между „террористами" и „деревенщиками", в которой он принимал деятельное участие, в изображении Л. Дейча представляет крупный интерес. Воспоминания Л. С. Федорченко (Н. Чарова) посвящены Плеханову в эмиграции в критические для с.-д. истории годы 1902—1904. Небольшая по объему, но исключительно интересная по содержанию статья Н. Семашко освещает детские годы Г. В. Плеханова. Н. Семашко, близко знакомый по родственным связям с семьей Г. В. Плеханова, пытается выяснить насколько обстановка его детских лет подготовила в нем будущего революционера-марксиста. Вывод, к которому приходит автор, следующий: „дем крат по связи с крестьянами, революционер по темпераменту, в Питере уже 18 лет он выглядел сложившимся политическим деятелем. Семя революционного народничества сразу нашло в нем подготовленную почву; но глубоких, прочных корней оно не пустило: поднимавшаяся „подземка" рабочего движения вырвала народнические корни, а семя марксизма дал[о] могучие прекрасные всходы, плодом кот[о]рых будет питаться не одно поколени[е] марксистов".

Очень интересная статья Б. Козьмин[а] посвящена одному из первых литературны[х] опытов Плеханова, статье „Об чем спор[",] написанной в связи с полемикой о разруш[е]нии русской общины, сильно всколыхнувше[й] в 80-х годах народников. Наконец, ценны[м] дополнением ко всем указанным статья[м] являются две работы самого Плеханов[а,] помещенные в журнале, а именно: „Револю[-]ционное движение 70-х годов" (конспект) [и] „Об чем спор".

Из других статей журнала необходим[о] отметить ценный очерк М. Ю. Ашенбре[н]нера „Военно-революционная организац[ия] партии Народной Воли", в создании которо[й,] как известно, принимал огромное участ[ие] сам автор, и живо написанный очерк В. В[и]ленского (Сибирякова) „Последнее (дорев[о]люционное) поколение якутской ссылки".

Центральной статьей книги 1 (8) „Като[рги] и ссылки" бесспорно является оч[ерк] М. Чернавского, посвященный интерес[ной] и мало освещенной фигуре И. Н. Мышк[ина.] С большим литературным талантом ав[тор] даст нез бываемое описание централь[ной] каторжной тюрьмы в селе Печенегах в Ха[р]ковской губернии, в которой ему пришл[ось] пробыть одновременно с Мышкиным. Ярк[ими] штрихами М. Чернавский рисует кошмар[ный] одиночный режим, практикуемый в 80-х го[дах,] карцер, представляющий из себя камен[ный]

мешок, абсолютно темный, с экскрементами на полу и без всякой вентиляции. Жуткое впечатление производит описание массового помешательства „одиночников", жертвой которого чуть было не стал сам автор очерка, переживавший состояние психического раздвоения. В нашей литературе мало можно указать историко-революционных очерков такой силы и яркости, как принадлежащий М. Чернавскому.

Статья М. Якимовой дает несколько новых ценных штрихов, дополняющих картину убийства Александра II. Большой интерес представляет очерк Б. Горева, описывающий партийные скитания автора по России и загранице накануне II съезда Р. С.-Д. Р. П. Огромный интерес представляют воспоминания автора о встречах с В. И. Лениным, который в тот период проживал в Лондоне. Б. Горев подробно описывает обстановку частной жизни В. Ленина, его занятия над английским языком, работы в Британском музее и т. д. Здесь же приводится интересный пессимистический прогноз В. И. Ленина относительно бесцельности стремиться к какому-либо соглашению с Бундом. Увы! — Ленин в своем пессимизме оказался прав; то, что нам казалось максимальной степенью уступок, бундовцы и за границей и в России... сочли чуть ли не за издевательство над их требованием, и ожидавшийся Лениным раскол с Бундом, как известно, действительно, произошел на II съезде.

Из прочих статей необходимо отметить ценную коллекцию архивных материалов, сообщенных П. Пионтковским и относящихся к зубатовщине и с.-демократии, и подробное описание П. Прибылева „Карийской трагедии 1889 г.".

В обеих книжках журнала необходимо также отметить любовно составленный отдел некрологов, увы! — почти всегда являющийся заполненным, а также прекрасно составленный отдел библиографии. Последний дает почти исчерпывающую картину периодической и непериодической литературы по революционному движению.

Внешне журнал издается очень хорошо на прекрасной бумаге и с многочисленными портретами, обычно впервые публикуемыми.

В. Кряжин.

А. П. Извольский, бывш. министр иностранных дел. Воспоминания. Перевод с английского А. Сперанского. Издательство „Петроград". Петроград — Москва 1924. Стр. 192.

А. П. Извольский являлся одной из ярких и колоритных фигур Николаевского царствования. Сначала министр иностранных дел, а затем всесильный посол в Париже, он играл заметную роль в направлении внешней русской политики последних лет старого режима. Безусловный сторонник ориентации на Англию и Францию, он, сидя на берегах Сены, был одним из виднейших вдохновителей Антантовского империализма, в конечном счете приведшего к мировой войне. Извольский вполне заслуженно может быть причислен к сонму „виновников войны".

Воспоминания этого, во всяком случае незаурядного, дипломата могли бы представить значительный интерес. Извольский много видел, во многом принимал непосредственное участие, многого был инициатором и вдохновителем. Такие моменты, как печальная для него история с аннексией Боснии и Герцеговины, когда его обошел более ловкий барон Эренталь, затем вся его деятельность в качестве представителя российского правительства в Париже в предвоенное время со всеми характерными перипетиями тогдашних международных комбинаций, — все это, казалось бы, должно было найти отображение в мемуарах оставшегося не у дел сановника. К сожалению, Извольскому не удалось написать своих воспоминаний целиком; в самом процессе писания их его застигла смерть. И как раз остановился он на самом интересном.

Та небольшая книжка, которая является лишь началом широко задуманных мемуаров, не представляет широкого интереса, так как не касается времени наивысшей актуальности автора. В этих воспоминаниях Извольский, главным образом, говорит о вопросах внутренней политики, характеризуя общее положение России во время первой революции. Здесь сразу видно, что автор имел в виду иностранного читателя. Им сообщается целый ряд самых элементарных вещей. Курьезна и наивна его основная точка зрения, лишенная какой-либо историко-социологической перспективы.

Рассуждения Извольского о терроризме, славянофильстве, поместном дворянстве и т. п. ясно показывают, что напрасно дипломат брался не за свое дело. Но кое-что и здесь можно найти любопытное. Так, безусловно, заслуживают внимания сообщаемые им подробности о переговорах с кадетами по поводу образования смешанного кабинета, с Муромцевым во главе, в период, предшествующий роспуску I Государственной Думы. Правда, в исторической литературе давно уже известно об этих переговорах, но Извольский дает ряд интересных деталей и существенных дополнений. Живо описан самый момент объявления роспуска Государственной Думы, очень стильно и с большим цинизмом оповещенный Горемыкиным на заседании кабинета. Недурны и характеристики членов этого „конституционного" кабинета, где, на-ряду с „либеральными" Столыпиным и Извольским, заседали такие махровые черносотенцы, как Ширинский-Шихматов и Шванебах, бывший к тому же австрийским шпионом. С большим дипломатическим искусством набрасывает портрет Витте не любивший его и, в свою очередь, им не любимый Извольский, ловко скрывая под целым рядом комплиментов тонкий яд. Бледна характеристика Николая II, не дающая никаких новых штрихов к создавшемуся уже трафаретному представлению о тусклом облике последнего самодержца.

То, что касается внешней политики, весьма скудно представлено в настоящей книжке. Несомненный интерес представляет глава, посвященная знаменитому свиданию в Бьорке, когда Вильгельму II чуть было не удалось склонить Николая к форменному русско-германскому союзу. Этот эпизод уже освещен в воспоминаниях Витте и получил недавно такое солидное подтверждение в переписке Вильгельма и Николая. Извольский обстоятельно и подробно излагает всю эту любопытнейшую историю. Жаль, что автор так мало говорит о своем пребывании в Дании, когда в этой маленькой стране сосредоточивались все нити, если не всех международных отношений, то, во всяком случае, всех международных интриг. Книге Извольского предпослано предисловие Л. Нежданова, абсолютно ничего не дающее для оценки записок Извольского и лишь излагающее наиболее любопытные места их суконным и корявым языком. Очевидно, это предисловие помещено специально для того, чтобы утолщить книгу. Внешне издана книга далеко не блестяще.

И. Бороздин.

Путь, пройденный под знаменем марксизма. В начале 1922 года вышел № 1—2 ежемесячного философского и общественно-экономического журнала, название которого использовано для заглавия настоящей заметки, вышел тонкой тетрадкой в 82 страницы далеко не богатой бумаги. Но эта бумага должна была развернуться и скоро развернулась в широкое знамя ортодоксального марксизма, под которым выступ[ил] журнал. С первого же номера редакц[ия] ориентировалась на молодую пролетарск[ую] интеллигенцию, которая уже выражала [за]конное желание теоретически „осмысли[ть] современность, преодолеть эклектизм..., угл[у]бить и заострить свое знание критик[и] идейного разброда, царящего среди бу[р]жуазной интеллигенции" (№ 1—2, 1922).

Действительно, в начале 1922 года э[та] пролетарская интеллигенция, плоть от пло[ти] и кровь от крови Октябрьской революци[и], прошедшая едва ли не на сто процент[ов] горнило кровавого фронта классовой бор[ь]бы, имела право рассчитывать приня[ть] участие на новом фронте классовой борьб[ы] борьбы интеллектуальной, теоретическо[й]. „Критика" буржуазного строя оружием [в] силу самой обстановки превращалась [в] оружие „критики" против того же стро[я]. Это последнее должно было совершатьс[я] не только в области хозяйственной или п[о]литической, но и в области интеллектуал[ь]ной, ибо не только германские младогегел[ь]янцы XIX века, но и французские матери[а]листы XVIII и английские freethinkers' XVII века воочию доказали, что интел[лек]туальная борьба есть борьба классовая.

Совершавшаяся под знаком маркси[зма] подготовка Октябрьской революции, ра[вно] как и самое осуществление ее, уже ди[кто]вали журналу в качестве задач „борьб[ы с] оппортунизмом, с одной стороны, и не[о]мизмом, мистицизмом и т. п., с другой" придавали журналу физиономию орг[ана] „борьбы за материалистическое миро[воз]зрение", органа полемики. Коротко гово[ря]

журнал должен был стать „закаляющей школой Марксовой философии".

В следующем же номере т. Ленин в небольшой статье развивал и конкретизировал задачи журнала и, надо признать, конкретизировал так, что от его положений и практических указаний журналу не может поздоровиться тем, кто через год поднял поход против „теории и истории", довольствуясь описанием „современной практики". Приветствуя привлечение к работе не-коммунистов, но последовательных материалистов, т. Ленин намечал таким образом задачи и содержание журнала: 1) „Неуклонное разоблачение и преследование всех современных „дипломированных лакеев поповщины", все равно, выступают ли они в качестве представителей официальной науки, или в качестве вольных стрелков, называющих себя „демократическими левыми или идейно социалистическими публицистами"; 2) „Неутомимая атеистическая пропаганда и борьба". Прошедший серьезную философскую школу и знаток истории философии, Ильич прямо указывал на необходимость широкого использования на страницах журнала материалистической и атеистической литературы второй половины XVIII века. Ильич следом за Энгельсом считал стыдом не переводы насчитывающих почтенную давность работ французских материалистов, но как раз отсутствие массового распространения их. Не в бровь, а в глаз будущим приверженцам исключительной современности в нашей школьной и внешкольной учебе, он писал: „Нет ничего хуже подобных, якобы ученых, софизмов, прикрывающих либо педантство, либо полное непонимание марксизма" (№ 3, 1922). „Бойких, живых, талантливых, остроумных... старых атеистов XVIII века" он в той же статье ставил выше скучных, сухих пересказчиков марксизма, „которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить,— вставка т. Ленина) часто марксизм искажают".

В качестве третьей задачи журналу т. Ленин указал на необходимость союза с представителями современного естествознания. Установление такого союза есть „задача,— писал т. Ленин,— без решения которой воинствующий материализм не может быть ни в коем случае ни воинствующим, ни материализмом". Если это положение не являлось открытием чего-то нового, то обратное утверждение Ильича: „без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания",— это утверждение не только не оказалось вновь открытой Америкой, но, к сожалению, осталось terra incognita для многих „марксистов", стремящихся растворить философию марксизма в отдельных позитивных науках, как об этом свидетельствовала разразившаяся вскоре на страницах журнала полемика между т. Мининым, „уничтожавшим" философию, и т. Румнем, ее защищавшим (№№ 5 — 6 и 11 — 12, 1922).

Это философское обоснование положительных наук и одновременно ключ к осмысливанию многообразной действительности Ильич усмотрел там, где только и мог усмотреть его сознательный марксист: в поставленной Марксом на ноги диалектике Гегеля. Отсюда четвертая задача, едва ли не самая трудная, которую ставил Ильич журналу и его работникам: „систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения". „Группа редакторов и сотрудников журнала „Под знаменем марксизма" должна быть, на мой взгляд, своего рода „обществом материалистических друзей Гегелевской диалектики". Ильич хотел бы даже видеть на страницах журнала отрывки из произведений Гегеля, их истолкования и комментарии к ним. Надо сказать, что журнал за два года не раз возвращался к проблемам диалектики и в исторической и в логической связи, намеренно или ненамеренно выполняя в лице сотрудников пожелание т. Ленина. И после этого рецензент „Спутника Коммуниста", т. Великовский, прочтя, скажем, статьи А. Деборина „Гегель и Маркс", в которых вскрываются революционно-научные стороны Гегелевской диалектики, вошедшие в диалектический материализм,— при чем многие стороны вскрываются впервые в русской и международной марксистской литературе,— обвиняет журнал в узкой академичности и сетует на то, что раз нет статьи о „ножницах", он не может догадаться, в каком году выходит философский, теоретический журнал („Спутник Коммуниста", № 25, 1923 г.); впрочем, о подобных недоумениях

и мнимых уклонениях журнала от своих задач ниже.

С основанием и с развитием за последние два года целого ряда марксистски поставленных журналов, с дифференцированием нашей периодической печати произошло правильное разграничение функций ее органов. „Спутник Коммуниста" взялся *за теоретическое заострение и истолкование* текущих событий и явлений, „Молодая Гвардия" оформилась как рабфак, а „Книгоноша" ориентировалась на широкие слои читателей, нуждающихся в первоначальной помощи для проработки и овладения литературными и научными твердынями. Тем острее вставала перед „Под знаменем марксизма" дилемма—или затеряться среди всех этих журналов и обезличиться, или стать подлинно научным органом теории и истории диалектического материализма, научного социализма, короче,—марксизма, не забывая о союзе с естествознанием и о серьезной полемике с современными идеологами буржуазии. Очевидно, такая ориентация не может быть квалифицирована как „отрыв от широких читательских масс", но должна быть признана законно вытекающей из теоретической потребности части марксистских и марксистски настроенных кругов и из журнальной обстановки наших дней.

Попытаемся же бегло, не вдаваясь, конечно, в подробности и оценки отдельных статей, проследить обширное содержание журнала за истекших два года. Первые номера проходят под знаком ожесточенной полемики и уничтожающей критики, с *пролетарской точки зрения, буржуазной идеологии.* Статьи Деборина и Ваганяна против Шпенглера и русских шпенглеристов (№ 1 — 2), Покровского против Виппера, Кривцова против Франка, Ваганяна против Карсавина, Невского против „Коллективной рефлексологии" Бехтерева (№ 3), В. В. против воскресшей за рубежом „Русской Мысли" и Невского против буржуазно-философских журналов (№ 4) составляют добрую половину первых трех книжек журнала.

Эта полемика, никогда не прекращаясь в отделе библиографии, впоследствии отступает несколько на задний план перед положительно-созидательными оригинальными работами. Ее продолжают вести А. Удальцов против Богданова, Ваганян против профессора Введенского (№ 7 — 8), Корнилов и Вайнштейн против нашумевшего Енчмена, М. Покровский против умершего Лаппо-Данилевского (№ 4 — 5, 1923) и Н. Карев, критикующий и высмеивающий „дворянскую философию" столь далеко откатившегося Бердяева (№ 10, 1923).

На-ряду с этой борьбой с противниками из противоположного лагеря журнал *постоянно уделяет место полемике внутри*партийной, внутри-марксистской. Сюда следует отнести полемику С. Минин — В. Румий о значении философии для пролетариата (№№ 5 — 6 и 11 — 12, 1922) и как бы вытекающие из нее статьи В. Адоратского об идеологии (№ 11 — 12, 1922) и В. Румия против Разумовского — В. Адоратского (№№ 8 — 9 и 11 — 12, 1923); далее, статью Ваганяна против В. Рожицына (№ 9 — 1922), полемику И. Стуков — А. Макси[мов] об отношении диалектического мате[риа]лизма к теории относительности Эйнште[йна] (№№ 4 — 5 и 6 — 7, 1923) и ряд библио[гра]фических заметок об ошибках автора к[ниги] „Диалектический материализм", С. Вольф[сона] (№№ 1 и 6 — 7, 1923). Ко второй к[ате]гории следует отнести выступления С[ара]бьянова и С. Гоникмана против „Тео[рии] исторического материализма" Н. Бухар[ина]. К сожалению, критика их со стороны [са]мого Н. Бухарина была напечатана [не в] журнале „Под знаменем марксизма". Да[лее] к этой же группе статей необходимо отн[ести] длительную и содержательную полем[ику] М. Покровский — И. Степанов об и[стори]ческих источниках религиозных верова[ний] (от № 9 — 10, 1922 до № 2 — 3, 1923), *полемику экономистов, Менделъсона и* [Ку]тылева, возникшую из поставленных Ш. Д[ва]лайцким вопросов в статье „К теории [стои]мости Маркса" (№№ 5 — 6, 7 — 8, [...] и 2 — 3, 4 — 5, 6 — 7, 1923). В послед[нем] номере на эту же тему высказался Н. [Ко]валевский.

Хотя в первом номере сама ред[акция] называла журнал органом полемики, о[днако] на одних спорах, хотя бы и с дру[гими], очевидно, построить содержание не [пред]ставлялось возможным. Положительная [часть] его должна была составляться из [ориги]нальных, самостоятельных статей исс[ледо]вательского характера, а также и из е[ще не] опубликованного вовсе, или на ру[сском] языке, наследия основоположников [мар]ксизма и его первых последователей. С

точки зрения, чрезвычайно интересным и своевременным оказалось печатание материалов из литературного наследства Маркса и Энгельса, их статей, писем и речей. Перед читателем прошли письма Маркса и Энгельса к Лассалю (№ 3), Энгельсов „Отрывок из Фурье о торговле" (№ 4), его же статья о Лаврове и Ткачеве (№ 5—6), статья Энгельса и Каутского о юридическом социализме (№ 1, 1923), ряд небольших статей и заметок Маркса и Энгельса, в том числе их полемика с К. Гейнценом (№№ 2—3, 4—5, 1923). Эти материалы, напечатанные под компетентной редакцией т. Д. Рязанова и снабженные его вступительными замечаниями, проливают новый свет на обстоятельства жизни и некоторые стороны миросозерцания создателей научного социализма и заставят всех изучающих марксизм обращаться к соответствующим номерам журнала, пока они (материалы) не войдут в собрание сочинений Маркса и Энгельса, издаваемое под редакцией того же товарища Рязанова.

Следуя указаниям т. Ленина итти вперед, оглядываясь на историю марксизма, „Под знаменем марксизма" выпускал юбилейные номера, посвященные памяти того или иного мыслителя, внесшего и свою крупицу в теорию диалектического материализма или развивавшего и отстаивавшего его положения. Так, читатель имеет „фейербаховский" номер (№ 7—8, 1922), в котором впервые были напечатаны на русском языке „Предварительные тезисы к реформе философии", повлиявшие в свое время на Маркса, и начат печатанием ряд глубоких статей А. Деборина о Л. Фейербахе, вскрывших более тесную связь марксизма с фейербахизмом, чем обычно принято думать (особенно в части материалистической теории познания, в которой Фейербах выступает определенным диалектиком). В следующем № 9—10 были опубликованы, также впервые на русском языке, „Основы философии будущего" немецкого материалиста. №№ 5—6 1922 г. и 6—7 1923 г. были „плехановскими" номерами. Ряд статей, берущих Плеханова в том или ином аспекте, должен был показать и показал, сколь многому еще может научиться у него наше молодое марксистское поколение; с другой стороны, М. Покровский в своей статье „Плеханов — русский историк" показал, где кончается „наш" Плеханов и начинается Плеханов не-марксист, чуждый и далекий нам. Последний номер журнала посвящен в доброй своей части одному из самых крупных французских материалистов, Гольбаху, по поводу двухсотлетия со дня его рождения. Гольбах все еще ждет перевода на русский язык своих, хотя бы основных, работ. „Système de la Nature" и „Système sociale" все еще ждут своего исследователя-материалиста. И в этом отношении статья А. Деборина, думается, должна послужить первой ласточкой.

В подобных статьях историко-философского характера некоторые товарищи марксисты, забывающие, что без мыслителей-материалистов древности и нового времени не было бы ни Маркса, ни их самих, усматривают „разрыв с конкретной обстановкой". Зачем среди Версальского мира, Рурской оккупации и т. д. заниматься исследованиями по истории, хотя бы и материализма? — говорят они. Давайте лучше толковать о „ножницах", фашизме и т. п. Слов нет, что, конечно, „ножницы", фашизм, Рур — наша конкретная обстановка, от которой мы не можем и не должны уходить, относительно которой мы должны поставить правильный марксистский диагноз и прогноз. Но, с другой стороны, изгнание со страниц философского, теоретического журнала научных работ в области диалектического материализма и его истории есть тоже покушение и на насильственное сужение действительности наших дней и вот по каким соображениям.

Сейчас уже стало, к счастью, трюизмом повторять, что буржуазная профессура искусственно замалчивала или попросту извращала мыслителей-материалистов. Не обязаны ли мы теперь воссоздать истинную историю материализма, не должны ли мы в ближайшие годы в Советской России детально, до мелочей разработанной истории идеализма противопоставить также исчерпывающе и научно построенную историю материализма? Не является ли такая работа также насущной, своевременной и неотложной? Казалось бы, да. Ибо на какой научный материал можем мы опереться сейчас в истории материализма? Несколько блестящих страниц у Маркса и Энгельса, несколько очерков Плеханова, Деборина, Аксельрода и только первые ростки молодого поколения, которое начинает проби-

ваться у нас в самые последние год-два. Вместо того, чтобы считать это явление положительным, определенным нашим достижением на том фронте, где пушки не способны ничего сделать, мы, к сожалению, слышим обвинения в том, что статьи „Об источниках изучения Демокрита" „испещрены греческими цитатами". Хотелось бы спросить, а как можно написать такое исследование, вообще исследование о Демокрите, о первом материалисте, без греческих цитат? Или, быть может, такая работа вовсе не нужна? Быть может, мы и в 1924 году, именно посреди русской революции, революции в жизни и науке, можем довольствоваться компиляциями и пересказами буржуазных историков-идеалистов, лишь слегка снабдив их марксистской терминологией и собственными рассуждениями-догадками? Казалось бы, на этот раз нет. А между тем этого хочет рецензент „Спутника Коммуниста" (№ 25, 1923). Надо только понять, что в наши дни Советская Россия настолько выросла, что может позволить себе иметь несколько марксистских журналов, из которых каждый имеет определенное лицо: один должен заниматься преимущественно „ножницами", другой должен работать над проблемами теории и истории диалектического материализма, третий, быть может, над проблемами литературы, искусства и т. д. Но это, что было понятно уже давно т. Ленину,—к сожалению, многими из нас не понято еще и по сей день.

Мы позволим себе указать на ряд таких появившихся на страницах „Под знаменем марксизма" исторических работ, хотя иногда даже трудно бывает определить, где кончается **и с т о р и я** и где начинается **с о в р е м е н н о с т ь**. Кроме указанных исследований А. Деборина о Фейербахе, составивших впоследствии книжку, и его же статьи о Гольбахе, мы имели работы В. Юринца о Демокрите (№ 9—10, 1922) и его же написанную, действительно, ненужно тяжелым стилем большую статью о Гуссерле №№ 11—12, 1922 и 4 — 5, 1923), Н. Карева о материалисте XVII века Леруа (№ 8—9, 1923), И. Луппола о Дидро (№№ 8—10, 1923) и Сергеева о Лукреции (№ 11 — 12, 1923). Продолжают печататься обещающие разрастись впоследствии в монографии статьи *В. Ваганяна о Плеханове, Гр. Баммеля о* Демокрите и А. Деборина „Маркс и Гегель". Последняя работа имеет, несомненно, актуальнейший характер. В наши дни, когда мы направо и налево жонглируем понятием д и а л е к т и к и и склоняем во всех падежах и даже числах это слово, представляется не только интересным, но и назревшим разработать проблему Гегель—Маркс с точки зрения марксистской философии, проблему, в условиях нашей теоретической действительности глубоко современную.

Из отдельных вопросов на страницах журнала освещали — проблему революции т. Бухарин (№ 7—8, 1922), проблему права—П. Стучка (№ 1, 1923) и Разумовский (№ 2—3, 1923), проблему психологии—т. Корнилов (№№ 1 и 4—5, 1923), психоанализа—Б. Быховский (№ 11—12, 1923), наконучение Маркса о понятии—Звенигород (№ 11—12, 1922).

История социализма была представл статьями Д. Рязанова об Оуэне в связ Рикардо (№ 4, 1922), Б. Горева о бабуви и фурьеризме (№ 11—12, 1922), Шеболда о бабувизме (№ 4—5, 1923), Фриче и Гор о Лаврове (№ 6 — 7, 1923), Арк. А-на Оуэне (№№ 8—10, 1923), Кривцова о беле (№ 8 — 9, 1923) и Фридлянда о С Симоне (№ 10, 1923). Мы не будем ос навливаться на интересных статьях по тео *и критике искусства В. Полянского* и целом ряде статей по теоретическому ес ствознанию А. Тимирязева и его товариш а также ряде переводных статей Д. Дарви Планка, Эдингтона и Бора; скажем толь что уже статьи В. Полянского о „Ле или Максимова о „теории относительнос Эйнштейна должны были недогадливс критику, т. Великовскому, помочь догадать в каком году вышел соответствующий ном журнала.

Все вышесказанное, отнюдь, не след принимать как панегирик „Под знам марксизма". Недостатки в журнале ест их следует искать не там, где видят торые. Замечания наши относятся не держанию в целом, но к построению или иного номера, к соотношению матер по различным отделам, к большей ярк и, если так можно выразиться, „выпукло отдельных книг. Против „юбилейных" меров возражать не приходится, но к один номер (напр., № 3 или № 11 — 1922) *с избытком перегружен полемикс*

другой (напр., № 10, 1923) заполнен историческим материалом, следует сказать, что отсутствует твердая редакторская рука, которая должна так сочетать и комбинировать номер, чтобы он всегда был не только научным и серьезным, но и интересным, свежим, занимательным для чтения.

Рамки журнала определены правильно, но редакция должна наметить с большей определенностью, твердостью и постоянством рамки каждого из отделов, а сотрудники должны заполнять эти рамки, или формы, своим содержанием. Теоретические отклики на теоретические же и практические явления действительности должны проводиться с большей последовательностью, чем это имеет место в некоторых номерах журнала, и не только в отделе библиографии. В последнем, пожалуй, следовало бы также в случайный подчас подбор рецензий внести „организующую" редакторскую струю путем, напр., помещения обзоров нескольких, объединенных по тому или иному принципу, книг. Наконец, желательна большая регулярность в самом выпуске номеров. Двойные номера по 18—19 листов должны превратиться, без уменьшения объема, в номера ординарные.

Таковы наши пожелания журналу „Под знаменем марксизма" при вступлении его в третий год существования. Имена, которые чаще других встречаются на его страницах, имена А. Деборина, В. Невского, Д. Рязанова, А. Тимирязева и В. Ваганяна, являющиеся гарантией ортодоксальности теоретической линии, думается, могут быть залогом и дальнейшего практического преуспения журнала „Под знаменем марксизма".

И. Луппол.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА „КРАСНАЯ НОВЬ".

В 6-й книге „Красной Нови" я выступила со статьей, направленной против взглядов тов. Коллонтай на мораль и наш быт, которые она изложила в ряде статей в журнале „Молодая Гвардия". Ввиду того, что эти взгляды т. Коллонтай в существенных пунктах теоретически расходятся, на мой взгляд, с марксистской линией и в некоторых отношениях являются практически вредными, потому что отвлекают внимание молодежи в сторону от задач революции, я считала себя не только в праве, но и обязанной выступить против тов. Коллонтай в чисто принципиальной полемике с тою резкостью, которая пропорциональна степени наших разногласий. Наши учителя, в лице Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова и др. в случаях подобной принципиальной полемики, даже с друзьями, не считали особой добродетелью тон и стиль выступлений в английской палате лордов.

Тем с большим изумлением прочитали мы в 7-й книге „Красной Нови" извинение редакции перед т. Коллонтай за ряд „незаслуженных полемических выпадов, допущенных в статье Виноградской", хотя автору ничего об этом не было заявлено.

В связи с этим редакционным заявлением считаю необходимым сказать следующее:

1. В моей статье нет личных выпадов. Но всякое выступление против тех или иных взглядов часто отождествляется с выступлением против носителя этих взглядов. Ибо нельзя не упоминать фамилию того лица, с которым полемизируешь и которое является олицетворением ошибки. Я допустила резкости против т. Коллонтай исключительно из принципиальных соображений. И сделала я это, несмотря на то, что я лично находилась с Александрой Михайловной в наилучших отношениях, кроме того, нас связывает несколько лет совместного революционного сотрудничества. Но я считаю, что никакие соображения личного характера не должны помешать выступить, когда дело касается принципиальных расхождений. Мне остается повторить известные слова: Hier stehe ich und kann nicht anders.

2. Тов. Коллонтай—опытная журналистка и могла бы мне ответить по существу моей

статьи сама, а также и по поводу тона, если о нем вообще стоит говорить[1]). И насколько я знаю тов. Коллонтай, она предпочитает иметь дело с товарищами, открыто полемизирующими с ее взглядами и открывающими возможность полезной для читателя принципиальной полемики, чем с товарищами (а таких отнюдь не мало), которые исподтишка и за кулисами издеваются насчет „коллонтаевщины", а когда дело доходит до резкой полемики по существу, они боятся обидеть „заслуженного, боевого товарища", обижая ее этим самым во много раз больше.

[1]) Неужели я в самом деле должна была написать статью свою в духе дипломатической ноты?

Тов. Коллонтай еще достаточно активна и не нуждается в том, чтобы при помощи таких приемов привращали ее в партийную безмолвную богородицу, за спиной которой можно шушукаться, но против ошибок которой нельзя выступать публично.

3. Наконец считаю нужным отметить тот факт, что в журнале „Красная Новь" не один раз помещались полемические статьи, не менее резкие, чем моя, и направленные против не менее „заслуженных" товарищей, чем т. Коллонтай. Никакое публичное извинение за этих авторов редакция не приносила. Я претендую здесь лишь на элементарное равенство.

С коммунистическим приветом

П. Виноградская.

Январь 1924 г.

Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издатель

Члены Ред. Коллегии { А. Бубнов. В. Смирнов.

СОДЕРЖАНИЕ.